

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкар, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкар
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восемьдесят второй год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс,
Александра Смит

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рашель Миневиц

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; M.Jordan; S.Kishkovskaya, P.Khlebnikov;
V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Neratoff; I.Sikorsky; N.Sluchevsky,
P.Tcherepnine; L.Vulfina, Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 315, июнь 2024

© 2024 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Андрей Иванов</i> – Ночь. Рассказ	5
<i>Яна Вишнякова</i> – Стихи	25
<i>Виктор Шагиахметов</i> – Стихи	29
<i>Александр Бараиш</i> – Из цикла «Время от времени». Стихи	34
<i>Ян Пробиштейн</i> – Из новых стихов	37
<i>Игорь Гельбах</i> – Слепая соль. Роман	39
<i>Анна Гальберштадт</i> – Стихи	144
<i>Александр Вейцман</i> – Стихи	152
<i>Аглая Радова</i> – Три рассказа о любви	155
<i>Сергей Попов</i> – Стихи	170
<i>Андрей Ткаченко</i> – Стихи	178
<i>Алексей Ивантер</i> – Стихи	183
<i>Елена Улановская</i> – Восемь лет спустя. Повесть	186
<i>Александр Самарцев</i> – Стихи	233
<i>Инна Кулишова</i> – Стихи	237
<i>Александр Беляев</i> – Стихи	241

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Геннадий Аляев</i> – Жизнь и война Василия Франка	244
<i>Василий Франк</i> – Военный дневник. Из переписки. 1944–1945 (Публ. – Г. Аляев, Н. Франк-Львовский)	260
<i>Игорь Ефимов</i> – Три жизни Владимира Ипатьева	300
<i>Владимир Ипатьев</i> – Жизнь одного химика. 1936–1937 (Публ. – И. Ефимов)	304

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

<i>Максим Макаров</i> – Страсти по... Фавьерское лето Марины Цветаевой (1935)	312
--	-----

ЭССЕ. ОЧЕРКИ

<i>Александр Марков, Оксана Штайн</i> – Кукла куклы в эпоху технической воспроизводимости	344
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка Юлии Баландиной

<i>А. Гольдфарб</i> . Быль об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия; <i>В. Фадин</i> . Хор мальчиков. Роман	352
---	-----

Книжная полка Марины Адамович

СловоНово. Альманах русского свободного слова; *Catharine Theimer Nerotnyashchy*. From Pushkin to Popular Culture. Essays 371

Л. Оболенская-Флам – Никита Кривошеин. Подвиг переводчика. Воспоминания	376
Е. Севрюгина – Клементина Ширишова. Страшный человек. Стихи	381
Р. Нужденко – Юрий И. Крылов. Златоуст. Стихотворения, переводы, проза	383

Когда этот номер уже верстался в типографии, до нас дошло прискорбное известие: 26 июня в Нью-Йорке скончался Бахыт Кенжеев, величайший поэт русской литературы, человек щедрой души и открытого сердца. Скорбим от невозполнимой утраты.

Бахыт Кенжеев (1950-2024)

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Андрей Иванов

Ночь

Настала ночь
зажглись огни
в стеклянных лампах масляные сны
мои видения хранят
а я шагаю в темноте
и каждый куст
и каждый лист
всё шепчет мне

Послушай, Гамлет! Я прожил свою жизнь напрасно. Я даже не могу сказать, чего я хотел. Я не помню. К чему стремился? Я помню, было много очередей, дверей, всё время нужны были какие-то справки, кому-то звонил, всегда опаздывал, меня часто увольняли... Вот – меня часто увольняли, я был нерасторопен и как бы не к месту, никак не мог примкнуть, даже в курилке или, скажем, на посиделках я чувствовал себя лишним, и всё время скучал... и мечтал... О чем? Очень просто. Я мечтал увидеть мою книгу на полке. Эта мечта ворвалась как-то в меня, как хрустальная комета, она всё спутала, не давала мне жить. Потому что это не жизнь – затуманена голова, сердце стучит неровно. Дорогой Гамлет, слова крадут чувства, подменяют жизнь, вынимают из любви сладострастие, из вина хмель; если пишешь, то не живешь, – за всем следишь, за собой, в первую очередь, себя изучаешь, с каждой написанной страницей, с каждой строкой в тебе растет увеличительное стекло, оно ползает по стенам твоей пещеры, заглядывает в каждую щель. Больше никому не доверяешь, болезненно следишь за багажом и выпарапываешь из рукописи слово, если вдруг его пустили в ход борзописцы. Внутри меня росли структуры. Части одной большой системы (всё взаимосвязано, и всюду дыры, провалы, трещины). Я так увлекся изучением переплетений смыслов, поиском узлов в паутине, ходил с веревкой, нырял в колодцы, ползал по пещерным ходам, отдал всего себя – и ничего не понял в жизни. Даже Шопенгауэра. Я во всем заблуждался. А как любил его, как читал! А еще больше любил Киркегора. И что я понял? Я столько его читал, «Страх и трепет» носил под подкладкой, прятал от дождя, от глаз, сидя на скамейках, он всегда был со мной. Снимаю с полки, заглядываю в ту же книгу – и ничего не понимаю; помню, узнаю, но не пони-

маю, себя спрашиваю: так что же меня тогда так восхищало? Что меня так пугало в нем? Что я понимал? Почему говорил *далее некуда?*

Я жил эмоциями... и был за это наказан. Нельзя в наш век оставаться таким безалаберным. Нельзя терять бдительность. Хорошо сказать – попробуй соблюдать это правило, приструни себя! Если б я умел, с дисциплиной у меня всегда было плохо. Как глупо – но как справедливо! Жизнь поразительно справедлива. Когда понимаешь это, становится еще страшней. Раньше я полагал, что живу отдельно от жизни. Невероятно, да? Мне воображалось, будто жизнь сама собой катится, что она проходит где-то сбоку, точно я иду вдоль шоссе, по которому везут в грузовиках и автобусах эту самую жизнь, и она происходит не со мной, а только в те минуты, когда я вхожу в автобус или залезаю (дедушка подсаживал) в кабину грузовика: дед водил старый ГАЗ, и еще у нас был очень старый «Москвич», горбатый, с ручкой переключения у руля, с зачехленным колесом сзади (мне наш автомобиль напоминал кокер-спаниэля). Странно, что я всё это помню. Это же свалка. Хлам, щебень, песок... давно пора забыть. Я в этом тону.

Итак, жизнь катилась помимо меня. Могут понять превратно. Что значит «отдельно от жизни»? Будто есть я, а есть некий поезд жизни. Вот я сижу с книгой на своей кровати, подтянув ноги, на плечах плед, над головой лампа светит со стола, на стуле подле кровати лежат бумаги, карандаши, ручки – всё под рукой, взял, записал, поймал мысль, а в это время поезд жизни ходит по кругу где-то там, и я могу встать, потянувшись, зевну, неторопливо надену мои дурацкие зеленые брюки, застегну пояс, натяну фланелевую рубашку, накину старую датскую куртку, которую прислал *min danske onkel* (скажем, это 1993 год, именно в этом году я больше всего читал Киркегора), и отправлюсь на трамвайную остановку, войду в трамвай – и жизнь возобновится. Какая наивность! Зато я умел останавливать чтением время: открыл книгу – и время встало. Но всё оказалось совсем не так. Время не останавливается, жизнь – не поезд, она просачивается во все поры, она повсюду, в каждом вдохе и выдохе, куда бы ты ни спрятался, она будет с тобой, бьется в твоём пульсе. Ты читаешь книгу, а жизнь читает тебя, направляет ноги по строке к обрыву. Ты сидишь в скобках, к тебе приближается взгляд редактора. Тебя вынимают, растягивают, изучают с увеличительным стеклом, ага, дают еще главу, другую, ты бежишь, становишься плутом, юркой мышкой шмыгнул в третью главу, воспрянул птичкой, выпорхнул из клетки, снова шагаешь по строке жизни с достоинством, едешь в трамвае, стоишь за кафедрой, подписываешь авторские экземпляры, юркая мышь. Чем больше вникаешь в устройство вселенского механизма (всматриваюсь в себя как никогда пристально, потому что вселенная – это и я тоже), тем меньше надежды оставляет эта безразличная громада. Нет ни малейшей надежды что-то понять. Путаница и абсурд.

Дымовая завеса хаоса. Бестолочь, хмарь, пурга. Почему я не могу проснуться не в ту сторону – туда, откуда растут ноги, куда закапывают мертвых? Я так и не нашел тех верных слов, которые передали бы мое чувство растерянности. Слова подводят нас... Я мог бы тут выразиться иначе: поскрести камушком по железной крышке контейнера, но теперь нет тех контейнеров; я мог бы постучать молоточком по шляпке гвоздя, но и молотка того уж нет, а все гвозди заржавели. The Music Improvisation Company provided all sorts of sounds – ставлю пластинку, и это всё, что у меня есть под рукой; пластинка, игла, пыль на бархатной подушечке; слушаю, вслушиваюсь, болезненно напрягаю ухо... Путаница и абсурд. Потому и слов не найти. Но не может эта громада быть бессмыслицей! Не может! Если в этих скребущих и режущих звуках есть смысл (я интуитивно проникаюсь, улавливаю строй – и без меня в них смысла не было бы!), то и бесконечность должна обладать каким-то строем, пусть непостижимом для человеческого разума, но всё же должно в ней быть сознание: иначе не было бы меня!

В наши дни люди по большей части не слышат друг друга; каждый кричит свое – как на тюремном свидании в старом забытом романе; и даже если человек молчит, то видно, что его занимают свои мысли, целый рой мыслей: многое надо успеть!... что толку братья за какое-то дело, если ты не успеешь его довести до конца? Надо так много всего переделать... И вот он передо мной, парализованный прокрастинацией, не может шагу ступить, не знает – подать мне руку или нет? Его зовут Эрик, он – пиротехник, мы знаем друг друга двадцать лет, пол-Европы исколесили вместе, а теперь он смотрит на меня как на чужого, онемевшим взглядом, его рот залепили новостные сводки, руки отчего-то трясутся, он и этого не может объяснить, потому что запутался в себе. В общем, мы застали человека врасплох, когда он был облеплен роем своих мыслей, ходил по квартире в пальто, как пчеловод в маске, решая какие-то сложные задачи. Нам были не рады. Потому что нас пригласила его жена, от которой он лет десять уходит (и никогда не уйдет, мое мнение). Увидев меня, он опешил, сказал, что у него много дел, задергался и сбегал на балкон, стоял там с сигаретой и бокалом вина, весь зажатый, в характерном для наших дней оцепенении, глядел в небо, курил; вечерело; я попросился постоять рядом, без вина и сигарет:

– Бросил.

Он удивился:

– Ты?

– Сам себе удивляюсь. Кажется, в этот раз окончательно.

– А я на Антильские острова съездил.

– Осуществил мечту.

– Да.

– Молодец!

Впрочем, я видел фотографии, его жена прислала, моя мне показала, мы странно общаемся. Они развелись, он пытается съехать, но не может, потому что все деньги уходят на странствия, а потом ему надо где-то отлежаться, потому что путешествия просто так не даются; до нас дошли слухи, что в последнее свое путешествие по Африке он подхватил подкожного червя (*Mansonella streptocerca*) и сам вырезал личинки. Жуткая история – и таких историй у него... Он сам давно участник истории, которую я написал и опубликовал, а он ни сном ни духом, что живет в романе (все мы живем в романе, или еще лучше – в сказке: так устроено сознание человека, мы создаем злодеев до тех пор, пока наше сознание расщеплено на добро и зло).

Мы стояли на балконе, он быстро выпил вино и медленно курил, а я тянул чай; за окном открывался очень грустный вид: грязный пустырь, вдалеке панельки, во мраке, если приглядеться, можно заметить очертания старого рынка, его цементные сваи, арку (воротами рынок напоминает Аушвиц). Но не поэтому Эрик убегает отсюда. Побег у него в крови. Поиск, приключения, адреналин... Он из глубинки, со спичечной фабрики, теперь у него свое предприятие и большая квартира с видом на рынок и пустырь, но душе что-то надо, его постоянно тянет в дорогу, он любит посещать мрачные места, заброшенные дома, замки с привидениями...

Я больше не путешествую, еле ноги волочу, вырваться на концерт любимой группы – и на то едва сил хватает, представить себя в палатке не могу. Он заядлый рыбак, а меня тошнит от рыбы, когда я вижу дождевик и высокие сапоги, у меня начинает ныть простата... А ему нравится, хорошо, говорит, наловил рыбы, развел костерок, тут же на углях в фольге пожарил... Он говорит, а я свое вспоминаю, как мы с отцом ходили на охоту, один раз это было, он был в своем костюме, с двустволкой на плече, мне он дал старое мелкокалиберное, ствол был немного погнут; мы стреляли по банке, я ни разу не попал, а потом он увидел в воздухе чайку и сказал: подстрели-ка ее!.. Он думал, что я не попаду, – я и сам так думал, но, выстрелив, попал, она не упала, потому я решил, что промахнулся, но вдруг он сказал: погоди-ка... Чайка странно спланировала на пень, стояла и безмолвно вскрикивала, разевала клюв, не издавая звука, и больше не улетала, даже когда мы к ней подошли, она не взлетела... и отец сказал: да ты попал!.. И мне стало страшно и больно, я смотрел на чайку, и меня пронзало чувство жалости к ней, смешанное сильное чувство жалости к ней и досады на себя: зачем я стрелял, зачем?.. она же умирает, и помочь ей уже нельзя!.. Потом я часто вспоминал, как она разевала клюв, беспомощно вскрикивая; если я за что-то страдал, если сыпались на меня какие-то беды, то я думал о чайке, вспоминал ее, стоящей на пне, безмолвно разевающей клюв... и думал: вот за что жизнь наказывает меня! Глупости, конечно, я вырос из этого как будто и в

карму не верю, во мне многое за годы изменилось, я стал иначе смотреть на жизнь, всякая религиозность от меня отпала, любое наказание – это новое преступление, потому в природе его нет – и т. д., словом, у меня давно другие взгляды, но тот случай не забываю, часто вспоминаю чайку на пне. Я верю в связь между отцом и сыном, верю, что эта связь может многое сделать с человеком, иногда я говорю что-нибудь малышу и сам себе противен, потому что понимаю, что каждое мое слово, даже самое незамысловатое, необдуманное, он воспринимает близко к сердцу, даже если того не желает; мне неприятна сама важность для него моих слов, даже если он в штыки воспринимает сказанное. Я побаивался моего отца, для меня он не был героем, я видел его в ужасном состоянии, я слышал, как он насиловал мать, принуждал, я слышал, как он ругался и поносил всё на свете, – и всё же он влиял на меня, я замечал это, противился природе этой связи. Отец говорит сыну «стреляй!» – и сын стреляет; потом государство говорит «стреляй!» – и солдат стреляет, – в это я верю, отец закладывает отношения человека с обществом, отец делает из своего сына солдата, который, не обдумывая приказ, пальнет из бука, и самолет упадет, или нажмет на кнопку, и ракета поразит здание, в котором две сотни с лишним жильцов. Это происходит сейчас каждый день, каждый день... и не думать об этом не получается. Я это знаю и спрятать от себя не могу; во мне кричит чайка, мною убитая много-много лет назад, сорок лет назад это было, а она в сердце моем кричит. Я больше не охотился с отцом и не ходил с ним на рыбалку, я подвергал сомнению любое начальство, я всегда во всем сомневался и был недоволен любым правительством, не был и не буду патриотом: всякое государство использует людей – об этом надо знать! Человек, помни, что становясь гражданином, ты идешь на компромисс – не государство, но – ты идешь на компромисс. Каждое государство использует людей по-своему. Беда только в том, что со временем страны меняются, правительство, начальники – все они меняются: сегодня говорят одно, ты с ними согласен, а завтра они скажут такое, что ты не сможешь согласиться, а деваться уже будет некуда, ты будешь повязан клятвой, обязательствами, кредитами, детьми и прочим.

Сомнения, как пивявки, сосут из меня кровь; вот пивявка-недовольство, вот пивявка-недоверие, вот пивявка страха...

– Что, думаешь, я правительством нашим доволен? – с вызовом и как-то внезапно спросил Эрик. Я ничего не успел ответить, он наседал: – Думаешь, я голосую за консерваторов? Думаешь, мне самому нравится, что у мужа нашего премьер-министра бизнес в России?..

– Я ничего не думаю.

– Вижу, что думаешь!

– Меня это не волнует.

– Не верю.

– Как хочешь.

Конечно, он был прав, но я не собирался спорить. Не для того я вышел на балкон. Я хочу спокойно постоять, глядя в темноту; мне надоело объясняться – кому я обязан что-то объяснять? Я сильно устал от всей этой болтовни, мне бы с собой разобраться, ответить на четкие вопросы: что дальше? Кем я себя вижу в наши дни? Куда теперь? – Теперь: время охоты на ведьм, тоталитарная зима крепчает, страна покрывается льдом, я всё чаще стараюсь держать язык за зубами, наш малыш заводит разговоры о том, что надо уехать в Канаду, – у Лены очень старые родители: «Вы, если хотите, поезжайте, – говорит она с полушутливой обидой в голосе, прекрасно зная, что без нее мы никуда, – а я останусь с ними». К тому же сны, в которых меня преследуют крысы (крысы бегают по пустым залам Лувра: меня тоже нет, я – действующая система видеонаблюдения, CCTV, фиксирую в моем сне передвижение по залам стайки крыс). Слишком много думаю – и думаю я о том, каково придется в этом преподанном мире моему сыну? Свое я прожил: my case is officially closed. Как будет жить Малыш?! Вот мой главный вопрос, – голова трещит по ночам, я встаю и думаю: как прожить остаток дней, чтобы спасти его? Как быть полезным сейчас в том будущем, в котором меня нет? Под давлением ночного дознания начинаю путаться и бредить: а может, в этом нет ничего страшного, если не будет человечества? Разве не заслужили люди – и я, и мы вместе с ним – исчезновения? Пусть исчезнет оно совсем! А с ним пытки, войны, лагеря, камеры, тюрьмы... память о всех тех ужасах, что творили люди. Пусть бегают по пустым залам Лувра крысы! Такие мысли трясут, как лихорадка, и от них еще больше ряби набегает на сознание; что поразительно, они меня успокаивают: я лежу, весь холодный от пота, под одеялом, не могу согреться, трясусь, но успокаиваюсь и проваливаюсь в лихорадочный сон: перед глазами круги, образы, бабочки, змеи, все переливается, как психотропный калейдоскоп, и я, потерянное стеклышко, вращаюсь в случайных соцветиях стекляшек, – бесконечные вариации. Из ночи в ночь пытка возобновляется: тот же мучитель, те же вопросы... во мраке вижу дорогу и мост над ней. В моем видении он куда мрачней и длинней, чем в реальности. Вместо фонарей – столбы, еще есть тумбы-пьедесталы и на них – горгульи, медузы, гарпии, демоны, болезни... вот Рабство, вот Война, огромная колонна Голода, статуи мучеников, статуи затворников, беглецов, нищих, безумцев, калек, наркоманов... Все ужасы, уродства и безобразия, что только можно помыслить, принимают в моем воображении воплощение на этом мосту, взбираются грехи и муки на постаменты, встают и замирают, прекрасные, впечатляющие, устрашающие... Я подхожу к краю, смотрю вниз и вместо Лаагна теэ вижу какой-то японский автобан, по которому несутся большие грузовые машины, совершенно безличное

механическое движение, там, наверное, и человека нет за рулем, стальной поток, поток быстро несущихся мертвых конструкций – фрагментов этого уродливого мира, который построил Джек. Бросаюсь вниз и долго лечу навстречу быстрому потоку. Ночь раскалывается...

А я стою рядом с Эриком на балконе, пью чай, нюхаю дым его сигареты, смутно различая в темноте цементные сваи старого рынка. Я мог бы сказать: знаешь, мне некогда думать о чужих проблемах (наших министров), мне-то сходить в магазин не так просто, найти стиральный порошок или еще что-нибудь, всё перекаладывают, всё упаковывают в какие-то новые упаковки, отправить или забрать посылку... Куда мне считать чужие деньги – пусть украдут всю страну! Меня это не волнует. Я считаю: страна уже украдена – джиннами, которые себя считают людьми нового типа. Рядовые граждане нашего государства поработаны изощренными манипуляциями, которые мы обязаны совершать, везде регистрируясь и запоминая свои логины и пароли, наша страна спряталась от нас, она зашифрована кодами, завязана связями куда более тонкого уровня. Стыдно признаться, меня успокаивает мысль, что настанет и их черед: когда-нибудь эти ловкие похитители постареют – и умыкнут у них родину, сегодняшние хозяева судьбы посмотрят окрест, а кругом шныряют вертлявые, хорошо ориентирующиеся крысы, таскающие у них из-под носа то, что они когда-то присвоили.

Не хочу думать об этом; такие мысли опустошают; например, почти всегда меня охватывало разочарование от бесед с моим датским дядюшкой. Острее всего оно чувствовалось в ту пору, когда он стал, как он это назвал, «обеспеченным человеком». Он приезжал к нам и сильно важничал, поучал меня жизни, всё высмеивал и сильно критиковал «эстонцев» (именно так – *эстонцев*, а не Эстонию, эстонцев, которых он высокомерно называл *куратами*; человек, который называет людей *куратами* – или, наоборот, *тиблами*, – не может считаться благородным: в нем отсутствует великодушие). Чтобы он услышал меня, мне приходилось с усилием вытаскивать из себя слова, как спортивные ядра; они летели через канаву, что разверзлась вдруг между нами. Эта гимнастика утомляла, она вызывала душную тоску, я пронзительно чувствовал, что напрасно трачу свое время; что все мои усилия ни к чему не приведут – ни одно мое слово он не услышит; презирая Эстонию, он презирал и меня, потому что я тут живу; говорить с ним не было толку, носить воду в решете – и то больше смысла! «Это пустое время, абсолютно пустое», – так записано в моем дневнике после каждой встречи с ним. Человек – это чудо; люди, одержимые какой-нибудь глупостью (деньгами, властью, карьерой, положением в обществе), фанатично говорящие о религии, национализме, правах человека, политике и проч., – вызывают во мне

раздражение, разговоры их кажутся мне пустыми (уступить дьяволу душу на четверть нельзя – он берет ее целиком!), даже если они зло называют злом, они всё равно кажутся мне помешанными, потому что вещи очевидные не требуют громких слов, любое грохотание с глазами навывает умалает или даже оскверняет чудо, каковым, как ни парадоксально, люди являются, все без исключения, даже злодеи.

– Меня не волнует, за кого ты голосуешь, – сказал я. – Мне плевать на чужие деньги. Я жалею, что мы с тобой не так часто встречаемся. Смотри, нам уже за полтинник перевалило.

– Я об этом ни на секунду не забываю. Кстати, я собираюсь на Азорские острова...

– Молодец.

– Поехали!

Куда?.. для меня завязать шнурки – уже путешествие, какие там Азорские острова!.. но удержался:

– К сожалению, денег нет, сорри.

У каждого свой остров, у каждого своя звезда, свое призвание, своя Альфа и своя Омега; где-то человек начинается и где-то обязательно закончится (а может, он уже закончился, каждый из нас начался и закончился, как только начался, тут же и закончился, свершилось сразу всё, а жизнь – это так, бултыхание, пробегающий по проводку электрический ток, частицы: вибрация, мучение, страсти, боль, наслаждения и прочие ненужные, в общем-то, чувства). Какие были острова у Одиссея! А какие у Гулливера! Пантагрюэль с Панургом открывали острова: о-ва Осуждения, где обитал страшный Грипмино со своими Пушистыми Котами, которые питались младенцами; острова Разбойников, Железные острова... Чехов уехал на Сахалин, а Хануман мечтал о Лолланде. Мой отец тоже мечтательно говорил о своем острове, как Санчо Панса, который хотел быть губернатором на острове дураков. Я тоже с тоской вспоминаю мое ленивое путешествие по датским островам – так и заносит в груди: о Хускего, мое Хускего!.. место, где я будто бы был счастлив... Что это за чушь?! Как я могу унижать свою жизнь, предавать тех, с кем прорываюсь сквозь бури и метель этих каменоломенных будней, как могу втапывать настоящее в прах прошлого, вместо того чтобы поднимать настоящее над собой и нести с достоинством!

На балконе стало холодно, мы вернулись в его комнатку, самую маленькую и грустную, почти голую: чемоданы, коробки и упаковки с химическими веществами, и огромный бестолковый шкаф, набитый его одеждой; здесь пахнет серой, селитрой, сигаретами, пеплом, нафталином, лимоном и какими-то медицинскими препаратами, как в кабине «скорой помощи». Не снимая пальто и шарфа, Эрик сел в свое глубокое скрипучее кресло, немного космическое, старое и громоздкое, из него тянутся к полу нитки, подлокотники потерты до блеска.

– Я сейчас, схожу за чаем, – сказал я; он попросил принести вина.

– Мы опять немного ругались утром, – объяснил он, – не хочу вылезать.

– Окей.

Когда они в ссоре, они не разговаривают. Как все, наверное. Нет, иногда мы с Леной в ссоре разговариваем и даже много дел делаем, но при этом остаемся в ссоре, как только дела заканчиваются, наши лица опять каменеют и мы переходим на тон, который поддерживает ссору. В ссоре Эрик пишет жене письма, она их читает. Раньше это были длинные бумажные послания, которые он слал в конверте или подбрасывал ей в сумочку или карман. Она рассказывала Леночке, что первый раз очень сильно удивилась, в автобусе открыла сумочку, а там какой-то листок, разворачивает, а там письмо – и всё на эстонском, очень серьезным напряженным почерком. Она испугалась и свернула его. Тогда она еще не могла прочитать с лету, ей пришлось воспользоваться словарем, кого-то попросить перевести побоялась, так она потихоньку выучила эстонский. Теперь он пишет ей в телефоне, шлет электронные письма. Они много лет расстанутся; он всё время от нее уходит – и уходит красиво: фестивали, праздники, фейерверки. Однако всё это давно перестало его веселить. Когда она слышит грохот фейерверков, то думает о нем, раньше боялась, что он покалечится – он же такой небрежный, неаккуратный, *раскидай*. Помню, я уточнил у Лены, что в словаре ее подруги означает слово «раскидай», и она сказала: «Это йо-йо. В общем, несобранный, развинченный, разболтанный – такой, как ты». У меня с ним так мало общего! И тем не менее – *такой, как ты*. Меня по-прежнему в нашей среде считают иностранцем: для русских в нашей стране я – чужой, приезжий, какой-то не такой, откуда-то прибывший пассажир с туманным прошлым. Я и сам себя так ощущаю – будто я приехал из тумана и сижу в ожидании моего поезда. Я уверен, что Эрик себя ощущает в Эстонии не так же, как я; он здесь дома, он ждет поездки в другую страну, чтобы вернуться, – я же ожидаю поезда, который меня увезет отсюда, во мне дремлет предчувствие, или вот: меня распирает усилие сжатой пружины, я подавляю эту силу, толкающую меня бежать, годами уминаю ее в себе; кузнечиком сижу, мышцы мои налились. Я никуда не хочу ехать, я бы помер здесь, но предчувствие, будто ехать придется, меня не покидает, оно точит меня изнутри. В этом фундаментальная разница между мной и Эриком! Пойми, Лена, его стремление куда-то лететь, по сути, праздное, оно ничего общего с моим предчувствием вынужденного бегства не имеет. Да и в остальном, посмотри, я – другой: я никогда не запускал фейерверки, ни за что не полез бы в горы, не прыгнул бы с парашютом, не стал бы заниматься скуби-дайвингом...

Все сидели в большой комнате, в детской шептались, заметив

меня, прикрыли дверь. В кухне старшая дочь, с сигаретой в губах, возилась с новой кофейной машинкой. Совсем взрослая женщина, крупная и грубоватая.

– О, привет! – сказала она и щелкнула зажигалкой.

– Привет, – ответил я.

– Как дела?

– Ничего.

Пытаясь вспомнить ее имя, я искал чайник, полно всего. Она села за стол, подтянула пепельницу. Зачем так много детей? Не упомянь имен. Как всегда у них, в кухне полно всяких блестящих штук, и всё в беспорядке.

– Что ищешь?

– Чайник.

Она нырнула под стол и подала его мне: рука по локоть в татуировках (в отца, он тоже весь разрисован, как Квикег, – и лицом похожа, такие же узко посаженные глаза, хитрый тонкий нос, маленький сомкнутый рот). Синие пряди волос зачесаны за уши, на шее веревочки, цепочки, родинки. Надо что-нибудь сказать. Зашумела противная кофемашина. Я помню, что два года назад она с отличием окончила школу и работала в школе вспомогательным учителем математики, и сй нравилось. Сейчас затихнет машина, и спрошу, как у нее дела. Минуты две-три я просто ждал, когда всё перестанет шуметь.

– А у тебя как дела? – спросил я наконец.

– Отлично. На работу собираюсь.

– В школу?

– Не! Я три раза в неделю в ночной клуб хожу. В школе мало платят, на это не проживешь. А в ночном клубе нормально.

– И как там?

– Отлично!

– Не опасно? Кто к вам ходит?

– В основном финны, они тихие.

– Молодежь?

– Не, старые отбросы, секонд-хенд, где-то тридцать пять лет, лузеры, приехали к нам счастья искать. Жадные, о! У нас вход всего лишь двенадцать евро, а они стоят и полчаса сомневаются! – Тут она, перейдя на идеальный финский, передразнила финнов, повторив несколько фраз, причмокнула, взмахнула руками, покачала головой. Я искренне посмеялся.

– Хорошо у тебя получается.

– Я учу финский, время не теряю.

– Молодец, так держать.

– А ты как?

– Пишу.

– Ага, я слышал, жена твоя только что рассказывала: зайду в ком-

нату – он сидит, в стену смотрит, через час зайду – опять в стену смотрит, и так весь день... Они все хохочут.

– Это я медитирую.

– Очень полезное занятие.

– Иной раз полезней помедитировать, чем написать лишнее.

– О, слова мудреца! – Она прикончила свой эспрессо, помыла чашку, деловито застегнулась. – Ну, мне пора в клуб. Приятно было поболтать с тобой. У меня есть твоя книга. Я ее всё откладываю. Но обязательно теперь прочитаю. Чего-то не хватало, чтобы начать. Вот этой встречи наверное.

– Удачи!

Хотел сразу вернуться на балкон, но подумал, что не живу, а только уваливаю от жизни, – осмелился и вошел в большую комнату, где хозяйка принимала своих подруг. На меня посмотрели и засмеялись. Только что обо мне говорили...

Лена выскользнула и сказала, что малыш ушел в магазин с младшим сыном Эрика.

– Сейчас?

Мы оба знали, какой шалопай у них сынок; однажды он с друзьями стащил флаг во время праздника и бегал с ним по улице; разбились в полиции. Я должен успокоиться. Мы тоже однажды похитили флаг, нам было шестнадцать, всё было гораздо серьезней, и цели были другие: фото на кассету нашего панковского альбома.

– Ничего страшного, – сказала она (наверное, у меня вытянулась физиономия). – Успокойся, ему нужно с детьми общаться, набираться опыта...

– Ага, опыты молодого Тёрлесса.

– У него есть телефон.

(Она начинает сердиться.)

– Хорошо.

Половина десятого, супермаркет; наш малыш с этим шалопаем будут спешить, перебегать дорогу... Я заставил себя не думать. Вернулся к Эрику, принес ему бутылку, мы сидели и разговаривали, он показывал подводные съемки на стене, а я ждал, когда мальчики вернутся. Эрик признался, что едва не утонул на Галапагосских островах: потерялся под водой, вынырнул у другой лодки, его сутки искали, инструктор по скуби-дайвингу кричал на него.

– Ну, с кем не бывает, – скривил он рожу, – я всего лишь увлекся...

Я представил темный пустырь: полигон для развлечений! И тут дверь щелкнула, побежали ноги, смех. Моментажно отлегло. Я сходил за чаем, проверил малыша – он в восторге, глаза горят. Никто не хотел расходиться, сидели до полуночи.

Приятно было идти втроем по ночному городу. Погода стояла

отличная, звездная. Малыш уговорил нас не вызывать «болт» и повел в правильном направлении; меня поразило, что он вообще понимает, где наш дом, – он признался, что ему сын Эрика показал, и добавил, что в супермаркете мальчишка включил свой телефон и под фонтан принялся танцевать. Малыш обрадовался и тоже танцевал. На блестящем клочке асфальта он показал нам, как он выламывался. К ним подошел охранник, малыш вступил с ним в переговоры, охранник хотел их просто выпроводить, и тогда малыш запел Changes Тупака Шакура, она у него от зубов отскакивает, охранник удивился: «За Тупака, парнишка, тебе респект», и всё же попросил покинуть супермаркет. Малыш приплясывал и напевал.

Хорошо было идти. Окна гасли, вдоль шоссе горели огни, машины проезжали редко. Я признался, что совсем не понимаю дороги: ведите меня! Мы свернули в заросли и долго плелись по узкой темной тропинке. Малыш притих. Лена рассказывала, как тут было раньше: кругом царили непролазные заросли, ни дорог ни асфальта, ходили по кирпичам и доскам; редкие автобусы, поднимая страшную пыль, еле катились, в недостроенных домах шли работы, а по вечерам работы замолкали, появлялись хулиганы, во мраке слышалось, как били стекла, ругались, кричали...

Мы вышли на новые дорожки и пошли по свежей разметке. В сумерках появлялись тренажеры.

– А вон площадка, на которой мы с папой играем в баскетбол!

– Ничего этого не было, – сказала Лена твердо, как если б хотела сказать: «Ничего этого нет».

И продолжала:

– И моста не было, ни одного...

Как же хорошо-то было, подумал я. Хотел бы я, чтобы проклятые мосты исчезли.

– Фонари почти не светили, по вечерам стояла темень, в домах никого не было...

– Апокалипсис, – сказал малыш мечтательно.

– Вот ты смеешься, а ты даже не представляешь, как было жутко по ночам!

– Я не смеюсь, – проворчал он.

Они начали препираться. Возможно, она не вполне осознанно защищалась, когда описывала свое детство. Недостроенные улицы и дома каким-то образом служили ей и оправданием, и превосходством над малышом. В моем детстве часто сквозили похожие ноты, в головах взрослых я улавливал гордость и некий упрек, будто я прибыл на всё готовенькое и не застал разрухи, – но застал, еще как застал! Я посреди нее рос – и не надо мне говорить, что у нас было красивое детство, красивый зеленый район! Что мне повезло не увидеть голод и войну, – не надо! Мы теперь глотаем войну каждый день, не пепел,

не смог, но вину я глотаю и разрывы слышу, я получаю их в личных посланиях от тех, кто спускается в холодный подвал, прячась от бомб, изготовленных, быть может, еще в моей юности. Когда я читаю о том, как и что взорвали в Харькове, куда прилетело, сколько убило, я вспоминаю истории бабушки о том, как она работала на уральском заводе, изготавливая снаряды для «Катюши»: резец ее станка продолжал работать все эти годы!

Мы шли вдоль Канавы к мосту, и я подумал: Канавы – неплохой символ последних лет моей жизни. Мои последние годы прошли в этой Канаве. Двадцать лет! Скоро будет двадцать лет, как я в ней застрял и барахтался.

Идеальные условия, чтобы свихнуться, пропадает всякое желание искать, чувствовать, кипеть, прислушиваться к другим – я оглох, потому что вокруг меня бурлящие чайнички, ходячие самовары глупости, гнусавые передатчики протухшей пропаганды... изношенные люди, которые обступили и давят, изо дня в день несут такую чушь... Мой малыш начал прозревать, он же не глухой – он слышит радио, которое включает в машине дед, и этого достаточно, уверяю вас, достаточно, чтобы прозреть и начать смотреть на дедушку другими глазами. Он начинает озираться и понимать, где он, среди каких людей, и он начинает жалеть, что он – русский, приходит в мою комнату, садится в кресло и, закинув ногу на ногу, просит музыку сделать погромче – я подкручиваю, он вздыхает и говорит, что раньше он считал себя эстонец, он думал, что он такой же эстонец, как другие дети, он раньше не понимал, что такое Россия и проч., зато теперь понимает и фанатично учит английский, выскабливает акцент, рэпует по три часа в день, он хочет быть чернокожим, он считает, что чернокожие – самые прекрасные люди, он не хочет быть белым, русским, его пугают эти люди, даже их одежда, одежда пассажиров наших автобусов. Я слушаю его, каждое слово меня ранит, я не знаю, о чем он говорит: мертвая земля, не с кем поговорить, у всех карманы набиты камнями, они бродят утопленниками по дну, я приходил в их дома и запальчиво начинал беседы, а их карманы уже наполнялись камнями – камушек-зарплата, камушек-машина, камушек категории языка, камушек-гараж, камушек-жена, камушек-ремонт, камушек-кредит, камушек-школа... Мертвая земля, идеальные условия, чтобы утратить рассудок, похоронить в себе надежду, чувства, утратить горение, свет, любовь; поверь мне, читатель, наш блочный район создан для того, чтобы его жители ненавидели друг друга и остальной мир.

Мы шли втроем – каждый в своем одиночестве.

У малыша есть мечта – он хочет стать музыкантом, он пишет треки, записывает тексты в тетрадки. Он видит себя на сцене. Он видит себя в лимо. Он видит себя в Америке. В Калифорнии. В окружении крутых черных парней, в расстегнутых разноцветных рубашках, с

цепями на шеях, с дредами и в очках, вокруг него чиксы и всё такое. И у него хотят отнять эту мечту, по которой он шагает, как по цветному волшебному ковру. Эта мечта помогает ему расцветить мрачность нашего района, однообразие школьной жизни. Но другие хотят вырвать из-под его ног эту иллюзию. Дед говорит, что это глупость, это пройдет, он говорит, что малыш станет охранником, в нашем мире ничто другое невозможно, ничего лучше для русского в Эстонии и нет, всё остальное уже не то... Так считает дед и внушает ему, включает русское радио в машине, везет его в KFC или Hesburger. Малыш просит его не ехать туда, он отказался от вредной еды, но старик его не слышит, он упрямо тащит его в ресторан, покупает за тридцать пять евро обед вредной американской еды, сажает за стол, рассказывает ему свою жизнь, говорит о превосходстве советской жизни над американским образом жизни. Малыш смеется:

– Представляешь, мы сидим в KFC, он покупает мне американскую еду и говорит, какой Путин крутой, а американцы – дураки! Украинцы всё врут, Запад всё врет... Он один правду знает!

Я вздыхаю – мне очень жаль, что он родился в такое темное время...

– Лучше старика не трогать, – говорю, – эти иллюзии помогают ему справляться... – Я опять вздыхаю: – Он недавно перенес операцию – наркоз затуманил его мозг, но он может оправиться...

Малыш качает головой:

– Он и до этого был такой.

Я иду рядом с ними в полном мраке, мы шагаем по аллее, под ветвями лип, не все облетели, кое-где шуршит, тут всегда темно, и на минуту я забыл о них, я остался один. Ни с кем не связан. Один.

Естественно, я знал о том, что они идут рядом, я чувствовал их присутствие, но отчетливо сознавал, что каждый из нас заключен в свою оболочку, своей судьбой соединен с космосом; я очень ярко прочувствовал это, и, чтобы было не так грустно, едва слышно, почти себе под нос, запел: *видели ночь, гуляли всю ночь до утра...*

Я очень рано узнал, что каждый живет в своем одиночестве, и жизнь мне об этом напоминала: меня запирали в разных местах; чтобы не сойти с ума в пустой квартире, где всё делалось жутким, я выучился читать. Лена тоже в детстве часто оставалась одна, она не хочет вспоминать те дни. Мои теперешние дни почти ничем не отличаются от тех – я всё так же одинок, и это никогда не изменится. Она живет в своем мире, у нее есть грезы, иллюзии, она верит, что она важна, она чего-то добилась. Я считаю, что прожил мою жизнь напрасно, я упустил мой поезд и прожил второсортную жизнь. Люди нуждаются в безделушках, в сертификатах, подтверждающих, что они, люди, существуют; люди хотят верить, что они не случайно возникли, как туман или снег, выпавший поутру, чтобы к обеду растаять,

кое-кто нуждается в том, чтобы его существование было заверено инстанциями и сертифицировано, даже если он и потерпел поражение, проиграл битву за доблестное высокосортное бытие, его поражение тоже что-то значит, оно отмечено историческими событиями, есть книги, объясняющие ему это; всё чаще и чаще история нужна как оправдание, этакая сказка, которой надо напугать детей, чтобы объяснить, почему всё летит к чертям. Окей, пыль разлома лежит на наших плечах, Лена, – тебе от этого легче?

Она видела московский путч – она прожила жизнь не просто так. Ей нужна медаль, я думаю. Или какой-нибудь значок отличительный. Кто-то должен крикнуть: «Браво!» Это не шорох опавших листьев, а жидкие аплодисменты, шепот в кулисах.

Лена, оглядись! Никого нет. Кукольные Брежнев, Андропов и Черненко завернуты в марлю и спят в своих коробках под «Лебединое озеро». Ельцин и Ленин, соединенные рукой постмодерниста, застыли на броневике, как сиамские близнецы, каждый указывает в свою сторону, но, в сущности, всё равно, теперь-то нам понятно. Мы шагаем в каменном мешке русского гетто. Как ни странно, из нашего захолустья, с холма, мы видим историю лучше, но вера в провинциального философа размыта, охаян и осмеян харитоновский хроникер, никому не интересен. Теперь в моде другое слово... не стану писать, набило оскомину.

Презрев тектонические сдвиги истории, сообщаю следующее: мой дорогой Гамлет, у нас хроническая нехватка средств, экономим на всем, но самое главное – мы любим малыша, и это светлое чувство помогает держаться; даже мой роман, который освещает мне путь во мраке, – всё же второстепенный анестетик, главное топливо – любовь к сыну... а она рассказывает ему, как тут строили дороги... как через канаву перебрасывали мосты... как возводили эти безликие дома... Зачем? Зачем ему знать, как строили эти панельки?

Я всё же ревнивый отец. Анархист, который ненавидит школы, – я б их все снес к чертовой матери, до единой! Систему, государство, деньги – в топку!

Я разделился: шел с ними и не с ними; надо мной густел мрак моих мыслей. Сначала думал о ней – о девочке, которая с мамой жила в недостроенном доме под грохот работ и крики рабочих-солдат. Всюду были шорох и бряцанье, ветер гулял по скелетам многоэтажек. Я думал о ней, девятилетней, мне хотелось ехать с ней в старом «Икарусе», ее укачивало, подбрасывало на колдобинах. Я помню те желтые автобусы, помню, как в них трясло; я хотел быть там, с ней, мы бы друг друга понимали лучше в той темноте, чем в наши дни при свете красивых ламп, которых у нас дома, как мне кажется, чересчур много. Я бывал на этих улицах в те годы тоже, когда сюда переехал мой одноклассник по прозвищу Клён, они какое-то время жили в

общаге на Маяка, ждали, когда им построят квартиру, я приходил к нему, мы спускались в вестибюль общежития и слушали группу «Воскресение» на старой скрипучей «мыльнице», которая часто жевала пленку, мы ходили на стройку, гуляли, может быть, по этим самым улицам, мостов не было, мы взбирались на огромные насыпи, Канаву долбили, мы ходили смотреть карьер, забредали в лес, доходили до локаторов, ползали по старому зданию, в котором когда-то были казармы, оттуда шли в Кадриорг, там тоже были дикие места, мы бродили по колена в траве, делали копыя и швыряли их в статую Аполлона. А потом Клён провожал меня на трамвай, я ехал домой, а он шел в общежитие пешком. Я бы оберегал ее на этих улицах, хотя как знать, она всегда была упрямой, может, и в те годы она бы со мной обходилась оборотисто. Я вспомнил, как в 2003 году мы с мамой поехали в Ласнамяэ навестить бабушку; я только что вернулся из Скандинавии, во мне всё еще горел огонь побега, я собирался ехать обратно, бежать от тутошней жизни, побег светил мне впереди, он подстегивал меня, помогал прорваться сквозь сумрак тех однообразных дней; автобус меня поразил, мы ехали, кажется, в 51-м, я отметил: много очень усталых от жизни людей, лица мрачные, злые, пьяные, даже те немногие молодые, что ехали с нами, были подавлены, серые запертые лица, ни одной улыбки, будто всех везли в одно место – на какую-нибудь фабрику, или наоборот – все они возвращались с фабрики, которая чем-то сблизилась, какой-то силой сдавила и сроднила этих людей. По сравнению со скандинавскими пассажирами (даже самыми бедными) наши казались истончающимися, и я с ужасом подумал о том, что мне здесь придется жить: как здесь убого! (Наверняка в голове у моего сына, когда он ездит на автобусе в школу, в голове оживает та же мысль, тот же ужас.) Я думал: каждый день я буду видеть эти лица – в очередях, на улице, в почтовой конторе, в супермаркетах, в больнице и аптеках... Подумать только, везде будут такие измученные лица! Лучше бродяжничать в Скандинавии, чем тут жить. Уеду, уеду, уеду...

Где-то года через четыре я очнулся в автобусе, в той же Канаве, я ехал в 67-м, как в бороздке пластинки, и отчетливо вспомнил свои мысли и клятву «уеду, уеду, уеду», и подумал: ну вот, прошло четыре года, и я уже не обращаю внимания на этих людей, лица пассажиров не кажутся мне столь потертыми, – подумал и принялся их осматривать: да, усталые, немного поношенные, но не так уж и страшно... И увидел знакомое лицо! Это был актер, персонаж из моего прошлого, он вел театральный кружок для малышей, играл в театре, в кино снимался... Что он делает в Канаве?! Стоя у окна и поглядывая на него, мне с трудом верилось. Я вспоминал, как увидел его впервые: это было в Москве, мне было лет четырнадцать. Мы с мамой часто уезжали, иногда денег хватало только на Питер, но бывало, что мы

садились на 34-й и отправлялись в Москву. Как-то, нагулявшись по арбатским улицам, мы с ней зашли в ресторан «Валдай», где я увидел прекрасную пару очень высоких молодых людей, на ней была джинсовая юбка, ее длинные крепкие ноги блестели какими-то редкими чулками, под джинсовым пиджачком, тогда редким, была яркая блузка из нежной тонкой ткани, девушка скинула пиджак, и на мгновение мне показалось, что я увидел ее почти обнаженной – так тесно сидела блузка, такая тонкая, почти прозрачная была ткань. Загорелая шея, нежные плечи, длинные руки, которыми она то трепала молодого человека по волосам, то обнимала за шею. На ее губах была яркая помада. Она навсегда мне запомнилась. Она поразила мое воображение. Я подумал, что таких женщин не бывает! Я видел, какими безумными глазами смотрел на нее молодой человек. Он не верил своему счастью. Он тоже был хорош собой – высокий, плечистый, с длинными волнистыми каштановыми волосами. На нем были джинсы, под кожаной курткой оказалась какая-то иностранная рубашка. Они выделялись, говорили громко и только пили, какой-то коньяк или ром, и смеялись. Я подумал – любовь... Когда мы возвращались домой, утром в поезде я встал в очередь в туалет, чтобы почистить зубы, и увидел этого молодого человека. Он был заспанный, усталый. Он стоял в нескольких пассажирах за мной, у него на плече висело полотенце, довольно смешное, обычное, полосатое. В его руке была коробка для зубного порошка и какая-то драная щетка! Я несколько раз оглядывался, чтобы удостовериться. Сбившиеся волосы торчали во все стороны, на нем была другая рубашка – обычная, клетчатая, и брюки простые, мятые. Но это был он, я не перепутал, тот же нос, тот вырез глаз, слегка зауженные глаза, насмешливый рот, плечи, рост. Он. Меня поразило совпадение (я даже рассказал маме, но она не придала этому никакого значения), и тогда, в очереди, помнится, меня пронзила мысль, что у него самая обычная жизнь, как у всех! В ресторане я видел неуязвимого человека, бессмертного, а тут был заспанный, с мятым лицом... А как же любовь?! Он должен быть счастлив! Я вспомнил ту девушку в ресторане. Взглянув на него, искал признаки счастья... но его лицо было усталым, просто сонным. Через несколько лет, когда я играл в театре, я встретил его – он преподавал детям помладше, его волос поредел, сам он немного помутнел и помрачнел, стал молчаливым. Наверное, он ненавидел наш город, свою работу, свою жизнь. Я играл Грумио, мне приходилось носить чулки, это мне казалось забавным, хотя чаще всего я был угрюмым брюзгой. Мы видели его каждую репетицию, он приходил посмотреть на нас, и я подслушал, как он ревниво говорил нашей руководительнице (она побывала в аварии, после чего очень сильно хромала), что мы замечательно играем, она шептала: «Только им не говорите». Меня это удивило; мне казалось, он нас не замечал

совсем, он ходил с непроницаемым лицом. Мне думалось, он и не видит ничего. Поговаривали, будто у него ужасное зрение, но очки он отказывался носить. Он любил скинуть пиджак и закатать рукава. У него были крепкие руки и широкие плечи; не знаю, делал ли он гимнастику, но казалось, что он в отличной физической форме. Когда я увидел его в автобусе, на нем были остроносые ботинки, джинсы, мягкая куртка, расстегнутая, под ней была синяя джинсовая рубашка. Он смотрел себе под ноги, сложив на груди руки. Я вспоминал, каким встречал его в ДОФе, каким он был в ресторане «Валдай», и в 34-м, утром. Вспоминал его на сцене – плешивость ему шла, узкие глаза придавали выразительности, я удивлялся, когда видел блеск глаз: никогда не замечал его глаз в жизни, а на сцене они блестели. Когда я увидел его в 67-м, я страшно удивился, потому что напрочь его забыл, – я всё забыл, пока скитался. Увидев его, я вспомнил целый пласт из моего прошлого, и как носил белые чулки, и как целовал девочку, кутаясь с ней в занавесе, и как дразнил Веронику искусственным окороком; я вспомнил, что Вероника сыграла кассиршу в «Lilya4ever»! Как же замечательно Мудиссон снял Канаву! Как он увидел эту drogу! Он наверняка сразу понял – какой же мрак жить подле этой дороги!.. Я попытался припомнить, не сыграл ли и он в том фильме? Нет, ему, кажется, роли не досталось, хотя там многие засветились... Он сидел на сидении «для инвалидов», смотрел перед собой, никого и ничего не замечая, он смотрел в пустое пространство. Он совсем облысел, но был по-прежнему хорош, не сильно обрюзг, его лицо стало морщинистым, но таким же по-лихому узковатым, портрет не пострадал: такие же раскосые глаза, длинный прямой нос, маленький рот, ямочка на подбородке, как всегда гладко выбрит. Сколько ролей сыграл, а лицо осталось таким же: маской.

Что стало с той прекрасной девушкой, мы никогда не узнаем. Несколько лет спустя до меня дошли слухи, что он покончил с собой – я моментально подумал: 67-й доведет кого хочешь. Я до сих пор на нем езжу, обязательно смотрю на то сидение, на котором видел его, хотя бы один взгляд да брошу, а если оно не занято, иногда сажусь, бывает со мной – не удержаться, сажусь и сижу, немного вытянув ноги вперед, сложив на груди руки, уроню голову и пытаюсь смотреть перед собой невидящим взглядом, вспоминаю его: объясняющим детишкам, как надо стоять, двигаться, говорить, куда смотреть (он был терпеливым учителем); на сцене – в самых разных ролях, в девяностые он почти не покидал сцены, в нулевых – всё реже и реже, а под конец, кажется, ушел, писали о каком-то конфликте. Я видел на улицах нашего квартала спивающихся актеров, сумасшедшую актрису, которая в магазин ходила в нелепом наряде, – в общем, печальное зрелище, добавляющее нашему местечку особый колорит.

Совсем недавно я очнулся в автобусе, огляделся и понял: я такой

же, как они. Я ничем не отличаюсь. Хуже того: я – один из них. И если я умру в автобусе, это будет логично, это будет мое место, и право у меня на оригинальность и самобытность таким образом будет навсегда отнято, потому что я умру пассажиром убогого автобуса, который едет в Канаве. Напишут: в автобусе № 67, между такой-то и такой-то остановками, скончался автор романов..., ..., ... (неполный список).

* * *

Мы вернулись домой, я еле поднялся, меня качало от усталости. Малыш бросился к синтезатору:

– Я хочу тебе кое-что сыграть...

Лена считает, что уже поздно:

– Соседи...

Малыш выкручивает звук синтезатора на самую малость и манит меня рукой. Я сажусь на его диванчик, забрасываю ногу на ногу, даю сигнал, чтобы играл. Лена уходит. Он играет: Merry Christmas, Mr. Lawrence. О, какой приятный сюрприз! Я слушаю и успокаиваюсь, потом иду к себе и вытягиваюсь на кушетке, но спать не могу: одни и те же вопросы, Гамлет, вопросы не иссякают, они изводили меня в моем бессонном детстве, в слепоте мрака, в шорохе листвы, в сырости подъезда – во всем были вопросы. Они выталкивают меня из кровати, выхожу на кухню. Зажигаю свечу, сажусь, пью воду, – я уже не пытаюсь за что-либо хвататься. Я больше не рассчитываю разобратся в том, куда мне идти. Никуда. Мне никуда не надо. Я продолжаю писать мой роман. Не задумываюсь над названием. Не всё ли равно. Его никто не прочитает. Допустим, прочитает человек мой роман от первого до последнего слова, но увидит свое – придумает свои сады, дома, героев увидит по-своему, можно даже не утруждать себя описаниями, потому что каждый видит свое – свое синее небо, свое темное небо, даже мрак у каждого свой, у каждого своя ночь и свой светлый день, свой снег, свой дождь, свои панельные дома, свои мосты, автобусы, одинаковые для всех, всё же у каждого свои, у каждого свой актер, чтобы сыграть героя романа, своя жизнь, и смерть случится своя, поэтому пробыть к тебе я не могу, тебя уносит поток твоей жизни, бросать в него мою книгу бессмысленно: твое сознание пропитает мои слова, они станут твоими, а моя книга – еще одним предметом в хаосе предметов твоей жизни. Ты чувствуешь мое отчаяние? Если я отрежу от себя роман, я останусь ни с чем. Ты не понимаешь. Я уже не о романе. Я говорю о той невидимой трубочке, которая соединяет меня с жизнью, по ней вместо воздуха летят пузырьки слов, в моей правой руке яркие острые ножницы, я подношу их к трубочке, преодолеваю соблазн щелкнуть. К черту литературу. Вот мы пришли. Вокзал. Двери открываются. Я вхожу в сырой зал, наполнен-

ный шорохами, голосами. Ночь остается за спиной. За стеклами мрак. Я сижу, весь на виду, освещенный всякими лампочками. Все думают – раз он сидит на вокзале, обязательно едет куда-то... Нет, я никуда не еду. Нет у меня ни билета, ни паспорта, ни вещей. Я не хочу ехать. Пассажиры суетятся. Двери – открываются, закрываются. Кто-то только что приехал. Кто-то спешит на перрон, гремя колесиками чемодана. А я сижу. Я никуда не еду. Я борюсь с отвратительным, унижающим достоинство страхом, что ко мне могут подойти и сказать, на какой платформе стоит мой автобус или ждет мой поезд, и попросят поторопиться.

Таллинн

Яна Вишнякова

* * *

Мы жили в комнате без мебели,
И ветки к нам просились в окна,
Ты в нерешительности медлила,
А я цитировал Набокова –
О том, что нет ни совершеннее
И ни пронзительнее вида,
Чем свет фонарный меж весеннего
Сумбура глянцевиных листьев,
Что главный дар – увы, не тщание,
А распознание всплесков чуда,
И чем они подчас случайнее
На фоне жизни блекло-скудном –
Тем слово легче, безразмернее,
Которым, их обозначая,
Поэт томится предвечерними
Сердца кроющимися часами.
Что дар любви – как стихотворчество,
Не знает дна и совершенства,
Что, как ни силится, ни хочется –
От боли никуда не деться,
Когда, подобно Себастьяну, ты
Пронзён десятком стрел из света,
Хорями пытаем, ямбами,
Пытаясь смысл увидеть в этом.
И, в пароксизме обреченности,
С раскрывшимися настезь ранами,
Ты лист марашь, чтобы черными
Неровными рядами странными
Кому-то передать – как трепетны,
Нежны движенья тонких листьев,
Как взмахи шумные и нервные
На слог походят чих-то писем...
...А ты поглядывала в зеркало,
Твой взгляд уже был зол и чётко,
И обронила вскользь: «Наверное...
А вообще – иди ты к черту».

* * *

Самодовление предмета –
 До самого рожденья духа –
 Так в янтаре прозрачном лето
 Высвобождается, для слуха,
 Для зренья и осязанья
 Реальной становясь, живее,
 Чем все «сейчас»... Миг узнаванья
 Светящейся души предмета
 Равновелик смыканью круга
 Времён в финале дивном Пруста,
 И Бог протягивает руку,
 В которой, наконец, не пусто –
 В ней – солнце, всплески шумных листьев,
 Незамутненная прозрачность,
 В ней – наши радостные лица,
 В застывшем прошлом «настоящем» –
 Там нет смертей и расставаний,
 Материальности распада,
 Надуманных нелепых знаний,
 Прозрений мнимых и догадок,
 Там простота нехитрых линий,
 Остановившиеся стрелки,
 Там моря контур темно-синий,
 Узор на треснувшей тарелке.
 Там вечность обретает имя,
 В вине – не истина, а радость,
 И кто-то пишет другу в Риме,
 Хоть слов почти что не осталось.

* * *

Увидеть тебя в позабудущем некоем году –
 В лесу обезумевший кролик спешить будет на чаепитье –
 В сумбуре смешаются дни и недели, события,
 Смешаются все времена – так что вряд ли смогу
 Тебя различить в этом вихре запутанных фраз,
 В сонме мелькающих лиц, городов и пейзажей,
 Но после ты мне непременно, я знаю, расскажешь
 Про светлых и замерших в вечности солнечной нас –
 Так центр циклона нетронут, спокоен и свят –
 В нем время кусает за хвост себя, дико и глупо,
 Протянешь мне так же с улыбкой уверенной руку,
 Как тысячи жизней протягивал, верно, подряд.

* * *

Монетки на полу – не для того ль,
Чтоб в жизни следующей сюда еще вернуться,
И в счастье обратилась чтобы боль –
Не потому ль с утра разбито блюдце,
И не затем предметы ли в пыли,
Чтоб осязать иметь возможность время,
Не убрана посуда – не могли
Или, быть может, вдруг не захотели?
Обжитое пространство – как приют
Лишенного родного крова духа,
Здесь ссорятся, грустят, смеются, пьют,
С тоскою смотрят люди друг на друга,
Здесь жизнь переплавляется в кино,
Какое вспомнят, заповедь нарушив,
В немывтое взглянув потом окно,
Вселённые в тела иные души.

* * *

Горячий летний ветер – это жизнь,
Продолжена, без спроса и упрека,
Держись за эту ниточку, держись,
Тебе не уходить еще до срока,
Тебе еще стоять на сквозняке,
На перекрестке, под семью лучами,
И приникать горячим лбом к руке
Того, кто ведает здесь чудесами.

* * *

Жить наравне с деревьями, ночами
Вступающими в споры затяжные
С осенним ветром, хоть звени ключами,
Попей воды, припомни чье-то имя,
Строфу о том, что есть всему пределы,
Банально лбом уткнись всё в ту же стену,
Мир ночью – говорящий, неумелый,
И выход твой трагический на сцену
Средь хора распевающихся листьев
Свершится, как всегда, хоть и некстати,
Чтобы наутро столбик черных линий
Стал откровеньем, найденным в тетради.

* * *

А если мы умрем в морозный март,
Рассыпавшись колодой смертных карт,
Истлев или замерзнув – не суть важно,
Среди руин родных многоэтажек,
Под небом, то ли звездным, то ли свет
Усердно льющим, на закате лет,
Или в расцвете – как кому успелось,
Под проклятым, под вражеским прицелом –
То всё равно для нас придет весна,
Для нас, для нас, и никого другого,
И будет щебет, зелень, и асфальт
Прогретый, в трещинах, и кто-то целовать-
ся станет под расцветшей кроной...
Листком мы станем, деревом, вороной,
Синицей, облаком, дыханием реки,
И линией протянутой руки,
Морской ракушкой, смехом и молчаньем,
Янтарным солнцем, золотым песком...
И пусть нам страшно здесь до одичанья,
И ненавистью мы оглушены,
Мы доживем до Бога, до весны,
Мы ей уже – ты видишь – почти стали.

Виктор Шагиахметов

* * *

С. Г.

постою в коридорном проёме
до сумятицы школьного дня
никого в этой серости кроме
чахлых фикусов и меня

разве скажешь заря занималась
заливались вокруг соловьи
трепет осени жалкая малость
вот что ведаешь ты о любви

не жалеешь не плачешь не помнишь
похвалы незатейливой ждешь
но и это дурак проворонишь
перепишешь предашь переверёшь

три повтора четыре катрена
дилетантам покорный прием
опишите пространство и время
и что будет когда мы умрем

* * *

Максиму Глазуну

палка палка крестик нолик
вот и вышел из меня
светлоликий алкоголик
ангел алчущий огня

что же ты солдат бумажный
не по возрасту обрюзг
твой язык живой и влажный
стал бесстыден как моллюск

серый голубь черный город
ждет бессмысленный рассвет
ветер сыплет снег за ворот
пальцы ищут сигарет

только нет в кармане пачки
у прохожих прикури
алчи-алчи что ж ты мальчик
бога нет
внутри

* * *

Мне хочется сказать, озлобившись:
«Херовой выдалась неделя...»
Всё в мире стихло, уподобившись
небесной музыке апреля.

Шесть дней без перебоев парило,
А утром лёг снежок, что впрочем –
Весны неписанное правило.
Всё как всегда. Чего ж ты хочешь?

Чего ж ты ищешь? Вот же – сумерки,
Безветрие, деревья, дымка.
В трюизме не найти изюминки
И повода для фотоснимка.

Сказать – так всё другими сказано,
Молчать – так всё молчит... И ты с тем,
в сон отбывая, гибнешь сказочно,
заслушиваясь шумом листьев.

Перед тобой предстала истина
беспочвенного одиночества,
она тебе известна издавна;
и жить невмочь, и пить не хочется

Всё, чем живет герой лирический,
всё – домыслы и недомолвки
как синий отсвет электрический
в окне бытовки.

* * *

рядом клены и рябины
рытвины и котловины
обернется куст иной
опалимой купиной

ржавый ветер осторожный
острый ножик выкидной

проходи скорей родной
переулочек безбожный

всё известно прежде срока
прежде сказано у блока
тем томительнее ждать
и в надежде повторять

словно изморось по коже
гроздя ярче тени строже
в просветлевших небесах
тишина в мгновенья эти
и любовь ко всем на свете
так что слезы на глазах

* * *

Я истекаю степью и именем...

В. Хлебников

1.

тихо тихо душа
тихо тихо дыша
слово замерло на устах

о продли ему жизнь
о замедли шаг
ты всего
торжество и крах

еще раз позволь
из летейских волн
встать во весь
великанский рост

лицедей и волхв
он узнал закон
языка лебедей и звёзд

он держал миры
как песок в горсти
но пусты чужие глаза

тихо тихо степь
тихо тихо стих
его голос сто лет назад

2.

я спускаюсь в подвал
бедной памяти день
находя где бреду одинок
терпкий запах смолы
благодатная тень
хруст валежника –
легкий упрек

лес оставлен – и вот
утонул в ковыле
отголосок звериной тоски
как единый народ
припадая к земле
дышат вольные колоски

и воздушной волной
омывается взор
и стихами приходят
сквозь мир
мерный топот копыт
голубиный простор
тальниковая ветвь
велимир

* * *

Покидая окраиной этот сон,
озаренный неласковым, резким светом,
повернись напоследок к нему лицом,
преисполнись летом.

На краю огорода – фантом шоссе,
реденький частокол, давленная малина.
Там тропинка расходится на все семь,
вновь сходящихся около магазина.

Местный хор одомашненного зверья
завывает то жалобно, то свирепо.
В отражении мыльного пузыря
придорожная зелень смешалась с небом.

У соседей на заднем дворе – бассейн,
где купаются девочки, а над крышей –

реет ястреб. Опасности нет, но все
поднимают взгляд выше.

Это – русская готика, сторона,
окруженная дымчатыми лесами.
День сгорает и где-то внутри меня
Отзывается детскими голосами.

* * *

Елене Жамбаловой

Когда я рассчитаюсь с пустотой,
остановлюсь у ветра на постой,
то загадаю очередь с повинной
перед травой, дорогой, пустырем...
Я начерчу послание углём
к судьбе невосполнимо половинной.

Когда гроза внезапно озарит
наш редкозубый, русский алфавит
и наши избы, срубленные наспех,
я расскажу, что знал секундный свет...
У слова нет пристанища, но след
его ведет к обители несчастных.

Когда увижу бабочки крыла
сложенные, сожженные дотла,
над крашеной железной арматурой,
то разразится музыка стиха
бренчанием воздушного стекла,
заговорившей вспять литературой.

Когда я доживу до тридцати,
останусь незначительным... «Прости,
прощай!» – я говорю тебе до срока.
Свободу наизусть не повторишь.
Всё станет ясным, только замолчишь.
Всё будет так – пустырь, трава, дорога...

Александр Бараш

Из цикла «Время от времени»

1.

Сегодня мне неожиданно
поставила лайк
на один из текстов в Фейсбуке
немецкая славистка,
в которую я был влюблен сорок лет назад
в перестроечной Москве.

Я зашел на ее страницу –
обычно я ее не вижу, она постит редко
какие-нибудь масс-медийные статьи.
В ее ФБ нет ничего о ней и ее жизни, но всё же
нашлась одна фотография
из нынешнего времени.

Две женщины на фоне
невнятного пейзажа.
Ее молодая дочь, которую
я в первые секунды принял за нее саму,
воспоминание автоматически подменило реальность.
К тому же похожа – длинноногая нордическая блондинка,
правда, с такой лучезарной улыбкой, какой у нее
я не помню: видимо, у ее дочери и моих детей (у них
тоже улыбки счастливые, как у дельфинов)
было более благополучное детство, чем у нас.
Она тогда не рассказывала о своем детстве,
но что-то было достаточно тяжелое
в нескольких фразах про отчима.

И она – я признал ее не сразу.
Ровесница 60+, с осевшей фигурой,
неухоженным лицом с резкими морщинами
(это то, во что со временем превратился
лукаво-строгий прищур).
Я знаю, что для тех, кто был влюблен в меня когда-то
(не для нее, это была любовь только с моей стороны) –
я такой же.

Гитара с провисшими струнами.
Безвоздушный шарик.

Известно, что люди иногда просыпаются в гробу.
Я, кажется, проснулся перед гробом –
как будто сорок лет проспал.

И вспомнил, что есть приступы любви,
которые пронизывают тело, как прожекторы ночь, –
чужие всему, что тебе сейчас близко, они
ослепительно-ясно показывают, что есть
другие миры, которые ищут нас
и переполняют смыслом
время от времени.

2.

Мы брали с собой шоколад
и бутылку вина и, сидя на очередном городском валу
у оплывших очертаний древнерусского города,
пытались представить, как всё здесь было
до монгольского нашествия или в Смутное время.

Вокруг была тихая позднесоветская разруха
маленьких городов под Москвой – легендарных
названий из истории московского царства.

Главное, что это были небольшие путешествия,
метафора совместной жизни длиной в один день.
Потом, через несколько десятков лет после развода
(мы совпали только на несколько лет,
и слава богу; во время развода она произнесла
такую убедительную речь, что когда судья
дала мне слово и я попросил, чтобы это
скорее закончилось, судья кивнула) –
через несколько десятков лет она вспомнила,
как мы сидели где-то у дороги
в Звенигороде, поедая одну булку на двоих –
и сказала, что это был, наверно,
самый счастливый момент в ее жизни.

Может быть, моменты такой естественной близости
– и неважно, что было до того и после того –
это наиболее глубокая форма любви.
Дальше – у каждого был долгий брак.

В последнее время, когда дочь, родившаяся
в моем новом браке уже в Иерусалиме,
стала совсем взрослой – я часто вспоминаю,
как мы шли с ней – первоклассницей – вдвоем из школы,
она держала меня за палец, мы то ли плыли, то ли
медленно летели по тихому солнечному переулку.
Больше ничего не происходило. Только
благодатность любви в нас и между нами.

Ян Пробштейн

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Бог огромных вещей
Бог безмерных миров
Безмерно далек
А вблизи – бог траншей
бог окопов и рвов
и детей мертвых бог.

* * *

Отчего нам всем на горе
история с фантазмагорией:
от каждого по способностям
каждого мордой об стол
и вечный мордобой
и только снится нам
покой в мордоре...

* * *

Ничего делать нельзя
и поделать ничего нельзя
ничего не поделаешь
ничего не попишешь
так что пиши пропало.

* * *

Откуда вы взяли то что взяли
Откуда вы взяли то что плохо лежало
Положим это было не вами положено
И устранили то что отстранили
Положительно предположительно
либо скорее отрицательно
предопределено
предел передела
и беспредел передела
когда нет предела беспредела
когда нет разницы
между заветом и наветом
обедом и обетом

ЯН ПРОБШТЕЙН

* * *

Странствуют странно
Странники не по своей воле
невольники чести
честные невольники
по разным странам
с сурком и без сурка
с царем или без царя
не взыщите но ищите
со щитом или на щите

* * *

топь да топь
кругом
всё заболочено
всё заморочено
и вьются бесы
среди болот

ЧИТАЯ АЙГИ

Научиться слушать тишину
чтобы расслышать затишье
перед бурей

*март-апрель 2024
Нью-Йорк*

Игорь Гельбах

Слепая соль

Соль – добрая вещь;
но если соль потеряет силу,
чем исправить ее?

Евангелие от Луки. 14:34

Часть 1.

ГЛАВА 1.

Всё началось лет пятнадцать назад с разговора с лондонским писателем и журналистом Борисом Бруком, чьи статьи и заметки время от времени появляются в «Times Literary Supplement» и других литературных журналах. Борис родился в Москве, с детства обнаружил способность к языкам, учился в МГУ и, эмигрировав, сначала работал в рекламе, а затем, написав книгу о приближающемся конце западной цивилизации, приобрел славу специалиста по политической философии и постепенно стал известным комментатором современной истории.

Его глубокие познания в философии и теологии, истории западной цивилизации и культуры не перестают удивлять меня наряду с тем замечательным фактом, что он, христианин и глубоко верующий человек, так и не побывал в Иерусалиме. Очевидно, это доказывает, что говоря о духовных аспектах существования, он склонен скорее к интеллектуально-духовным странствиям и восхождениям, нежели к паломничеству в его прямом смысле. При этом в качестве туриста и путешественника он побывал во множестве замечательных мест Европы – факт, который оставляет немало простора для суждений. Что же касается Израиля, то Борис, с которым я знаком более десяти лет, последовательный сторонник еврейского государства, хотя и с некоторой примесью недоверия к сообщениям о его достижениях и успехах. Впрочем, легкая степень недоверия присуща и его отношению ко всему мирозданию, факт существования которого продолжает изумлять его.

Его общеизвестные смелость и открытость, так же как и его умение не скрывать суждений по самым острым и противоречивым вопросам в сочетании с безусловным литературным талантом, сделали его тем человеком, чье мнение обычно выслушивают с должным вниманием и уважением. При этом Борис – довольно энергичный

человек, уделяющий немало времени спорту; он страстный любитель музыки, вин и замечательный повар. Как говорит его английская жена Сандра, Борис – настоящий англичанин, который изрек однажды: «Я не работаю по субботам, поскольку я – еврей, и я не работаю по воскресеньям, поскольку я – христианин».

Значительную часть года Борис с женой проводит на своей даче в Бургундии, оба прекрасно говорят по-французски – при этом Борис ощущает себя европейцем в значительно меньшей степени, нежели англичанином, – даже незирая на то, что провел около тридцати лет жизни в России. Но и на этом обсуждение вопроса о fine tuning его культурных ориентиров отнюдь не заканчивается. Сама идея возможности осмысленной и полноценной культурной жизни за пределами Европы вызывает у него или благожелательное сочувствие, или снисхождение – в зависимости от его отношения к собеседнику.

Насколько я понял, Борис полагает, что мир есть ничто иное как чудо и творение Божие. И хотя, беседа с ним, я иногда вспоминаю вопрос поэта: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?», мне кажется, что эту сторону его мироощущения следует связать с присущим ему, несмотря на всё жизнелюбие, подлинно философским отношением к жизни. которая уже перестала представляться ему странной и неприемлемой. Произошло это с Борисом примерно в то же время, что и с рядом других моих знакомых и друзей, проживших на этой земле чуть больше или чуть меньше пятидесяти лет. По-видимому, именно в этом возрасте мы достигаем определенной полноты эмоционального опыта, частично обремененной интеллектуальным и эмоциональным усилиям, затраченным на переживание, переосмысление и последующую адаптацию к уже случившимся событиям, радостям и испытаниям прошлого. Ведь именно в этом возрасте мы обычно ярко осознаем, насколько мы неуникальны со всеми нашими проблемами, достоинствами и недостатками, и оттого научаемся еще больше ценить наших друзей, число которых неуклонно уменьшается по мере течения времени. Вот отчего, я полагаю, именно в этом возрасте мы начинаем быстрее отвечать на полученные от друзей письма и с готовностью отрываемся от тех или иных неотложных дел с тем, чтобы поговорить с ними по «Скайпу», если уж судьба устроила так, что все мы живем в разных городах и странах...

Вернемся к нашему разговору с Борисом. Как обычно, мы говорили о новых книгах и публикациях, и в ходе беседы Борис упомянул несколько фактов, связанных с публикацией в Лондоне книги австралийского автора Лань Шу «Тень жакаранды». Сделал он это в присущей ему манере *en passe*, по ходу разговора – и так, что разжег мой интерес и к книге, и к той статье о ней, над которой он работал. И первый же вопрос, который я задал Борису, был: переведена ли она на русский и имеет ли, по его мнению, смысл это делать. Может быть,

стоит ее издать по-русски в одном из небольших иерусалимских издательств?

– Насколько я знаю, – сказал Борис, – книга не переведена на русский, и лучше всего было бы связаться через издательство с автором и обсудить с ним самим вопрос о правах на перевод. Он, как я понял, переговоры о книге вел без агента. Что же касается интереса русскоязычного читателя, то тут я тебе ничего сказать не могу... Прочти – и реши для себя сам...

Я попросил Бориса переслать мне сигнальный вариант книги, полученный им для рецензирования; у него же оставался экземпляр книги с факсимильной копией автора, не присутствовавшего на презентации в Лондоне по причине той хорошо известной «тирании расстояния», которая, в сущности, и превращает Австралию в далекий и загадочный мир.

– В конце концов, автора можно понять, – сказал мне Брук, – оттуда до Лондона двадцать четыре часа полета... То есть, если ты улетаешь из Австралии, то лететь следует на какое-то разумное время, хотя бы на две недели, но он не сумел согласовать то ли свое рабочее расписание, то ли расписание каникул с запланированной датой презентации.

– Так кто же представлял книгу? – спросил я.

– Это пришлось сделать мне, поскольку оказалось, что я – единственный человек, который прочел сигнальную копию, – ну, конечно, помимо редактора книги. Кроме того, издатель нанял одного китайского актера, чтобы тот произнес несколько приличествующих случаю слов, а затем подписывал проданные экземпляры книги иероглифами, означающими пожелания благополучия и процветания. Всё это было – с согласия автора... Ну а потом мы здорово выпили...

Примерно через две недели после нашего разговора, я вскрыл пришедшую из Лондона бандероль и увидел не слишком толстую книгу, напечатанную на хорошей бумаге, в достаточно прочном глянцево переплете с изображением цветущей жакаранды на фоне ночного неба. Отзывы на задней стороне обложки единогласно оценивали книгу как блестящий дебют автора в жанре fiction. Из вложенных в тот же конверт ксерокопии статьи Бориса в «Times Literary Supplement» и его записки я узнал, что о книге этой всё еще говорят в столице Туманного Альбиона, – говорят, хотя прошел уже месяц со дня выхода книги.

ГЛАВА 2.

Попробую теперь кратко рассказать о самом романе, действие которого связано с событиями тысячелетней давности в Китае. К тому времени продолжительность астрономических наблюдений в

этой стране насчитывала уже не одну тысячу лет. Укажем лишь на то, что китайские астрономы разработали теорию лунных и солнечных затмений сорок веков назад, то есть примерно за двадцать веков до нашей эры, а первый китайский звездный каталог, в котором были указаны характеристики около 800 звезд, составлявших 124 созвездия, относится к IV в. до н.э. При этом 320 звездам были присвоены собственные имена. В древних записях китайских астрономов найдены также упоминания о наблюдениях за метеорами, кометами и сверхновыми звездами.

Ввиду того, что Сверхновые, появляясь на небосклоне, через некоторое время исчезали, китайские астрономы прошлого называли их «гостевыми звездами». Так история империи «Поздняя Хань» сообщает, что в 185 году нашей эры астрономы зафиксировали появление яркой звезды и заметили, что до момента ее исчезновения с неба прошло около восьми месяцев. Запись эта – самая старая запись о Сверхновой, сделанная человечеством.

Астрономы, наблюдавшие появление «звезды-гостыи» в южном созвездии Волка в 1006 году нашей эры указывали, что предельная яркость этой постепенно разгоравшейся звезды превосходила яркость Венеры в четыре раза и достигла четверти яркости Луны. Что же до четырехконечной Сверхновой, появившейся на небе в 1054 году, то она оставалась видимой при свете дня в течение 23 дней, а в ночном небе была видна в течение 653 дней. С появлением именно этой «гостевой звезды» связаны ключевые события романа «Тень жакаранды».

Представленный в романе Китай наделен чертами разных его регионов. Так, в романе Лань Шу мы сталкиваемся с жакарандами, произрастающими на юго-западе Поднебесной и достигающими высоты в тридцать-тридцать пять метров.

Жакаранда, или фиалковое дерево, получило свое название благодаря сиренево-фиолетовым оттенкам цветков с их нежным медовым ароматом. При этом каждая кисть жакаранды включает в себя несколько десятков благоухающих цветков. Под их тяжестью ветви дерева могут свисать практически до самой земли, превращая его в настоящее фиолетовое облако.

Что же до Праздника Ледяного Дворца, то он, естественно, связан с Севером Китая, в частности, с Харбином. Описание же ландшафта региона, где находится горная обсерватория, более всего напоминает окрестности горы Коулун в Гонконге. Обо всем этом пишет в своей рецензии Борис Брук.

Продолжая наш рассказ, отметим, что в центре романа – жизнь философа и естествоиспытателя, – желтого, как лимон, китайского мудреца, обитателя дома под жакарандой в субтропическом, тяготеющем к морю оазисе, защищенном от резких перепадов погоды горной грядой на краю великой пустыни. Основное занятие нашего мудреца

на склоне лет – наблюдение за звездным небом и ведение записей о наблюдаемых в ночном небе явлениях... В этом занятии ему помогают его юная внучка и талантливый юноша-сирота из ближней деревни, в котором наш Спиноза видит продолжателя своих трудов в изучении звездного неба – и будущего мужа внучки. Глухо упоминается то обстоятельство, что родители внучки и юноши, воспитанного стариком, погибли во время нападения жителей северной пустыни на данный район Поднебесной.

Вернемся, однако, к нашему мудрецу... Когда-то в прошлом ему довелось жить в другом, более прохладном северном регионе Китая, и однажды, шлифуя льдины во время подготовки к традиционному Празднику Ледяного Дворца, мастер едва пережил нестерпимый удар преломленного и многократно усиленного пучка солнечных лучей, упавших на льдину. Вследствие этого удара он на время потерял зрение. Две недели провел он во тьме, непрерывно размышляя над сущностью случившегося. Ответ, к которому он пришел, был прост. Философ осознал, что перед ним открывается лишь одна дорога, связанная с разгадкой тайны поведения и природы света...

С наступлением морозов и началом замерзания воды в водоемах философ приступил к изготовлению различных объемных фигур из льда. Ему удалось исследовать поведение лучей света при прохождении через ледяные призмы, линзы, пирамиды и иные выточенные из льда фигуры. Поразило же его то, что белый дневной свет есть не что иное, как смесь световых лучей всех цветов радуги. Это открытие и другие результаты своих исследований мудрец описал в соответствующих частях трактата под названием «Тайна уединенного луча». Согласно его учению о сущем, он полагал свет проявлением дыхания материи, из которой построена Вселенная. Что же до Сверхновых, то учение его указывало на их появление как на события, сопровождающие процесс дыхания Вселенной как целого.

Учение его, однако, было встречено достаточно неприязненно при дворе местного правителя, где популярностью пользовалось учение о происхождении Вселенной при взрыве изначального гигантского яйца.

Вынужденные покинуть родные края мудрец и его близкие претерпели множество страданий и невзгод, пока не поселились на юге Поднебесной в доме под жакарандой, вблизи от расположенной на близлежащей горе обсерватории.

Наиболее драматичная часть романа хронологически связана с теми двадцатью тремя днями, что на дневном небе Поднебесной присутствовала Сверхновая 1054 года. Вторжение армейского корпуса жителей северной пустыни в пределы китайского царства обрывает наблюдения нашего мудреца. Деревня у подножья гор, где живут наш ученый и его близкие, разграблена и уничтожена. Почти всё работоспособное население угнано в плен и вместе с остальными обитате-

лями деревни – внучка астронома и его ученик. Внучке предстоит жизнь наложницы северного владыки, а юноше предназначено стать главным звездочетом при его дворе, ибо северный владыка желает обустроить жизнь своего двора с учетом достижений и познаний его южных соседей.

Что касается самого китайского мудреца, то Император Севера отпускает его домой доживать свой век в тени жакаранды, отдыхая под которой мудрец записывает свои воспоминания и размышления о случившемся, перемежая их с записями о погоде, ночном небе и новых обитателях усадьбы в голубой тени священного дерева...

Такова, собственно, сюжетная нить, соединяющая описание наблюдений неба и фаз развития Сверхновой 1054 года с поворотами политических интриг в Китае того времени, разделенного на сторонников войны с жителями пустыни до победного конца и сторонников установления режима сосуществования с северным соседом со всеми возможными вариациями – от «гибкого балансирования» до «эффективного отпора»...

Особенно интересной показалась мне представленное в романе изображение последовательной смены психологических состояний, следующих за шоком ослепления и страстного ожидания чуда прозрения: первое робкое появление надежды на его постепенное возвращение и доселе неизвестное никому из свидетелей переживание появления в небесах сияющей Сверхновой, ее нарастающее и повергающее жителей деревни в ужас сияние, ожидание страшных, трагических событий, реализующихся в появлении поначалу разведчиков, а затем и военных отрядов с Севера, уничтожение обсерватории, пленение героев, их последующее пребывание в плену, которому следуют постепенное угасание звезды, возвращение теряющего зрение старого философа в разрушенную деревню и погружение его во тьму под сенью голубой жакаранды, остающейся для него воплощением синего звездного неба в бесконечном желтом пространстве Китая.

Подводя некоторые итоги нашему краткому описанию романа, можно, я думаю, заключить, что данное творение Лань Шу является, в сущности, не чем иным, как сочинением в жанре фэнтези...

Любопытным представляется и то обстоятельство, что, как отмечает автор сопутствующих тексту комментариев, сотрудник Мельбурнского университета д-р Стивен Блюбаум, хотя в Европе рождение Сверхновой в 1054 году и было замечено, оно никак и никогда не было зафиксировано ни в одной из дошедших до нас летописей. Одно из парадоксальных утверждений научного комментатора романа состоит в том, что если бы выточенные философом линзы, о которых идет речь в романе, не растаяли с наступлением весны, то нельзя исключить возможность, что китайская цивилизация могла бы на этом

раннем этапе ее развития опередить европейскую на пути к созданию научной картины мира...

Впрочем, уверен комментатор, достаточно широкая и полная, чисто китайская научная картина мира никогда не была бы создана, так как в рамках отдельно взятых китайской лингвистической и философской традиций невозможно создать понятийную базу, необходимую для естественного возникновения, существования и развития современной науки. Далее комментатор напоминает о том, что самые первые чертежи простейшего линзового телескопа были обнаружены в записях Леонардо Да Винчи 1509 года, а первый телескоп был построен столетие спустя – Галилео Галилеем... Как известно, продолжает он, именно Галилею принадлежит мысль о том, что «'Книга Природы' написана на языке математики», – мысль, предвосхитившая и описавшая главные направления развития фундаментальной науки на Западе и совершенно чуждая китайской науке и философии. Вспоминает он и о судьбах астрономических исследований в доколумбовых цивилизациях Южной Америки, особо отмечая сосуществование достаточно развитых начатков астрономических знаний и человеческих жертвоприношений. Завершая свое рассмотрение затронутых в романе вопросов общего характера, д-р Стивен Блюбаум высказывает мысль о том, что грядущие астрономические открытия принесут еще немало сюрпризов и во многом изменят направление развития нашей цивилизации. При этом автор комментария не делится с нами своими соображениями о том, следует ли относиться к этой возможности как к благословию или как к проклятию, а между тем, согласно мнению Бориса Брука тот факт, что книга написана на английском языке и первоначально опубликована в Лондоне, указывает, хотя бы и косвенно, на тяготение автора к возможности самоопределения в рамках западной культуры и оттого может быть с полным правом отнесена к тем немногочисленным образцам «алармистской» литературы, авторам которых не чуждо владение искусством стилизации и элегантности изложения темы, отдельные аспекты которой связаны с устрашающими опасностями, стоящими перед нашей цивилизацией.

Интересно, что эту свою статью, посвященную разбору романа, мой лондонский знакомый завершал утверждениями, что то предупреждение и тот исторический урок, который преподносит нам в художественной форме роман «Тень жакаранды» связан с такими исторически канонизированными путями приобретения информации, влияния и связей как установление физического контроля над его носителями. Все это, утверждает Брук, в сущности, немногим отличается от работы американской миссии ALSOS, охотившейся после окончания Второй мировой войны за немецкими учеными, вовлеченными в атомный проект, или от советской группы Завенягина, занимавшихся отысканием ученых, информации и оборудования, связанных с атом-

ными проектами германского рейха, не говоря уже о современной практике шантажа, заманивания, подкупа и покупки ученых, а также их физического уничтожения. Говоря о физическом уничтожении ученых, автор напоминает о судьбах расстрелянных агентами израильской разведки ученых-атомщиков, работавших над проектом иранской атомной бомбы. Далее, рассуждая о будущем этой непрекращающейся борьбы, автор статьи вспоминает о традиционном для Китая и китайской кухни поедании мозга живой обезьяны...

Известно, сообщает Борис Брук, что существуют разнообразные блюда, приготовленные из вареных и жареных мозгов обезьян. Однако наиболее дорогим и эксклюзивным блюдом почитаются мозги живых обезьян. Считается, что иногда мозги едят сырыми, сразу после убийства животного или даже до него: якобы обезьяне вводят наркотики, после чего сажают под специальный стол с отверстием в центре – таким образом, чтобы будущим едокам была видна только верхушка обезьяней головы, которую спиливают, после чего расположившиеся за столом гости начинают вкушать обезьяньи мозги... При этом язык обезьяны обрабатывается таким образом, чтобы исключить возможность, что едоки будут отвлечены от своего занятия криками несчастных животных...

Но ради чего и как это делается? Врачи древности полагали, что поедание мозгов обезьян излечивает импотенцию и повышает мужскую силу. Именно благодаря этому, а вовсе не за свои изысканные вкусовые качества, блюдо «мозг обезьяны» приобрело столь большую популярность. С исторической точки зрения ясно, что именно такого рода будущее и ожидает «умных белых обезьян», предсказывает автор статьи, не вдаваясь в детали того, как это произойдет.

Остается добавить, что меня, как и автора критической статьи, заинтересовала спрятанная за китайским именем фигура автора текста, подтолкнувшего обычно уравновешенного и ироничного Бориса к написанию такого отзыва... Вслед за этим мне пришла в голову мысль о том, что все интересующие меня вопросы стоило бы обсудить с Эриком Кромасом, когда он в очередной раз появится в Тель-Авиве. В конце концов, Эрик не так уж давно провел несколько месяцев в Австралии, думал я, и, может быть, он каким-то образом сталкивался с этим Лань Шу или хотя бы с д-ром Блюбаумом? Эрик занимается астрофизикой, и он, возможно, скажет мне что-то важное, говорил я себе, понимая при этом, что решение о переводе этой или какой-нибудь другой книги предстоит принять мне и никому другому.

ГЛАВА 3.

Несколько опережая события, скажу, что в конце концов я решил не братья за перевод и продвижение этой книги по весьма простой причине: согласно моей собственной оценке, перевод и публикация

такого романа в Иерусалиме была бы не более, чем амбициозным проектом с невысокими шансами на успех, и мне следовало заняться чем-то простым и надежным. Придя к этому заключению, я начал заниматься переводом на шумевшей книге по проблемам современной экономики с точки зрения теории хаоса и приказал себе забыть о Лань Шу, утешаясь при этом известным высказыванием: «жить на этой планете – только время терять...»

И в самом деле, кого могла взволновать история, произошедшая в Китае на фоне взрыва Сверхновой в 1054 году? Уж во всяком случае, говорил я себе, не этих говорящих по-русски людей со всех краев распавшейся страны, которые теперь строили и доживали свои жизни на земле Израиля. И какая связанная со звездой история может сравниться с той, что связана с Вифлеемской? Вопрос этот, обращаясь к своим читателям, задал Борис Брук, и на него, я думаю, нет никакого вразумительного ответа.

Возвращаясь к роману, о котором идет речь, должен сказать, что автор его, используя избранную им оптику, стремился рассказать о том, что действительно когда-то произошло и чему он, скорее всего, был свидетелем, и, поскольку события эти в силу своей неотменяемости не могли исчезнуть с горизонта его сознания, они-то и подтолкнули его к чистому листу бумаги... Так, во всяком случае, мне показалось тогда.

Правда, из статьи Бориса Брука я узнал, что, согласно признанию автора романа, сделанному им в тексте зачитанного китайским актером выступления, ему хотелось донести до читателя отнюдь не часть своего опыта, а универсальную и пережитую героями романа последовательность событий и чувств: долгое ожидание чуда, его волнующий приход, трансформацию мира вокруг – и его неожиданные и трагические разрушительные последствия... Последовательность эта была, как утверждал автор, в каком-то смысле параллельна появлению в небесах гигантского искривленного четырехугольника Сверхновой, сиявшего на дневном небе на протяжении двадцати трех дней и видимого еще несколько месяцев по ночам, после чего Сверхновая взорвалась и в наше время, почти тысячу лет спустя, существует в виде той самой Крабовидной туманности, что и по сию пору является одним из объектов пристального внимания астрономов и астрофизиков.

Неделю спустя я перечитал роман; ощущение того, что ряд фрагментов основан на личном опыте автора, никак не покидало меня – казалось, осколки биографии автора отражают и преломляют свет то в одном, то в другом отрывке, хотя, и об этом следует сказать прямо, ощущение это могло оказаться неверным, – так сильны порой бывают наши воспоминания, трансформированные фантазией, игрой вообра-

жения или химерами. И еще, говорил я себе, если Борис Брук прав и автор этой книги действительно тяготеет к самоопределению в рамках западной культуры, то в процессе работы над книгой ему, наверное, приходилось не раз попытаться взглянуть на мир не только глазами нашего современника, но и глазами китайцев, живших за тысячелетие до нас, – что, безусловно, требует от писателя высокого уровня эмпатии.

Что же до намеченного различия между игрой воображения и химерами, то здесь я хочу со всей определенностью указать на существование фундаментального отличия между тем, «что могло бы быть», и тем, «чего не может быть никогда», ибо именно на таком различии всегда настаивал д-р Стивен Блюбаум, автор научного комментария к тексту романа «Тень жакаранды», предназначенного для «читателя-простака».

ГЛАВА 4.

Как-то раз Эрик Кромас признался, что, исходя из его опыта, изучение Вселенной оказалось одним из лучших способов изъездить нашу планету вдоль и поперек, постоянно встречаясь с интересными людьми. Помню, я сообщил ему, что, по моему мнению, примерно того же результата можно достигнуть не сходя с места, если только правильно выбрать его.

– Довольно смелое утверждение, – помню, сказал Эрик в ответ.

Но я имел в виду то очевидное обстоятельство, что и в Тель-Авив время от времени заглядывают достаточно интересные люди. Что до Эрика, то он уже довольно долгое время жил и работал в Берлине и через три месяца после того, как я прочитал «китайский роман» и статью Бориса, он прилетел на неделю в Израиль навестить своих близких и немного отдохнуть после достаточно продолжительного пребывания в Австралии, куда он ездил в рамках научного обмена между университетами Берлина и Мельбурна.

Несколько слов о близких Эрика. Развелся он довольно давно, но сохранил с бывшей женой приличные отношения. Фаина жила в Хайфе со своим вторым мужем и преподавала математику в колледже при Технионе. А сын Эрика и Фаины, Рон, армейский офицер, служил в одной из элитных частей, участвовал в проведении нескольких операций и после ранения вышел в отставку. Теперь он со своей семьей жил на ферме в Галилее.

Эрику не хотелось приезжать к сыну на ночь глядя, он собирался появиться на ферме ближе к середине дня.

– С утра или в середине дня люди лучше соображают и не задают лишних вопросов, – говорил он.

Самолет из Франкфурта прилетел в «Бен-Гурион» во второй половине дня, и Эрик прямо из аэропорта приехал ко мне домой, на Нордау, где нас ожидал обед.

Ива относилась к Эрику с симпатией и выделяла его среди моих друзей.

– В Эрике есть что-то настоящее, – говорила она, – он не пижон, – намекая таким образом на Борю Брука, которого она, безусловно, ценила и уважала, называя при этом БэБэ. – И каждый раз, когда Эрик прилетает из Берлина, его хочется накормить. Фаина умудрилась оставить его в Берлине – и на что она надеялась? На то, что он сохранит ей верность? Мужчины на это неспособны, не правда ли, Саша? – сказала она и внимательно посмотрела мне в глаза.

Фаина действительно после года жизни с Эриком в Берлине вернулась в Хайфу, где жила ее мать.

– Я не могу жить в Германии, – объяснила она, – а для Эрика самое главное – это его работа. Я терпела целый год. Но когда он решил подписать новый контракт и остаться там еще на несколько лет, я поняла, что не выдержу этого... Я не понимаю, почему я, еврейка, должна жить среди немцев, – сказала она.

С тех пор прошло более десяти лет, и, несмотря на все события и потрясения этого десятилетия, Эрик совершенно не изменился внешне. Однако с годами в его манере говорить время от времени проявлялась раздумчивость, которая была свойственна нашему школьному учителю физики. Именно так, чуть наклонив голову вперед, тот однажды упомянул о гипотезе философа Иммануила Канта, согласно которой наша Солнечная система возникла из первоначальной туманности.

Глядя на нас подслеповатыми темными глазами из-за очков с толстыми бифокальными линзами, наш учитель физики добавил:

– Изучение туманностей – одна из развивающихся областей современной астрономии, а понимание теории эволюции туманностей требует глубоких математических познаний.

Как-то раз весенним рижским вечером мы собрались у школы, и он повел нас в обсерваторию при университете. Там мы увидели телескоп и звездное небо в раскрывшемся секторе купола.

И вот теперь Эрик занимается геометрией Вселенной. Он всегда подтянут, худощав, чуть ниже среднего роста, с заметной проседью и ясно очерченными чертами лица, высоким лбом над живыми, поблескивающими глазами за стеклами очков, прямым носом и той манерой внимательно смотреть на собеседника, что обычно выдает человека, склонного к размышлениям. Темные волосы его достаточно коротко острижены, но кожа светлая, и он предпочитает избегать лучей палящего южного солнца. При этом он хороший теннисист – как, кстати, и Борис Брук.

Как математик, вовлеченный в исследования, связанные с космологией, Эрик работал в исследовательской группе при физическом факультете Берлинского университета на Унтер ден Линден. Группа

эта, в свою очередь, сотрудничала с коллегами в Институте Макса Планка в Мюнхене и с крупнейшей австралийской обсерваторией на горе Маунт Стромло близ Канберры, – список этих связей можно было бы продолжить, но нам будет достаточно и такого.

Следует, наверное, упомянуть, что после смерти его подруги Илоны, Эрик не раз говорил о том, что Берлин ему надоел и он с удовольствием уехал бы в Калифорнию, в Южную Америку или даже в Австралию, то есть в Южное полушарие, где в последние годы астрономы, наблюдавшие созвездия и туманности, сделали немало замечательных открытий.

И я ему верил, ибо говорил он всё это серьезно и уже побывал во всех упомянутых регионах Земли.

Поужинав, мы уселись на веранде с тем, чтобы выкурить по легкой сигаре за чашкой кофе. Традиция эта сложилась еще в рижские времена: кофе, легкие голландские сигары, их можно было купить у моряков, и по рюмке-другой бенедиктина.

– Посмотри, Эрик, – протянул я ему не слишком толстый томик в мягком переплете, – вот забавная книга, написанная неким Лань Шу. Хочешь почитать?

– Понравилась она тебе? – спросил Эрик.

– Ну, что-то вроде того, – признался я. – Она легко читается и представляет историю Китая еще с одной стороны.

– Ну что ж, спасибо, почитаю. Об этой книге я кое-что слышал, так что – почему бы и нет, – сказал Эрик, – а написал ее Стивен Блюбаум, мой коллега из Мельбурна.

– Погоди, Эрик, – сказал я, – Стивен Блюбаум указан в качестве автора комментариев.

– Ну да, – сказал Эрик, – это такая старая традиция: автор подписывается вымышленным именем, но где-то на полях, в стороне, в комментариях или примечаниях оставляет свое настоящее имя. Иногда шифрует его. История науки знает немало подобных случаев...

Эрик сообщил мне об этом как о чем-то само собой разумеющемся.

В одном из отзывов на задней стороне обложки было сказано, что Лань Шу в переводе с китайского означает «синее дерево», что же до автора «романа о явлении Сверхновой», он, согласно написанному, был профессором физики в одном из лучших университетов Австралии. Так что, в принципе, всё то, что говорил Эрик, было очень похоже на правду.

– Но тогда скажи мне, в чем смысл этого псевдонима, если все специалисты знают, что автора зовут Стивен Блюбаум? – помню, я повертел книгу в руках и после небольшой паузы добавил, – может быть, ты объяснишь мне, чего он добивался и к чему весь этот камуфляж?

– Ну, во-первых, книга написана не только для специалистов и

коллег автора. Но главное, как мне кажется, в том, – ответил Эрик, – что автор продолжает старую, хорошо известную научную традицию, так как фамилия «Блюбаум» состоит из двух немецких слов, означающих «синее» и «дерево».

По мнению Эрика, книга эта приобрела определенную известность и в научной среде благодаря той самой скандальной рецензии Бориса Брука, рассмотревшего текст в аспекте широко и шумно развернувшейся в то время в прессе кампании по борьбе с нарушениями прав на интеллектуальную собственность, в которых уже много лет обвиняют Китай. Постепенно, рассказал Эрик, всё это привлекло внимание нескольких австралийских журналистов, задавших вопрос, кто же в действительности является автором этой книги? В конце концов они дознались, что написал ее не кто иной, как д-р Стивен Блюбаум из Мельбурнского университета. Однако, судя по всему, автор книги никак не хотел становиться участником дискуссии о правах на интеллектуальную собственность. Д-р Блюбаум совершенно не возражал против тех или иных интерпретаций своего произведения, по-видимому полагая, что разнобой голосов только поможет росту внимания читающей публики.

Через неделю, перед отлетом в Берлин, Эрик решил поделиться со мной мыслями о прочитанной книге и о ее авторе. Следует отметить, что я еще со школьных лет всегда прислушивался к суждениям Эрика. С течением времени он оказался еще и тем самым «идеальным читателем», о котором я когда-то задумывался. Помимо того, что у Эрика весьма приличный музыкальный слух, он наделен еще безупречным чувством баланса. При этом он всегда и во всем стремится к ясности и четкой очерченности ситуаций, которые возникают и в жизни, и в его работе. Такое, во всяком случае, сложилось у меня впечатление за годы нашего общения. Более того, его всегда интересуют внутренние механизмы происходящего вокруг, а не только то, чем занимается он сам в данное время. Говоря попросту, он всегда или почти всегда стремится понять «зачем всё это?», – так он говорил иногда.

Эрик всегда считал необходимым систематически информировать меня обо всех прочитанных им книгах, сообщая при этом свою оценку. Конечно, мне доводилось встречать читателей и более изощренных, чем Эрик, и первым тут приходит на ум Борис Брук, но с Эриком нас объединяло нечто большее, чем общие вкусы и пристрастия; нас объединяли время, место и что-то еще невычислимое, из чего рождается дружба и все окрашенные эмоциями отношения.

– Честно говоря, я только вчера дочитал этот роман, и, наверное, не всё еще встало на свои места, – признался мне Эрик, – но кое-что об этой книге и ее авторе я скажу тебе уже сейчас – просто для того, чтобы уточнить угол зрения, под которым я смотрю на всю рассказанную в ней историю.

Тут Эрик замолчал, задумался на пару секунд, потом слегка вздохнул и, едва заметно дернув плечом, сказал:

– Автор романа, скорее всего, не в ладах с действительностью, а может быть, и с самим собой, и, возможно, именно оттого и роман этот не совсем обычный. Иначе трудно представить себе, отчего действие связано с событиями, описанными в китайской хронике XI века... Написан текст легко и уверенно, и, я бы сказал, с чувством стиля, к тому же достаточно живописно, но без излишних деталей, то есть без тех ненужных подробностей, которыми иногда грешат авторы, пишущие о неведомых им странах. В данном случае отсутствие излишней детализации помогает и автору, и читателю яснее представить мотивы и поступки героев этого романа, – продолжал Эрик. – Более того, роман показался мне довольно любопытным своим откровенным анализом мотивов поведения властителей Китая и сопредельных держав... И это при том, что автор сообщает нам что-то если не абсолютно новое, то достаточно необычное, от чего мы как бы отвыкли, – в том числе, что считается неприемлемым. Ну, например о традиции поедания обезьяних мозгов. Но надо отметить, что сама по себе проблематика романа всем нам более чем знакома: речь идет о добре и зле в их вечной схватке за плоды познания мира... Правда, наш автор наблюдает за всем происходящим как бы с другой стороны, не изнутри, а из какой-то тени неучастия, – продолжал он. – И это создает определенный эффект дополнительного «остранения», – и добавил, внимательно взглянув на меня: – Я думаю, что именно это тебя и заинтересовало. Всё действие романа как будто погружено в историю, но что такое тысяча лет, если мы говорим о звездном небе? Да еще с точки зрения обитателей Поднебесной? Ну, а мы сами? – внезапно вдохновился Эрик, – я имею в виду нашу цивилизацию... Считается, что мы достигли замечательной точности в космологии, где ошибке или погрешности в миллиард лет никто не придает почти никакого значения, – пояснил он усмехнувшись. – Но особенно интересно, что этот несколько стилизованный роман снабжен комментариями, почти как серьезный научный труд, – да, да, комментариями и примечаниями, призванными прояснить то, как мы видим некоторые упомянутые в романе процессы и явления сегодня, с точки зрения современной науки. Однако, несмотря на всё это, я бы определил жанр романа как фэнтези.

Вот и всё, что сказал мне Эрик в тот вечер, и я не стал вступать с ним в дискуссию, понимая, что, сознательно или нет, но Эрик не мог не воспринимать этот роман как результат творческих усилий его коллеги. Не мог я не учитывать и того, что роман Блюбаума оказался достаточно откровенно связан с реалиями и тканью науки, которой Эрик отдавал свои силы и время. К тому же сказанное Эриком представлялось мне достаточно разумными. И я предложил поднять бокал

вина с горы Кармел за знакомого Эрику д-ра Стивена Блюбаума. Эрик с видимым удовольствием присоединился ко мне.

Это было хорошее, густое, с ясно очерченным вкусом красносинее вино, и, возможно, именно глоток вина подвигнул меня задать Эрику еще один вопрос:

– Послушай, Эрик, а ты не знаешь, кто он, этот Блюбаум? Кто его отец? Не Серж ли Блюбаум? Был такой поэт. По-моему, он эмигрировал в Китай...

– Мне говорили, что отец его был неплохим врачом, который писал какие-то странные русские стихи. Иногда он выступал в «Русском доме» в Сиднее, бывало, приезжал и в Мельбурн.

– Ну замечательно! – не удержался я. – Ведь из Китая не так уж и далеко до Австралии... Странно, что я не догадался об этом с самого начала. А может быть, роман этот написал его отец? А он его просто перевел на английский?

– Всё может быть, особенно, если речь идет о романе, рассказывающем о событиях тысячелетней давности....

После того, как мы допили бутылку вина, Эрик попрощался, вызвал такси и улетел в Берлин.

Что до меня, то я вернулся к своему рабочему столу, включил компьютер и после недолгих поисков обнаружил кое-какие сведения и о Серже Блюбауме, и о группе так называемых шанхайских поэтов. Тут надо сказать, что в наше время имена «шанхайских поэтов» русской эмиграции и их творчество стали достаточно хорошо известны любителям поэзии, что отнюдь не отменяет того, что исследователи русской литературы то и дело вновь и вновь обращаются к тем или иным известным именам, пишут разнообразные статьи и публикуют их в различных литературных и общедоступных журналах, а издатели время от времени решаются на очередное переиздание их не умирающей поэзии и прозы. Что до моего интереса к творчеству уроженца Одессы Сергея (Сержа) Блюбаума, то стихи его, и на это указывали многие писавшие о нем критики, несут несомненные отпечатки влияния поэзии Бориса Пастернака и других русских поэтов его времени; проза же достаточно оригинальна и представляет интересное чтение. И причина этого отнюдь не только в том, что в прозе преломился и расцвел его поэтический талант, но и в том, что достаточно необычные повороты и обстоятельства биографии Сержа Блюбаума привнесли в его тексты пестроту локаций, чрезвычайно своеобразных персонажей и даже неожиданные ситуации, – при том, что он, и это очевидно, вовсе не стремился ни привнести флёр ориентализма, в котором его порой упрекают, ни поразить публику. Серж Блюбаум писал стихи, согласно его собственному признанию, для того, чтобы выжить и не сойти с ума; он вел дневники и сохранял письма самых разных людей из разных стран, с которыми вел переписку. Добавим к

этому утверждение, которое на первый взгляд воспринимается как трюизм: он был таким, каким он был... Понимаю, что звучит это несколько загадочно, но давайте попытаемся узнать биографию поэта, подчинившись хотя бы неотменяемой хронологии событий, которая никогда не исчезает, но всегда присутствует в сухом остатке...

Вот что мне удалось выудить из Сети в тот вечер:

Серж Блюбаум родился в Одессе в 1903 г. в семье врача-офтальмолога. Он закончил медицинский факультет Новороссийского университета в Одессе и в 1927 г. оказался в Палестине, а в 1933 году – в Шанхае, где в 1936 году женился на Людмиле Дорн, выросшей в семье из Владивостока, прибывшей сначала в Харбин, а позднее в Шанхай. Его сын Стивен родился в 1938 году. В 1949-50 гг. семья переехала из Китая в Австралию, в Сидней. В Австралии Серж Блюбаум продолжил свою медицинскую деятельность, параллельно публикуясь в разнообразных эмигрантских журналах и сборниках Австралии, Европы и Америки. Несколько книг его стихов, включая и сборник переводов из английских романтиков, а также том прозы, изданы во Франции и в США. Серж Блюбаум скончался в 1982 году.

ГЛАВА 5.

Прошло еще три месяца, и в очередной свой приезд из Берлина Эрик сообщил мне, что через неделю в Тель-Авиве начнется конференция по Сверхновым, в числе участников будет и Стивен Блюбаум.

– Интересно, что подвигло его на это? – добавил он, упомянув Блюбаума в ходе нашей беседы.

– О чем ты? – спросил я

– Всё о том же, – ответил Эрик, – в конце концов, несмотря на удаленность Австралии, Блюбаум как ученый принадлежит всё той же англосаксонской научной традиции. И работал он довольно долго вместе с Нилом Янгом, ярким представителем этой традиции. Конечно, всё бывает, но обычно такие люди не пускаются в авантюры. Мне кажется, что написать книгу и издать ее на другом конце света под экзотическим псевдонимом мог бы позволить себе ученый несколько более эксцентричный и выше классом, – ответил Эрик. – Что-то должно было произойти... А иначе всё это трудно понять.

– Позволь мне напомнить тебе, что еще не так давно ты сказал мне, что автор этого романа, скорее всего, не в ладах с собой и окружающим миром. Было такое?

– Да, конечно, – согласился Эрик, – но всегда интересно попробовать понять что-то чуть глубже и в деталях.

– Тебя волнуют подлинные мотивы и события, стоящие за названием романа. Так?

– Да, пожалуй так, – признал он и добавил: – Дело в том, что уже в самом названии романа присутствует слово «тень», и это, скорее

всего, связано с каким-то умолчанием, с тем, что скрывается в тени... И поверь мне, не случайно...

– А ты никогда не думал о том, чтобы попробовать прояснить всё при встрече, в личной беседе с автором романа? – спросил я.

– О нет, это практически невозможно – ведь мы именно коллеги, а не друзья... Блюбауму может прийти в голову, что я пытаюсь что-то выведать у него.

– А ты действительно хочешь что-то выведать? – спросил я.

– Нет, конечно нет. Я просто хочу понять...

«Неужели же Эрик вовлечен в какие-то интриги», – спросил я себя, и сам же себе и ответил: «Почему бы и нет?..»

Между тем Эрик прервал паузу:

– Тут, собственно, есть еще одна сторона вопроса. Когда я был в Мельбурне, он однажды спросил у меня, как чувствует себя в Израиле человек, не владеющий ивритом...

– И что ты ему ответил?

– Я сказал, что всё зависит от того, чего этот человек хочет и какие задачи он собирается решать.

– О, никаких задач, – сказал он, – просто жить у теплого моря...

– Это недешево, – ответил ему я, – но если вам хочется попробовать, вы имеете право эмигрировать в Израиль, ведь ваш отец, вы говорили, вырос в еврейской семье?

– «Именно так, мой отец был родом из Одессы. Его родители похоронены в Хайфе», – сказал он. Я посоветовал ему сходить в консульство и заполнить соответствующие анкеты. Не знаю, последовал ли он моему совету. Но насколько я понимаю, главная цель его приезда сюда, на эту конференцию – осмотреться, сравнить с впечатлениями молодости.

– Ты сможешь мне встретиться с ним? – спросил я.

– Конечно, надеюсь, тебе будет действительно интересно. Он говорит на очень правильном английском.

ГЛАВА 6.

В то время мне казалось, что Эрик в силу ряда причин ощущал себя довольно одиноким. Возникло это ощущение в тот период его жизни, когда первые, намеченные еще в юности, цели оказались не только достигнутыми, но и отодвинулись куда-то на обочину, – в сущности, потеряли свое значение... Жизнь вокруг менялась, в игру вступало новое поколение. Сам Эрик по-прежнему жил в Берлине, его научная карьера, как мне представлялось, шла в гору, но где-то в глубине души он ощущал себя по-настоящему одиноким. Подруга его умерла за несколько лет до описываемых событий, и утрата эта тоже достаточно сильно на него повлияла.

Возможно, что обостренное переживание одиночества было свя-

зано не только со смертью Илоны, но и с его увлечением астрономией, созерцанием звезд или джазовой музыкой, кто знает? Возможно, это был кризис среднего возраста, усиленный преследовавшим его чувством утраты... Я был его старым другом, еще со школьных рижских времен. За долгие годы нашего знакомства мы не раз говорили на экзистенциальные темы; однажды Эрик заметил:

– Ты думаешь, я не понимаю, как ты одинок?

– Ты так думаешь? – спросил я.

– Ну разумеется, – сказал он, – и именно по этой причине тебя увлекает процесс письма, ты вступаешь в диалог с текстом, который сам же и создаешь. Ты повторяешь ситуацию Бога, который решил что-то создать из-за неимоверного одиночества. И, как ты помнишь, он начал творить и увидел, что это хорошо...

– Ну да... но ведь мне приходится работать и для заработка. И знал бы ты, как мне надоело редактировать и переписывать чужие мемуары и воспоминания. А на свои писания у меня почти не остается времени. Хотя среди этого добра, которым я занимаюсь, иногда попадает кое-что интересное. А вот некоторых авторов следовало бы снабжать противозачаточными пилюлями, это сделало бы мою жизнь лучше. Но скоро мы с женой расстаемся с банком, и жизнь станет легче. А Ханна вместе с мужем – вполне самостоятельные люди и даже собираются завести ребенка.

Так, примерно, ответил я Эрику на его замечание. Суть же ответа, с моей точки зрения, состояла в том, что даже если я и одинок в каком-то высшем смысле этого слова, у меня нет никакой возможности предаваться размышлениям и переживаниям по этому поводу. «Но кто знает, – подумал я, – возможно, Эрик прав, и все мы явно или не явно для самих себя пытаемся отыскать что-то необходимое нам – и не оттого ли, что провели нашу юность в северной, зимней стране, в городе с ганзейским прошлым, и эта юность оставила у нас под кожей шрамы.» Для нас, чей родной язык был русский, то была чужая, покоренная страна; латыши относились к нам как к пришельцам – не слишком дружелюбно, что ощущалось – да и выражалось – в подчеркнутой молчаливой корректности. Они нас терпели, презирали и, наверное, тихо ненавидели. Что же касается евреев, их ненавидели еще и за то, что их предки убили Сына Марии, их Бога...

– И оттого мы – дважды чужие, – продолжал Эрик, – и жизнь представляет нам немало возможностей испытать это... Поэтому мы переживаем собственное одиночество и ненависть других ярче и сильнее. И, поверь, я вполне понимаю, отчего Фаина бросила меня и уехала домой. Ведь такие испытания – как болезнь; война или эмиграция предоставляют немало возможностей для переживаний, неожиданных самооценок и всевозможных перерождений... И вот этот роман, «Тень жакаранды», я думаю, – тоже в некотором роде крик о помощи... Ведь

он, Стив Блюбаум, – продолжал Эрик, – не просто так написал роман о китайском философе и рождении Сверхновой за тысячу лет до нас. Что его занимало на самом деле, когда он взялся за написание романа?

– ...А кстати, – спросил я, – если Блюбаум поинтересуется, откуда я знаю, что именно он – автор этого романа? Что я должен ему сказать?

– Поверь мне, он не будет спрашивать тебя об этом. Ведь это секрет Полишинеля. И к тому же, у него достаточно развито чувство самоуважения – чтобы не скрывать свое авторство. А мне об этом в свое время рассказал д-р Бен Блюменталь из всё того же Мельбурна; он же рассказал о том, что отец Стивена писал стихи, а у матери в разрезе глаз присутствовало нечто китайское, хотя все и звали ее *la belle hollandaise*, прекрасной голландкой. Но об этом Блюбауму лучше не знать.

– Отчего же? – спросил я.

– Трудно сказать, – признался Эрик, – но по не известной мне причине они с Блюменталем не переносят друг друга, и поэтому признание, что информация пришла от Бена, может настроить Стивена против нас. Блюменталь перебрался в Мельбурн из Южной Африки, он известный ученый и весьма религиозный человек. Хотя, – добавил Эрик, – я подозреваю, что дело в том, что д-р Блюменталь – открытый гомофоб, и он не раз обвинял Блюбаума в слишком толерантном, на его взгляд, поведении по отношению к сексуальным меньшинствам.

– Но какое всё это имеет отношение к астрофизике? – удивился я.

– Ты так думаешь? Дело в том, что некоторые ученые полагают, что принятие или неприятие тех или иных концепций во многом зависит от психических установок самих ученых. Ведь, в конце концов, наука есть результат человеческого творчества, не так ли? И тут, разумеется, многое зависит от психологии ее творцов. Нет, я понимаю, – многое, но не всё, далеко не всё... Но кое-что, наверное, зависит... В частности, Блюменталь в беседе со мной утверждал, что увлеченность Блюбаума одной из теорий Янга, так называемой теорией андрогинной Вселенной, связано не с элегантностью идеи или довольно обычным среди ученых желанием прослыть оригинальным или даже эксцентричным персонажем, а с какой-то преследующей его глубокой внутренней проблемой.

– То есть он хотел сказать, что д-р Блюбаум – гей? – спросил я.

– Возможно, что и так, кто его знает, этого Бена Блюменталь; может, всё дело в его собственных проблемах, которые он переносит на других, – Эрик всегда предпочитал политкорректность открытому противостоянию. – Но прямо он этого никогда не утверждал, тем более, что все хорошо знали о том, как трепетно Блюбаум относился к Пэтти Вонг.

– Пэтти Вонг? – переспросил я. – Но я ничего не знаю об этой женщине...

– Она и Блюбаум работали у Нила Янга.

– И что же с ними стало?

– Пэтти уехала в Китай, а Янг, судя по всему, утонул, – ответил Эрик.

– Судя по всему?

– Ну да, там длинная и запутанная история, – ответил Эрик, – он как бы утонул. Так принято считать.

– А Блюбаум написал роман о явлении Сверхновой... красивая получается картина, не так ли?

– Ну да, – согласился Эрик.

– Но скажи мне, женат ли он?

– Нет, не женат, – ответил Эрик, – но был когда-то, у него есть дочь, она владеет небольшой галереей в Байрон Бэй, в Квинсленде, это такой городок хиппи на заливе, там ошиваются поклонники алкоголя, травки и свободной любви, и туда приезжает немало туристов. Дочь продает керамику и бижутерию местного производства и покупает марихуану...

– Откуда ты знаешь всё это? – спросил я.

– Все от того же Бена Блюменталя. Ты даже не представляешь, что только можно услышать от людей об их коллегах и соперниках... Так вот, если верить Блюменталю, то Блюбаум несколько раз собирался жениться, но каждый раз всё расстраивалось из-за его безмерных требований, принять которые не смогла ни одна из его очередных подруг.

«Ну что ж, – подумал я, – похоже, что Фрэнсис Бэкон прав: всё прекрасное не лишено доли странности, – и происходит это, наверное, потому, что, как пояснил Эрик, космологией и астрофизикой занимаются вовсе не боги, а всего лишь люди.»

При этом я хочу подчеркнуть, что Эрик никогда не был мизантропом, – скорее всего, он привык трезво оценивать ситуации, в которых оказывался.

– Ну так что ж, – обратился я к Эрику, – расскажи теперь об этой Пэтти Вонг...

ГЛАВА 7.

Как и все остальные зарубежные участники конференции, д-р Блюбаум остановился в отеле «Ренессанс», длинном светлом здании, стоящем на холме над приморским шоссе, пробегаящим мимо чередующихся тель-авивских пляжей. Это был старый центр города, рядом с улицами Буграшова и Фришмана с их магазинами, антиквариатом, агентствами и кафе.

Конференция должна была уложиться в четыре дня, жизнь ее участников подчинялась фиксированному расписанию заседаний и воркшопов. Я дождался звонка от Эрика, который пообещал мне

договориться с автором «китайского романа» о нашей встрече. Эрик позвонил мне ближе к вечеру в день открытия конференции.

– Приезжай в «Ренессанс», Стивен остановился в 409 номере.

– Соедините меня с доктором Стивеном Блюбаумом из Австралии, – обратился я к портье гостиницы. – Сообщите ему, что г-н Дашевский находится в лобби и просит разрешения о встрече, чтобы взять у него интервью.

– Из Австралии или из Австрии? – уточнил портье.

– Из Австралии, – подтвердил я, и настроение мое улучшилось.

Должен признаться, что одно только упоминание об Австралии приводило меня в ту пору в некое особое расположение духа; было в этом слове что-то манящее, неожиданное и отчего-то забавное, хотя, в принципе, я понимал, что и там живут такие же люди, как везде, да и происходит примерно то же, что и везде, где я уже побывал. Но все те места были ближе, чем Австралия, и именно этот факт почти максимальной удаленности от Тель-Авива, играл, наверное, решающую роль, настраивая меня на несколько необычный лад, который я бы описал как некую смесь легкого веселья и настороженного ожидания. Ощущение это обычно преследовало меня и после очередной порции австралийских рассказов, услышанных от Эрика или других побывавших там людей.

– Д-р Блюбаум ждет вас, – сообщил портье, завершив свои краткие переговоры на английском с обитателем номера на четвертом этаже.

Выйдя из лифта, я прошел по длинному коридору до двери номера и постучал. Через несколько секунд дверь вздохнула и отворилась. Человек, оказавшийся за дверью, внимательно поглядел на меня и пригласил пройти в гостиную просторного номера с балконом, глядевшим на полосу пляжа и море с уходящим на запад солнцем. Протянув мне сильную сухую кисть руки, он назвал себя:

– Стивен Блюбаум.

И я подумал, что он, возможно, не случайно построил свой роман вокруг жакаранды – «голубого дерева», «blauer Baum»; к тому же дерево это – до безумия красивое голубое дитя Южной Америки, произрастает и в Южной Африке, Австралии и в Китае...

Я представился.

– Дашевский... Да, очень много еврейских фамилий произошли от названия польских городов и деревень, но при этом ваш родной язык – русский, не так ли? Хотите, будем говорить по-русски? Для меня это не составит никаких проблем. У нас дома говорили на русском, – и добавил, уже перейдя на родной язык: – Пожалуй, я угощу вас замечательным китайским чаем, ведь вы не откажетесь?

После чего он пригласил меня к столу с небольшим китайским чайником и чашками-пиалами на нем; показал, как следует завари-

вать и разливать в привезенные им из Австралии пиалы зеленый чай Лунцзин, «Колодец Дракона».

– Никогда не уезжаю из дому, не прихватив с собой этот набор, – пояснил он, – чай помогает мне сосредоточиться.

На мгновение мне показалось, что этот всё еще моложавый высокий, сухощавый человек пытается меня загипнотизировать, вернее даже, – оценить, поддаюсь ли я гипнотическим вибрациям его речи с причудливым интонационным рисунком, движению рук и внимательному взору карих, ясно обрисованных глаз.

Ничего более замечательного, чем его глаза, в облике Блюбаума не было: ровный тонкий нос, юношеские тонкие губы, кожа с легким равномерным загаром и такого же цвета уши, почти прикрытые аккуратной стрижкой, – этакое лицо-слепок, именно это определение возникло в моем сознании, привычно прикидывавшем облачение этого облика на бумаге.

– Д-р Кромас сообщил мне, что ваши родители родом из Одессы, – сказал Блюбаум, – как и мой отец, кстати говоря. Ну не фантастика ли это?! Так что же привело вас ко мне? Голос крови? Места? Или какой-то иной голос?

– Скорее всего, интуиция, – признался я и добавил, – но я даже не знаю, где родились вы...

– В Шанхае, а моя бабка со стороны матери родилась во Владивостоке... – мне показалось, он раздумывает, стоит ли говорить короче или пространнее. – Так что она прекрасно говорила по-русски. Итак, о чем мы будем беседовать?

– Обо всем этом, – ответил я и достал из сумки экземпляр романа.

– А... Так вы читали эту книгу? – он внимательно посмотрел на меня.

– Да, по рекомендации одного моего приятеля из Лондона. Его зовут Борис Брук, он автор той самой статьи в TLS.

– Человек с весьма радикальными взглядами... да, именно так, – д-р Блюбаум кивнул и быстро взглянул на меня.

– О да, этим он отличался с юных лет. Он жил в Москве и терпеть не мог всё, что его окружало. Он – человек чрезвычайно одаренный, но никак не приспособленный к тому, чтобы жить в мире неконтролируемых эмоций и неструктурированных умствований, как он говорит, – в мире пренебрежения формой и связанного с этим невежества.

– Ну что ж, такая точка зрения на современную русскую культуру, безусловно, существует, – заметил Блюбаум и спросил: – А вот этот доктор Кромас, – весьма любезный человек, кстати, – тот, что договаривался о нашей встрече, он тоже ваш друг?

– Еще со школьных лет, – ответил я.

– Мир полон ваших друзей, – заключил д-р Блюбаум не без легкой иронии и продолжил: – Да, он мне рассказывал о вас еще в

Мельбурне, – кстати, он прекрасно говорит по-английски, практически без акцента.

В этот момент мне показалось, что я уловил в его голосе некоторую настороженность, но решил не обращать на это внимание.

– Ну да, он прекрасно говорит и по-немецки. Его предки – родом из Германии, – пояснил я. – В свое время они переехали в Ригу.

– ...теперь мы все оказались в Тель-Авиве... Интересно, не правда ли?.. Но мне хотелось бы уяснить, для кого, собственно, вы хотите взять интервью? Это газета или журнал?

– Речь идет об интервью, но не для газеты или журнала, хотя, кто знает... Суть в том, что я хочу написать книгу о современной науке, о том, какие люди ее делают, и это должны быть разные люди из разных стран. Прочитав ваш роман, я включил вас в список тех, с кем мне хотелось бы встретиться и побеседовать. И если вы готовы участвовать в таком проекте, то я хотел бы задать вам кое-какие вопросы.

– Как велик ваш список? – спросил Блюбаум.

– Он невелик, но это пока... Одного из них вы знаете – это д-р Кромас. Вторым в списке идете вы.

– Похоже, вы только начинаете работать над проектом, – заметил д-р Блюбаум.

– Не совсем, в свое время на меня произвел большое впечатление наш школьный преподаватель физики и астрономии, и я перенес на бумагу всё, что мне удалось узнать о нем. Он, кстати, рассказал нам о том, что Иммануил Кант был создателем космогонической гипотезы, согласно которой наша Солнечная система возникла из первоначальной туманности. В свое время мы с Эриком Кромасом побывали на могиле философа в Калининграде, раньше этот город назывался Кенигсберг. Кроме того, я однажды посетил виллу «Капут» на озере Ванзее, принадлежавшую когда-то Альберту Эйнштейну.

Как видно, всё это понравилось Блюбауму, и он решил поддерживать разговор

– Как интересно! Я был знаком с одним из сотрудников профессора Эйнштейна, его звали Валентин Шрайбман.

– О да, была такая книга Шрайбмана «Годы с Эйнштейном».

Д-р Блюбаум внимательно посмотрел на меня и чуть заметно кивнул:

– Что ж, я постараюсь по мере сил и возможностей ответить на ваши вопросы, – и добавил: я помню его с пятилетнего возраста. Тогда мы жили в Шанхае. Вот с кем вам бы стоило побеседовать. Я узнал от него очень многое и многим ему обязан.

– А на каком языке вы разговаривали? – спросил я

– На русском, он очень прилично говорил по-русски, с польским акцентом, разумеется. Не очень сильным. Он был любителем музыки.

– Замечательно! – и я сообщил д-ру Блюбауму, что подготовил

несколько вопросов, с которых хотел бы начать нашу беседу. И прежде всего, внести ясность в вопрос о псевдониме автора романа «Тень жакаранды».

– Видите ли, это интригует читателя. До какой степени Лань Шу, автор романа, и его комментатор – совпадают в вашем лице?

Д-р Блюбаум задумался на мгновение.

– Ну, Лань Шу – это, конечно, псевдоним, придуманный мной еще в Мельбурне, в самом начале работы над текстом и утвержденный позднее в Лондоне, в кабинете главного редактора издательства, если уж раскрывать все тайны. Лань Шу можно было бы указать как Ланьсэ Дэ Шу, «дерево синего цвета», здесь мы возвращаемся к жакаранде, фиалковому дереву... Я же при этом остаюсь тем, кто я есть, – Стивен Блюбаум...

Сначала он быстро произнес «Стивен», а уж затем добавил «Блюбаум» – фамилия прозвучала так, что акцент, ударение – да вся окраска слова пришились на сине-зелено-фиолетовое пятно «баум» – дерево, поддерживающее безграничную желтизну Поднебесной.

– Впрочем, связь с Поднебесной – это то, что я домыслил сам, – признался он с легким смехом. – Но, видите ли, Стивен Блюбаум – это имя для солидного врача, такого, как мой дед или как отец, а псевдоним Лань Шу позволяет мне вспоминать мое детство, погруженное в бескрайние желтые просторы Китая. Вопрос же для меня состоял не в том, чтобы произвести впечатление на читателя, а в том, чтобы помочь мне самому войти в определенное состояние, состояние повествователя. Что же до комментариев, то я работал над их составлением исходя из того, что я, собственно говоря, и есть ни кто иной, как д-р Блюбаум.

– То есть вы хотите сказать, что можете трансформировать свою психику до такой степени, что становитесь другим человеком?

– До определенной степени, – признался он, улыбнулся, и я почувствовал, что ему не хочется продолжать обсуждение вопроса о возможностях и пределах трансформации психики.

– Ну да, – внезапно продолжил Блюбаум, – об этом мы могли бы поговорить в другой раз, а сейчас давайте договоримся, что Лань Шу – это мой псевдоним. Видите ли, – добавил он, – я верю в даосскую теорию об именах: мы должны их изменять, выбирая новые дороги. И после раздумий я пришел к выводу, что роман следует опубликовать под псевдонимом. Корпус романа состоит из собственно повествовательной части и отступлений, содержащих комментарии и пояснения, и поскольку мне пришлось писать все эти комментарии, я решил, что этого никак не следует скрывать... Так что и автор, и комментатор в данном случае – одно и то же физическое лицо, которое существует в двух ипостасях. Что-то вроде раздвоения личности в психиатрии, – легко улыбнулся он.

– Видели ли вы заросли бамбука, – продолжал он после паузы, –

бамбуковые рощи, где поют птицы, тенистые бамбуковые аллеи?.. Знакомы ли вам бамбуковые рощи?

– Да нет, пожалуй, – признался я.

– Ну да, понимаю, скорее вам знакомы лиственные или таежные леса... Но бамбуковые заросли – они совсем иные, и одна из их особенностей в том, что они растут и разрастаются с невероятной, совершенно несравнимой ни с чем скоростью... Слышали ли вы когда-нибудь о китайской казни: человека укладывают на землю, на ростки бамбука, и они за ночь прорастают сквозь него? Ну, а роман этот, я надеюсь, несет в себе нечто родственное бамбуковым аллеям со щебечущими птицами...

Должен признаться, что к этому моменту чай, которым угостил меня д-р Блюбаум, уже оказал свое просветляющее воздействие, о котором говорил он, и фамилия Блюбаум каким-то образом начала сплетаться у меня в сознании с фамилией Лань Шу. «Блю Баум–Лань Шу», – слышал я один голос, «Лань Шу – Блю Баум», – отвечал ему другой. Передо мною возникла железная дорога, на которой китайские станции Лань Шу и Блю Баум бесконечно и неотвратно сменяли друг друга. И так это продолжалось до тех пор, пока мы не вышли из номера и не спустились вниз в лобби, выведившее на обширную, глядящую в сторону моря веранду отеля, откуда мы проследовали в конференц-зал, где проходило нечто вроде коктейль-пати по случаю открытия конференции; публика ожидала выступления министра по науке – и когда случайно возникший перед нами собеседник, толком не расслышав фамилию моего спутника, попросил повторить ее помедленнее, тот, усмехнувшись, выговорил ее так, что «Блюбаум» прозвучало недвусмысленно.

Оставалось допустить, что всё, мне почудившееся, было и в самом деле миражом, фата-морганой, призраком или химерой. И я был уже готов принять это за данность, но припомнил слова Эрика об увлечениях Блюбаума.

– Это непростой персонаж, – предупредил Эрик, – он поклонник ряда экзотических теорий о структуре личности. Так что зачастую ему удается увести разговоры куда-то в сторону эзотерики.

«Восточные практики, – подумал я, – вот в чем, наверное, всё дело... Так вот они откуда, эти бамбуковые аллеи и китайские сады, – всё это не только из рассказов его отца или матери, из их воспоминаний о чудесах Китая, услышанных им в Австралии. Ведь если Стивен попал в Австралию тринадцати-четырнадцати лет отроду, то он, конечно же, не раз побывал в подобных садах и бродил по бамбуковым аллеям, освещенным заходящим солнцем...» Затем я попытался взглянуть на д-ра Блюбаума как бы со стороны, но ничего необычного в нем, пожалуй, не было. Он стоял у стены, держа в правой руке высокий стакан со смесью кампари и лимонного сока, и внимательно

глядел на маслинку, которую прицепил маленькой пластмассовой вилочкой с одного из блюдов, стоявших на столике вместе с остальными кулинарными прелестями. Всё вокруг тонуло в море голосов. Шла обычная коктейль-парти; слева на балконе играл маленький оркестр, солнце уже зашло, но было светло, веера пальм подрагивали под вздохами долетавших с моря ленивых порывов ветра. Дальше, за перилами балкона, тянувшегося вдоль крыши фасада, шли редкие пальмы – вернее, небольшие группки пальм, полоса песка, а за ним – море, разрезанное убегающими вглубь синего пространства волн каменными плитами причалов... По пляжу бродило несколько человек, две пары играли в мяч, это было что-то вроде пляжного волейбола.

Примерно через час мы решили покинуть зал и пройти по набережной. Министр уже выступил, все руки были пожаты, все приличествующие случаю фразы сказаны, так что же еще оставалось делать?

– Ну так что ж, вернемся в наши бамбуковые аллеи? – предложил д-р Блюбаум, и я согласился; по каким-то неясным мне причинам этому гостю Тель-Авива хотелось выговориться, и мне, очевидно, не стоило этому мешать.

Вскоре, однако, я понял причину разговорчивости Блюбаума: он собирался побывать на кладбище в Хайфе, где были похоронены его дед и бабка, и выразил надежду на то, что я смогу составить ему компанию в этой поездке. Естественно, мне ничего не оставалось, как принять предложение.

– Есть у меня и тетка, – добавил он, – зовут ее Таль, и она несколько старше меня. Живет на юге страны в весьма живописной деревушке, в мошаве. Там и ее семья – муж, дети и внуки. Я повидаюсь с ними позднее.

На следующий день мы уехали в Хайфу на автобусе и, как мне показалось, более всего нашего гостя впечатлил виадук, построенный еще во времена римского владычества, мимо которого мы проезжали. Виадук, как заметил д-р Блюбаум, совершенно не изменился со времени его предыдущего визита в эти края.

– Видите ли, – внезапно признался Блюбаум, – вскоре мне предстоит уйти на пенсию. Ну да, за мной останется кабинет в университете и право использования библиотекой. Не знаю, однако, насколько меня интересует это. Иногда я думаю о том, чтобы уехать из Австралии и даже переехать куда-нибудь сюда, к морю. Моя австралийская пенсия, я уверен, обеспечит мне вполне комфортабельную жизнь на этом берегу. Возможно, мне удастся поехать по Европе... Помимо этого я хотел бы побывать в Одессе, где жили мои родственники, прибывшие туда из Германии и Польши. Возможно, они собирались направиться из Одессы дальше, в Южную Америку, это было

популярное направление в те годы... Ну а мне, я думаю, стоило бы пожить здесь...

– Думаю, что здесь вы сможете следовать вашему призванию, писать... Ведь у вас есть о чем рассказать людям. Ваши родители, молодость, переезд из Китая в Австралию, в общем, всё то, что заставило вас писать... Надеюсь, вас не смущает то, что я говорю о писательстве как о принуждении...

Прошло еще три дня, конференция закончилась, и д-р Блюбаум покинул Тель-Авив вместе с другими ее участниками, пообещав в скором времени вернуться.

– Скорее всего, это вопрос полугода. Дело в том, что я, кажется, нашел правильную формулу для моей предстоящей жизни. Я завершу все дела в Мельбурне, к тому времени местный агент подыщет мне подходящую квартиру где-нибудь здесь, у моря. Получу паспорт и буду жить, сколько пожелаю. Ну и наконец, я смогу выезжать в Европу время от времени. Ведь как просто – несколько часов, и ты в Европе. А из Мельбурна лететь, скажем, в Париж – никак не меньше суток. А то и подольше, в зависимости от стыковки. Вот таковы мои планы на будущее.

На следующий день после его отъезда я встретился с Эриком. Тот был в хорошем настроении и сообщил, что закончил сбор текстов докладов с конференции и передал их в редколлегию, которая подготовит к публикации сборник «Сверхновые: новые подходы к старым проблемам».

– Что ж, работа заполняет нашу жизнь и сообщает ей цель и направление, – сказал Эрик, – не так ли? А как наш друг, д-р Блюбаум? Надеюсь, он всем доволен?

– В принципе, да, – ответил я, – он собирается выйти на пенсию – хотя тщательно избегает этого слова, купить квартиру, переехать сюда и ездить время от времени в Европу. Я думаю, он возьмется за мемуары.

– Да, – согласился Эрик, – мемуары – это нечто почти неизбежное... Но если они будут зашифрованы таким же образом, как его первый роман, мы вряд ли сумеем понять, что это его воспоминания...

– Ну, будут мемуары, рассказанные в жанре фэнтези.

– Так может быть, этот его роман – и есть фэнтези-мемуары? Как ты полагаешь?

– Люди довольно часто избегают разговоров о том, что было... Или о том, как это было на самом деле... Однако мне кажется, что ему хочется, и даже необходимо, говорить о прошлом...

ГЛАВА 8.

Когда-то, еще в юности, Эрик говорил, что я, по-видимому, наделен достаточно высоким уровнем эмпатии. В то время меня одолева-

ли разного рода сомнения, многие истины казались мне небезупречными. Все эти волнующие нас вопросы мы с Эриком обсуждали во время поездки в Восточную Пруссию, в последнюю нашу школьную осень. Ездили мы туда всем классом, в школьном автобусе, вместе с преподававшим историю директором школы.

Мы остановились в Зеленоградске, в прошлом – старом прусском городе Кранце на берегу Балтийского моря. Места для ночлега отыскались в здании местной школы, по соседству с пляжем, и после завтрака мы отправились на пляж в поисках янтаря. А днем поехали в город, основанный тевтонцами на столетия позднее Риги.

Могила Иммануила Канта находилась неподалеку от развалин Замка Трех Королей. По углам параллелепипеда из черного мрамора стояли черные чугунные трубы, соединенные провисавшими до земли толстыми железными цепями. Позади надгробия – единственная оставшаяся невредимой стена кафедрального собора. Руины его не снесли только потому, что у стен был похоронен автор «Критики чистого разума». За мраморным надгробием с именем философа и датами его жизни темнел вход на сохранившуюся в стене собора винтовую кирпичную лестницу; она привела меня на крышу. Отсюда видны были развалины замка на холме у места слияния двух рукавов реки Прегель, вымощенные булыжниками улицы, старинные дома, виллы и желтеющие кроны деревьев. В двухстах метрах к северу от развалин замка, за Оперным театром, находился блиндаж, в котором в апреле 1945 года был подписан акт о капитуляции немецких войск. Значительная часть города лежала в развалинах, что напомнило мне послевоенную Одессу.

По возвращении в Ригу я подошел к преподавателю физики и астрономии с вопросом, о каком, собственно, «моральном законе внутри нас» говорит Кант.

– «То, что ненавистно тебе, не делай другому, – в этом вся мудрость, а остальное – комментарии...», – ответил он, и что-то лукавое блеснуло в его глазах.

Позднее, уже в Тель-Авиве, я узнал, что преподаватель физики повторил известные слова Гиллеля, мудреца эпохи Второго Храма, жившего за восемнадцать столетий до Канта.

Прошло еще несколько месяцев, и однажды у меня на Нордау раздался телефонный звонок. Звонил Стивен Блюбаум. Он сообщил мне свой новый номер телефона и адрес. Оказалось, что он всего несколько дней как прилетел в Тель-Авив и теперь живет недалеко от меня.

Город, где он поселился, называется Бат Ям, Дочь моря – Русалка, на севере он граничит с Яффо. Двигаясь из древнего Яффо на север, попадаешь в Тель-Авив. Дорога на машине из одного конца в другой занимает минут двадцать, не более.

– Переезд в Хайфу был бы слишком сильным жестом, который неизбежно оказал бы определенное влияние на меня, – пояснил Блюбаум однажды.

По-видимому он предпочитал не делать каких-либо решительных шагов и просто приобрел себе квартиру у моря, где мог проводить полгода, – те самые, на которые в Австралии приходится зима. В Бат Яме он поселился в пентхаузе на двенадцатом этаже здания на нависающем над пляжем холме, где разместил привезенную из Мельбурна мебель, китайские статуэтки, значительное количество книг и китайской графики, акварелей и рисунков тушью, приобретенных когда-то его отцом в Шанхае.

Он установил у себя на балконе небольшой телескоп, но возможность наблюдений звездного неба зависела от интенсивности вечернего освещения на пляже. Несколько уроков астрономии, преподанных мне Блюбаумом, показались захватывающе интересными. Впрочем, как это уже ясно, я бесконечно далек от астрономии и ее проблем.

Итак, я не раз приезжал к нему из Тель-Авива; он рассказывал мне о событиях своей жизни. Иногда мы располагались в креслах в его выходящей на веранду гостиной, иногда выходили на веранду, к телескопу – близость этого прибора отчего-то вдохновляла его...

Обычно мы обсуждали то, что происходило вокруг – политику, новости и даже вопросы вневременных цивилизаций. Следует сказать, что д-ра Блюбаума интересовало множество проблем древней истории. Он начал изучать иврит и завел разнообразных знакомых на курсах по изучению этого древнего, но чрезвычайно живого языка. Помимо того, он пытался разобраться в тонкостях иудейского календаря и летоисчисления, начинающегося с момента сотворения *олам*, изменяющегося мира. Иногда он спрашивал у меня, что я думаю по поводу той или иной книги или фильма, оказавшихся в центре внимания, но никаких литературных дискуссий мы с ним никогда не вели – по-моему, его совершенно не интересовали подобные темы. Постепенно у меня сложилось впечатление, что я постоянно общаюсь с д-ром Блюбаумом, но никогда – с Лань Шу, так я это для себя сформулировал. Он всегда был повернут ко мне одной стороной.

Однажды за джином с тоником и ломтиком лимона – а он никогда не пил ничего крепче – мне пришел в голову вопрос: «А существует ли эта, вторая, сторона?» Если я пытался направить разговор в интересующее меня русло, он легко уходил от темы в сторону астрономических подробностей и отступлений.

Несколько раз я приезжал к нему с Эриком, но в присутствии Эрика разговор обычно вращался вокруг профессиональной деятельности ученых и лишь изредка менял направление. Обычно при этом они забывали обо мне; вспоминая в какой-то момент, пытались отыскать понятные для всех темы. Так прошел год, а за ним и второй.

Однажды, поинтересовавшись у Блюбаума, собирается ли он в Мельбурн, услышал в ответ нечто неопределенное о каких-то трудностях, обстоятельствах и всё еще неутраченных вопросах... Я решил не углубляться. Какие-то непроясненные вопросы, казалось мне, имущественного или матримониального характера. Какие-то подробности... И не следует больше беспокоить человека. В конце концов, следовало предоставить д-ру Блюбауму возможность рассказывать именно то, что ему хотелось рассказать... Ну а что касается остального, то и оно как-то проявит себя. Или не проявит. Что ж поделаешь, такова жизнь, есть пределы, нарушать которые не следует хотя бы оттого, чтобы другие вели себя по отношению к тебе подобным же образом... И я решил умерить свое любопытство и спокойно плыть вперед против течения времени... Постепенно всё раскроется и станет ясным, думал я, продолжая делать заметки, основанные на рассказах Стивена Блюбаума, посвященных его прошлому. Начавшихся с того разговора о бамбуковых аллеях в Шанхае – городе, куда судьба забросила отца моего собеседника, молодого судового врача Сергея Аркадьевича Блюбаума, выпускника медицинского факультета Императорского Новороссийского университета в Одессе...

Постепенно у меня накопилось достаточно записей в блокноте, озаглавленном «Блюбаум», и в один прекрасный день я спросил у Стивена, насколько связано его обращение к литературе с тем влиянием, которое оказал на него отец? В ответ д-р Блюбаум вздохнул, внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Что ж, вопрос этот вполне естественный, но мне трудно ответить на него. Наверное, главное состоит в том, что отец мой всегда был частью моей жизни, в той или иной мере, признавал я это или нет... Вы ведь неслучайно расспрашивали меня о моих литературных вкусах и пристрастиях. Что я мог сказать вам в ответ? Почти ничего, кроме нескольких общих слов... Так вот, идея написания романа пришла вслед за некоторыми случившимися со мной и близкими мне людьми событиями. Вот нашло что-то на меня, и я уселся писать... Написан роман был на одном дыхании. Я предложил его нескольким австралийским издательствам, но не преуспел. Как сообщил мне один из них, «у нас в Австралии не очень-то интересуются китайской историей и, несмотря на все литературные достоинства представленного вами текста, мы не можем позволить себе финансовый риск публикации романа с совершенно неясной перспективой продаж...» Короче говоря, они предлагали мне оплатить издание романа, что показалось мне совершенно неприемлемым. Обстоятельства сложились так, что мне хотелось издать этот текст несмотря ни на что; он стал какой-то частью моей жизни... И я начал думать о публикации романа в Англии или в США. Роман мой, как я понял к тому време-

ни, был далек от совершенства, его следовало доработать, в том числе и язык – в нем присутствовали некоторые русизмы и специфические австралийские выражения. Естественно, я начал поиски редактора, но такого, который смог бы оценить достоинства оригинала и отредактировать его. Поверьте, такая работа по плечу далеко не каждому переводчику или редактору. В конце концов, поиски привели меня а Лондон, где я познакомился с Борисом Бруком, когда-то писавшем о моем отце, и он согласился проделать всю требуемую работу. Более того, работа над текстом увлекла его, и он предложил мне написать своего рода комментарий к тексту романа, с тем, чтобы облегчить понимание его будущему читателю. Борис несколько освежил текст и, надо сказать, сделал это весьма элегантно. То, что действие романа разворачивается в Китае, укрепило меня в намерении представить роман как написанный неким Лань Шу и дополненный моими комментариями. Надо ли говорить о том, что Борис Брук оказал мне весьма существенную помощь, познакомив с издателем... Но всё это длинная история, и за один вечер ее не рассказать. Для меня же главное то, что роман увидел, наконец, свет... И цель, которую я ставил перед собой, достигнута. Естественно, я согласился с требованием Бориса ни в коем случае не раскрывать его участия в этом проекте до тех пор, пока он не сочтет возможным. Поэтому в первую нашу встречу я был вынужден несколько отойти от того, как было на самом деле... теа сiлра, и поверьте, я сожалею об этом... Но идея наша с Борисом состояла в том, что книга привлечет к себе больше внимания, если она появится так же внезапно и окруженная ореолом какой-то недоговоренности или тайны, как появлялись в свое время «гостевые звезды», так в древнем Китае называли Сверхновые...

ГЛАВА 9.

Как известно, вскоре после неожиданной смерти д-ра Блюбаума, последовавшей отрыву тромба и случившемуся вслед этому инсульту, бумаги покойного оказались в литературном архиве Тель-Авивского университета. В сущности же, речь идет лишь о части его архива, связанной с литературными дерзаниями профессора. Аккуратно разложенные в папки и снабженные буквенно-цифровыми индексами, документы были переданы в архив дочерью профессора, прибывшей в городок Бат Ям на берегу Средиземного моря из курортного Байрон Бэй в австралийском штате Квинсленд, для того, чтобы вступить во владение унаследованной ею квартирой и всем остальным земным достоянием покойного.

В нижеследующих частях данного повествования, основанного на записях из архива д-ра Блюбаума и пояснениях Эрика, я постарался сохранить ощущение бьющегося, как живая рыба в руках, рассказа, поскольку оригинальный авторский текст то уходит в подробности,

обрастая деталями, то вдруг фиксирует в двух-трех строчках то обстоятельство, что со времени последней встречи автора записок с тем или иным персонажем прошло уже несколько лет. И, пожалуй, единственное разумное предположение относительно содержимого папок из архива д-ра Блюбаума, которое приходит мне на ум, состоит в том, что папки эти содержат записи профессора, пытавшегося припомнить и зафиксировать какие-то моменты, стороны и обстоятельства жизни своей семьи и своей жизни в той последовательности, в которой они, скорее всего, происходили. Можно ли, однако, утверждать, что профессор точен и, следовательно, правдив в изложении ряда ситуаций и событий? Не уверен... Однако, произошло то, что произошло, и мы имеем только то, что имеем. Столкнувшись с описанным, я счел необходимым рассказать о том, что узнал, о чем догадываюсь и что предполагал, внося как можно меньше изменений и дополнений в содержательную основу записок, оставленных Стивеном Блюбаумом.

И всё же, понимая, что последовательность изложения должна соблюдаться хотя бы из соображений, связанных с доступностью текста, мне пришлось несколько упорядочить записи и заполнить, по возможности кратко, некоторые лакуны в повествовании. Что же касается истории диалога людей и Неба, случившейся в Австралии, о которой я собираюсь рассказать, следуя той тропинке, по которой провели меня беседы со Стивеном Блюбаумом и его записки, то сведения об истории этой и ее участниках дошли до меня из нескольких источников... Да и сама эта история стала известна мне постепенно...

Часть 2

ГЛАВА 1.

При рождении младенца назвали Сергеем по настоянию его матери, Розалии Марковны, преподававшей музыку и сочинявшей несложные для исполнения, но живые и непосредственные музыкальные пьесы для детей. Ей нравилось имя Сергей, его латинское звучание, но еще больше ей нравилось производное от него имя Серж. Розалия Марковна происходила из достаточно состоятельной еврейской семьи, была прекрасно образована и читала романы и стихи не только на русском и на французском, но иногда, как, например, в случае вольнодумной и дерзкой поэзии Генриха Гейне, и на немецком.

Однако не все родственники были готовы принять имя мальчика без оговорок, вследствие этого у Сергея-Сержа было еще одно, не тайное, но и не часто употребляемое еврейское семейное имя Ося, производное от «Осия», что означает «спасение». Первый из двенадцати малых пророков, автор Книги Осии жил около 752-721 годов до н.э. в Самарии.

Отца Сержа звали Аркадий Вениаминович; это был крупный,

спокойный кареглазый мужчина в очках в тонкой позолоченной оправе, которому шла седина; он коротко стригся, и мерцание седины создавало некое подобие ореола вокруг его головы. Высокий, двухметрового роста мужчина могучего сложения, он любил длинные неспешные прогулки в хорошую погоду, в дождливые, ветреные или снежные дни предпочитал находиться дома и, если то был выходной, оставался до полудня в халате и читал газеты, сидя в своем любимом черном кожаном кресле и попивая чай с лимоном из своего любимого стакана в серебряном подстаканнике. Иногда, в конце долгого дня он любил пригубить рюмку-другую шустовского коньяка, закусив глоток опьяняющей жидкости ломтиком лимона или темными греческими маслинами.

В свое время, уже завершив учебу в Берлине, где ему довелось слушать лекции самого Гельмгольца, он приехал навестить живших в Одессе родственников и там встретил свою будущую жену. Вообще же доктор Блюбаум был выходцем из Кракова, поселившимся в Одессе, рассказы о которой всегда привлекали его присутствовавшим на заднем плане Черным морем, сообщавшим всякому повествованию удаленный морской гул и резкий освежающий запах соли.

Ну а теперь, годы спустя после появления в этом городе, он, ныне известный одесский офтальмолог, много и успешно оперировавший, к мнению которого прислушивался сам профессор Филатов, беседуя со своей женой о будущем их единственного сына, всегда указывал на то, что медицина должна стать областью приложения его способностей – при том, что уже с самых детских лет Сержа ясно было, что мальчик широко и щедро одарен.

Обаяние Сержа не осталось незамеченным, на его легкую походку и длинные ресницы обращали внимание девушки. Присутствовала к тому же в облике и манере общения Сережи той поры еще и дополнительная поэтическая нотка, как-то раз заставившая Катю Каменцеву сказать своей подруге: «Ах, этот Сережа Блюбаум, он так меня волнует...», – сказать, дерзко рассмеявшись при этом, как будто эти две девушки, Катя и ее подруга Лена Одинцова, были одни на улице с акациями, бежавшей мимо Оперного театра, представлявшего собой точную копию одного из театров Вены.

В детстве Сережа увлекался чтением «Жизни животных» А.Э. Брэма в десяти томах, но ко времени успешного окончания гимназии, Сергей Блюбаум собирался заниматься изучением географии, истории и языков, что, по мнению его отца, отнюдь не сулило спокойного и обеспеченного будущего. В конечном счете Серж внял увещаниям отца и матери, полагавших, что выпускники медицинского факультета университета гораздо реже вступают на путь революционеров и бомбистов, нежели выпускники таких факультетов, как историко-филологический или юридический.

Итак, Сергей Аркадьевич занялся изучением латыни, анатомии и прочих обязательных на медицинском факультете предметов, из которых более других заинтересовали его физиология высшей нервной деятельности и психиатрия. Следует отметить при этом, что Аркадий Вениаминович в глубине души был склонен соглашаться с сыном, когда тот утверждал, что говорить о спокойствии и стабильности во времена, о которых идет речь, можно только в каком-то весьма относительном смысле. К тому же и родителям, и сыну казалось замечательным то обстоятельство, что ехать за получением образования куда-либо на Север, в столицы или даже за границу не было нужды, ибо Одесский медицинский институт был основан в 1900 году как факультет Императорского Новороссийского университета.

В отличие от своего гиганта-отца, Сережа был строен, изящен и чертами лица пошел, скорее, в мать с ее артистичной и эффектной внешностью. Он был эмоционален, порывист и чувствителен; «у него тонкая кожа», сказали бы сегодня, но он умел быть организованным и держал себя в руках, не отдаваясь омывавшим его сознание эмоциям. Быть может, это случилось благодаря счастливому сочетанию генов, а может, благодаря приличному музыкальному образованию, полученному дома.

Но что же еще предшествовало этому столь важному для нашего повествования появлению Сережи Блюбаума в Китае?

Позднее, уже в пожилом возрасте, сам Сергей Аркадьевич – всегда, кстати говоря, сохранявший бодрость духа, обычно начинал свой рассказ с времени, когда из Одессы ушли французы и англичане вместе с их кораблями, стоявшими на рейде, и пришла новая власть... Вскоре после того начался голод, и немедленно же начала работать организация под названием ЧК, расстреливавшая людей среди бела дня под звуки работающих без глушителей автомобильных моторов. Но всё это не изменило ни лепные скульптуры на фасадах одесских домов, ни цветения «граммофончиков» на клумбах, ни шума Привоза, ни сияния, ухотившего в даль моря, если глядеть на него с высоты Потемкинской лестницы.

К тому времени Сережа закончил обучение на медицинском факультете, стал врачом и, благодаря связям отца с местным начальством, чьи дети и жены, не говоря уже о них самих, нуждались в услугах отличного врача-окулиста, начал свою жизнь на море в должности судового врача на сухогрузе, приписанном к Черноморскому пароходству. К работе своей он приступил исполненный ожидания встречи с морем и иными берегами, с другой жизнью – что снова подтолкнуло его к оставленному было писанию стихов, благо в плавании у него оставалось достаточно свободного времени для этого. Он усаживался за откидной столик в своей небольшой каюте, глядел в открытый иллюминатор и записывал то, что шло ему на ум. Строчки, слова, меж-

дометия... Иногда он задавал себе беспокоившие его вопросы. Например, было ли контрабандой то, чем с дозволения и по указанию властей занимался Сережа в дополнение к своей врачебной деятельности?

По поручению одесских руководителей нарздравотдела Сережа занимался закупками старых и новых необходимых медицинских препаратов и медицинского инструментария. Закупки имели ограниченный, частный характер и предназначались для узкого круга пациентов и нескольких доверенных врачей, одним из которых был его отец, допущенный – среди других лучших специалистов – к лечению высших должностных лиц и их родственников. Еще одна характерная черта того времени состояла в том, что тем же врачам, что оказывали медицинские услуги представителям правящего класса, приходилось лечить и новую клиентуру, возникшую в период НЭПа, получавшую лекарства и медицинское оборудование из-за границы несколькими путями.

Поначалу, первые годы «Капитан Воздвиженский» выполнял рейсы в Крым и в Батум, но по мере развития отношений с Турцией стал заходить и в Константинополь, а несколько позднее, оставив позади Золотой Рог и Мраморное море, выходил в Средиземное море и направлялся в Салоники, доставляя в порты этих стран – а оттуда в Одессу – грузы, связанные с региональной торговлей сельхозпродуктами; и в каждом из портов, где более или менее регулярно появлялся сухогруз, у Сергея Блюбаума постепенно возникли некоторые специфические привычки или, скорее, ритуалы, связанные с посещением определенных мест, которые, в итоге, привели к одной почти что случайной встрече...

Несомненно, в каком-то весьма определенном смысле встреча эта казалась случайной, но по прошествии времени – а мы не можем отрицать, что обычно рассказываем о своей или чужой жизни, словно бы оглядываясь назад, в прошлое, – так вот, по прошествии времени встреча эта представляется нам хоть и случайной, но, в сущности своей, предопределенной сложившимися к тому моменту обстоятельствами.

Однажды ранней весной 1927 года в Салониках к Сергею Аркадьевичу, сидевшему за столиком в кафе, куда он непременно заглядывал в каждое свое появление в городе по причине открывавшегося оттуда великолепного вида, к нему обратился молодой человек, вполне недурно говорящий по-русски, судя по всему, болгарин. Лицо молодого человека показалось Сергею Аркадьевичу смутно знакомым и позднее он вспомнил, что обратил внимание на него еще прежде, когда сей молодой человек, словно ожидая кого-то, прохаживался по причалу, к которому был пришвартован «Капитан Воздвиженский». Ну а теперь, в кафе, этот молодой человек, примерно тех же лет, что и Серж, попросил уделить ему несколько минут, и Сергей Аркадьевич

не видел причин отказать ему в этом. В завершение не слишком продолжительного разговора за кофе и узо этот молодой человек попросил Сержа передать письмо по указанному на конверте одесскому адресу. Ничего, кроме семейных новостей и пожеланий здоровья, текст письма не содержал.

Сергей Аркадьевич согласился передать письмо из рук в руки и по возвращении отнес письмо по указанному адресу. Оказавшись в большой и светлой квартире на ул. Щепкина, он познакомился с ее обитателем – известным болгарским анархистом Христо Велевым, скрывавшимся от болгарской полиции после неудавшегося покушения на царя Бориса. Покинув Болгарию, Велев нашел надежное убежище в Одессе, где его опекали местные сотрудники ГПУ.

За четыре проведенных в Одессе года Велев успел обзавестись семьей. Жену его звали Горпина; она часто готовила Велеву борщ, галушки и голубцы со сметаной, икру из «синеньких» и вареники с вишнями; родила ему прелестную дочку Агнию и присматривала за Велевым по поручению НКВД, еженедельно представляя своему руководству безграмотные «дневники наблюдений».

Иногда, выпив рюмку-другую самогона, она напевала популярную в те годы в Одессе песенку:

Была весна, цвела сирень и пели пташечки,
Картину ставили тогда «Багдадский вор»,
Глаза зеленые и желтые ботиночки,
Зажгли в душе моей пылающий костер...

Велев пил самогон, закусывал маринованным болгарским перцем и украинским салом, пытался читать Маркса, но засыпал и жаловался на ухудшающееся зрение.

Прошло некоторое время после получения обитателем квартиры по ул. Щепкина письма из Салоник, и старый, или вернее – старший, д-р Блюбаум, начал сложный и длинный процесс лечения Христо Велева от надвигающейся слепоты. Прошло еще несколько месяцев, и одним из интересных следствий множества усилий доктора Блюбаума по спасению зрения Христо Велева стало то, что мы вправе назвать прозрением старого анархиста, оказавшегося в состоянии разглядеть ужаснувшие его черты строя, установленного большевиками на просторах бывшей Российской империи.

Именно в ту пору Христо почувствовал, что его тянет домой, в родные горы, на Стару Планину. Впрочем, он был достаточно умен, хитер и опытен для того, чтобы делиться своими желаниями и надеждами с сотрудниками одесской ЧК. Вместо этого Велев обратился к доктору Блюбауму с деловым предложением: он брался вывезти доктора, его жену и сына Сержа в Грецию, вывезти их на том же грече-

ском суденышке, что под прикрытием ночи вывезет и его вместе с ними, – при одном только условии, а именно: доктор Блюбаум оплатит стоимость этого опасного рейса хорошо знакомому греку Панайоту Ставраки, время от времени привозившему морем в Одессу товары, доступные избранным жителям города за валюту или в обмен на золотые изделия, – не забывайте, это были времена НЭПа.

– С Панайотом я знаком со старых еще времен, – сообщил Христо, – он уже оказывал мне кое-какие услуги, и у нас нет никаких нерешенных вопросов. Думаю, и в этот раз всё будет хорошо. Но расплатиться с ним надо долларами или золотом. Ну, может быть, сойдут и бриллианты, но о них надо договариваться особо, их следует оценить у третьих лиц, а это непросто, так что лучше всего – доллары.

Вопрос о долларах и золоте требует дальнейшего пояснения. И доллары, и золото позарез нужны были руководству, проводившей индустриализацию страны. Поскольку властям не хватало валюты и золота, в стране была создана система магазинов «Торгсин» – как бы для торговли с иностранцами, где продавали качественные иностранные изделия, начиная от посуды, тканей и до последних чудес радиотехники, доступных покупателям за всё те же доллары и золото. Кроме того, продолжая славные традиции ЧК, ОГПУ ввело практику арестов тех или иных людей, которые, согласно оценке и ожиданиям указанных органов, могли внести определенную сумму за свое освобождение. Такова была нормальная практика того времени. Арестованных бесконечно допрашивали, избивали, шантажировали возможностью ареста близких и требовали от них назначенный выкуп. Некоторые бывшие коммерсанты платили, за других платили их близкие; кто-то сходил с ума, а кто-то попросту погибал в застенках.

Слушая рассказы об этой, случившейся со знакомыми людьми напасти, супруга д-ра Блюбаума Розалия Марковна трепетала от страха, справедливо полагая, что рано или поздно за ее мужем придут те же самые люди, детей и жен которых он лечил, или, как она говорила, их «подручные». Она уговаривала мужа переехать куда-нибудь подальше от глаз всевидящих органов, но доктор Блюбаум понимал, что переезд «куда-нибудь подальше» отнюдь не является наилучшим решением вопроса, хотя и может послужить в качестве временного варианта. При всем при том он любил Одессу и привил эту любовь своему сыну. Он любил синие летние одесские ночи и осенние падающие звезды. Ему нравилось высокое летнее голубое небо, каштаны и акации. Потемкинская лестница, улица Пушкинская, кафе «Фанкони», приморский бульвар со зданием Оперы и памятник дюку де Ришелье вызывали у него самые что ни на есть сентиментальные чувства. И, наконец, в Одессе было море; время от времени оно снилось ему в далекие его студенческие годы в Берлине. Эту свою любовь к морю он сумел передать плававшему, как рыба, сыну, кото-

рому с детства рассказывал истории о путешествиях Лемюэля Гулливера и приключениях Робинзона Крузо.

Рожденная в Одессе Розалия Марковна, была, однако, неумолима. Один из ее дедов был когда-то давно биндюжником, а позднее стал одним из создателей одесской конки; у другого была маслобойка, а родители ее владели известной в Одессе аптекой на Марзливской. Музыкой она занималась под руководством самого Якова Ткача, получившего музыкальное образование в Париже у Рауля Пюньо, пианиста и композитора, прославившегося как своими сочинениями, так и редактированием сочинений Шопена и Массне.

– Аркадий, – говорила Розалия Марковна, – мы пережили Великую войну, революции, Гражданскую войну, погромы; мы пережили французов и англичан, голод; вот сейчас у нас новая власть, НЭП, и в городе идут новые посадки... Все наши родственники разъехались по границам. Может быть, пора уже что-то сделать? Неужели ты думаешь, что всё это обойдет нас стороной?

Эти и подобные им сентенции сделали жизнь доктора Блюбаума невыносимой – при том, что он понимал: жена права и откладывать до бесконечности решение вопроса невозможно...

В конце концов произошло нечто невероятное: доктор Блюбаум принял предложение Христо Велева, болгарского анархиста.

– Ваша жизнь и жизнь вашей семьи в опасности, – сказал ему Велев, – так же, как и моя жизнь. Они могут заняться нами в любой момент, достаточно посмотреть на то, что творится вокруг. Я предлагаю вам объединить наши усилия. Я не обратился бы к вам, если бы мог полностью доверять Панайоту. Но если ему дадут деньги в Салониках заранее, мы можем оказаться в глупом положении. Вы понимаете меня, доктор? Получить деньги по окончании дела он не согласен, половина – при погрузке на фелюгу, половина – после рейса в порту прибытия. Вот его последнее слово. Сдавать нас ему неинтересно, грабить – тоже; сумма, которую он просит, достаточно высока, но оно того стоит. Слово за вами, доктор. Четверть платы я верну вам в Греции. К тому же, – добавил он, – я зову вас не куда-нибудь, а в Салоники. Там старая и богатая еврейская община. Местные евреи помогут вам уехать куда-нибудь подальше от России. А до этого вам и не стоит где-либо показываться. В Салониках я пристрою вас пожить в монастыре, есть у меня знакомый настоятель, которому тоже следует подлечить зрение. И, наконец, у вас и вашего сына есть оружие?

– У меня есть револьвер, – ответил доктор Блюбаум. – Наган, калибр 7,62 мм. Когда-то я привез его из Германии, Там я посещал тир и учился стрелять в цель. Это было модно. А моего сына я учил стрелять сам, за городом. Он стрелял по пустым бутылкам. Стрелял неплохо. В наше время это, увы, необходимое умение. А как у вас с патронами? У меня всего одна обойма.

– Ну, этих маслин у меня предостаточно, – ответил Велев, разделявший любовь доктора Блюбаума к темным греческим маслинам и скучавший по настоящей болгарской брынзе вместе с испеченными на углях баклажанами. К тому же он был подлинным ценителем кизиловой ракии, которую любил пить зимой, подогретой. Именно о ней, о ракии, медленно, как мед, наполняющей стакан, он и думал, продолжая свою беседу с доктором Блюбаумом.

– Я найду оружие для вашего сына. В конце концов, нас будет трое и их будет трое, и я перестреляю их всех, если потребуется, но тогда нам придется самим прокладывать курс, а в этом у меня не очень большой опыт. Кроме того, нам предстоит пройти Босфор, Мраморное море и Дарданеллы, прежде чем мы попадем в Эгейское море, – то есть придется иметь дело с турками. У нас и у греков тяжелые отношения с турками, но, насколько мне известно, у Панайота неплохие взаимовыгодные связи с турецкими пограничниками и таможеней. Он платит им каждый раз, пересекая границу. Так что надеюсь, оружие сделает ситуацию достаточно устойчивой, и мы без приключений придем в Салоники.

Доктору Блюбауму понравилось то, как Христо Велев смотрел на проблемы, которые могли возникнуть в ходе побега из Одессы. «Он не скрывает трудностей предприятия, – подумал доктор Блюбаум, – но Панайот Ставраки осуществлял подобные морские переходы не раз, и, скорее всего, можно рассчитывать на успех.» К тому же, доктору Блюбауму нравился Христо Велев: было в нем что-то настоящее, подлинное; доктор чувствовал, что Христо действительно верит в то, о чем говорит. И Аркадий Вениаминович подумал еще и о том, что болгарину должно быть непросто общаться со всей этой «чекистской мразью», так он называл про себя эту новую породу хозяев жизни. Христо доверял своей удаче, оружию, морской волне и парусу, и доктор чувствовал, что и сам склонен доверять морю, которое он любил просто за то, что для него оно, как и музыка, всегда было воплощением свободы и красоты – понятий, что всегда присутствовали в его сознании и которых он не стыдился.

Доктор задумался, оглядел свой кабинет, услышал звуки фортепиано в гостиной и согласился.

В тот же вечер старый доктор Блюбаум обсудил с сыном Сержем некоторые вопросы, связанные с их предстоящим отплытием. При этом сын попросил Аркадия Вениаминовича устроить всё так, чтобы совместное с Велевым бегство произошло в ночь, предшествующую очередному отплытию «Капитана Воздвиженского» в Салоники.

– Днем накануне я получу список закупок и деньги, – объяснил он отцу. – Они нам не помешают.

Доктор Блюбаум подумал, что ему не стоит начинать какие-либо дискуссии по поводу высказанного сыном предложения.

– Хорошо, – сказал он.

«Похоже, сын уже стал взрослым человеком», – подумал доктор, понимая, что они окажутся в достаточно стесненных обстоятельствах после выплаты Панайоту обозначенной суммы. Правда, Велев обещал вернуть четвертую часть, но кто знает, как сложится его судьба после прибытия в Грецию. И кто знает, как сложится судьба теперь уже тесно связанного с ним семейства Блюбаум?

Обычно за день до отплытия «Капитана Воздвиженского» Сергей Аркадьевич приходил к полудню в приемную к начальнику Черноморского пароходства и, получив от него крупную сумму в долларах, которую привозили из Одесского банка, расписывался, после чего забирал отпечатанный на машинке список того, что следовало привезти из Греции, вместе с указанием примерных цен на запрашиваемые товары.

– Смотри, Сережа, не подведи, – говорил ему обычно начальник пароходства, после чего доставал из сейфа бутылку коньяка и предлагал выпить по рюмке «на посошок». Затем Сережа покидал управление пароходства на служебном «Опеле». На следующее утро за ним заезжал помполит на всё том же «Опеле» и доставлял Сержу с черным саквояжем в руке на борт разводившего пары «Капитана Воздвиженского».

Оказавшись на судне, Серж Блюбаум помещал пакет с пачкой купюр в сейф, вмонтированный в пространство между стенкой каюты и наружной обшивкой судна. О происхождении этих долларов Сережа никогда не задумывался, полагая, что они появились в результате каких-то афер сотрудников ГПУ, выбивавших и вымогавших деньги для строительства социалистического государства.

...Прошел месяц, и Аркадий Вениаминович сообщил Велеву о том, что готов отправиться в дорогу, и передал ему список удобных для отплытия дней.

Вскоре Сергей Аркадьевич снова оказался в Салониках и, передав написанное Велевым письмо встреченному им в кафе молодому человеку, через два часа получил адресованный Христо Велеву ответ в виде письма в запечатанном конверте.

ГЛАВА 2.

Еще через месяц и неделю, в достаточно поздний час ночи доктор Блюбаум, его жена, сын, и, что важно, Христо Велев оказались на пляже в Люстдорфе, на берегу открытого моря – там, где морской бриз свободно гулял над выжженными солнцем просторами причерноморской степи.

В то время это место называли «Люстдорф», и оно было доста-

точно хорошо знакомо доктору Блюбауму, так как сочетание морского и степного климата и живописные окрестности поселения, его цветущие сады и виноградники привлекали в Люстдорф немало одесских семей, выезжавших из города на лето.

До революции поселок Люстдорф (то есть «Веселую деревню») населяли немцы. Первые десять семей из Вюртемберга появились на этом берегу в 1805 году и назвали новый поселок Кайзергеймом. Как и все остальные немецкие колонии, городок был выстроен по четко продуманному плану: с лютеранской кирхой в центре, школой и зданием управы. Поселок трудолюбивых колонистов процветал – щедрые украинские земли давали хорошие урожаи, торговля шла «на ура»; со временем в поселке начал работать театр, который ставил пьесы на нескольких языках и даже успешно гастролировал.

Что же до названия Люстдорф, то оно возникло после визита в Кайзергейм одесского градоначальника герцога или, как его называли в Одессе, дюка де Ришелье, которому очень понравилась немецкая «веселая деревня». Правда, добираться туда из Одессы было долго и неудобно. Известно, что одна из одесских знакомых А.Пушкина сказала однажды, через несколько десятилетий после того, как поэт покинул Одессу: «О, Париж, но это так далеко... где-то за Люстдорфом». Поэтому практичные немцы первыми провели линию электрического трамвайчика от Люстдорфа до 16-й станции Большого Фонтана, – и это произошло, когда по Одессе еще бегал «паровичок». На трамвайчике, идущем через прибрежную степь, можно добраться в Черноморку и сегодня.

Проблемы у люстдорфских немцев начались после революции, с началом раскулачиваний, репрессий и борьбы с религией. Кирха, естественно, была снесена, от нее остался лишь флигель. Ну а позднее, уже после изгнания немцев-колонистов, это поселение стали называть Черноморкой, но одесситы продолжали говорить «Люстдорф» еще несколько десятилетий.

Но давайте мысленно перенесемся на пляж, откуда семейство Блюбаум, ведомое Христо Велевым, устремилось в большой мир. Итак, наступал вечер. Слева был еще виден мыс «Большой Фонтан» с маяком и куполами Свято-Успенского мужского монастыря; справа, на правом берегу Сухого лимана, – Буговы хутора. В Люстдорфе не было волнорезов, и берег свободно омывали волны открытого моря, а пляж постоянно менял свой профиль из-за смываемого в море песка. Рыбаки ловили здесь камбалу, глоссу и бычков, а баркасу легко было подойти к берегу, где его ждали беглецы, и доставить на фелюгу людей, ожидавших ее прибытия на краю сухого песка.

На пляж в Люстдорфе Блюбаумы попали на черном «Форде Т», принадлежавшем до этого одному из знакомых Велева, испытывавшего финансовые трудности: Христо внес залог за автомобиль и выку-

пил его у владельца в вечер перед отъездом, завершив взятый им курс вождения из нескольких уроков, которые были оплачены отдельно.

– Без авто нам не обойтись, – объяснил Велев доктору Блюбауму, – ведь мы не можем ехать туда на трамвае, а если что-то случится и Панайот не появится, мы вернемся в Одессу и разъедемся по домам.

– Жаль его бросать, – признался Велев позднее, уже в день отъезда, притормозив у люстдорфского пляжа и углядев бледное пятно паруса приближавшейся фелюги, – жаль, но жизнь дороже... Надеюсь, он тут долго без нас не простоит и попадет в хорошие руки.

Фелюга, прибывшая за Велевым и семейством Блюбаум, была оснащена нешумным шведским мотором в 60 лошадиных сил, скорость ее доходила до 8 морских миль в час. При выключенном моторе фелюга шла под косым парусом на двух реях. Осадка ее не превышала одного метра. Судно могло принять на борт до десяти пассажиров; команда же ее в данном случае состояла из трех человек, а именно Янаки, Ставраки и папаши Сотыроса, и это были их подлинные имена, согласно свидетельству уроженца Одессы поэта Э.Багрицкого.

Здесь следует сделать небольшое отступление и сказать, что в те времена многие люди при любой возможности бежали из Страны Советов, следуя примеру тех, кто уже эмигрировал, и тех, кто был выслан.

Укажем при этом лишь на то, что бегство семьи Сережи Блюбаума проходило в достаточно драматичных обстоятельствах – с Христо Велевым, на борту легкого одномачтового суденушка, принадлежавшего греческим контрабандистам. Они, разумеется, рисковали, но, как оказалось, Христо трезво оценил ситуацию.

Хозяин фелюги Панайот Ставраки был родом из Салоник и прекрасно понимал, что никакого смысла грабить и убивать доверившихся ему людей нет, к тому же репутация Христо Велева заставляла задумываться и людей более опытных, чем Ставраки. Этот грек, серьезно относившийся ко всему, что он делал, и к своей репутации *честного* контрабандиста, да к тому же и человек верующий, считал, что не стоит увеличивать число своих грехов сверх необходимости. В случае успешного побега план, разработанный отцом и сыном Блюбаумами, включал в себя будущее укоренение семьи в Хайфе, крупнейшем в регионе приморским городе, известном своим портом, древней историей и тем, что был центром нелегальной иммиграции, – именно туда обычно устремлялись евреи из Германии и Польши, вдохновленные идеей «новостарой земли» и возрождения еврейского государства в Палестине.

Разумеется, существовали и другие места, куда могли бы устремиться наши беглецы. Существовала за океаном Америка, и не только Северная, но и Южная, и, в конце концов, существовали такие удаленные места как Австралия и Новая Зеландия. Но реальность многих, если не всех вышеупомянутых географических названий представля-

лась им как бы в туманной дали. В особенности же туманными были в то время перспективы укоренения в Европе, ибо покинув Советскую Россию, они вскоре поняли, что та важная особенность жизни представителей еврейского племени – а именно, возможность преследований, с которыми они, как ни тяжело и печально вспоминать, привыкли жить, – здесь, в Южной Европе, стала достаточно ясной и отчетливой после зарождения движений националистического типа, явно напоминавших черносотенцев...

Оказавшись в Салониках, Аркадий Вениаминович и его жена начали осознавать это даже в большей мере, чем можно было представить в Одессе, и ожидания их после недолгого периода колебаний вновь оказались связаны с Хайфой – где уже давно, еще со времен войны 14-го года, жила большая разветвленная семья старшего брата Аркадия Вениаминовича, эмигрировавшая в Палестину из Кракова. Связь с этими родственниками Аркадий Вениаминович поддерживал, хотя и нерегулярно, однако известия от них приходили в Одессу достаточно часто для того, чтобы не дать утихнуть чувству интереса к их судьбам. Помимо родственных чувств, само намерение лорда Бальфура поддержать создание в Палестине «еврейского национального очага» казалось им чем-то ослепительно новым и невероятным, – как оказалось, всё именно так и обстояло, мир менялся с огромной скоростью... Разгорались конфликты, вспыхивали войны, и предсказать будущее было сложнее, чем когда-либо, – вопреки Альберту Эйнштейну, посетившего Палестину в начале 1920-х годов и высказавшего большой оптимизм по поводу предприятия, затеянного его собратьями-евреями. Правда, были и разного рода сомнения, связанные с периодическими вспышками насилия по отношению к евреям, и связанные с этим опасения не покидали отца и мать Сережи Блюбаума.

Впрочем, разного рода сомнения всегда присутствуют у людей, покидающих места, к которым они привыкли и где когда-то были счастливы, пусть и короткое время..

ГЛАВА 3.

В конечном счете при поддержке нескольких влиятельных членов еврейской общины в Салониках всем трем членам семейства Блюбаум удалось довольно быстро получить удостоверения беженцев, а вслед за этим и нансеновские паспорта. Несколько больше времени потребовалось на то, чтобы заручиться содействием британского консула и получить «сертификаты» от британских властей на поселение в подмандатной Британии Палестине.

Так наши путешественники, или, вернее, беглецы, Сергей Аркадьевич, Аркадий Вениаминович и Розалия Марковна Блюбаумы в конце концов оказались в Хайфе 1927 года – и совершенно легальным образом.

В ту пору в городе, где строился и расширялся порт, евреи составляли треть жителей, которых всего-то было тысяч пятьдесят. Первый год прожили Блюбаумы в принадлежавшем их родственникам доме, в одном из удаленных от моря районов, а когда после кровавых событий 1929 года евреи и арабы размежевались, и евреи ушли в верхний город Хадар-Кармель, семья поселилась в доме на улице имени доктора Пауля Эрлиха, выходящей на центральную площадь одной из обширных террас на склоне горы Кармель.

Вскоре после приезда в Хайфу доктор Блюбаум-старший начал принимать больных и оперировать раненых в местной больнице, не расставаясь со своим «наганом» калибра 7,62 мм, который он приобрел еще в начале века в Германии и использовал во время еврейских погромов в Одессе 1903 года, присоединившись к одному из отрядов самообороны. Жена его Розалия Марковна вскоре после прибытия в Хайфу начала давать уроки музыки детям эмигрантов из Европы. Но сначала Блюбаумы приобрели старое английское фортепиано, имени производителя которого она никогда не слыхала ранее. Позднее, впрочем, они заказали и приобрели через музыкальный магазин фортепиано фирмы «Бехштейн». Ну а их сын Серж начал работать в поликлинике при местной больнице, занимаясь амбулаторным лечением ушибов, переломов, ножевых ранений и других последствий драк, нападений, несчастных случаев и иных неприятных событий, случавшихся с жителями города и путешественниками. Ему приходилось иметь дело с самой разнообразной публикой, состоявшей из наркоманов, воров, проституток, преступников и их жертв и полицейских. Несколько раз его жизнь была в опасности; как-то наркоман бросился на него с ножом, другой сломал ему пару ребер. Но Сергей Аркадьевич защищался и разбил графин с водой о голову нападавшего, после чего на Сергея Аркадьевича уже больше никто не нападал.

Дожди в Хайфе шли с ноября по апрель, но зимой было тепло. Море и спускавшийся к нему горный массив спасали от чрезмерного холода районы, расположенные у подножья горы Кармель, районы же на горе страдали от сильных ветров. Летом в Хайфе было не слишком жарко, и Сержу нравился приятный и влажный летний воздух, но после весеннего равноденствия начинался изнуряюще жаркий штормовой ветер «хамсин», продолжавшийся около пятидесяти дней. Говорили, что всё это повторяется из года в год. Потом «хамсин» исчезал и возвращались яркие и влажные дни.

В течение всего последовавшего года молодой доктор Блюбаум использовал каждую возможность для поездок по окрестностям Хайфы и побывал во множестве мест, начиная с Цфата, города кабалистов, и заканчивая возвышающимся надо всем небесным градом Иерусалимом с его уцелевшими башнями, Стеной плача и гробницей царя Давида...

Серж и его родители побывали на озере Кинерет и на Мертвом море, увидели гробницу Иосифа в Шхеме и посетили места, где когда-то стояли ныне невидимые стены Иерихона, сокрушенные во времена Иисуса Навина звуками или, быть может, воем священных труб...

Позднее, уже в годы жизни в Австралии, Сергей Аркадьевич вспоминал, как непросто было ему свыкнуться с этим совершенно иным, словно бы внезапно обрушившимся на него миром Ближнего Востока и Палестины. Иногда ему даже снилось, что он погребен заживо в каких-то циклопических обломках каменных стен и куполов...

Спасение снова пришло к нему в виде писания стихов, дававших хотя бы на время облегчение от подминающего его под себя бремени, каким казалась ему окружающая его и требовавшая соучастия жизнь. Стихи эти частью не сохранились, во всяком случае их автор всегда отмахивался от предложений почитать что-либо из своей ранней лирики. Более того, рассказывал его сын Стивен Блюбаум, отец совершенно искренне утверждал, что стихи, написанные в Палестине, зачастую были подражательными, указывая при этом на одну строфу из стихотворения Бориса Пастернака:

Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре.

Писанием стихов Серж занимался обычно поздними вечерами, иногда вернувшись с очередного свидания с одной из прелестниц этого многонационального в ту пору города, где разного рода секс и интимные отношения были почти что естественной валютой в различного рода непростых ситуациях.

ГЛАВА 4.

Так прошло два года, и Сержу Блюбауму повезло – он получил предложение занять должность помощника главного судового врача на туристическом лайнере «Патагония», направлявшемся из Портсмута в трехмиллионный Шанхай и обратно со множеством стоянок у причалов, лежащих на пути судна крупных известных морских городов. К тому времени Серж уже достаточно прилично говорил по-английски, частные уроки языка, которые он посещал в Хайфе, не прошли даром. Возможно, тут сыграло свою роль и страстное желание Сержа вернуться в море, чтобы осуществить свои юношеские мечты о путешествиях.

Прислушиваясь к перестуку дрожащих ступенек трапа, по которым он легко взбежал на борт «Патагонии», Сережа отметил, что звучат они почти так же, как ступеньки трапа «Капитана Воздвижен-

ского» – хотя «Патагония» была одним из лучших лайнеров компании «P&O» – иными словами, «Pacific and Orient», Тихий океан и Восток, – и каждое его появление в порту Хайфы было важным событием городской жизни. Известно было, что в списках пассажиров «Патагонии» присутствовали и имена членов королевской семьи.

После нескольких проведенных на судне дней, в ходе которых Серж знакомился с условиями и требованиями своей службы, он спросил у себя: «А как мне придется расплачиваться за всё это?» К тому времени он уже ясно понимал, что в мире – как объяснили ему еще в Хайфе на уроках английского языка – не существует таких явлений как «бесплатный ланч». «There is no such thing as a free lunch». «Ну что ж, – подумал он, – в конце концов, я узнаю и это.»

Маршрут лайнера включал остановки в Марселе, Хайфе, Калькутте, Сингапуре и Гонконге, На обратном пути из Шанхая запланированы были стоянки в портах Греции и Италии. Между тем помощник главного врача, руководивший работой лазарета, исчез, что обнаружилось в Средиземном море, когда, пройдя мимо берегов Испании и оставив позади Гибралтар, судно покинуло Марсель и направилось в Хайфу.

– Скорее всего нашего м-ра Томпсона прирезали в каком-нибудь кабаке, – сказал второй помощник капитана, диктуя помощнику штурмана, исполнявшему обязанности радиотелеграфиста, послание представителю мореходной компании «P&O» в Хайфе. Послание содержало просьбу отыскать замену исчезнувшему помощнику судового врача.

Место это, по счастливому стечению обстоятельств, как позднее говорил сам Сергей Аркадьевич Блюбаум, досталось именно ему – в силу решения, принятого м-ром Мэтьюзом, пожилым англичанином, заведовавшим офисом компании «P&O» в Хайфе. М-р Мэтьюз остановил свой выбор именно на Серже, возможно, в силу того, что за год до того англичанин оказался пациентом молодого д-ра Блюбаума в местной больнице, куда обратился за консультацией по поводу не очень значительного, но периодически досаждавшего ему раздражения кожи на левой руке в районе запястья, – и мазь, прописанная Сержем Блюбаумом, ему помогла.

Плавание оказалось лишь первым в серии многих, созданных случаем и судьбой для того, казалось, чтобы сделать Серēju Блюбаума счастливым, – ведь ему с детства хотелось знакомиться с географией, историей и языками народов, населявших мир, в котором он жил. И, надо отметить, что никакие повороты всемирной истории не смогли ослабить это его стремление, а самое поразительное – сама судьба словно пошла ему навстречу и подкинула такую возможность – подкинула легко да еще и подмигнув при этом.

Что же до родителей Сергея Аркадьевича, то в течение всех этих и последовавших лет их жизнь была связана с Хайфой, где у них

вскоре после того, как Серж ушел в море, родилась дочь Авиталь, Тали или Таль, что переводится с иврита просто как «роса».

– Она упала нам в руки внезапно, как роса, – пояснил выбор этого имени несколько смущенный отец новорожденной. Розалии же Марковне, гордой матери прекрасной, кудрявой и темноглазой девочки с ямочками на розовых щечках нравилось, что в имени дочери присутствовало слово «вита», что на латыни означает «жизнь».

ГЛАВА 5.

Поднимаясь на борт «Патагонии», Сережа Блюбаум, разумеется, еще не знал, что Шанхай, где он окажется через несколько недель, этот крупнейший в те годы финансовый и торговый центр Дальнего Востока, и есть тот город, где «сойдет на берег». Но до того, как укорениться в Шанхае, он будет в течение трех лет плавать в качестве помощника судового врача.

Выполняя обязанности заместителя начальника лазарета, он обратил на себя благосклонное внимание д-ра Джордана, возглавлявшего медицинские службы на «Патагонии», и тот в разговоре с подчиненными называл его «our Russian doctor»; он также представил Сержу судовому священнику англиканской церкви м-ру Кабберли, который через некоторое время начал готовить его к таинству крещения. Решению о переходе в англиканство предшествовала долгая беседа Сергея Аркадьевича с доктором Джорданом уже на обратном пути из Шанхая в Портсмут. Аргументация д-ра Джордана была проста: «Да, Сергей, вы, как мы знаем, бежали из России, при этом вы – хороший врач и весьма прилично говорите по-английски. Однако у вас нет подданства, а есть только так называемый палестинский паспорт, к тому же вы не христианин, что делает всю картину несколько более сложной, чем хотелось бы. Если бы вы решились предпринять кое-какие шаги в указанном направлении, то я, безусловно, оказал бы вам полное содействие в вопросе вашего перевода с временной должности на постоянную и уверен, вы ее получите, чему мы все будем рады. При этом я хотел бы быть предельно ясным: делая вам это предложение, я лишь учитываю требования кадровой политики, сформулированной управлением пароходства. Ничего личного, друг мой».

Тут, как это обнаружил много позднее Сергей Аркадьевич, не обошлось без определенного, заготовленного загодя плана: когда через несколько лет м-р Джордан сошел на берег в Шанхае и открыл медицинскую клинику в английском сэттльменте, он предложил Сержу последовать за ним и начать работать у него. М-ру Джордану нравилось помогать тем людям, в признательности которых он был уверен. «Этого, как видно, мне не избежать, если я хочу работать с такими людьми, – думал Сергей Аркадьевич, вспоминая свой послед-

ний разговор с д-ром Джорданом. – Ведь я, в сущности, беженец из России. И потом, согласно м-ру Джордану, ‘плавать по морям и не верить в Бога было бы проявлением полного бесчувствия’.»

Рожденный в горной шотландской деревушке, м-р Кабберли закончил теологическое отделение университета в Эдинбурге и иногда с грустью вспоминал годы, проведенные в этом городе на холмах, товарищей по факультету, вместе с которыми сидел на лекциях и пил пиво. Когда-то давно, во времена Марии Стюарт, Кабберли были в числе ее сторонников, но времена изменились и однажды, упомянув ее имя, м-р Кабберли не стал выражать какого-либо сожаления по поводу ее смерти на плахе. «Такова логика истории», – пояснил м-р Кабберли. Ничего не оставалось, как согласиться со священником, но даже принимая во внимание пресловутую «логику истории», Сержу казалось несколько странным, что главой Англиканской Церкви был английский монарх... – впрочем, в конце концов, он воспринял это как дань уважения к национальной истории и традициям.

Что до родителей, Серж не считал нужным сообщить им о том, что присоединился к Англиканской Церкви. «Для меня это вопрос ритуальный и прагматичный, – рассуждал он, – и никаких новых этических горизонтов мое знакомство с основами христианского учения в мою жизнь не привнесло.» Общение Сержа с темноволосым и темноголазым уроженцем горной Шотландии м-ром Кабберли, в висках которого уже присутствовало немало седины, – как и чтение Библии в переводе короля Джеймса – существенно улучшили его знание английского и пробудили в нем интерес к поэзии английских романтиков начала девятнадцатого века, к судьбам всех этих дерзких и отважных безумцев, которые устремились прочь из Англии, писали замечательные стихи и поэмы, участвовали в освободительных войнах и однажды породили Франкенштейна, сидя со своими подругами в засыпанном снегом швейцарском шале и вдохновляясь опытами изучавших «животное электричество» Гальвани и Вольта. Правда, конец этих юношей был печален – они тонули или погибали от туберкулеза и других болезней в достаточно молодом возрасте, – в общем, всё было весьма похоже на то, что не раз случалось с поэтами и в России.

Серж, как он полагал, вполне достаточно поездил по историческим местам Палестины и в ходе поездок и общения с самыми разными людьми, обживавшими библейские края, постепенно осознал, что места, которые он посетил, волнуют его, скорее, как арена прошедших и вполне состоявшихся уже событий мировой истории, нежели как часть истории предполагаемой страны его будущего обитания. В конечном счете, он понял, что идея жизни в Палестине не привлекала его, да и сама идея или чувство принадлежности к создававшейся на этой земле новой общности людей его лично никак не волновали, – ведь он, в сущности, считал себя воспитанным в рамках и традициях

светской и нерелигиозной европейской культуры начала века. При этом он каким-то непостижимым образом сочетал в своем поведении элементы, естественные для убежденного рационалиста, – с некоторым даже налетом юношеского цинизма и со склонностью к неискоренимому, вопреки проповедям родителей, и даже культивируемому им самим индивидуализму.

В свое время, еще в Одессе, он под влиянием некоторых друзей подумывал о том, чтобы креститься, дабы узаконить или формализовать свой разрыв со старым еврейским наследием, к которому и он, и его родители имели лишь поверхностное отношение, подумывал даже перейти в православие – что определенным образом подтвердило бы ту его связь с русской жизнью и культурой, которую он чувствовал и переживал очень живо. Позднее Сергей Аркадьевич пришел к мысли о том, что околдован и пленен русским языком, но отнюдь не всем, что произошло на его ниве, – многое из того, чему он был свидетелем, увы, казалось ему бесконечно чуждым и даже враждебным.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог», – вспомнил он начало Евангелия от Иоанна. И подумал, будь он философом, непременно постарался бы постичь все возможные смысловые оттенки этого утверждения. Но он отдавал себе отчет и в том, что не был рожден для этого мудреного занятия, а что касается Слова, то он предпочитал то, что можно было полагать его, Слова, плотью...

«Итак, – сказал он себе с усмешкой, – мы заговорили уже о плоти языка, и вот на этом давайте остановимся... Наверное мы говорим о том переживании, что является общим для латиниста и писавшего когда-то на латыни поэта, стихи которого латинист читает, поражаясь их звучанию и гармонии. Переживания эти или чувства манят и манят неодолимо, словно голоса сирен... Вот так древние уже знали всё об этом, и Одиссей попросту бежал от сирен и их голосов – домой, на Итаку... Только где моя Итака?...» Он спрашивал себя, понимая, что находится Итака, увы, не в Одессе.

Справедливости ради следует отметить, что, как и многих других молодых людей того времени, привлекал Сержа и католицизм. Увлечение возникло в связи с занятиями латынью, выведившими будущего врача не только за пределы гимназической латыни, но и за пределы знания, необходимого для изучения медицины.

Уроки латыни со старым профессором Войцеховским, известным переводчиком античных авторов, и совместное с ним чтение старых поэтов увлекли Сержа безмерно. Рассказ профессора о судьбе Овидия, сосланного Августом на далекие от Рима берега Черного моря, открыл ему еще одну версию судьбы поэта. Однако на очередном этапе изучения наследия римских поэтов профессор Войцеховский неожиданно исчез, бежав, как оказалось, вместе со своей библиотекой в Крым.

Узнав о его бегстве, Серж подумал, что ему, как видно, не сужде-

но стать католиком. К тому же, говорил он себе, если поглядеть на такой шаг со стороны, то более всего это будет похоже на изменение расцветки у бабочек для лучшего приспособления к среде. В конце концов, лучше уж быть отверженным, нежели членом любого коллектива.

Но что действительно оказалось важным в те годы в Одессе, когда его занимали эти вопросы, так это то, что именно тогда ему стало совершенно ясно: он всё еще достаточно почитает отца и мать, чтобы не креститься, понимая, что при всей их безрелигиозности, он, тем не менее, станет причиной определенного сорта тревог или тяжелых переживаний. Итак, разочарование настигло его и здесь. В конце концов, сказал он себе, если я не верую, то мне не от чего и отказываться. И забудем всё это, соответственно.

Ну а что касается инициированного м-ром Джорданом обращения, то ведь и Париж стоил бедни. Ну а что уж говорить о Париже, коли нам судьбой предназначен Шанхай... Ведь тут, в этой нашей жизни каждому назначено свое...

Три года, проведенных на борту «Пагагонии», используемой для круизов класса «люкс», позволили ему побывать в основных портах Европы, Азии и Тихого океана. Продолжительные стоянки превращали плавание в подобие длительных увеселительных прогулок, что оставляло Сергею Аркадьевичу достаточно времени для углубления и расширения его познаний в медицине под неусыпным наблюдением д-ра Джордана. И, конечно, то была удача; с д-ром Джорданом ему определено повезло. Это был прекрасный диагност с замечательно чутким ухом и всё замечающими глазами; с руками, улавливавшими незаметные глазу судорожные подергивания; врач с большим опытом, знакомый, в том числе, и с болезнями, характерными для стран с влажным и жарким климатом; – в то же время, человек весьма консервативных взглядов, дитя старой эпохи, помнивший чуть ли не сэра Сесилия Родса. При этом Серж понимал, что его согласие на предложение стать прихожанином Англиканской Церкви помогло укрепить доверие м-ра Джордана к нему и желание англичанина видеть Сержа своим сотрудником. «М-р Джордан и я, – пришло ему в голову однажды, – есть не что иное, как Робинзон и Пятница.» Какая прелесть – эта старая литература, которой он увлекся под влиянием отца, большого поклонника романов Д.Дефо.

Стоит, пожалуй, упомянуть и то, что по истечении этих трех проведенных в море лет, у Сергея Блюбаума помимо палестинского паспорта появился еще один ценный документ, полученный им после успешного прохождения ряда экзаменов. Указанный документ представлял ему право заниматься медицинской практикой в качестве врача-терапевта на всех территориях, находящихся под управлением британской короны. Об этом свидетельствовали подписи членов ква-

лификационной комиссии, составленной из практикующих медиков и сотрудников медицинского факультета Шанхайского университета, уполномоченных на то местной британской администрацией.

Получив этот документ, он покинул флот, распрощался с морем и сошел на берег

«Так кто же я теперь? – спросил он себя в первый же вечер. – Еврей по рождению, крещеный, прихожанин, но агностик по существу, обладатель палестинского паспорта, врач, и даже, надеюсь, поэт, чей родной язык – русский.» Таким образом, думал он, ситуация моя отнюдь не упростилась, наоборот, она стала сложнее. В сущности же, он полагал себя врачом, да и отношение его к жизни сформировалось, в основном, под влиянием лекций и практических занятий на медицинском факультете и посещения прозекторской, да и занятия свои поэзией он считал проявлением какой-то «болезни», которая не требовала лечения, хотя и выкручивала его до самой сути, признавался он. И он снова пил, курил и писал стихи, почти утонув в большом кожаном кресле. Это была болезнь, приступов которой, по его словам, он всегда с готовностью ожидал, но которые приходили внезапно, подобно роковому выстрелу в «русской рулетке» или неожиданно блеснувшей молнии, которой следовали раскаты грома и потоки шанхайского ливня...

Часть 3.

ГЛАВА 1.

Впоследствии он иногда вспоминал то чувство, что испытал, впервые оказавшись на переполненном людскими потоками набережной Vunde с ее серыми китайскими каменными львами, рядами важных и мрачных зданий банков, гостиниц и офисных зданий с белыми куполами и колоннами, которые тянулись на милью вдоль изгиба медленной и серой реки Хуанпу – основной торговой артерии, проходящей через сердце города. По этой набережной днем и ночью спешили по своим делам китайцы, слонялись глазающие туристы из Европы и спустившиеся на берег моряки; брели куда-то попавшие в город русские эмигранты, проезжали в больших «авто» британские, французские, японские и американские предприниматели, служащие банков и компаний. Здесь же крутились шайки местных мелких жуликов, рикши везли своих пассажиров, а полицейские наблюдали за происходящим. И над всем этим стоял уплывавший в серые с голубым небеса шум, в котором сливались человеческие голоса, автомобильные клаксоны и корабельные гудки. В воздухе пахло смесью сои, переваренного риса, сливовых соусов, мужских духов и опиума.

В то время город переживал период бурного роста из-за того, что Нанкинский договор 1842 года, заключенный после окончания «опи-

умной войны» между Англией и Китаем, предусматривал для европейцев возможность селиться в этом городе без визы. Всего же в международном сеттльменте и Французской концессии проживало около 60 тысяч иностранцев и порядка миллиона китайцев. Французская концессия, где обосновались и русские эмигранты с Дальнего Востока, занимала центр, юг и запад городской части Шанхая. К юго-востоку от Французской концессии располагался обнесенный стеной Китайский город, а к северу – Шанхайский международный сеттльмент. Жили в городе и несколько тысяч японцев, и число их увеличивалось по мере роста appetитов и притязаний правителей Империи Восходящего Солнца.

В 1932 году после месяца боев Китайской армии с японскими войсками Шанхай был объявлен демилитаризованной зоной, а Япония получила право разместить в городе ограниченный воинский контингент. Никаких особых изменений в жизнь международного сеттльмента и в жизнь Французской концессии это не принесло.

На следующий год в Берлине к власти пришли нацисты, но это никак не повлияло на жизнь Шанхая, ибо Берлин был далеко, и, сойдя на берег, Сергей Аркадьевич стал одним из нескольких сотрудников небольшой медицинской клиники в международном сеттльменте, населенном англичанами, американцами, немцами и другими выходцами из Европы. Улицы сеттльмента почти ничем не отличались от такого сабёрба в Южном Лондоне, как, скажем, Фулхэм. За высокими каменными заборами стояли всё те же дома, росли клены и липы, и, наконец, над домами и деревьями возвышалось возведенное из серого камня строение англиканской церкви с увенчанной шпилем башней. Хозяином новооткрывшейся клиники был д-р Джордан.

Надо сказать, что за годы, проведенные в море, Сергей Аркадьевич более или менее привык жить и работать в англоязычной среде, постепенно осознав, что эти люди представляли собой хотя и чужой, но достаточно комфортный для обитания мир, и надежды Сергея Аркадьевича на то, что связи и контакты, возникшие у него за годы работы на море, не преминут оказаться полезными и на суше, вполне оправдались. При всем при том он ощущал себя настоящим блудным сыном по отношению к родителям, оставшимся в Палестине, где то и дело вспыхивали новые очаги насилия над евреями. Впрочем, несмотря на все предложения перевезти родителей и сестру Авиталь в Шанхай, они спокойно, но твердо отказывались. «Очевидно, они во что-то верят, – думал Серж. – Возможно, это даже не вера, а ощущение того, что они не одиноки, что разделяют общую судьбу своего народа, возвращающегося в утерянные когда-то края, несмотря на враждебность арабских соседей и двусмысленные маневры британских властей.» К тому же, похоже было, что резкое ухудшение положение евреев в Германии всё больше убеждало Аркадия Вениамино-

вича и Розалию Марковну в оправданности сделанного ими некогда выбора.

«Мы встретили здесь так много замечательно близких нам по духу, образованию и отношению к жизни людей, что и подумать было бы странно о том, чтобы уехать куда-нибудь из Хайфы, – написал отец в одном из писем своему сыну-путешественнику. – К тому же, здесь мы обеспечены работой и пользуемся поддержкой и уважением родственников, знакомых да и просто людей, с которыми нам приходится встречаться.» Не стоит думать, что Серж был настолько наивен, чтобы принять всё это за чистую монету; он понимал, что какие-то детали, быть может, не самые приятные и интересные, отец опускает в этих адресованных ему письмах, чувствуя, в то же время, что в основе своей то, о чем он пишет отец, – правда. «Что же касается безопасности, то люди прозорливые предпринимают определенные усилия, – добавлял отец ниже, – и я думаю, ты не забыл про пустые бутылки на лесной поляне...», – и Сергей Аркадьевич вспомнил отцовский револьвер марки «Наган» и то, как к отцу приходили за советом члены еврейского отряда самообороны во времена одесских погромов. Помнил он и то, как волновалась Розалия Марковна, когда отец однажды исчез из дому на несколько дней именно в период ожесточенных уличных боев.

В течение своих первых связанных с морем лет Сергей Аркадьевич несколько раз побывал в Хайфе. Сергей Аркадьевич неизменно использовал время стоянок для встреч с родителями, сестрой и родственниками, и каждый раз замечал, что, перебрав новости международной и местной жизни, семейные разговоры устремлялись в связанное с жизнью в Одессе прошлое. Бывало, и нередко, что в своем узком семейном кругу они обсуждали те новости из жизни Одессы и России, что доходили до Хайфы.

Иногда чудом добравшиеся до Палестины и Хайфы беглецы могли рассказать что-то новое о жизни города, что вызывало обычно недоумение или даже потрясение у недоверчивых слушателей. «Не может быть!» – такой комментарий использовался в разговорах довольно часто. Именно это восклицание сорвалось с языка доктора Аркадия Блюбаума, когда ему сообщили о том, что начальник Одесского отделения Черноморского пароходства был расстрелян за растрату государственных средств вскоре после бегства семьи Блюбаум из Одессы. Что касается Сержа, то узнав об этом, он не испытал особых угрызений совести. «Его бы всё равно расстреляли, – подумал он с сожалением. – Неплохой был мужик, но занимал расстрельное место. Во всяком случае, при этом режиме. И работал на него не я один. Так что неизвестно еще, за что, собственно, его расстреляли. Однако мое имя останется замазанным грязью. Валютчик, растратчик, жулик и аферист – таким я останусь в памяти Одессы и

моих друзей», – подумал он и вспомнил Катю Каменцеву, которая давно уже находилась где-то в Европе, в Берлине или даже в Париже, и это соображение его утешило. Единственным печальным следствием всего произошедшего было то, что он, судя по всему, никогда больше не увидит Одессу, путь туда закрыт. Зато он увидит весь остальной мир, думал Серж Блюбаум, ну а если ему повезет, то встретит друзей, бежавших, как и он, из Советского Союза.

В какой-то момент старый д-р Блюбаум и его жена, по-прежнему преподававшая музыку, услышали ту легенду об их побеге, которая возникла и постепенно, как это свойственно многим легендам, пышно расцвела. Легенда рассказывала о шайке анархистов, возглавляемых Христо Велевым и молодым Сержем Блюбаумом, которые под покровом ночи ограбили Одесский банк, где у них были сообщники, и увезли всё одесское золото в Шанхай. Рассказывали и о том, что Серж Блюбаум принудил своих родителей покинуть Одессу, опасаясь, что ими займется ОГПУ. Рассказывали, как не хотел оставлять свою квартиру на Марзлиевского старший доктор Блюбаум и как не хотела Розалия Марковна расставаться со своими учениками, многие из которых стали позднее учениками самого Столярского.

Старший доктор Блюбаум только усмехался; супруга же его, слушая эти рассказы, огорчалась, радуясь лишь тогда, когда до нее доходила новость об успехах одесских пианистов и скрипачей на разного рода международных конкурсах в Брюсселе, Париже и других столицах Европы. В свою очередь, Сергей Аркадьевич немало рассказывал родителям об этих, да и о других, городах Европы и Азии, где ему довелось побывать, и родители его, посетившие разные европейские страны еще во времена свадебного путешествия, постепенно примирились с тем, что сын выбрал для себя жизнь вечного странника.

– Ну что же, – говорил Аркадий Вениаминович, обращаясь к жене, – очевидно, это у него в крови, не зря же он пишет стихи... В конце концов, для поддержания огня в семейном очаге нам, наверное, следовало завести еще и дочку, ну а теперь, когда наша Таль растет и уже крутится возле фортепиано... ну что нам остается? Нам остается любить друг друга и надеяться друг на друга и на людей вокруг. А дружба, слава Богу, у нас есть.

Когда время рассказов и стоянки «Патагонии» подходило к концу, Сережа устремлялся в порт. При этом в глубине души он знал, что Хайфа останется не чужим ему городом и, скорее всего, никогда таким уже не станет. Но время шло и, вспоминая множество людей, встреченных им в молодости, Сергей Блюбаум постепенно понял, что все-таки одно из ярчайших его жизненных впечатлений связано было с фигурой Христо Велева, весь облик которого, казалось, излучал решимость добиться поставленной цели во что бы то ни стало. Серж хорошо запомнил слова Христо, о том, что он без колебаний

пристрелит при необходимости трех греков-контрабандистов. Слова эти с учетом надвигавшейся слепоты Велева могли быть восприняты как пустое бахвальство, но Сережа Блюбаум был уверен, что Христо был абсолютно серьезен...

Кстати говоря, отец действительно обучил Сережу обращению с оружием, он неплохо стрелял по бутылкам, но он не знал, сумеет ли выстрелить в человека, да еще в упор, – полагая, впрочем, что не боги горшки обжигают, и с этой точки зрения Христо представлялся ему человеком, жизненный опыт которого был полным и даже исчерпывающим. Правда, он не знал и никогда, вероятно, не узнает, сумел ли бы Христо покончить с собой при необходимости. Скорее да, чем нет, отвечал он себе, и снова приходил к мысли о том, что жизнь человека есть, в конце концов, не что иное, как игра, «русская рулетка». Впрочем, что до мысли о «русской рулетке», то она до определенной степени поблекла в ходе встреч и бесед со священником «Патагонии» Полом Кабберли, общаясь с которым Серж обнаружил всё то же сочетание укорененности в жизнь и веры в Провидение, в свое время так поразившее его при встрече с Христо. И позднее, размышляя о времени, проведенном в море, молодой д-р Блюбаум не раз вспоминал священника в темной одежде, машущего ему рукой с кормы покидающей шанхайский порт «Патагонии».

Через некоторое время, уже познакомившись с жизнью «русско-го Шанхая», – а число людей, бежавших из России в Шанхай достигло тридцати тысяч, – Сергей Аркадьевич встретил русскую девушку Люсю Дорн, с которой решил обвенчаться, и для того, чтобы повести ее под венец, прошел таинство миропомазания, покаялся и причастился у о. Александра в одной из русских церквей Шанхая, совершив таким образом свой переход из англиканства в православие.

ГЛАВА 2.

Лето в Шанхае начиналось с проливных дождей, после чего становилось влажно и душно. Осень была довольно продолжительная, солнечная и сухая, в ноябре начинался тянувшийся весь месяц листопад, ну а к концу года наступала зима, короткая, но холодная, с пасмурной погодой и температурой, часто опускавшейся ниже нуля. Снег выпадал крайне редко, не более одного-двух раз в году, но бывали и небольшие заморозки, после чего в город приходила короткая, быстрая и изменчивая весна. То и дело шел легкий дождь, тепло сменялось прохладой, и так всё и шло вплоть до начала очередного жаркого и длинного лета с вращающимися лопастями вентилятора под потолком. Со всем этим приходилось мириться, более того, м-р Джордан советовал ему *to keep a stiff upper lip*, то есть выглядеть невозмутимым, шла ли речь о капризах погоды, бытовых неурядицах или о потрясениях мировых масштабов. Сам д-р Джордан со своей при-

ехавшей из Англии семьей жил теперь неподалеку от клиники в уютном двухэтажном доме с зеленой лужайкой перед ним и небольшим водоемом с фонтаном, бьющим на вершине сложенной из камней скалы посреди водоема. Что же до небольшого дома, снятого д-ром Джорданом, то несколько комнат, отведенных под клинику, располагались на первом его этаже, а Серж Блюбаум занимал одну из двух квартир, на которые был разделен второй этаж. Соседствовал с ним м-р Грей, дантист.

Сержу было уже за тридцать. Черты лица его стали тверже, он пристрастился (до известной степени) к алкоголю, начал курить и ценил женщин Востока, с которыми его свела судьба, хотя она же подарила ему один растянувшийся на целый год роман и несколько менее продолжительных связей с отчаянно скучающими обитательницами сэттльмента, занесенными в эти края какими-то воистину невероятными комбинациями обстоятельств, в которых обычно были повинны их авантюризм, склонность к надеждам на лучшее будущее или мужчины, обещаниям которых не стоило верить, – да и просто финансовые неурядицы, из чего следует, что жизнь на Востоке и постоянное пребывание в скользком, изменяющемся окружении сделало Сержа человеком с несколько издерганными нервами.

Он повидал немало мест, названия которых могли взволновать его в прежние годы, когда он только начинал плавать, но через какое-то время был вынужден признать себе в том, что путешествия так или иначе укладываются в определенный паттерн (слово pattern ему нравилось), в определенную угадываемую последовательность с огнями маяка, причала и набережной, с швартовкой и прохождением определенных формальностей перед тем, как выйти на берег, и довольно предсказуемым временем на берегу, проходящим, однако, в самых различных декорациях, ибо Сергею Аркадьевичу довелось побывать во многих великих и малых портах Тихого и Индийского океанов. Следует отметить и то, что оставаясь натурой достаточно чувствительной, хотя именно эту свою сторону Серж неизменно пытался скрыть от окружающих, он ощущал себя блудным сыном еще и по отношению к довольно большой русской общине Шанхая, создававшей в сознании Сергея Блюбаума роль своеобразного заповедника, где говорили на его родном языке и где царил достаточно знакомая по прошлому атмосфера – правда, в совершенно иных обстоятельствах и декорациях. Иногда на него, как он говорил, «что-то находило», и он писал стихи, – надо сказать, некоторые знакомые из шанхайского «Русского дома» с удовольствием его слушали; участвовал он и в работе поэтического кружка «Русский Шанхай», на одном из заседаний которого встретил стройную зеленоглазую девушку с веснушками на белой коже и в шляпке с выбивавшимися из-под нее светлыми, рыжеватыми даже, кудрями. Звали ее Люся Дорн. Оказалось, что она недавно закончила

русскую гимназию в Харбине, а теперь поступила на курсы медсестер при медицинском факультете университета Аврора. Люся хорошо пела, у нее было подвижное колоратурное сопрано, и ее педагог вокала м-ме Стожарская полагала, что у Люси есть будущее, если она будет продолжать брать уроки пения и продолжит изучение итальянского. В прошлом м-ме Стожарская была поначалу солисткой частного оперного театра в Евпатории, принадлежавшего г-ну Зельцеру, он же был и главным дирижером, ну а позднее она солировала в Одесской опере – и эта подробность ее рассказа о себе, как оказалось, вполне соответствовала действительности.

– Поверьте мне, я могу отличить талант от пустышки, – говорила она, – и если бы мы с моим мужем оказались где-нибудь в Европе, то наша жизнь в искусстве продолжалась бы в гораздо более благодарном окружении...

Прошло несколько дней после первой встречи и знакомства Сергея Аркадьевича и Люси, и молодая певица появилась в «Русском доме» в сопровождении матери, Екатерины Андреевны Дорн, строгой, стройной и светловолосой женщины, с голубовато-серыми глазами и туго заплетенной, уложенной венчиком косой. Присутствовало в ее облике нечто, заставлявшее предположить, что она преподаватель какого-то неведомого иностранного языка, хотя на самом деле Екатерина Андреевна преподавала французский и итальянский, причем уроки последнего давала будущим вокалистам еще в Петербурге, где немало людей, помимо будущих вокалистов, хотели овладеть итальянским, чтобы чувствовать себя свободнее, путешествуя по северу Италии, где когда-то невообразимо давно Екатерина Андреевна познакомилась с Александром Ипполитовичем.

Сразу же после того, как Серж был представлен Люсе, а произошло это за кулисами, он, мысленно обращаясь к ней, стал называть ее Люси.

«Серж и Люси – звучит совсем неплохо, – думал он. – Хорошее название для парикмахерской», – и обращался к ней «мадемуазель Дорн».

Светлые с золотистым оттенком, недавно остриженные по моде того времени волосы не достигали плеч, а глаза на расширившемся к скулам лице были обрисованы так, что казались чуть прищуренными. Что же до взгляда ее, то первоначально он оставлял ощущение некоторого высокомерия, через мгновение это ощущение уходило, и лицо Люси с ее небольшим прямым носом и розоватой, слегка приподнятой верхней губой, приобретало выражение восточной маски. Выражение это наводило на мысль о жизни, полной ожидания, проходящей во сне, – что нравилось Сержу. Но достаточно было ей улыбнуться, и она начинала напоминать тех девушек, что Серж знал во времена одесской гимназии и учебы в Новороссийском университе-

те. Ясно было, что она «европеянка», но в манерах ее присутствовал и элемент восточного шарма. В первом же разговоре с Сержем Люси призналась, что любит читать стихи и даже вспомнила несколько строк из А.Блока:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран –
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

«Цветной туман», – повторял про себя Серж Блюбаум и вздрагивал от ужаса, но ничего поделать с собой не мог. Слова о «цветном тумане» всегда вызывали у него ассоциацию с баром отеля «Пенинсула» в Гонконге, где он впервые узрел огромное разнообразие бутылок, заполненных дорогими напитками разных цветов, крепости и иных достоинств. В «Пенинсуле» он впервые побывал с м-ром Джорданом, который предложил ему отведать джина с тоником, – в месте, навсегда оставшимся в памяти обоих. Суть дела сводилась к тому, что м-р Джордан предпочитал джин «Tanqueray» не менее известному джину «Beefeater». М-ру Джордану нравился искренний интерес Сержа к этому, поразившему его самого еще в молодости, светлому зданию отеля; ему было приятно делиться с молодым человеком своим опытом. Случилось всё это во времена первого плавания Сергея Аркадьевича на «Патагонии», и с тех пор они, оказавшись в Гонконге, всегда на пару заглядывали в бар отеля «Пенинсула».

Вскоре Серж узнал, что думает о его стихах Люси, и услышанные слова его тронули. «Стихи Блюбаума Сережи / Ужасно на него похожи...» Впоследствии он пересказал их Стивену, от которого я их и услышал.

Однако гораздо больше, чем ее мысли о поэзии, ему нравилось пение Люси. В тот вечер она, стоя на сцене «Русского дома», исполнила арию Травиаты из одноименной оперы Верди. «Ария, разумеется, прекрасная, – подумал он, – но как-то не совсем для такого праздника, как Татьянин день.» Пока рабочие выкатывали на сцену рояль и несли банкетку для мадам Стожарской, появившейся на сцене в черном длинном до полу платье, легкий шумок пробежал по залу. Затем конферансье во фраке представил Люси Дорн, и гул затих.

«Да ведь она, в сущности, приличная певица», – подумал Серж, когда в зале зазвучали аллодисменты, и в то же мгновение ему пришло в голову, что это ее умение, даже талант, может привлечь расположение его матери, Розалии Марковны. Хотя он и понимал прекрасно, что внешность Люси, наводившая на мысль о фарфоровой статуэтке, немедленно должна была вызывать определенную недоверчивую настроенность у большинства женщин.

Итак, в конце концов он женился на ней. Случилось это вскоре после того, как она завершила свое обучение на курсах и стала обладателем диплома медсестры.

Следует, разумеется, сказать еще несколько слов об отце Люси, Александре Ипполитовиче Дорне, в прошлом известном екатеринбургском – а позднее владивостокском – нотариусе, оформившем немало завещаний и иных документов, связанных с чрезвычайно тонкими вопросами наследования имущества, капитала, предприятий, земли и т.д. Его знание китайского и английского, выученных когда-то в Петербурге в бытность студентом университета, помогло ему и в петербургский, и в екатеринбургский, и во владивостокский, а позднее и в шанхайский периоды его жизни. Отец Александра Ипполитовича был голландский моряк Йохан Ван Дорен, перешедший в православие, чтобы сочетаться браком со своей невестой. Йохан Ван Дорен превратился в Ипполита Ивановича Дорна. Служил он во флоте, в Кронштадте. Жена Ипполита Ивановича, выпускница Бестужевских курсов Надежда Андреевна Тихомирова, происходила из семьи морского офицера, одним из его товарищей по службе был проживавший у Пяти углов в Петербурге композитор Н.А. Римский-Корсаков.

Люся, так ее звали родители, еще училась в гимназии, когда началась Гражданская война со всеми ее зверствами, и семья покинула Россию, чтобы вместе с тысячами других русских беженцев оказаться в Харбине. Там Люся окончила русскую гимназию, после чего всё семейство переехало в Шанхай.

Как и большинство других эмигрантов из России, семья Дорн жила на территории Французской концессии, и, благодаря усилиям и оборотистости отца семейства, избежала тех почти безнадежных и тяжелых периодов безденежья, что были естественной частью жизни русской диаспоры в этом китайском городе, где процветали торговля наркотиками, проституция и бандитизм.

Итак, вскоре после того, как предложение руки и сердца, сделанное Сергеем Аркадьевичем, было принято Люси, начался недолгий, но чрезвычайно запомнившийся обоим период подготовки к венчанию и свадьбе. По просьбе родителей невесты церемония бракосочетания проведена была в одной из русских церквей, где батюшка, о.Александр, после обстоятельной беседы с Александром Ипполитовичем, а затем и с обоими молодыми, согласился провести обряд венчания, что и произошло в заранее назначенный день и час, после чего началось празднование этого события за столиками, сервированными на зеленой лужайке перед домом, где Люсе предстояло и жить, и работать. Но начаться эта ее новая жизнь должна была уже после возвращения из свадебного путешествия на одном из пароходов Р&О, направлявшихся их Шанхая в увеселительную поездку с заходами в Гонконг и Макао.

Люси стоически приняла открывшуюся ей во время этой поездки любовь Сережи к абсенту, вермуту, джину и Бог знает еще к каким напиткам... Первоначально она полагала, что его интерес к алкоголю ограничивается шампанским и сухим вином, но постепенно привыкла к тому, что вечер с Сережей неизменно сопровождался распитием какого-то горького, иногда изумрудно-зеленого, а иногда и какого-то другого отдающего ароматами трав «цветного», как она говорила, напитка. В сущности, как она поняла, дело было вовсе не в эффекте опьянения, за которым Серж не гнался, – вопрос для него состоял в достижении определенной «степени просветления», как описывал это он сам. Так что он, в сущности, пил лишь для того, чтобы вырваться из объятий земного тяготения и ощутить некое «свободное парение», так он выразился однажды. Ей хватило не только ума и такта, но, главное, еще и естественной мягкости и податливости научиться наслаждаться близостью с мужем. Она любила его руки, в особенности ладонь правой руки, которая отдавала ароматом вермута и хорошего табака, и оттого его правая рука нравилась ей несколько больше, чем левая. А иногда он начинал бормотать стихи, как будто забыв о присутствии словно растворившейся в нем жены. Что до Сережи, то ему тоже нравились сильные, но тонкие руки его жены – как и ее молодое, ароматное, гибкое тело.

Второй этаж в доме, где располагалась клиника, оказался достаточно просторным после того, как м-р Грей переехал жить к своей китайской подруге, с ней он как-будто собирался вернуться в Англию через несколько лет. Квартиры были объединены и отремонтированы в ожидании важных событий в жизни молодого д-ра Блюбаума, и со временем, когда в доме появилась его жена, на второй этаж был доставлен черный рояль марки «Бехштейн», перевезенный из дома Дорнов во Французском сеттльменте. Через некоторое время на втором этаже появилась и детская, где в отмеренные природой сроки обосновался сын Стива. И всё это никак не нарушало порядок и покой кабинета Сергея Аркадьевича, где он пил вермут или джин с тоником, а иногда анисовую или вино, в зависимости от настроения; писал стихи, курил трубку, читал книги, позднее, после начала военных действий 1937 года работал над своими «Записками шанхайского врача», основанными на воспоминаниях о плаваниях «Патагонии» по Тихому океану.

После окончания длившихся целый месяц военных действий против Китайской армии, Японская армия, дислоцированная в окрестностях Шанхая с 1933 года, захватила город и привела к власти марионеточное правительство – что не оказало значительного влияния на жизнь иностранцев, проживавших в Международном сеттльменте и Французской концессии.

ГЛАВА 3.

Нельзя не сказать, что, вступая в брак, Сергей Блюбаум отдавал себе отчет в том, что действует он более, чем легкомысленно с точки зрения здравого смысла. Он понимал, что становится гораздо менее свободным человеком, полагая в то же время, что до известной степени это поможет ему обрести стабильность и преуспеть в создании той жизни, которую он для себя спланировал и в которую поверил.

Более того, ему хотелось продолжать свою деятельность здесь, на Дальнем Востоке, где он ощущал себя свободнее, чем где-либо... Жизнь в Шанхае волновала его и в плане чисто профессиональных соображений. Дело в том, что за годы пребывания на Востоке он неоднократно убеждался в эффективности методов китайской медицины; особенно же впечатлила его теория и практика акупунктуры, и он решил ознакомиться с этим методом лечения, изучить его и применять в своей практической деятельности врача-терапевта. Осуществление этой его давней мечты казалось ему поначалу чем-то вполне достижимым. Жизнь на Востоке и деятельность врача, сочетающего европейские методы лечения с китайскими, милая жена, с которой он мог бы говорить дома по-русски, разумная, независимая и деятельная жизнь, – так рисовалось Сержу Блюбауму его будущее. Впрочем, забегая вперед, следует сказать, что «цветной туман», висевший, возможно, и над его миром, рассеялся чрезвычайно быстро.

Через год после бракосочетания Сергей и его молодая жена направились в Палестину навестить родителей Сергея. Даже спустя десятилетия Сергей Аркадьевич помнил, что в первый же день после приезда в Хайфу его мать Розалия Марковна, пораженная необычным для южных краев видом избранницы своего сына сказала, обращаясь к Аркадию Вениаминовичу: «Посмотри, Аркадий, да это настоящая шамаханская царица!» Замечание это вызвало смех у Сергея Аркадьевича и его отца – между тем как Люся на мгновение застыла, а затем улыбнулась своей несколько загадочной улыбкой и тихо засмеялась. Позднее, правда, Розалия Марковна утверждала, что оговорилась, сказав «шамаханская» вместо «шанхайская»... И уж совсем незачем было, добавила она, вспоминать доктора Фрейда...

ГЛАВА 4.

Ничто однако не может остановить процесс изменений, и в 1938 г. в Шанхай начали прибывать беженцы из Европы. Осенью 1939 года в Европе началась новая большая война, и весной 1940 года Люся объявила Сержу, что Стива уже подрос и им надо поселиться вместе с ее родителями – с тем, чтобы ребенок получил нормальное воспитание и овладел не только родным языком, но и французским, которому его будет обучать Екатерина Андреевна, – иначе Стивен будет говорить на невообразимой смеси русского, английского и китайского.

Более того, Люся полагала, что проживая во Французской концессии, ее муж сможет открыть собственный кабинет и вести прием где-нибудь поблизости от дома Александра Ипполитовича, а она, Люся, будет работать у мужа медсестрой.

– Ты будешь совершенно независим и вместе со мной, – радостно поясняла она, – а папа обещал оказать тебе всестороннюю поддержку... Это будет наша семейная компания, – смеясь, утверждала она и добавляла, что никто и никогда не посмеет и не сможет помешать ему заниматься поэзией.

«Похоже, процесс построения семейного гнезда принимает циклопический характер, – подумал Сергей Аркадьевич, – но ведь не исключено, что нам всем станет лучше.»

Произошло это незадолго до того, как д-р Джордан с семьей и м-р Грей со своей китайкой, осуществляя, как оказалось, свои давние планы переезда, покинули Шанхай и перебрались в Гонконг, о чем м-р Джордан заблаговременно оповестил Сергея Аркадьевича.

Позднее Люся утверждала, что к самой мысли о переезде во Французскую концессию ее подтолкнули какие-то повторявшиеся и преследовавшие ее сны, возможно, связанные с общим ухудшением положения в Европе, о котором регулярно сообщало радио, – газеты Люся не любила и никогда их не читала. Ее всегда волновали голоса, она привыкла слышать в них даже то, что не было произнесено и, более того, тщательно скрывалось; подобным же образом воспринимала она и звонки по телефону.

– Когда я не вижу того, кто со мной говорит, я яснее слышу, чего он хочет, – утверждала она.

Иногда в разговорах с Сержем она давала понять, что ей не чужд дар ясновидения.

– Нет, не каждый день и не всё время, – говорила она Сержу, – но когда это важно, я как-то собираюсь и вдруг мгновенно начинаю понимать, что происходит... Иногда я слушаю, как ты читаешь свои стихи, – продолжала она, – и как-то чувствую за ними и второй, а иногда и третий план, как будто за этим текстом скрываются еще другие, невыговоренные...

«И, может быть, невыговариваемые в силу полной невозможности их выговорить», – подумал он.

А однажды Сергей Аркадьевич вдруг осознал тот простой факт, что ему повезло: после пяти лет совместной жизни ему всё еще было интересно с Люси и, похоже, интерес этот подпитывался и с ее стороны, – интерес, который она не скрывала и который был ей в радость. И когда Люся впервые изложила свои соображения о переезде к ее родителям, Сергей Аркадьевич задумался о том, как и каким образом повлияет переезд на жизнь его семьи... Однако после раздумий по поводу воспитания Стивы и о том, что, помимо второго этажа, где

разместится семья, в его распоряжение будет предоставлена и мансарда, а рояль будет находиться в зале первого этажа, как и раньше, он решил согласиться – тем более, что никакой возможности не соглашаться не было.

Вскоре семья доктора Блюбаума покинула Международный сэттльмент и переехала в дом родственников в соседнюю Французскую концессию. Сговорившись с дочерью, Александр Ипполитович решил, что постоянно откладывать дату переезда нельзя и обратился за содействием к своему соседу Алексею Ильичу, владельцу транспортной конторы, крупному не улыбчивому мужчине в сером пиджаке и светлой сорочке, всегда появлявшемуся на людях со щедро набриллированными светлорыжими волосами и галстуком-бабочкой на шее. Алексей Ильич внимательно выслушал соседа и в тот же день выделил грузовик и необходимое число грузчиков для перевозки мебели, библиотеки и рояля «Бехштейн», благодаря чему весь процесс переезда прошел спокойно и безболезненно.

В конце того дня, когда переезд был, наконец, осуществлен, Сергей Аркадьевич, закончив прием неотложных пациентов, попрощался с д-ром Джорданом и д-ром Греем, и, сев за руль своего «Форда», отправился во Французскую концессию, где на полутора квадратных километрах проживало около полумиллиона человек, в том числе и около десяти тысяч русских эмигрантов.

Так началось то последнее, неполное шанхайское десятилетие, что Серж Блюбаум, его жена Люся и сын Степа прожили в доме родителей Люси на улице со старыми платанами, отделенной от Международного сэттльмента узкой речкой.

Деревья глядели в окна и на фасады домов из потемневшего красного кирпича под красными железными кровлями. Запомнил Серж и характерную для этого типа двухэтажных домов печную трубу, лестницу и мансарду под ветвями выросшей во дворе китайской груши, и то, как поначалу, прежде чем в мансарду провели электрическое освещение, Сергей Аркадьевич поднимался туда со свечой.

Вот как преломились эти подробности в одном из его стихотворений:

Глаз трепетал дневной свечою
И лестницею опадал,
И света восковой слезою
Он половицу прожигал,
Слезою падал мне в ладонь
И освещал пролет холодный
Холодной лестницы чужой
Туда, где дышится свободней,
Где стол с бумагой и пером
И ветви груши за окном...

– А кстати, знаком ли вам вкус китайской груши? – спросил меня однажды Стивен Блюбаум, упомянув, что в Австралии эти груши называют «Nashi pear», – и когда я признался, что даже не слышал о них, добавил: они прозрачные, белые и хрустящие, очень сладкие, чуть-чуть терпкие и прекрасно утоляют жажду. Ими приятно закусывать шампанское – сухое, разумеется, или prosecco, – продолжал он несколько смущенно.

ГЛАВА 5.

Однако ни мансарда, ни аромат китайской груши и вкус хорошего вина, ни даже поэзия не могут заставить жизнь остановиться, и, несмотря на то, что город был оккупирован японскими войсками уже несколько лет, беженцы из Европы продолжали прибывать в Шанхай поскольку, не желая преждевременно портить отношения с англичанами, японцы не стали отменять положения Нанкинского договора, разрешавшие европейцам поселение в Шанхае без вида на жительство.

В силу этого обстоятельства Шанхай стал подлинным убежищем для людей, сумевших в первые годы Второй мировой войны покинуть Европу, север Африки и ближневосточные страны. Это был единственный город в мире, открытый для евреев в то время, куда можно было въехать без визы, свободно. Нужно было только купить билет на пароход, отбывающий из Европы.

Беженцы, которым удалось попасть на комфортабельные итальянские и японские пароходы из Генуи, позднее описывали свое трехнедельное путешествие в обстановке роскоши, к стесненным условиям гетто в Шанхае – как сюрреалистическое. В 1939 году билеты на эти пароходы были раскуплены на шесть-семь месяцев вперед. Беженцы продолжали приезжать в Шанхай, хотя и в меньшем количестве, до мая 1940 года.

Осенью 1940 года в войну вступила Италия, и единственным портом, откуда всё еще можно было уплыть в Шанхай, оставался Марсель. Продолжал работать и канал эвакуации через СССР. Беженцы из Европы добирались до Москвы, оттуда до Владивостока по железной дороге, а затем следовали в Шанхай через Японию.

Именно так прибыл в Шанхай вместе с женой Матильдой и Валентином Шрайбман, в прошлом – один из ассистентов Альберта Эйнштейна.

Шрайбман был родом из Кракова и вырос в достаточно обеспеченной еврейской семье. После окончания Ягеллонского университета он работал в частной еврейской школе преподавателем математики, физики и астрономии; и, опубликовав несколько интересных работ по математике, получил приглашение работать в одном из английских университетов. После этого он переехал в Германию, где стал преподавателем Технического университета в Шарлоттенбурге. Там он и начал

сотрудничать с Альбертом Эйнштейном по предложению последнего. Шрайбман был талантливый математик, испытывавший определенный интерес к новейшим теориям физики, он сотрудничал с профессором в его попытках найти решение ряда вопросов космологии.

Вот как выглядел этот человек согласно Стивену Блюбауму, который часто присутствовал при встречах своего отца с ученым, приходившим в дом на улице Пуанкаре. Встречи эти происходили то реже, то чаще в течение почти десяти лет; за это время Стивен вырос и превратился в высокого стройного юношу, между тем как Шрайбман и его жена, по утверждению Стивена, внешне совершенно не изменились за это время.

Шрайбман был высокий, худой, костистый человек средних лет. Он был коротко стрижен, рано начал лысеть и седесть, но взгляд его темных глаз выдавал личность неординарную, наделенную взрывным темпераментом и, в то же время, способностью к долгой и размеренной работе. Он обладал отличной дикцией и несколько странной манерой смеяться, словно пытался проглотить какие-то звуки, – и оттого смех его всегда быстро умолкал. Юный Стивен Блюбаум обратил внимание на его крупные запоминающиеся худые кисти рук с синими венами. Прибыл Шрайбман в Шанхай с отметками в своем польском паспорте, позволявшими установить, что он провел в СССР более полугода. Время это он провел, в основном, в Москве, на Лубянке, в камере, которую покидал только для допросов у следователя и двадцатиминутных ежедневных прогулок на крыше здания. В заключении он исхудал, и костюмы болтались на нем. Через полгода после ареста Шрайбман был освобожден благодаря заступничеству Альберта Эйнштейна, обратившегося к Сталину с письмом, в котором он просил вождя СССР «оказать содействие в освобождении и устройстве на работу» его протеже, арестованного «как видно, по недоразумению, сотрудниками русской полиции». По словам самого Шрайбмана, в СССР ему была предложена работа в Харьковском университете, но он отказался и попросил предоставить ему и жене возможность выехать за границу. Такая возможность была ему предоставлена и, получив визы на въезд в Японию, Шрайбман и его жена отправились во Владивосток, откуда на японском пароходе прибыли в Японию и оттуда – в Шанхай, где Шрайбман надеялся получить разрешение на въезд в США.

По приезде в Шанхай Шрайбман сумел получить место почасовика в одной из русских школ, собрать необходимые для американской визы документы и даже вручить их сотруднику американского консульства – который предупредил Шрайбмана, что рассмотрение документов может занять немало времени, поскольку он подает документы, не находясь на территории той страны, гражданином которой он является. Речь шла о Польше, и Шрайбман понял, что

ему предстоит довольно долго ожидать получения искомого разрешения.

Между тем акклиматизация его в новой жизни в Шанхае проходила нелегко; его донимала высокая влажность, вызывавшая ревматические боли в суставах, он уставал, чувствовал себя паршиво и в поисках хорошего врача обратился за советом к коллегам, один из которых и посоветовал ему клинику д-ра Джордана. Шрайбман совету последовал и вскоре попал на прием к Сержу Блюбауму, который начал лечить его от последствий полугодового заключения посредством сеансов аукопунктуры.

За шесть месяцев заключения на Лубянке Шрайбман значительно улучшил свое владение разговорным русским и с удовольствием общался с доктором Сергеем Блюбаумом – тем более, что фамилия Блюбаум была ему знакома еще со времен проведенной в Кракове молодости.

– Блюбаумы владели самым большим магазином оптики и фотоаппаратуры в Кракове, – сообщил он Сергею Аркадьевичу.

Шрайбман был на четырнадцать лет старше Сергея Аркадьевича и последний часто бывал обезоружен непосредственностью своего пациента и друга. Да, правомочность такого описания их отношений следует принять, они действительно стали друзьями, несмотря на разницу в возрасте, происхождении и профессиях.

Что же объединяло этих встретившихся на краю света людей? Тут, я думаю, уместно вспомнить рассказ Шрайбмана о том, как следователь на Лубянке, решивший во время последней встречи побеседовать с ним по душам, спросил у него:

– Скажите мне, Шрайбман, отчего это вы, евреи, всегда смеетесь? Я много видел вашего брата и всё начинается с одного и того же: они смеются.

– Ну, нам, евреям, всегда есть над чем посмеяться, – ответил ему Шрайбман и, увидев как напряглось лицо следователя, счел за лучшее добавить: – Вот и профессор Эйнштейн любит посмеяться.

В ответ следователь, скрупулезно заносивший в протокол все касавшиеся Эйнштейна детали, которые ему удавалось вытянуть из Шрайбмана, понимающе кивнул головой и выдавил на своем лице улыбку. Шрайбман знал, что после того, как Берия возглавил Министерство внутренних дел, «меры физического воздействия» были запрещены. Тем не менее рисковать не стоило.

Самой же страшной была возможность попасть в руки гестапо, но Шрайбман надеялся, что поскольку он поданный не Германии, а Польши, – впрочем, уже не существующей как свободное государство, – если верить заявлениям лидеров Германии и СССР, ни в какие обменные списки не попадет. Оставалось лишь убедить людей на Лубянке, что он не шпион, но единственными документами, свиде-

тельствовавшими, что он говорит правду, были оттиски его самостоятельных и совместных с Эйнштейном работ, уложенные в саквояж, с которым Шрайбманы сумели пересечь польско-советскую границу...

Он был очень терпелив – да, собственно, какой у него был выбор? Повторяя на каждом новом допросе показания, данные на предыдущей встрече со следователем, он постоянно просил организовать ему встречу с компетентными учеными, которые могли бы подтвердить его научную репутацию. К несчастью, из трех известных, побывавших в Германии физиков, указанных Шрайбманом в списке его личных знакомых, один, М.Бронштейн, был уже расстрелян, а двое других (Л.Ландау и Ю.Румер) арестованы и находились в той же тюрьме, что и Шрайбман.

Но однажды Шрайбман был приведен на допрос в кабинет, где помимо следователя присутствовал одетый в штатское мужчина с высоким лбом и тонкими рыжими усиками на широком лице с неяркими голубыми глазами. Этот крупный мужчина, несколько рыхловатый, с пухлыми белыми руками, был одет в серый мятый костюм. Он то и дело наливал себе воду в стакан из большого графина с водой, стоявшего на столе у следователя, и быстро выпивал. Он внимательно слушал и следователя, и Шрайбмана, несколько раз задавал вопросы, свидетельствовавшие о его осведомленности в физике вообще и физике ядра, в частности, – речь шла о приложимости теории Эйнштейна к ядерной физике. Как подытожил Шрайбман позднее, рассказывая о допросах Сергею Аркадьевичу, речь шла о том, можно ли построить бомбу, эффект действия которой будет основан на известной формуле Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии, связанных через коэффициент, равный квадрату скорости света.

До этого в ходе допросов ему пришлось последовательно, событие за событием, год за годом изложить свою биографию следователю, который записывал показания Шрайбмана в протоколы допросов, подписанные Шрайбманом. При этом, несмотря на тяжелые, изматывающие допросы и недостаток свежего воздуха, Шрайбман сохранил не только чувство юмора, но и некоторый оптимизм. И теперь, когда характер допроса изменился и стал напоминать собеседование двух ученых, хотя и проходившее в кабинете следователя, Шрайбман, как он признавался позднее, вдруг ощутил легкое дуновение надежды. И в то время как он, обращаясь к собеседнику, продолжал серьезно обсуждать вопросы, связанные с возникновением «дефекта массы» при расщеплении тяжелых ядер, он одновременно каким-то непостижимым образом почувствовал, что это его позитивное отношение к обсуждаемой теме повышает его шансы на освобождение. Да и сам сидевший против него рыхлый человек с голубыми выцветшими глазами на плоском лице, казалось, тоже испытывает некоторое облегчение...

После того, как человек в мятом сером костюме попрощался со

следователем и ушел, кивнув на прощание Шрайбману, следовательно сказал:

– Ну что ж, давайте еще раз пройдемся по вашей истории, начиная с отъезда из Берлина...

Итак, после того, как в 1933 году Альберт Эйнштейн, возвращавшийся в Европу из поездки в США, узнал о приходе нацистов к власти в Германии и о том, что его изгнали из Прусской Академии наук, он решил не возвращаться в Берлин. Кроме того Эйнштейн заявил, что отказывается от звания академика и после недолгого пребывания в Бельгии решил вернуться в Штаты. Затем по Берлину пролетел слух, что в квартире Эйнштейна прошел обыск, – и его ассистент Валентин Шрайбман, обычно являвшийся к Эйнштейну домой каждую неделю, понял, что ему пора подыскать работу за пределами Германии. Последовавшие события подтвердили его правоту. Однако некоторые неизжитые иллюзии и семейные обстоятельства, связанные с родственниками жены, задержали отъезд. Наконец, в 1936 году он и жена покинули Германию и уехали в Польшу, в Краков, где в течение нескольких последующих лет он продолжал преподавать и вести свои собственные исследования. Однако международная обстановка становилась всё сложнее, и Шрайбман сообщил Эйнштейну о том, что подал документы на получение въездной визы в США для себя и жены. Может ли он надеяться на работу в Америке, спрашивал он. Визы он, однако, не дождался, началась Вторая мировая война.

В первую же неделю сентября 1939 года, то есть уже после вторжения Германии в Польшу, он и его молодая жена, с которой он познакомился и сочетался браком в Берлине, бежали в Восточную Галицию, которая вскоре была оккупирована Красной Армией. В эти первые дни войны дороги еще не были заполнены толпами беженцев, большинство из которых были евреи. Границу с СССР они пересекли ночью, выехав на шоссе в сторону Минска по полузаброшенной проселочной дороге, где никто не остановил их «Мерседес-Бенц», с которого они, подъезжая к границе, сняли полученные в Польше номера. На следующее утро им удалось приобрести местные автомобильные номера у встреченного в маленьком безымянном городке поляка, работавшего в авторемонтной мастерской и, раздобыв у него же три канистры бензина, двинуться в сторону Москвы. Сменяя за рулем друг друга, они проехали более полутора тысяч километров за три дня.

Жена Шрайбмана, Матильда, была дочерью одной из подруг Эльзы, супруги профессора Эйнштейна. Эта стройная и всегда стильно одетая девушка с большими темными глазами и хорошо очерченными чертами лица изучала историю искусств в Берлинском университете. Ей нравились работы Эль Греко и немецких экспрессионистов, она собиралась стать искусствоведом. Еще ее увлекала скорость, она с удо-

вольствием водила собственный «Мерседес-Бенц», который подарил ей на совершеннолетие живший в Швейцарии отец. Она прыгала с парашютной вышки, установленной в одном из парков вблизи озера Ванзее и увлеченно слушала американский джаз. Шрайбман, с которым Матильда познакомилась в гостях у Эйнштейна на вилле Капут в 1933 году, показался ей одним из персонажей испанского художника, чудом перенесенных в Германию.

Матильда была бесконечно предана мужу. Детей у них не было, и она посвятила свою жизнь заботам о муже. Бежав из Польши в СССР, они вскоре оказались в Москве, куда прибыли всё в том же «Мерседес-Бенце». В Москву они стремились оттого, что там жила кухня Матильды, вышедшая в свое время замуж за сотрудника советского посольства в Берлине, и Шрайбман надеялся, что ему удастся встретиться с российскими учеными, с которыми он познакомился в бытность свою в Германии. Они оба заметили, что муж кухни, сотрудник МИДа, был не очень рад их появлению у себя дома, но воспринял это как какой-то пока не очень понятный перст судьбы. Позднее Шрайбман узнал, что на следующий же день после появления родственников муж кухни сообщил о них «куда следует», и через несколько дней Шрайбман был арестован по подозрению в шпионаже. Матильда же после допроса получила разрешение остаться жить у своей двоюродной сестры.

Придя в себя после ареста мужа и побеседовав с кухней, Матильда поняла, что ее оставили на воле не случайно, за ней следят и ей следует быть чрезвычайно осторожной. К счастью, Матильда сумела отправить в США послание профессору Эйнштейну с просьбой о помощи. Только через три месяца письмо попало, наконец, к Альберту Эйнштейну. Он вспомнил Шрайбмана и Матильду, и ее мать, фрау Хелен Коген, красоту которой унаследовала Матильда, – и написал письмо Сталину.

– И вот теперь я не знаю, кому я в большей мере обязан за свое освобождение, моей дорогой Матильде или профессору Эйнштейну, – заметил Шрайбман однажды.

Очевидно, он имел в виду и то, что отвечая в кабинете следователя на вопрос рыжеусого об отношении самого Эйнштейна к возможности создания бомбы на основе его теории, Шрайбман ответил, что впервые этот вопрос был задан Эйнштейну в Праге в 1922 году, – и тогда профессор посчитал такую мысль фантастической, несбыточной. Но уже десять лет спустя, почти сразу после открытия нейтрона, начались исследования по взаимодействию нейтронов с ядрами, и он оценил эту ситуацию совершенно иначе. Ну а к лету 1939 года результаты экспериментов по делению ядра и теоретическое обоснование процесса на основе теории Бора–Френкеля–Уилера окончательно решили вопрос, – как полагал Шрайбман.

В марте 1940 года, кузина передала Матильде конверт с польскими паспортами на имена Матильды и Валентина Шрайбманов. Вместе с паспортами в конверте находился документ, подписанный голландским консулом в Литве. Справа на документе были разъяснения голландского консула о ненужности визы для въезда на остров Кюрасао, являвшийся частью Королевства Нидерландов, слева – транзитная японская виза для членов семьи Шрайбманов за подписью японского консула в Каунасе, тогдашней столице Литвы. На документе стояли штампы МИДа Литвы и НКВД СССР. Литва в то время еще была независимым государством.

– Вот, – сказала кузина, – мой муж, Александр Степанович, использовал все свои связи и раздобыл для вас необходимые документы. А ведь его тоже допрашивали... – добавила она, и в глазах у нее появились слезы.

Матильда обняла ее и расцеловала.

– Я всегда знала, что он – замечательный человек, – сказала она и протянула кузине ключи от своего автомобиля. – А это мой ему подарок.

...Ян Звартендейк, голландский бизнесмен, представитель компании «Филиппс», исполнявший обязанности консула в Литве, начал выдавать документ, именуемый «виза Кюрасао» – по названию голландской колонии, – польским евреям-беженцам после оккупации Польши. Советский Союз согласился пропускать людей с такими псевдовизами – при условии, что у них будет и японская транзитная виза. И тогда японский консул в Литве Тиунэ Сугихара начал оформлять визы – и тем самым спас тысячи еврейских беженцев.

В случае же с получением визы для Шрайбмана и его жены этот канал эмиграции, как считал Шрайбман, был использован сотрудниками НКВД для того, чтобы выполнить поступивший сверху приказ.

Итак, у Шрайбманов появилась японская транзитная виза, и они, распрощавшись со своими московскими родственниками, направились поездом ао Владивосток, где им предстояло приобрести билеты на пароход в Японию, а оттуда уже плыть до Шанхая.

Так весной 1940 года Шрайбман и его жена оказались в Шанхае с некоторым количеством долларов – не столь значительным по нашим временам, но тогда позволявшим без какого-либо страха вступить в новую жизнь, которая и началась для них, как для множества других беженцев, на набережной Bunde.

Однако память о пережитом подсказывала Шрайбману, что стоит обзавестись какими-то более надежными документами, чем польские паспорта с советской и японской транзитными визами. Польское государство, с точки зрения Германии, уже перестало существовать, и этот факт не обещал ничего хорошего Шрайбманам, превратившимся в беженцев из ниоткуда... Правда, часть Польши была присо-

единена к СССР – что по мысли Сергея Аркадьевича, обратившегося за содействием к Александру Ипполитовичу, могло позволить последнему – используя свои связи – раздобыть какие-нибудь различные документы для мужа и жены Шрайбманов.

Надо ли говорить, что сама идея обратиться к Александру Ипполитовичу принадлежала Люсе, которая к тому времени уже успела обнаружить в Матильде родственную душу. Ощущение это только окрепло после того, как Матильда взялась обучить Люсю искусству вождения черного «Форда» и с блеском осуществила этот замысел, терпеливо руководя действиями Люси и делая замечания и указания безупречно корректным тоном. Матильда являлась на уроки вождения одетая в бриджи, на которые был накинута мужской пиджак. На руках у нее были кожаные перчатки, на глазах – автомобильные очки.

– Боже мой, какая женщина! – сказала однажды Люся мужу, – в нее можно влюбиться! Она так любит своего мужа и боится, что снова потеряет его! Хорошо хоть, этот злодей Сталин знает, кто такой Эйнштейн. Но откуда японцам может быть известно о таком далеком от них человеке?.. А тебя, Сережа, я никуда не отпущу, – добавила она, обвив его шею руками.

Иногда находил на Люсю такой стих, она начинала изображать из себя молодую, глупую и влюбленную в супруга героиню из пьесы А.Н. Островского. Но ей действительно нравился новый друг ее Сержа; каким-то образом он оттенял то, что привлекало ее в Серже, его способность отзываться на почти неуловимые вибрации мира вокруг и в ее душе; ей нравились и те новые странные стихи о Вселенной, которые начал писать Серж, по-видимому, под впечатлением долгих бесед со Шрайбманом – бесед, память о которых связана была со странными, дотоле не известными именами Фридмана, Хаббла и аббата Леметра... Однажды ей даже приснился взрывающийся первоатом Вселенной, о котором писал аббат, и угрожающе живое «красное смещение» Хаббла...

– А Фридман, кто он? Ваш знакомый? – спросила она у Валентина.

– Нет, я с ним не знаком. Он рано умер. Исключительно талантливый математик из Петрограда, – ответил Шрайбман, – он первый понял, как мир когда-то возник.

Всё это было странно и даже загадочно и, может быть, именно поэтому так нравилось Люсе. И еще ей нравилась Матильда – то, как она одевалась, как курила сигареты, пила кофе и всегда внимательно слушала своего мужа. Говоря попросту, всё было интересно с этими людьми.

Что же до Сержа, то общение со Шрайбманом и его женой открыло Сергею Аркадьевичу дверь в другой мир – знакомый по годам учебы в гимназии и университете, но по-прежнему бесконечно таинственный, мир науки, которая, как полагал Шрайбман, скоро сде-

лает жизнь людей совершенно иной – да, иной, несмотря на все ужасы, трагедии и несправедливости, творимые ныне. Наука должна изменить мир, считал Шрайбман, и самые немыслимые сегодня процессы станут реальными. Если бы его словам можно было верить – а он верил, и верил не только он, но и многие из тех замечательных людей, которых он встречал в квартире на Хаберландштрассе, где жил Эйнштейн, и на вилле «Капут» на берегу озера Ванзее.

– Кстати, Эйнштейн бывал в Японии, – сообщил он Люсе, – в ноябре 1922 года; он отправился в кругосветное путешествие после того, как националисты застрелили министра иностранных дел Германии Вальтера Ратенау. Эйнштейн с ним дружил и был следующим в списке, его предупредила полиция. Он пробыл в Японии шесть недель, читал лекции, и его очень тепло принимали.

В то время, рассказывая Люсе о странствиях Эйнштейна, вынужденного в первый раз покинуть Германию, Шрайбман всё еще надеялся на получение визы на въезд в Соединенные Штаты.

– Им надо помочь во что бы то ни стало, Александр Ипполитович, – обратился Серж к отцу Люси, – эти наши с Люсей друзья, близкие нам люди.

– Ну, Сережа, дорогой, мы постараемся, но это ведь как карта ляжет, – ответил ему Александр Ипполитович, – мы-то приложим усилия и ничего не пожалеем, но ведь и сделано всё должно быть ох как грамотно...

Как бы то ни было, после ряда встреч и разговоров Александру Ипполитовичу удалось достичь взаимопонимания с администрацией Французской концессии в том, что Шрайбманы практически оказались беженцами из Советского Союза. И поскольку его объяснение было поддержано внесением определенной суммы в долларах – на нужды санитарной службы, – Шрайбманам, к полному счастью и удовлетворению всех заинтересованных сторон, было официально дозволено проживать на территории Французской концессии, где они сняли для себя жилье в разделенном на небольшие квартиры двухэтажном доме из старого красного кирпича на одной из улиц с тенистыми платанами.

Проживая во Французской концессии, эта пара пыталась вести спокойный и размеренный образ жизни. Шрайбман продолжал преподавать в школе и начал вести семинар в Техническом университете, занимался своими изысканиями, а жена его посещала университетскую библиотеку, где читала книги, делала выписки – имея в виду свои планы на будущую жизнь. К тому же она терпеливо и с завидным упорством занималась ведением домашнего хозяйства, что было непросто в условиях иной страны, иных традиций и, главное, иных доступных продуктов. Впрочем, риса и свежих овощей хватало, да и рыбы было вполне достаточно. Рыбу, крабов и угрей готовили здесь

на пару или употребляли в сыром виде. Слушая рассказы Люси, Матильда узнала немало полезного и научилась многим тонкостям ведения хозяйства в Шанхае. Узнала она от Люси и множество рецептов местной шанхайской кухни, последователи и поклонники которой предпочитают свинину любому другому мясу и часто добавляют ее в пельмени, не жалея при этом разнообразных специй. Помимо этого, ознакомились Матильда и с тонкостями употребления соевых и сливовых соусов и укусов. И всё это было просто необходимо, ибо Шрайбманам приходилось укладываться в те бюджетные рамки, в которых они оказались. Зимой в холодные вечера они разжигали керосиновую печурку и пили маленькими глотками из деревянных чашек подогретую на печке рисовую водку. Однако, оглядываясь назад, они верили, что им повезло и что их лучшие годы всё еще впереди.

Время от времени они прерывали свои обыденные занятия для встреч со своими новыми друзьями. Об этих временах можно было рассказать много чего: жизнь русской общины в Шанхае, культурный центр которой располагался в районе Little Russia с его русскими магазинами, школами, библиотекой, ресторанами и радиостанциями не была скучной и монотонной. Были в Шанхае и русский драматический театр, и балетная школа, и состоявший в основном из русских Шанхайский муниципальный оркестр, первоначально называвшийся оркестром Французской концессии.

ГЛАВА 6.

Однако все планы и расчеты Шрайбмана, связанные с его намерением попасть в Соединенные Штаты, оказались несостоятельными после того, как Япония вступила во Вторую мировую войну, открыв театр военных действий в Тихом океане, где она противостояла Англии и Соединенным Штатам. В тот же день, 7 декабря 1941 года, почти одновременно с атакой на Перл-Харбор, японские войска вторглись на Малайский полуостров, и японо-китайская война стала частью Второй мировой. На следующий день японские войска вошли на территорию Международного сетлльмента, и тихие прежде кварталы заполнили гул и грохот грузовиков, резкие выкрики на японском и топот солдат. Однако сама идея, что Япония сможет оказаться победительницей в начатой ею борьбе, казалась Шрайбману немыслимой.

В конце 1941 года японцы под давлением германских союзников, заключили всех еврейских иммигрантов из Европы в гетто. В районе, отведенном под гетто, традиционно проживали и китайцы, он не был отгорожен от остального города. А в феврале 1943 года были интернированы все европейцы. Однако на эмигрантов из СССР, с которым Япония еще не была в состоянии войны, эти ограничения не распространялись. Всё изменилось в августе 1945 года после капитуляции Японии, подписанной вскоре после атомной бомбарди-

ровки Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция и запечатленный киносъемкой «атомный гриб» произвели сильное впечатление на Сергея Аркадьевича. Он был поражен. Ведь именно таким образом, по его мнению, подтвердились предсказания Шрайбмана о возможности создания атомной бомбы. «На камнях остаются тени от сгоревших в огне людей...», – этими словами начинается запись в его дневнике, посвященная тем событиям.

– История гонится за нами, – сказал Сергей Аркадьевич жене, – и вот-вот наступит нам на пятки.

Вскоре после того, как об атомной бомбе стали писать в газетах, Валентин Шрайбман прочитал в шанхайском Техническом университете лекцию о расщеплении атомов урана-235 и выделении энергии, согласно известной формуле Эйнштейна. Ему так и не удалось получить въездную визу в Соединенные Штаты и последующие четыре года он читал лекции в этом университете Шанхая.

Между тем после ухода японцев война между коммунистами и Гоминьданом разгорелась с новой силой, и 27 мая 1949 года гоминьдановские войска сдали Шанхай. Около шести тысяч русских беженцев оставили город, когда к нему подходили коммунистические отряды Мао, и были эвакуированы в палаточный лагерь на территории покинутой американцами военной базы на филиппинском острове Тубабао – поскольку кроме президента Филиппин им отказали в убежище правительства всех стран, включая США. Там беженцы жили в условиях крайне высокой влажности и почти постоянной температуры в 45 градусов Цельсия. Не раз на палаточный лагерь обрушивался тайфун. К тому же голод и эпидемии сделали свое дело – и в результате из шести тысяч выжили меньше двух тысяч человек. После долгих переговоров Александры Толстой и о. Иоанна Шанхайского с Элеонорой Рузвельт, были выделены иммигрантские квоты на Австралию, США и Южную Америку. Первыми покинули лагерь беженцы, направившиеся в Южную Америку, часть беженцев эмигрировала в США, часть – в Австралию. На весь процесс распределения тех, кого называли «перемещенными лицами», ушло более двух лет.

Шрайбман и его жена покинули Шанхай вместе с Сергеем Блюбаумом и всем его семейством.

– Я думаю, вам лучше позабыть о попытках попасть в США, – сказал Сергей Аркадьевич своему другу. – Лучше смириться и исследовать другую возможность... Австралийцы же, как я понял, пропускают людей с образованием и нужными им специальностями быстрее, чем остальных.

Для самого Сергея Аркадьевича, продолжавшего медицинскую деятельность в медпункте и в лазарете палаточного лагеря, всё было более или менее ясно с самого начала. Возвращаться в недавно возникшее еврейское независимое государство, уже успевшее пережить

одну войну, он не собирался. Разумеется, он любил своих родителей, которые уже вступили в преклонный возраст и продолжали жить вместе с вышедшей замуж дочерью, – но именно это обстоятельство и помогло ему без каких-либо колебаний принять решение об эмиграции в Австралию.

Таль собиралась стать педагогом начальных классов общеобразовательной школы, а муж ее, Ави, способный молодой врач-окулист, занявший в больнице место своего учителя, старого д-ра Блюбаума, был уроженцем Хайфы; родители его прибыли туда из Польши в середине 20-х годов. Жили они вместе, в доме на склоне горы Кармел. Таль, к счастью, не желала оставлять родителей без поддержки и надеялась на их помощь в будущем, после появления детей. Обо всем этом Сергей Аркадьевич знал из писем родителей...

И что было делать ему в Хайфе – ему, вместе с его «шанхайской» женой, ее родителями и сыном Стивеном, говорившем на русском и английском и понимавшим китайский. К тому же Сергей Аркадьевич был агностик и с равным уважением – или неуважением, в зависимости от настроения, – относился к разного типа человеческим верованиям и иллюзиям. При том, что уважение это в его случае мало чем отличалось от вежливого отчуждения от веры предков, он решил, что ему и его семье стоит, пожалуй, переехать в Австралию, которая еще с проведенных в море времен рисовалась Сержу Блюбауму гигантским и загадочным континентом, заселенном и управляемым выходцами из Англии, сохраняющими и поддерживающими связи со страной-матерью, – и впечатление это только укрепилось благодаря нескольким заходам «Патагонии» в крупные австралийские порты.

– Но вы ведь жили какое-то время в Англии, – сказал он колебавшемуся Шрайбману, – так это, в сущности, Англия, но без ее истории, пересаженная на другой континент.

– Да, утеряно, должно быть, всего-то ничего, но ведь и это, наверное, можно пережить... – ответил Шрайбман и усмехнулся.

Наконец, в самом начале австралийского лета обе семьи, наряду со многими другими, оказались в Австралии.

Стивену Блюбауму было уже 12 лет, лицом он несколько напоминал свою мать в ее молодые годы. Согласно тому, что я услышал от него в Бат Яме, время, проведенное в палаточном лагере, осталось у него в памяти внезапно возникшим почти ежедневным гложущим чувством голода, усталостью, хлопаньем парусины во влажном, почти жидком, воздухе, ежедневными занятиями с отцом, бабкой и Шрайбманом, ибо играть было почти не с кем, посещениями возведенной в лагере церкви с дедом, а также преследовавшей его в снах, иногда являвшихся ему и в Австралии, густой и мутной, как подступавшая к горлу тошнота, завязью синего, зеленого и фиолетового тонов, купающихся во влажной желтизне солнечного света на Филиппинах.

ГЛАВА 7.

Следует, однако, отметить, что и в Австралии жизнь Шрайбмана складывалась отнюдь не самым простым образом. Причина состояла в том, что власти постоянно испытывали определенное чувство неудобства и беспокойства в связи с его пребыванием в Москве с сентября 1939 до февраля 1940 года, а главное, из-за его полугодичного пребывания на Лубянке – полагая, что он может оказаться шпионом. Шрайбман дважды становился объектом пристального внимания австралийской контрразведки, слежки и последующих допросов и, в конце концов, решил переехать в Новую Зеландию, где проработал несколько лет в университете Кентербери в Крайстчерче, в той части Новой Зеландии, что называется Южный остров.

Ну а семейство Блюбаумов-Дорнов направилось поначалу в Брисбен, а затем в Сидней, где у них отыскались стародавние, близкие еще с владивостокских времен родственники. Речь идет о родственниках со стороны матери Стивена, Людмилы Александровны. Отыскались в Австралии и выходцы из Одессы, оказавшиеся в этой стране уже после окончания Второй мировой войны. Одни прибывали в Австралию из разных разоренных войной стран Европы, а некоторые приезжали даже из самой Германии.

Говоря о Брисбене и Сиднее, стоит, пожалуй, отметить и бескрайние просторы австралийских городов, и щедрое присутствие жакаранды, прекрасно сочетающейся и со старой колониальной архитектурой, и с архитектурой эпохи модерна. Цветение этих деревьев произвело значительное впечатление не только на Сергея Аркадьевича и Люсю, но и на Шрайбмана, который в своей написанной в Крайстчерче книге мемуаров «Годы с Эйнштейном» упомянул, что, согласно легендам австралийских аборигенов, дерево это символизирует мудрость.

Перебравшись из Брисбена в Сидней, семейство Сержа Блюбаума поселилось в районе Бондай Бич, где жило немало русскоязычных эмигрантов. Они сняли дом неподалеку от океанского пляжа, в то время это была достаточно удаленная от центра часть города. В нижнем этаже дома д-р Серж Блюбаум открыл свою медицинскую клинику, где вел прием пациентов вместе с неизменно внимательной к пациентам женой Люси на ролях регистратора за стойкой и медсестры одновременно.

Вот одно из его стихотворений той поры:

Облезлым, старым псом с бульвара
 В окно мне лает океан,
 Хвостом прибоя на закате
 Виляет, сильным ветром пьян...
 А в ночь средь рваных облаков
 Он звезды над собой развесил

И в белопеньи кружевном
Галантным плещется повесой
Безмозглый, лживый искуситель,
Снеся в ломбард свои манжеты,
Он поутру, едва проснувшись,
Бормочет старые сонеты...

Через полгода появился в доме и найденный после долгих поисков и купленный в рассрочку старый рояль «Бехштейн», и Люся снова начала петь, а Стивен продолжил свои занятия с музыкантшей из русской сиднейской общины, всё той же г-жой Стожарской, с которой занимался еще в Шанхае, в доме с мансардой под выросшей во дворе китайской грушей, стоявшем в ряду других домов из красного кирпича на улице с французскими платанами.

Интересно отметить, что именно в Сиднее Сергей Аркадьевич – доктор, хорошо известный всей русской общине города, – вновь обратился к переводам из английских романтиков, чьи книги стихов время от времени приобретал в букинистических магазинах.

Стивен оказался достаточно музыкален, что, в общем, было удивительно и даже вполне естественно с точки зрения генетики; удивительной оказалась его привязанность к музыке Моцарта – при том, что и мать его, и г-жа Стожарская предпочитали музыку более поздних композиторов. Стивен, однако, никогда не вступая в какие-либо споры относительно достоинств тех или иных музыкальных сочинений, предлагаемых ему для ознакомления, предпочитал всему остальному фортепьянные сонаты Моцарта. Это была та музыка, на которую отзывалась и которую как бы *со-чувствовала* вместе с композитором его душа. Не стоит думать, что вкусы Стива были ограничены в силу малого знания музыки и музыкальной литературы. Это не так.

В те годы, что жил он в Бат Яме, а это было в ту пору, когда жизнь его клонилась к закату, я не раз обращал внимание на широту его познаний о музыке, исполнителях и композиторах; большой набор пластинок, магнитофонных кассет и СД свидетельствовал о том, что коллекцию свою он собирал давно, была она довольно разнообразна. Но именно Моцарт оставался для него единственным в своем роде композитором-художником... В конце концов, это был вопрос его любви и его выбора. А вопросы выбора он считал наиболее личностными из всех вопросов, и споры, связанные с теми или иными персональными предпочтениями, почитал бессмысленными – хотя и признавал возможности сравнения «артистического инструментария» того или иного художника...

– Но ведь допускаете же вы, что гравюры Рембрандта могут нравиться дальтонику гораздо больше, чем его живопись? – спросил он

мне как-то раз. – Ну так вот, все мы страдаем от того или иного рода дальтонизма...

Вернемся, однако, на десятилетия назад, в Австралию...

Прошло некоторое время, и Серж Блюбаум вместе с остальными членами его семьи перестали быть «перемещенными лицами», превратившись в резидентов Австралии, чему – после переговоров о предоставлении кредита с местным отделением Национального банка – последовала покупка одного из домов на холме, над окончанностью большой дуги бондайского пляжа. Жизнь в этом доме, на склоне холма требовала наличия автомобиля, и проблему эту Сергею Аркадьевичу удалось довольно быстро решить. Приобретение автомобиля, не самого нового, но вполне достойно выглядевшего и прекрасно справлявшегося с любыми нагрузками, позволило Сергею Аркадьевичу использовать любую возможность – ну, к примеру, такой неожиданный праздник, как День рождения королевы, – для того, чтобы выехать с семьей в другие, всё еще новые для него районы этого необъятного города, раскинувшегося на берегах реки Параматта и живописного залива, или же отправиться в однодневное путешествие по его окрестностям.

Со временем Сергей Аркадьевич обзавелся еще и мотоциклом марки «Харлей-Дэвидсон». Время от времени он уезжал на нем из дому, ехал «подышать воздухом», как он говорил, – уезжал с тем, чтобы на время остаться одному. «Для меня это как алкоголь для пьянчужки, – говорил он, – одиночество манит и пьянит меня.» Поездки эти порой беспокоили Люси, но в целом она относилась к ним стоически. Впрочем, пьянил его и алкоголь; теперь он увлекался джином с тоником и лимоном. «Напиток этот просветляет», – говорил он, и однажды рассказал, что пристрастился к джину еще на борту «Патагонии», в пору долгих вечерних бесед с д-ром Джорданом и м-ром Кабберли, припомнив заодно и о баре отеля «Пенинсула» в Гонконге.

После переезда и скорого окончания освежающего ремонта нового жилища, жизнь под его крышей потекла достаточно спокойно и размеренно, то есть примерно так же, как и раньше, но с тем приятным и важным отличием, что со временем дом должен был перейти в собственность, и похоже было, что произойдет это к тому времени, как Стивен закончит учиться в Сиднейском университете, куда он поступил в 1954 году. Теперь Сергей Аркадьевич и Люся каждое утро направлялись в клинику, а Стивен в школу, откуда он возвращался домой после полудня. Родители же приходили позже или уже вечером, всё зависело от количества посетителей. Клиника в силу достигнутого с его прежними хозяевами соглашения по-прежнему размещалась в доме на улице с араукариями неподалеку от океанского пляжа.

В свое время рассказы Шрайбмана об Эйнштейне и его воззрениях на строение Вселенной поразили и увлекли Сергея Блюбаума

настолько, что позднее, через годы, когда его сын подрост и обнаружил способности и интерес к изучению математики, доктор Блюбаум не раз задумывался о том, как замечательно было бы, если бы его сын занялся изучением физики и астрономии и понял бы, как на самом деле устроен мир, именуемый Вселенной.

Что же до самого Стивена, то его выбор факультета в университете Сиднея совершенно естественным образом оказался связанным с изучением физики и математики, и ни о чем другом в качестве предметов, достойных внимания, юный Стивен Блюбаум не мог, да и не желал, помыслить. И тут, разумеется, свою роль сыграли еще и дружеские отношения его отца с Валентином Шрайбманом, судьба которого, как мы уже говорили, привела последнего в один из университетов Новой Зеландии. Правда, время от времени Шрайбман и его жена приезжали в Австралию и неизменно навещали своего «молодого друга» Сергея Блюбаума, превратившегося в хорошо известного всей русской общине Сиднея врача, и его «прекрасную Люсю».

Вот некоторые данные об остальных членах семейства Блюбаум-Дорнов, основанные на записях д-ра Блюбаума.

Что до Александра Ипполитовича Дорна, то его знание языков, а также разнообразные таланты, ярко проявившиеся в бытность его нотариусом, нашли себе замечательное применение и здесь, в Австралии, где он отыскал работу в организации, занимавшейся переводами документов эмигрантов на английский язык и переводами на русский бумаг, адресованных эмигрантам различными правительственными департаментами. Помимо этого Александр Ипполитович вел занятия по разговорному русскому языку со студентами университета, и это, пожалуй, даже доставляло ему некоторое удовольствие.

Что же касается матери Стивена, то постепенно обстоятельства жизни семейства сложились так, что Люси, или Людмила Александровна, как ее называли посетители клиники, стала реже приходить на работу, где появились еще один доктор и медсестра. Люся же время от времени выступала в концертах и достигла определенной известности, исполняя арии из опер и русские романсы. Занималась она еще и небольшим книжным магазином, где продавались книги на русском языке, изданные в расположенных за пределами России эмигрантских издательствах. Помимо того у нее появилась возможность уделять больше времени и сил на помощь Екатерине Андреевне в ведении домашнего хозяйства.

В апреле 1955 года в Принстоне умер Альберт Эйнштейн, а осенью того же года Валентин Шрайбман в Крайстчерче закончил работу над книгой «Годы с Эйнштейном», с интересом принятую читающей публикой не только в Англии, где она была впервые опубликована, но и по другую сторону океана, в Соединенных Штатах, куда Шрайбман

так и не сумел попасть. Первое издание книги вышло в свет весной 1956 года, в апреле, через год после смерти Эйнштейна.

Наконец, в 1958 году профессор Шрайбман получил пришедшее по почте приглашение от Польской Академии наук и Ягеллонского университета вернуться в Польшу и занять по праву принадлежавшее ему место на кафедре физики его *alma mater*. Изрядно поседевший к тому времени Шрайбман и его жена, по-прежнему стройная и элегантная Матильда, направились в Европу теплоходом из Сиднея.

– Она выглядит так, словно они жили все эти годы в Европе, а не на Южном острове, – заметила, между прочим, Люся.

– Что ж, времена меняются, – сказал Шрайбман по поводу их отъезда во время прощальной беседы с Сергеем Аркадьевичем, – и нам порой следует меняться вместе с ними.

Шрайбман понимал, что возвращается в страну «за железным занавесом», но надежды на изменения к лучшему никогда не покидали его. И при желании можно было понять его: эпоха Сталина, Берута и репрессий, казалось, подошла к концу. Правда, это еще не означало конца социализма, но в Польше как будто начиналось новое время...

Отъезд Шрайбмана произвел впечатление и на Стивена, относившегося к нему как к своему учителю еще со времен уроков математики и физики в лагере для «перемещенных лиц» на острове Тубабао. Да и позднее он не раз, в ходе визитов Шрайбмана в Сидней, обсуждал с ним интересовавшие или даже мучившие его вопросы. Уезжая, Шрайбман предложил Стивену поддерживать переписку и при возможности приехать к нему в Краков.

Ясно было, однако, что ни в Австралии, ни в Новой Зеландии Шрайбман больше не появится, слишком велико было расстояние между континентами, из чего следовало, что возможность увидеться со старыми друзьями появится, только если друзья Шрайбманов попадут на какое-то время в Европу, если уж не в саму Польшу.

Им, однако, довелось встретиться через десять лет в Тель-Авиве, когда Сергей Аркадьевич и Люся приехали в Израиль после поездки в главные европейские столицы, наконец-то предпринятой ими после долгого периода пребывания в Австралии. Оказалось, что Шрайбман и Матильда попали в Тель-Авив из Кракова, когда после Шестидневной войны 1967 года евреев в Польше начали увольнять с работы, изгонять из университетов и лишать гражданства.

– Я недооценил польских коммунистов, – сказал Шрайбман своему младшему другу при встрече, – их сущность не изменилась, нам пришлось покинуть Краков, и вот теперь мы живем у теплого моря, что очень нравится Матильде.

Что до Матильды, то Люся, только что побывавшая вместе с мужем в Лондоне, Париже и Риме, отметила в разговоре с мужем, что подруга прекрасно держится и продолжает следовать моде.

ГЛАВА 8.

Поездка Сергея Аркадьевича и Люси в Европу состоялась уже после того, как в одном из эмигрантских издательств во Франции вышла в свет первая большая книга стихов Сергея Блюбаума. Один экземпляр книги Серж подарил родителям, которые по-прежнему продолжали жить в Хайфе, где он и Люся оказались уже после долгожданной поездки в Европу. После того как Стивен закончил университет прошло еще семь лет, прежде чем Блюбаумы расплатились с банком и почувствовали себя достаточно уверенно, чтобы решиться на подобную одиссею. К тому же и билеты на полеты авиакомпании Qantas из Сиднея в Лондон и обратно значительно подешевели в то время. Лондон, Париж, Рим – вот главные европейские столицы, которые они посетили. Из Рима они направились в Бари, а оттуда на пароходе вместе с паломниками – в Хайфу. Вся поездка заняла чуть более трех месяцев.

Стивен к тому времени превратился в высокого худощавого мужчину, внешне несколько напоминавшего мать, которая иногда казалась ему похожей на фарфоровую статуэтку с тронутой временем позолотой.

Пребывание в Хайфе привело Сергея Аркадьевича в сумрачное расположение духа: он понимал, что, скорее всего, больше никогда не увидит родителей, – но старался ничем не портить настроение своей жене. И что, собственно, значила его книга стихов в сравнении с тем, что вообще происходило вокруг..

По возвращении в Сидней он начал выпивать больше обычного и часто засыпал над открытой книгой в том самом книжном магазине, что открыл у себя дома по предложению парижского эмигрантского издательства, руководитель которого подарил ему свою книгу о жизни и поэзии Осипа Мандельштама. Однажды в неясном для него самого состоянии духа он прочитал Стивену последнюю, написанную в 1816 году, оду Державина о всепожирающей силе впадающего в вечность времени, – и текст этот Стивен запомнил навсегда.

Через много лет, во время одной из наших поездок по стране д-р Блюбаум прочитал вслух эту оду Державина. Вот они, эти строки:

Река времён в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Произошло это в Кейсари, в кафе, не так уж и далеко от амфитеатра царя Ирода и других памятников античной истории. А выпили мы в тот день по бокалу отличного вина с виноградника на горе Тавор в Нижней Галилее.

...Эта последняя фраза «и общей не уйдет судьбы» пришла на ум Сергею Аркадьевичу сразу же после внезапной смерти Екатерины Андреевны, скончавшейся от разрыва аневризма аорты. Ей было около восьмидесяти, и век ее внезапно пришел к завершению. Ее отпевали в одной из православных церквей Сиднея, и Серж внезапно вспомнил, как внимательно посмотрела она на него в ту первую встречу в «Русском доме» Шанхая, где Люся, мысленно названная им Люси, появилась в ее сопровождении.

С тех пор пролетело около тридцати лет, но Серж помнил тот день чрезвычайно ясно. И так же ясно помнил он и выражения лиц своих уже престарелых родителей, в гостях у которых он незадолго до этого печального события побывал вместе с Люсей. Ясно было, что они, всё еще крепкие на вид и как бы подсушенные южным солнцем люди, в общем-то доживают свой век.

Смерть матери оказалась тяжелым ударом для Люси; она была единственным ребенком и чрезвычайно сблизилась с матерью еще во времена юности. Теперь она осталась одна, без нее... И хотя с нею и оставалось трое мужчин – отец, муж и сын, – которые ее любили, каждый по-своему, она, несмотря на эту направленную на нее любовь, вдруг поняла, что одиночество существует и присутствует в ее жизни. Она словно внезапно прикоснулась к чему-то неизвестному и ощутила что-то чужое, холодное и острое, как лезвие бритвы. Слово это, «одиночество», и раньше присутствовало в ее словаре, но никогда ранее не задевало ее до такой саднящей боли. Со временем она стала лучше понимать своего мужа Сержа, который иногда писал стихи о чем-то подобном... быть может, об одиночестве улетающей в небо стрелы, постепенно теряющей скорость и с неизбежностью падающей вниз на землю.

Самому Сергею Аркадьевичу было в то время уже больше шестидесяти, но там, в церкви, в то самое время, когда он слушал слова молитвы и вспоминал покойницу, он вдруг ощутил перехватившее горло переживание, такое же, как когда-то в молодости, и вспомнил свое давнее стихотворение, посвященное гибели Икара. Стихотворение это осталось неизвестным широкой публике, а Стивен в своих материалах приводит его так, как оно осталось в его памяти...

Внизу остаются камни и скалы,
Да синяя моря волна,
Пылающий шар всё ближе и ближе
Прощай, Ойкумена-а...!.

А Солнце всё жарче и жарче горит,
И сердце сжимает страх,
О Боги, не дайте мне умереть
На солнца горячих устах...
Но воск растаял, и крылья мои
Смыты со скал волной,
На синей воде мои крылья трепещут,
Прощается жизнь со мной....
Кончается день, обрывается жизнь,
Уходит во тьму Земля,
Топот быков, голос свирели,
Сгоревших костров уголья...

Сам Стивен услышал это стихотворение раньше, еще студентом, слушая отца о резких поворотах в жизни Валентина Шрайбмана и его жены Матильды, в ту пору всё еще пребывавших в Крайстчерче на Южном острове, где жизнь напоминала Шрайбману о его молодых годах в Англии.

Добавлю, впрочем, еще кое-что.

Однажды я начал было расспрашивать д-ра Блюбаума о жизни его отца после возвращения в Австралию из Европы. В ответ я услышал лишь нечто вроде ироничной эпитафии:

– Ну что же можно сказать о Сергее Аркадьевиче? Он всегда много работал, вел прием в клинике на Бондае, занимался больными, писал, ежедневно ходил на пляж, плавал, гулял по песку... Иногда он читал свои стихи на собраниях Клуба любителей русской словесности в Сиднее, иногда читал их в Мельбурне, там заседания клуба проходили в «Русском доме», в большом зале с портретом Николая II... Иногда он выпивал, но держался всегда хорошо, всегда оставался стройным и подтянутым. Всегда был гордым человеком и любил мою мать, также как и она его. Там была какая-то тайна, он называл ее «рыженькой голландкой» – имея в виду предков ее отца, Ван Доренов, со временем превратившихся в Дорнов, так что в моих жилах понаместо еврейской, русской и голландской, и, Бог знает какой еще, крови, – и вот так вот всё и шло, он прожил остаток своей жизни в доме на склоне холма, нависающего над заливом и океанским пляжем Бондай Бич в Сиднее; теперь, благодаря телевидению, это известное всему миру место...

Часть 4.

ГЛАВА 1.

Мельбурн, где Эрик провел несколько месяцев, – один из крупнейших городов Южного полушария, в которых Южный Крест является незаходящим созвездием. Помню, как, вернувшись из

Австралии, Эрик рассказал, что согласно средневековой легенде, Адам и Ева видели из Земного Рая звезды, образующие созвездие Южного Креста – так, словно земной рай находится в Южном полушарии. Не забыл он и аборигенов, которые видят в этом созвездии поссума, спасающегося на дереве от преследования злого духа...

– Поссумы меня поразили, – рассказывал Эрик. – В звездные ночи они заполняли сады и парки Мельбурна, собираясь на холмах и вблизи набережных, вокруг высоких деревьев, не обращая внимания на наблюдающих за ними людей. Глядя на них, можно было подумывать, что они ожидают прибытия Главного Поссума, который произнесет речь... Но время шло, никто не прибывал, ничто не менялось, а они всё стояли, как замороженные, окружив высокую пальму в синей теплой мгле и очевидно ожидая чего-то, что должно было произойти пусть не в эту, так в одну из последующих ночей... Возможно, они ожидали прихода своего пророка... И если день в Мельбурне принадлежал людям, то ночью город переходил во владение поссумов – молчаливых и гордых, первых его обитателей.

При этом, уж коль скоро речь зашла о первых обитателях континента и о славных австралийских традициях, то следует вспомнить об изначальном оптимизме австралийцев и их доверии к будущему, запечатленных в связанной с тем периодом формуле *Australia Felix* (Австралия Счастливая) и в популярной сентенции «*Aren't we lucky to be born in Australia?*» (Ну не повезло ли нам родиться в Австралии!). Эрик утверждал, что и ему не раз довелось слышать этот вопрос в то время, когда в течение одного семестра он читал лекции в университете Мельбурна...

– Я сначала не знал, что говорить в ответ... Только потом я понял, что достаточно будет просто улыбнуться – тем самым как бы подтверждая, что ты понимаешь уместность и справедливость этого вопроса...

Тот же вопрос обычно задавали и д-ру Блюбауму, и случалось это чаще всего во второй половине обеда, когда его соседи за обеденным столом, люди самого разного разбора, потягивали из бокалов особенно популярное в те годы «Шардоне». Впрочем, ответа на этот вопрос или схожие никто не ждал, то были вопросы чисто риторического характера. Интересно и то, что люди, задававшие вопрос, действительно молчаливо полагали Австралию счастливой страной среднего класса – в сравнении с европейскими странами, где постоянно происходили войны, революции и социальные потрясения, а также случались не только разного рода политические ураганы, но и зрели изначально подспудные, а затем и явные пограничные споры, грозившие новыми войнами. Австралия же, согласно их представлениям, лежала под ежедневно сверкающим солнцем и ярко горящими на ночном небе звездами, составляющими созвездие Южного Креста.

То была огромная, бесконечная земля, простирившаяся от эква-

тора почти до Антарктиды и охватывавшая более половины южной части восточного полушария; страна-континент, по краям которой, тяготея к морю, жили люди; континент, окруженный островами, морями и океанами; страна красной земли, материк, когда-то составлявший единое целое с Африкой; богатый пустынями, влажными джунглями, залежами урана и золота, с алмазными копиями, змеями и крокодилами, обитающими в пресных и соленых водах. И охраняли покой этого материка в то жаркое лето, о котором идет речь, чуть более тысячи человек из Australian Defence Forces – остальные были на рождественских каникулах, о чем сам Блюбаум прочитал в то утро в одной из главных газет страны.

Был солнечный выходной день, и он вместе со своей подругой был приглашен на ланч к приятельнице подруги, проживавшей в Алберт Парке. Помимо упомянутой пары, хозяйка дома пригласила еще и бывшего священника Англиканской Церкви, пожелавшего обсудить с д-ром Блюбаумом некоторые вопросы, находившиеся, согласно мнению бывшего священника, на стыке между философией, наукой и теологией. Приятельница подруги, дама с широким кругом знакомств, работавшая на телевидении, была знакома с ним со времен его активности как телепроповедника, участвовавшего в ряде популярных программ.

Итак, речь шла о вопросах, лежавших достаточно далеко от нашей повседневной жизни, – так, во всяком случае, описал интересовавшие его проблемы distinguished Дэвид Хенсло, чрезвычайно коротко остриженный, динамичный и плотный мужчина средних лет – настоящий морской волк, совершивший на своей яхте «Диана» несколько переходов из Мельбурна в акваторий Южно-Китайского моря, посетив при этом порты Вьетнама, Таиланда и Индонезии и готовившийся, как сообщила дама с телевидения, к кругосветному соло-плаванью на своей яхте.

В свое время Дэвид побывал во Вьетнаме с миссией установить мирный диалог между Севером и Югом, но, как оказалось, сроки поездки были выбраны без учета времени года и дат локальных праздников. Поездка, к тому же, проходила на фоне активных протестов монахов-буддистов и не дала каких-либо положительных результатов. Однако предпринятые Хенсло усилия сделали его имя известным почти каждому австралийцу. Возможно, именно по этой причине или же по каким-либо иным, нам не известным, но Хенсло по-прежнему тянуло на Север, тянуло в те края, где он побывал в молодости. Что же до злых языков, то они утверждали, что чем далее находился Хенсло от своего дома, тем меньше он ощущал себя священником, хотя бы и бывшим.

В то утро яхта, принадлежавшая Хенсло, стояла у причала одной из марин на полуострове Морнингтон, где Хенсло проводил немало

времени в последние годы, предпочитая дачу в районе Маунт Марта своему двухэтажному викторианскому особняку во всё том же Алберт Парке, где жила его семья. Располагался особняк на довольно просторном прямоугольном участке земли, засаженном тополями и вистериями. Здесь он проводил большую часть зимы, здесь же размещалась и его обширная библиотека, где он работал над своими книгами и статьями.

Но не только подвигами на море и на суше был известен достопочтенный Дэвид Хенсло; он писал еженедельные обзоры в одну из крупнейших газет Австралии, редакция которой размещалась в Мельбурне, неподалеку от Victoria Station. И что особенно важно, именно Дэвид Хенсло был человеком, впервые высказавшимся публично о том, в какую именно сторону и как следовало переориентировать деятельность австралийского сегмента СГР, т.е. международной, созданной несколько лет назад Системы Глобального Реагирования. Согласно идее Хенсло, поддержанной рядом авторитетных голосов, целью всей деятельности обновленной и трансформированной СГР должно было стать не просто наблюдение за ближним космосом и предотвращение угроз в области безопасности и обороны, но и защита нашей планеты от угрожающих существованию жизни на Земле потенциальных метеоритных кометных атак, а также развитие и продолжение идей и практики программы поисков внеземного разума. Оседлав эту тему, Дэвид Хенсло постепенно добился не только того, что публика стала с большим интересом и пониманием относиться к упомянутым угрозам, но и приобрел некоторое число последователей, признавших его одним из столпов «новой духовности», предлагающей подлинно новые и спасительные ориентиры человечеству в свете его нарастающего безразличия к традиционным религиям и повсеместной утрате подлинных моральных ценностей. Что же до его собеседника, д-ра Стивена Блюбаума, одного из сотрудников СГР Австралии, то он, как и некоторые коллеги, порой ощущал себя и своих коллег кем-то вроде первых поселенцев на этом континенте – поселенцев, исследовавших возможность жизни в Австралии на своей шкуре. Речь идет о группе исследователей, деятельность которых проходила в лаборатории и корпусах на возвышенном, выходящем в океан выступе континента на юго-востоке, именуемом мысом Вилсона.

Словом, встреча Стивена Блюбаума с Дэвидом Хенсло за ланчем в Алберт Парке произошла в последнее воскресенье рождественских каникул.

ГЛАВА 2.

Покидая Китай и направляясь в Австралию в 1949 году, отец нашего героя, разумеется, не знал, какие обертона возникнут и дополнят восприятие его фамилии со временем, то есть уже после китай-

ской «культурной революции», первоначальный облик которой оказался связан с синими хлопчатобумажными костюмами, красными знаменами и желтыми лицами на экранах телевизоров – да еще и желто-серыми рукописными стенгазетами с характерно большими, написанными черной тушью иероглифами. На экранах телевизоров участники революции постоянно мчались то в одну, то в другую сторону, поднимая при этом почти непроницаемую завесу желтой пыли, кроша и разбивая по дороге и «собачьи головы» ревизионистов, и драгоценный китайский фарфор. Именно в ту пору один из товарищей тогда еще молодого ученого, тридцатилетнего Стивена Блюбаума впервые назвал его за глаза Дадзыбаумом. Возможно, то была реакция на публикацию рассказа Стивена в университетском журнале, инспирированная созвучием фамилии Стивена со звучанием облетевшего весь мир китайского слова. Произошло это в университетском клубе после оживленного спора за пивом о будущем Китая, охваченного в ту пору волнениями и демонстрациями, где незадолго до этого были созданы окруженные колючей проволокой «лагеря для перевоспитания» разнообразных «уклонистов» из числа несогласных из самых различных групп населения, включая и самых активных участников «культурной революции».

Незадолго до развернувшейся в клубе дискуссии отец рассказал Стивену, что в ходе «культурной революции» практически все памятники, связанные с пребыванием русских в Шанхае, были уничтожены. В их числе и памятник Пушкину, открытый к столетию со дня смерти поэта, деньги на который собирали по подписке все эмигранты. Открыта была подписка в год рождения Стивена, и разрушение памятника, случившееся тридцать лет спустя, в 1966 году, взволновало, – вот тогда-то он написал свой первый, посвященный Китаю, рассказ, ясно свидетельствовавший о том, что ему не нравятся революции.

Да и я, общаясь с д-ром Блюбаумом, скоро почувствовал, что иногда даже самое, я бы сказал, периферическое напоминание о «революции», даже о китайской, могло навести его на что-то типа горестных размышлений.

– Да, – сказал он однажды, – отец много рассказывал мне об Одессе и дюке де Ришелье. Отец и его знакомые, такие же бывшие одесситы, как он, оказавшиеся в Австралии, запросто говорили о Пушкине, о памятнике «Дюку», о садах Одессы и прекрасных тенистых улицах, о синем взрыве моря в конце улицы, по которой идет трамвай на пляжи Аркадии и Лонжерона, о высоком голубом небе и цветении акаций... Но в Одессу я так и не попал, я побоялся ехать туда в семидесятых и позже, когда некоторые выходцы из России, бежавшие изначально в Китай, устремились уже из Австралии в Россию, на остатки пепелищ. Но что же было делать нам? Вся эта предистория с побегом из Люстдорфа и фигура Велева требовали, как мы понимали, осторожности...

В послевоенной Болгарии, где к власти пришли коммунисты, он оказался не в чести... Очень легко было направиться в Одессу и попасть вместо этого в Сибирь. И оттого я мог только фантазировать, мечтать об Одессе... В принципе, я мог мечтать и о том, чтобы попасть в Крым и начать работать в тамошней астрофизической обсерватории в Симеизе, или, скажем, я навоображал бы себе, что если мне запретят заниматься наукой, то, зная русский, английский и китайский – ну, и еще несколько языков на уровне, необходимом для уличного общения, – я устроюсь на работу в каком-нибудь черноморском порту, скажем, переводчиком, а звать меня будут Степан Сергеевич или просто Степан, Степа... Иногда я думал, что буду жить в хижине, сарае-временке в каком-нибудь черноморском порту, на большом причале, ловить бычков в свободное время, а вечером жарить их на печурке, растапливаемой принесенным с пароходов углем... заправлять салат хорошим оливковым маслом из Греции... Днем я был готов переводить всевозможные документы, всё о тоннаже, грузах, страховке и обо всем, связанным с мореплаванием, – о чем я знал и слышал от отца, работавшего врачом на судах английского пассажирского флота... Но главное, я хотел увидеть одесские акации... В Австралии их называют вистерия, а в Китае – глициния... Фиолетовые цветки глициний похожи на цветки жакаранды. В Китае они растут во влажных лесах и по берегам прекрасных, вьющихся вокруг холмов и гор, и рек, – растения, напоминающие синий дождь. Такой синий дождь увидел я однажды в Испании, это был водопад вистерии, ниспадающей по темной стеклянной стене здания против музея Прадо. В тот день я возвращался в гостиницу из музея королевы Софии, куда направился посмотреть «Гернику».

ГЛАВА 3.

Возвращаясь ко временам споров о «культурной революции» в Китае, следует напомнить, что к тому времени Стивен Блюбаум завершил работу над своими PhD тезисами, посвященными проблемам корреляций, то есть установления соответствий в наблюдательной астрономии, и уже работал на должности астронома-наблюдателя в австралийской национальной обсерватории Маунт Стромло.

Годы учебы его на физическом факультете Сиднейского университета не ознаменовались какими-либо значительными научными успехами или озарениями, но он зарекомендовал себя внимательным и исполнительным студентом, способным к тому же ясно и последовательно излагать содержание тех или иных материалов, писать краткие или развернутые изложения теорий и сумел достигнуть определенных успехов в том, что можно было бы назвать околонучной журналистикой... Одной из очевидных причин его успехов в этой области было то обстоятельство, что он никогда не отказывался от предложения написать сколь угодно короткую или длинную статью, или же

просто заметку для широкой публики, время от времени обращавшей внимание на небеса Австралии с их ясно различимым созвездием Южного Креста. В этих своих текстах он обычно рассказывал о новых волнующих открытиях австралийских астрономов или же об их участии в глобальных научных проектах. Кроме того, и это, пожалуй, следует подчеркнуть, он участвовал в работе группы по поиску Сверхновых, в результате было открыто ускорение расширения Вселенной, в свое время весьма взволновавшее научный мир.

Напомним, что первая астрономическая обсерватория в Австралии была построена в 1926 году, а новое развитие астрономия в Австралии получила после окончания Второй мировой войны в ходе различных англо-австралийских проектов, предназначенных, в том числе, и для изучения Галактического Центра и Магеллановых Облаков, – ввиду того, что обсерватории, расположенные в этих широтах, наилучшим образом подходят для решения таких задач.

– Так что можно сказать, что мне повезло, – рассказывал д-р Блюбаум. – Я попал в Австралию именно тогда, когда астрономия на этом континенте сделала несколько замечательных шагов, что привело меня к участию, пусть даже и на скромных ролях, в ряде интереснейших проектов, увенчавшихся несколькими замечательными открытиями и, в частности, к открытию необычного явления, когда лучи одной из звезд искривляют свои траектории под влиянием гравитационного притяжения другой звезды, что самым что ни на есть естественным образом демонстрирует предсказанное теорией Эйнштейна искривление пространства вблизи массивных объектов.

– Что, однако, не давало мне покоя, так это усиливавшееся со временем определенное и недвусмысленное ощущение собственной чужеродности всему окружающему меня строю англо-австралийской жизни. Я, безусловно, ценил организованность и эффективность того сообщества, к которому принадлежал, но мне явно не хватало ощущения обязательности и необходимости моего присутствия и соучастия в его жизнедеятельности; время от времени я ощущал себя ну не то что чужим – скорее, человеком не слишком причастным к этой жизни; причем не устраивали меня не принципы или ценности, характерные для mainstream, а скорее, какие-то штрихи того, что именуется «стилем жизни», lifestyle, – и что самое поразительное, стиль, в конечном счете, для людей определенного типа оказывается важнее содержания. Понимаю, насколько спорной представляется эта мысль – и всё же... Для меня лично всё это сплелось и преломилось в несчастливой истории моего брака, истории, к деталям которой я не хочу возвращаться. Достаточно того, что у меня в Австралии есть дочь, рожденная в этом браке, ее матери я всю жизнь оказывал требуемую обстоятельствами поддержку... Она была художницей – не без таланта, кстати, но совершенно взбалмошная особа. Кончилось для нее всё это тяжелым заболеванием и передозировкой... Что ж, дочь надо было вырастить,

отправить в приличную частную школу, затем поддерживать ее во время учебы в университете – она выбрала искусствоведение. А для всего этого следовало работать, и работать с полной отдачей. Хочу напомнить, однако, старую английскую поговорку: «If you can't beat them, join them!», «Если вы не можете победить своего противника, присоединяйтесь к нему!» К сожалению, мне не удалось последовать этому рецепту до конца, хоть я и старался... Возможно, именно в силу присутствия в моей жизни этого не оставлявшего меня ощущения некоторого несоответствия моих устремлений и чаяний тому, что следовало бы назвать реальностью окружавшей меня жизни, я и увлекся рядом эзотерических учений, трактовавших проблемы личности с точки зрения даосизма, дзэн-буддизма и других, быть может, не столь известных и популярных тропинок восточной мысли. Кроме того, после смерти родителей я остался один, снова жениться я не желал – это означало бы своего рода оковы, а кто стремится распрощаться со своею свободой, если ценит ее превыше всего? Мне было уже около пятидесяти, когда умер отец, Александр Ипполитович покинул нас лет за десять до этого. В поздние годы у отца моего постепенно возрос интерес к прозе, и в какой-то момент он приступил к своему opus magnum, повествованию под рабочим названием «Ужин с де Бальзаком».

– Однажды я спросил у него, отчего с де Бальзаком? В ответ он рассказал мне, что на всю жизнь запомнил новеллу де Бальзака «Гобсек», которую прочел еще в Одессе в молодые годы. Рассказывает новелла о старом ростовщике-живоглоте; отец запомнил подробные, вплоть до деталей, описания посуды и яств, тканей, оружия, ковров и т.д. в подвале ростовщика; столь же детально запомнил и других персонажей новеллы. Мать Гобсека была еврейкой, отец – голландцем. С юности до тридцати лет он плавал юнгой на судне, бороздившем морские просторы Ост-Индии. В старости Гобсек превратился в наблюдателя человеческих страстей, и этим, утверждал отец, он напоминает самого де Бальзака. «Каждый настоящий писатель – это клиент ростовщика, имя которому – жизнь, и он обязан отдать больше, нежели получил от нее», – пояснил он.

– Это, конечно, странно, необъяснимо, но это так... Я говорю о выборе моего отца. И, конечно, подвал – это тоже метафора. «У меня сохранились впечатления и воспоминания, от которых я хотел бы освободиться», – говорил он. Мой отец оставался романтиком, и ничто не могло его изменить... После его смерти я не обнаружил ничего, что можно было бы считать хоть как-то связанным с объявленным «ужином». В конце концов, я понял, что он думал о написании книги воспоминаний, но по какой-то неизвестной мне причине не сделал этого... Что до своей поэзии, то он сказал, я думаю, всё, что хотел, в нескольких последних строчках одного из поздних своих стихотворений...

Судьбу в папиросу сверну
И в жизнь отдаленной страны
Я дымом войду голубым
Под светом далекой Луны

И если бы у меня попросили указать на строки, которые могли бы послужить эпиграфом к рассказу о его жизни, то я без колебаний указал бы на строки одного из наиболее ценимых им поэтов...

Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.

– Ну а бедная, несчастная моя мать пережила отца на пять лет, которые она провела в доме на склоне холма в оконечности бондайского пляжа. Статуэтка осталась, но золотые пятна на ней поблекли... Земля же была безвидна и пуста... Умер ее муж, увял ее голос... она читала книги, занималась хозяйством и глядела на волны... Когда я приезжал, она словно оживала. И в последние свои годы всё вспоминала и вспоминала прошедшую свою жизнь. Не скажу, что эта последовательность смертей укрепила мою веру в жизнь. Но как мы противостоим этому? Мы курим сигареты одну за другой, пьем вино, глотаем таблетки, пускаемся в любовные авантюры, ухаживаем за огородами, растим детей, слушаем музыку и глядим на звезды... И долгое-долгое время ничего не происходит, нас никак не оставляет чувство потери. Наконец, мы начинаем читать стихи...

– Что касается женщин, то после первого, неудачного, заключенного по молодости брака с подружкой по университету я довольствовался необременительными связями, да к тому же почти никто из знакомых мне женщин, за исключением нескольких наиболее отважных представительниц «прекрасного пола», не стремился связать свою судьбу с моей на продолжительное время. И я полагаю, это было вполне естественно, так как я не был укоренен в эту жизнь, был вестником и представителем какого-то иного и, я бы сказал, *остального* мира – того, что существует где-то там, снаружи, вдали; мира изучения звезд, Сверхновых, туманностей и галактик, которыми в этом мире никто, в сущности, не интересуется... Да и зачем?

– ...И если есть где-то живая душа, то отчего мы не слышим ее голоса? – спрашивал Блюбаум. – Отчего она молчит?

«Она» не означало чью-то душу, с годами краткое слово «она» стало обозначать Вселенную.

– Здесь ведь несколько возможностей, – продолжал он, – или мы уникальны и никого более нигде нет, или навсегда потеряны в каком-то далеком и недостижимом для остальных пространственно-временном фрагменте Вселенной, или же, наконец, мы просто чего-то не видим и не понимаем, или же с нами просто никто не хочет общаться...

Однако Блюбаум утверждал, что ему и еще нескольким австралийцам довелось услышать *голос*...

– Это было нечто вроде женского голоса, напевавшего какую-то арию, – утверждал он, – так мне показалось, но затем компьютер наш рухнул, а вслед за ним рухнула и единая компьютерная система национальных университетов, с которой он был связан, а один из сотрудников-специалистов, связанных с этим проектом, погрузился в глубокую депрессию, позднее он покончил с собой... Это была подлинная трагедия, после чего никаких разговоров о возобновлении нашего эксперимента уже не возникало.

Да, подумал я, услышав эти слова, Эрик, конечно, прав: ощущение одиночества может стать объединяющей силой...

ГЛАВА 4.

Итак, Блюбаум жил, размышлял, работал и даже писал книги. Одну достаточно объемную книгу он написал в соавторстве с Нилом Янгом, которого многие считали восходящей звездой новой астрофизики.

Он был родом из Новой Зеландии, куда его предки прибыли в начале девятнадцатого века за счет английского правительства, то есть как свободные поселенцы. Среднего роста, рыжий, веснучатый, достаточно крепкого, на грани с могучим, сложения, – он легко передвигался, а в глазах его, когда он смеялся, порой загорался темный огонек. Но это случалось нечасто, обычно он был серьезен, так казалось, но кто знает, что там было на самом деле... Во всяком случае, он выделялся в любой компании, не заметить его было трудно.

Родился Нил в Хастингсе, на востоке Северного острова. Отец его был учителем физики в школе; мать, рыжая со светлыми глазами ирландка, смотрела за тремя детьми. У Нила был старший брат и сестра-инвалид. Нил оказался способным юношей и после окончания школы поступил в университет Кентербери в Крайстчерче, где на него обратил внимание Шрайбман. После окончания учебы он получил стипендию в один из колледжей Оксфорда. Последующие несколько лет в Англии были посвящены учебе, питью пива и пению в хоре. Он полюбил классическую музыку, от Монтеверди до венских классиков включительно. Его любимым произведением была оратория Генделя «Мессия». Получив PhD, он вернулся в Австралию, где вскоре стал профессорствовать в Сиднейском университете.

Несмотря на то, что он в своей деятельности безусловно стремился к прояснению неясностей и сложностей, именно путаные и двусмысленные ситуации увлекали его. Однажды он повторил слова Эйнштейна о том, что Бог изощрен, но не злонамерен, – мне показалось, что я услышал оттенок иронии в его голосе. Воображение его

работало не переставая; его решение какой-нибудь старой проблемы с помощью необычного подхода в свою очередь порождало серию новых... Несмотря на то, что те работы, что сделали его имя известным, как бы прояснили несколько сложных проблем, они отнюдь не привели к радикальному упрощению или изменению общей картины – наоборот, она становилась сложнее, приобретая дополнительную глубину, и то, что когда-то казалось достаточно простым, становилось пугающе сложным и даже недружественным по отношению к познающему разуму... В качестве поясняющего примера напомним слова замечательного английского астрофизика сэра Артура Эддингтона: «Нет ничего проще звезды». Около полувека слова эти принимались на веру и служили чем-то вроде благословения для всех приступающих к изучению астрофизики студентов, но пришло время, появились работы Янга – и картина стала совершенно иной...

Возможно, именно комбинация всех помянутых факторов и привела к тому, что издатели обратились к нему с предложением написать книгу, а он, в свою очередь, предложил Блюбауму написать эту книгу совместно.

– Мы встретились с Янгом на набережной Бондая, – рассказывал Блюбаум, – зашли во вьетнамский ресторан Bamboo Lake, предлагавший В.У.О., то есть приносить выпивку с собой, – мне понравилось его название «Бамбуковое озеро». Это был полупустой ресторан с видом на залив. Пришли мы с парой бутылок «Cloudy Bay», новозеландского Sauvignon Blanc и, заказав закуски, принялись набрасывать на бумаге пункты соглашения о принципах, методах и целях нашей совместной работы. Через два часа дело было сделано, вино выпито, закуски съедены, а текст факса, адресованный лондонскому издателю, согласован. Я полагаю, что именно крайняя нелюбовь Янга к писательству определила наше сотрудничество.

– Работа над книгой заняла около года, и еще через полгода, европейской весной, книга увидела свет. Помимо всего, рассматривались в книге и вопросы поиска и обнаружения внеземного разума; философия же книги, целиком принадлежавшая Янгу, состояла в том, что нам, землянам, не стоит пытаться искать и надеяться обнаружить какие-либо отправленные в космос послания от других цивилизаций, так как шансы на получение их исчезающе малы. Скорее, следовало бы интересоваться поисками следов их астрокосмической деятельности, считал Янг. Поэтому в основной части книга обращалась к физике звезд: их рождению, эволюции и смерти и возможностям такого рода астроинженерной деятельности, как создание звездных «маяков», чье искусственное происхождение будет столь же очевидно, как в случае обнаружения построенных детьми песчаных гор на плоском и пустынном пляже... Наконец, в книге рассматривались возможные программы для поисков и обнаружения в космосе «маяков» – таких,

как преждевременно взрывающиеся звезды или искусственные «черные дыры», или иные объекты, наводящие на мысль об игре со звездами, которую можно было бы назвать «космическим бильярдом».

– Должен признаться, что в ходе нашей совместной работы Янг не единожды заставил меня удивляться находчивости и гибкости его ума. И это касается не только его видения проблем астрофизики. Так, однажды он удивил меня, предложив в качестве эпиграфа к главе о поиске сигналов от внеземных цивилизаций слова: «Мы играли на флейте, а вы не плясали! Мы пели печальное, а вы не скорбели!» – от Матфея, 11:17.

– Хочу заметить, Янг был верующим человеком, во всяком случае, он так говорил. Иногда он повторял фразу из Луки: «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». А однажды спросил, бывал ли я в Иерусалиме? Когда я сообщил ему, что бывал, от серьезно посмотрел на меня и сказал: «Это хорошо. Вы должны были там побывать, ведь вы – еврей». И изменил тему разговора. Больше мы к вопросу о моем еврействе не возвращались. Правда, иногда Янг называл меня своим «русским другом» имея в виду то обстоятельство, что моим родным языком следует считать русский. «И мы с тобой живем в чудесной стране, – добавил он как-то раз, – ведь мы оба – эмигранты, ты – из России, а я из Новой Зеландии, и здесь нас никто ни в чем не упрекает.»

– Поговаривали, правда, что Нил имеет какие-то связи и поддерживает контакты с ASIO, разведывательной организацией Австралии, которая осуществляла проверку сотрудников при приеме на работу в СГР и проводила ряд других негласных мероприятий. Не знаю, насколько обоснованы были эти предположения, и каким человеком он был на самом деле...

– Конечно, всем знаком тип человека-сухаря, ничем помимо науки не интересующегося и абсолютно в нее погруженного. Янг в достаточной мере интересовался тем, что происходило вокруг нас. Так, однажды, Дэвид Хенсло упомянул, что Янг был впечатлен моим проектом, связанным с 200-летием со дня смерти Моцарта, скончавшегося 5 декабря 1791 года в Вене. В одной из своих публикаций за год до этого юбилея я предложил отметить годовщину трансляцией моцартовского «Реквиема» в космическое пространство из двух точек на Земном шаре: в окрестностях Северного полюса в направлении Полярной звезды и из точки в окрестностях Южного полюса в направлении созвездия Южного Креста, т.е. Южного полюса мира. Задумано всё было с подлинно юбилейным размахом, но я не буду утомлять читателя техническими деталями. Целью такого перформенса была трансляция идеи и представления о Земле, вращающейся вокруг воображаемой звездной оси, созданной улетающей к космос музыкой Моцарта.

А тогда, во время беседы с Хенсло в тот прекрасный солнечный

день за ланчем с хорошим австралийским «шардоне» Блюбаум, отвечая на вопрос Хенсло о размерах Вселенной, попытался использовать образ тела, покрытого веснушками.

– Да, именно они, эти веснушки и есть всевозможные созвездия и туманности, – сказал он. – Мы способны узреть веснушки, но мы не в состоянии угадать очертания тела, – пояснил он.

И, словно подводя некоторые итоги тех, случившихся достаточно давно событий, д-р Блюбаум сказал мне:

– Хенсло считал, что Янгу понравилась масштабность моего проекта в сочетании с его относительной дешевизной; комбинация этих двух факторов впечатлила его и заставила обратиться ко мне с предложением написать книгу, которая оказалась, по-видимому, неплохой и ввела в научный оборот устойчивое сочетание двух фамилий – Янг и Блюбаум.

А теперь я попробую рассказать чуть подробнее о том, что мне удалось узнать о «Моцарт-проекте II» и связанных с ним событиях.

Существеннейшей и важнейшей фазой его была вторая, связанная с прослушиванием приходящих из космоса нерегулярных сигналов, – ибо, как пояснял Блюбаум, существовали определенные соображения в пользу того, что ответ на посланную в космос музыку вернется в том же диапазоне частот, что был использован во время трансляции. Соображения эти оттачивались от утверждения, что нам никогда не удастся вступить в контакт с цивилизацией, сравнимой с нами по научно-техническим достижениям и возможностям. Попытка установить контакт между локализованными цивилизациями примерно одного уровня развития была бы похожа на попытки разбросанных в степи безногих инвалидов установить контакты друг с другом посредством осколков зеркал и солнечных зайчиков. То есть искать контактов с подобными нам цивилизациями – глупо и нелепо.

В свое время, подвергнув детальному анализу возможности подобных контактов, Янг и Блюбаум пришли к следующему, возможно несколько резковатому, но тем не менее заслуживающему упоминания заключению: только Цивилизация Типа II сможет ответить на отправленные нами сигналы таким образом, чтобы ответ дошел до нас в доступной для понимания форме. Блюбаум пояснил мне и то, что создавшая нас в порядке эксперимента Цивилизация Типа II должна продолжать интересоваться нашим развитием и судьбою. И оттого нам следовало бы послать в космос сигнал, указывающий на то, что мы повзрослели, идея установить общение с нами интересна как общение родителей и детей, когда в один прекрасный день старшие замечают, что ребенок вышел из младенчества, кое-что понимает и начал задавать вопросы или произносить нечто оригинальное. Кардинальный же вопрос состоит в том, каким должно быть посла-

ние, обращенное к Цивилизации Типа II? Несложный анализ показывает, утверждали авторы, что самым нетривиальным посланием может стать только музыка... Более того, доказывали они, музыка может стать будущим языком общения. В конце концов, нам просто следует привлечь к себе внимание, и дебютный ход с передаваемой в космос музыкой мог бы сработать...

Следует отметить, что воззрения эти никогда не были популярны в научных кругах; они, по мнению ряда специалистов, отдавали иррационализмом и граничили с квазирелигиозной трактовкой процесса эволюции Вселенной. Именно поэтому весьма небольшая группа людей, включавшая Янга и Блюбаума, разработала «Моцарт проект II», никогда публично не оглашенный и никакому научному, административному или политическому органу не представленный. Первая фаза проекта отталкивалась от 200-летней годовщины со дня смерти Вольфганга Амадея Моцарта, композитора и масона.

– Дело в том, – пояснил Блюбаум, – что по разного рода бюрократическим причинам оригинальный «Моцарт-проект» осуществлен не был, шансы на его осуществление рухнули по дороге из одной правительственной канцелярии в другую, а поскольку проект был задуман как международный, то это естественный конец, винить в котором некого... Кое-кому сама идея подобного перформанса показалась политически некорректной... Тем не менее, проект продолжал волновать группу наших единомышленников в странах северного полушария, наших коллег по работе в СГР. В конце концов, нам пришлось забыть об изначальном проекте и ограничиться передачей послания в направлении созвездия Единорога. Местонахождение созвездия – внутри зимнего треугольника, образованного яркими звездами – Сириусом, Проционом и Бетельгейзе, по которым его легко найти. Одной из причин такого выбора была V838 – необычная переменная звезда. В начале 2002 года звезда пережила серьезный взрыв, причина которого до сих пор вызывает споры. Размеры звезды впечатляющие, V838 замыкает первый десяток в списке известных крупнейших звезд. Янг полагал, что именно эта взорвавшаяся звезда превратилась в своего рода маяк, а причиной случившегося стала деятельность Цивилизации Типа II. И это звучало убедительно. Как бы то ни было, у нас была возможность проверить его предположение. В качестве текста послания выбрали первую часть фортепианной сонаты Моцарта №14 (с-moll). Эти около восьми с половиной минут музыки, чуть меньше или чуть больше в зависимости от исполнителя, уложились в несколько миллисекунд зашифрованного текста, переданного в космос, и это было всё, что мы могли себе позволить. Трансляцию мы повторяли ежедневно, в течение довольно длительного периода в одно и то же время. Идея наша состояла в том, что любой наблюдатель, получивший эти последовательные сигналы, постарается расшифровать их и

овладеть основами создания музыкальных текстов. Что произойдет или может произойти дальше, мы не знали, об этом строились догадки.

– Но отчего вы выбрали именно этот фрагмент? – спросил я.

– Ну, каждый из нас, естественно, имел свое мнение о том, что именно следует выбрать, но нам удалось утрясти ситуацию без особых споров, – ответил он. – А мне всегда казалось, что эта соната начинается с вопроса, ответ на который Моцарт искал всегда, всю жизнь. Ведь не случайно же последние семь лет своей жизни он был масоном. Кроме того, я знал, что посумы предпочитают музыку Моцарта любой другой – да, такие исследования проводились. И мне всегда казалось, что посумы не случайно любят бегать по крышам домов...

Услышав это признание, я подумал о том, что Блюбаум никогда не рассказывал мне о той группе людей, что разделяли его взгляды.

– Я не имею права говорить о них, но могу вас заверить, это достойные люди, – сказал он, отвечая, – но по завершению всего никто из нас не хотел никакой публичности, которая могла бы испортить чью-либо жизнь... Пресса, вы знаете, телевидение, досужие журналисты, социальные сети и всё такое... Никто этого не хотел, – повторил он, – и все мы подписали соответствующие бумаги... Да и кроме того, это было связано с военными, занимавшими руководящие позиции в системе СГР. Им не следовало об этом знать. В конце концов, все члены нашей небольшой группы единомышленников покинули свои посты в СГР вскоре после гибели Нила Янга.

ГЛАВА 5.

«Открылась бездна звезд полна; / Звездам числа нет, бездне – дна», – эти строки Эрик запомнил еще в школе и время от времени вспоминал их, пускаясь в рассуждения о том, как мало изменились люди.

– Да, всё как у Ломоносова, даром что Австралия, – заметил Эрик по возвращении с далекого континента. – Бездна остается бездной и должен тебе сказать, случается, кое-кто не выдерживает этого противостояния, – добавил он, – были люди, о которых говорили, что они повредились в уме, о других говорили как о людях со странностями, а один даже покончил с собой, наглотившись таблеток от бессоницы... Похоже, этот последний был одним из тех мальчиков, что получив сегодня карту звездного неба, вернут ее завтра с исправлениями...

– Но оставим Достоевского и спросим себя, к чему же мы пришли? – продолжал он. – Мы знаем кое-что о Вселенной, о ее странной судьбе, о взрыве и рождении, о стремительной и медленной в миллиарды лет трансформации ее и той сверхтонкой настройке ее характеристик, что допускает и позволяет возникновение жизни... Но ведь следуя этой логике, невозможно и немисливо допустить, что мы пребываем одни во Вселенной... Однако этих «других» как будто нет, во

всяком случае, они молчат... И это молчание огорчает, расстраивает, выводит из себя и, в конце концов, сводит с ума... Что, естественно, приводит к вопросу о нашем одиночестве во Вселенной – одиночестве, возможно, существенно связанном с самим местом нашего существования, с небольшой голубой планетой, вращающейся вокруг желтого карлика, именуемого Солнцем, эдакой средних размеров звезды на краю одного из рукавов спиральной галактики, известной еще со времен греков как Млечный Путь... И порой мне кажется, – продолжал Эрик, – что именно эта проблематика и послужила причиной странного и порой необъяснимого поведения Блюбаума и его не до конца понятных рассуждений. Ведь вопрос состоит в том, что, наблюдая ночное небо, пронизанное снопами и спицами света, пятнами и даже лужами свечения и тонкими его струнами, человек постепенно начал воспринимать его как нечто живое, как еще одну реализацию жизни, но жизни иной, далекой и чуждой, – воспринимать жизнь неба как грандиозную и необъятную, малой и ничтожной частью которой является наша человеческая жизнь... И всё это при том, что наука, которая родилась в Европе через пять веков после взрыва Сверхновой в 1054 году, утверждает, что существование жизни есть нечто иное, как выигрыш в какой-то вселенской лотерее... Жизнь, защищенная голубым пузырем Земли с ее светящейся атмосферой, утопающей во мгле космоса...

ГЛАВА 6.

– Янг был человеком потрясающе одаренным, – рассказывал д-р Блюбаум, – он занимался Сверхновыми, увлекался австралийским футболом, любил музыку и свою ассистентку-китайку по имени Пэтти Вонг. Эта Пэтти была по-своему забавна. Рассказывали, что когда Нил принимал ее на работу, он попросил ее решить какое-то довольно сложное уравнение. Через полчаса он подошел к ней, поглядел в ее бумаги, где все знаки интегралов выглядели как китайские иероглифы, и сказал, что выбранный Пэтти метод решения ему не нравится. «А мне нравится!» – воскликнула Пэтти, потрянув своими китайскими косичками. И вот это поразило Янга. Никто и никогда с ним так не разговаривал. Он засмеялся и принял ее на работу в качестве ассистента. Отнюдь не в ущерб работе. Она оказалась очень способным человеком и отличным специалистом в вычислительной математике. На работу она всегда приходила с рюкзаком за спиной, обычно в какой-нибудь майке, ти-шортке и спортивных брюках, выглядевших так, будто они были намерено укорочены, в белых носках и каких-то сверхспортивных ботинках на толстой белой подошве. Рюкзак ее был набит тетрадами, бумагами и справочниками. Работая, она пила чай, который приносила с собой в термосе, – зеленый чай какого-то особого типа, «Коготь тигра». Она не курила, но иногда за

обедом могла выпить бокал красного вина. Белое она не любила, оно казалось ей кислым.

Пэтти нравилось записывать длинные формулы точно так же, как другим нравится вышивать крестом или вязать. Была в ней какая-то страсть к установлению связей между различными представлениями одного процесса... Со временем она даже стала соавтором Янга... Да, да, в нескольких его работах указано и ее имя. В заключительной части ряда работ Янг выразил ей свою благодарность за получение определенных результатов и за полезные дискуссии. К тому же со временем их стали связывать отношения и иного порядка. Янг был разведен, его жена и две дочери жили на Тасмании, иногда он уезжал туда на уикенд или на неделю проведать дочерей и побродить по пустынным местам Западного берега; он часто искал одиночества... У него был небольшой домик на восточном берегу острова, в Wineglass Bay с его изумительной дугой залива, желтоватым песком пляжа и профилем двух стоящих по соседству гор, образующих контуры винного бокала. Он привозил Пэтти туда, и она оказалась той женщиной, которая сумела присутствовать, не нарушая его одиночество... Быть может, дело в том, что она напоминала какой-то молодой куст или деревце, а ее глаза... – они были как сливы, того же слегка красноватого отлива... И живое лицо, обрамленное двумя косичками с белыми бантами в завершение. Иногда банты были лиловые, синие или даже фиолетовые, цвет их всегда тяготел к высокочастотной части спектра... Никогда красные, бурые, оранжевые или коричневые... Всё это – совокупность пятен, линий, локтей, кожи, глаз и ушей – напоминало о кисти, пляшущей на листе бумаги, о надписях, стремящихся сверху вниз, об ударах и поворотах... Она была пластична, но на свой, китайский, манер.

– Однажды она спросила у меня, какой русский роман ей следует прочесть, чтобы оценить, чем отличается русская литература от всех прочих... – рассказывал Блюбаум. – Экзотичная постановка вопроса, но она как-то соответствовала ее сути. Пэтти умела отбрасывать всё ей ненужное. Я посоветовал прочесть «Анну Каренину». Прочитав роман, она, встретив меня, вдруг запыхтела... Пуф, пуф, пуф... Все вокруг засмеялись... Оказывается, она изобразила паровоз... Очевидно, тот самый, из романа... В ней было что-то от карикатуры... Какая-то линия, или движение... Мне она напоминала вишневое деревце...

Она прекрасно управлялась с английским, принадлежала к третьему поколению китайцев, осевших в Австралии... Ее родители были родом из Гонконга и эмигрировали в Австралию задолго до того, как Гонконг перешел под юрисдикцию Китая. Они были свидетелями того, как китайские студенты, обучавшиеся в Австралии, получили возможность остаться в стране после того, как танки начали стрелять в студентов на площади Небесного Спокойствия – на площади Тяньаньмэнь – в центре Пекина, в 1989 году... А тогдашний премьер

Боб Хоук немедленно объявил, что Австралия готова предоставить убежище тем двадцати тысячам китайских студентов, что находились в стране на учебе... В то время Пэтти была ребенком, мать ее работала в банке, а отец был хирургом-кардиологом... У Пэтти Вонг еще в школе обнаружили недюжинные способности к математике... Она закончила учебу в Мельбурне, получила стипендию от одного из колледжей Оксфорда и уехала в Англию, где с успехом завершила учебу, но, как признавалась она сама, после нескольких лет в Англии ее потянуло домой, в Австралию... Вернувшись, она начала работать в отделе прикладной математики при математическом факультете университета в Парквилле, одном из исторических районов Мельбурна, привлекающим публику бесчисленным количеством итальянских ресторанов; корпуса университета были выстроены еще в девятнадцатом веке, они повторяли формы зданий и церквей в том самом Оксфорде, где зеленые лужайки подстригают уже не одну сотню лет...

И так всё и шло до той поры, пока Пэтти не начала работать в качестве ассистента у Нила Янга. Считается, что именно с нею, с событиями ее биографии, связаны все те неизвестные, но роковые события, которые и привели его к смерти...

Вероятнее всего, что ее поездка в Китай, и даже не в континентальный Китай, а в Гонконг, для участия в какой-то запутанной китайской церемонии, связанной с почитанием предков, и ее задержание, а затем и арест в аэропорту Гонконга властями континентального Китая, закрытый судебный процесс по обвинению в шпионаже, приговор и последующее заключение привели Нила Янга, тщетно добивавшегося освобождения Пэтти долгие месяцы, в состояние глубокой депрессии, из которой он так и не вышел. В конце концов он ушел из жизни, наглотившись таблеток. Во всяком случае, так принято считать.

На самом же деле всё произошедшее с Нилом Янгом покрыто мраком неизвестности. А в действительности произошло вот что... После того, как он несколько дней не отвечал на звонки коллег и сотрудников, полиция побывала у него в Мельбурне, но не обнаружила следов его присутствия, затем поиски начались на Тасмании. В конце концов полиция явилась к нему на дачу в небольшой городок Бишено, в двух часах езды от Лансестона, города на севере Тасмании, в порт которого ежедневно прибывает паром из Мельбурна.

Бишено – достаточно популярное место отдыха неподалеку от Wineglass Bay, место, где любят бывать рыболовы, ныряльщики и любители встреч с местными кенгуру. Проникнув внутрь строения, что не составило особого труда, и обнаружив на столе остатки нескольких распечатанных пачек снотворного, полицейские устремились к причалу, у которого обычно стояла небольшая одномачтовая прогулочная яхта Нила Янга, названная им «Леди Эмма» в память об

Эмме Гамильтон, подруге лорда Нельсона. Его яхта отличалась от всех прочих слегка выцветшими лиловыми парусами – казалось, она прошла сквозь лиловый дождь.

Автомобиль Янга стоял на парковке. Однако яхты у причала не было. Дальнейшие поиски с участием береговой авиации позволили обнаружить бесцельно дрейфующую «Леди Эмму» с пустыми конволютками из-под снотворного на борту. Никаких иных следов Янга на борту не осталось. Усилия полиции позволили лишь установить, что снотворное было приобретено в одной из аптек сабурба под названием Vox Hill, района с довольно большим процентом китайского населения. После этого было высказано мнение, что профессор Янг ушел из жизни, наглотавшись таблеток и спрыгнув с борта яхты в воды Южного океана... Однако решительных доказательств самоубийства, вроде предсмертного послания, у полиции не было, и оттого она объявила профессора Нила Янга пропавшим без вести... Ибо в Австралии ежегодно пропадает немалое число людей. Так что Нил Янг занесен был в списки пропавших жителей штата Виктория. Вскоре, однако, нашлись люди, которые заявили, что подлинной причиной исчезновения Янга стало исчезновение Пэтти Вонг...

Новые расследователи полагали, что Нил был встречен в океане китайской подводной лодкой... Произошло ли это по предварительному взаимному договору, никто, пожалуй, не утверждал, хотя, в случае инсценировки самоубийства такое предположение и выглядит достаточно естественным... Но версия того, что Янг исчез не без участия китайцев, сразу приобрела поддержку и популярность... Дело в том, что связанная с Янгом ситуация несколько напоминала исчезновение Гарольда Холта, тогдашнего премьер-министра Австралии, случившееся 17 декабря 1967 года.

Холт пропал без вести во время купания около Портси, штат Виктория. Он отдыхал с предполагаемой любовницей и ее близкими на пляже и отправился поплавать, несмотря на высокие волны. Вскоре он исчез из виду, и тогда сопровождавшие Холта люди подняли тревогу и вызвали большой контингент полиции, солдат, водолазов ВМС и вертолетов ВВС. Несмотря на одну из крупнейших поисковых операций в истории Австралии, тело премьер-министра так и не было найдено. 19 декабря он был признан умершим, а пост премьер-министра занял Джон Макьюэн. Существуют версии, что Холт мог совершить самоубийство. Однако некоторые и по сию пору считают, что Холта похитили китайцы.

ГЛАВА 7.

– Все это очень печально, я имею в виду ее судьбу, – сказал мне Эрик в тот день несколько лет назад, когда я узнал от него о существовании Пэтти Вонг. – Возможно, ты сумеешь узнать что-то еще от

Блюбаума, может быть, тебе повезет и ты узнаешь больше, чем остальные. Ведь то, что мы видим снаружи, очень часто бывает лишь тем, что нам, так сказать, настойчиво предлагают увидеть... А здесь мы видим печальную, но как будто довольно ординарную историю: дочь выходцев из Китая, получившую разрешение на въезд в Китай в качестве частного лица, внезапно обвиняют в шпионаже, задерживают и арестовывают в аэропорту, не позволяя ей встретиться с австралийским послом или консулом и прежде, чем осудить на длительный срок, помещают в тюрьму, не обращая никакого внимания на дипломатические демарши и протесты Австралии... Впечатление такое, что Китай полагает всех китайцев своей собственностью, независимо от места рождения и подданства. Но возникает вопрос, – продолжал Эрик, – отчего всё произошло именно в этом случае, совокупность каких факторов привела к тому, что мы имеем то, что имеем? Как, собственно, разыгралась эта драма? Или это представление в китайском «театре теней»? По-моему, это было бы очень интересно выяснить, – закончил Эрик и снова посмотрел на меня.

Прошло несколько секунд и, прервав молчание, Эрик сказал:

– Ладно, расскажу тебе продолжение истории. Итак, Пэтти была осуждена на срок в десять лет тюремного заключения за попытку промышленного шпионажа, но вскоре, уже в тюрьме, власти вынуждены были принять во внимание, что Пэтти беременна. Дело ее было пересмотрено с учетом обстоятельств, и она была направлена в один из трудовых лагерей на севере Китая для прохождения курса трудового перевоспитания. Труд состоял из работы в поле, на кухнях, чистки и мытья общественных туалетов. Особенность же процесса «трудоустройства» состояла в том, что весь инструментарий и оборудование кухонь, сельскохозяйственный инвентарь и прочее в точности соответствовали тому, что было в обиходе простых селян в Китае шестнадцатого века...

– Это был крупный человек, – вспоминал Блюбаум о Янге, – крупный, рыжий с достаточно непримечательным лицом, со светлой веснушчатой гладкой кожей и в очках с сильными диоптриями, что было достаточно удивительно, ибо операции по лазерной коррекции зрения давно уже были распространенным и доступным видом услуг в Австралии. Что же до Янга, то он предпочитал не расставаться с очками, – возможно из-за того, что они, как утверждали завистники, придавали его облику некое подобие значительности. А может быть, то была ситуация некорректируемого зрения.

Блюбаум, и он сам признавался в этом, хорошо запомнил момент, когда однажды ночью, в марте – а в Мельбурне это время соответствует европейскому сентябрю – ночью, во время дежурства, Янг внезапно снял свои очки и начал вслушиваться в неясные звуки, издаваемые работающей аппаратной.

– М-р Блюбаум, Стивен, что вы слышите? – спросил он через несколько мгновений.

– Что вы имеете в виду? – спросил у него Блюбаум.

– Эта мелодия... – Янг потянулся за очками, но не надел их, а продолжал говорить, держа в руке, – она становится всё явственнее.

Блюбаум не мог не согласиться с ним.

– Да, пожалуй, это мелодия, – подтвердил он, – и она становится всё отчетливее от повторения к повторению... Необходимо оформить всё надлежащим образом.

Но через несколько минут компьютеры рухнули. Больше всего это было похоже на атаку хакеров, – атаку, организованную какими-то сверхресурсами... Но сохранилась запись первых минут передачи на случайно включенном записывающем аппарате, и вот ее-то слушал и слушал Нил в течение нескольких недель.

– И вот так всё и продолжалось, пока Нил, по-видимому, не сошел с ума от этих попыток «Голоса» распеться и исполнить что-то вроде арии Царицы ночи из оперы Моцарта «Волшебная флейта», как было указано в нашем закрытом отчете о случившемся, – рассказывал Блюбаум. – Впрочем, выражение «исполнить арию» не совсем точное; речь шла лишь о фрагменте мелодии и ее вариациях... Был там и еще один документ, составленный Янгом, излагавший его воззрения на случившееся. Документ этот был обнаружен уже после того, как Нил наглотался таблеток и уснул вечным сном. Содержание этих десяти страниц, озаглавленных «Записки о Голосе», убеждают в том, что Янг верил, что Цивилизация Типа II обратила внимание на наше послание и приняла участие в игре, которая оказалась ей интересной...

– Обо всем этом я беседовал с Дэвидом Хенсло, полагавшим, что наша группа будет закрыта и альтернативы не существует. Я придерживался того же мнения после исчезновения Янга и Пэтти. Впрочем, это было общим ощущением.

– Кому же принадлежит этот голос? – спросил Хенсло. – Тогда вы с Янгом сидели в лаборатории на мысе Вилсона и вам был голос... Чей?

– Ну вот, – волнуясь, ответил Блюбаум, – вдумайтесь. Перед нами Вселенная, и нам нелегко обозреть ее; мы видим отдельные ее куски и зоны, но не в состоянии охватить целиком – да, мы ее видим, пусть даже всю, но обозреть всё мы не можем, поскольку то, что мы видим, всегда запаздывает во времени и, следовательно, разглядеть ее лицом к лицу мы никогда не сможем... Мы просто существуем в различных масштабах и невероятно различных временных длительностях... Но эти ситуации люди как бы научились моделировать, например, создавая каменные статуи гиганских Будд в Китае, в Индии, в горах Афганистана и в других странах Дальнего Востока. Мы видим эти гиганские каменные недвижные лица – лица чужого Бога. Но не слышим их голосов. А ведь возможно, что Вселенная молчит только оттого, что к ней никто не обращался.

* * *

– ...Я вернулся к своей работе в университете Мельбурна – Сидней я покинул после смерти матери, – и начал писать книгу о китайских астрономах древности. Мысль моя состояла в том, что в отличие от сегодняшнего дня астрономия в то время была отнюдь не нейтральной наукой о космосе, а находилась в фокусе различных политических интересов и раздоров.

Попутно я вспоминал мои юные годы в Китае, бескрайние просторы, храмы с горящими свечами у обочины дороги, переезд через широкие реки, джонки и огромных драконов, изображенных на тяжелых шелковых знаменах. Иногда я вспоминал о Пэтти и Ниле Янге, думал и о том, как сложились их судьбы. Работа моя шла легко.

Через несколько месяцев роман был закончен, и я обратился к нескольким коллегам с предложением прочесть и написать свои отзывы. Помимо этого я попросил набросать отзывы о романе у еще нескольких знакомых из Европы. Я пробовал обратиться в местные издательства, но безуспешно. Тогда я начал думать о возможности публикации книги в Лондоне и решил обратиться к Борису Бруку, которого эта книга заинтересовала... Когда, наконец, книга была опубликована в Лондоне, статья Бориса Брука привлекла внимание ряда людей в Австралии, связанных с наукой, политикой и отношениями с Китаем. Но, поверьте, теперь мне совершенно не хотелось привлекать внимание к своей книге именно в Австралии, где издатели посчитали ее политически некорректной и я мог ожидать проявления так называемого tall poppy syndrome, т.е. ситуации, когда общество стремится подрезать любой цветок, внезапно выросший над остальными...

Оказалось, что я затронул весьма щекотливые вопросы, замалчиваемые и не до конца артикулируемые в обществе. Более того, появились публикации, где имена Нила Янга и Пэтти Вонг упоминались в связи с тем фактом, что я провел свою юность в Шанхае. До прямых обвинений дело не дошло, но раздавались призывы вновь тщательно расследовать историю исчезновения Пэтти Вонг и Нила Янга, – и вот тут я понял, какую же глупость я совершил! И как легкомысленно понадеялся на то, что книга моя соскользнет в небытие, оставив приятный след в сознании автора. К счастью, Эрик Кромас пообещал организовать для меня персональное приглашение на конференцию в Тель-Авиве, а Дэвид Хенсло, с которым я встретился в обеденном зале клуба преподавателей университета незадолго до отъезда на конференцию, сказал мне:

– Мой совет, Стивен, присмотритесь внимательно к этим местам... Я сам бывал там не раз и не только в Иерусалиме; там живет немало интересных людей, но я думаю, вы сами это обнаружите.

Каким-то образом я ощутил, что мне надо сделать следующий ход.

– Честно говоря, Дэвид, я уже думал, что через несколько меся-

цев после выхода на пенсию мне стоило бы перебраться в те края и пожить у теплого моря.

На что он ответил:

– Не затягивайте с переездом... Комиссия, если она будет создана, может испортить вам жизнь... И не только вам, но и мне, и ряду других людей... Пресса, телевидение и так далее... Они ведь ничем не брезгуют. А так... вы уехали – и концы в воду. – Он использовал выражение *concrete boots and fifteen's off*, «цементные ботинки и с пятнадцатого причала», – выражение, хорошо известное любителям истории профсоюза грузчиков мельбурнского порта.

– Да, кстати, не забудьте сообщить мне ваш новый адрес, – сказал он на прощание. – Я по-прежнему собираюсь совершить свой вояж вокруг света, и, кто знает, возможно, у нас обоих возникнет желание встретиться и посидеть за столиком в приморском ресторане... Уверен, у меня будет, что рассказать вам...

Затем Хенсло вздохнул и добавил:

– Вы ведь знаете, что наши люди зачастую не хотят действовать самостоятельно, и, опасаясь иметь, а, главное, высказать свое собственное мнение, создают комиссии...

Завершая свой рассказ, я не могу не сообщить, что Эрик не раз предостерегал меня от того, чтобы писать или рассказывать кому-либо об этой случившейся в Австралии истории. Но у меня никак не получается перестать думать о том, что произошло, и перебирать в уме детали случившегося.

– Им что-то почудилось, – говорит Эрик, – это как ветер за окном, который напоминает матери о ее плачущем ребенке. Но в реальности есть только ветер за окном, а всё остальное – галлюцинации, бред, глюки записывающей аппаратуры... Фотографии призраков в шотландских замках. И больше ничего. Да-да. Что же до Цивилизации Типа II, ты-то ведь понимаешь, что ей совершенно наплевать на нас. А подобные нам «насекомые» недостижимы – так же, как и мы для них... Ну а если ты все-таки решишь рассказать эту историю, то тебя сочтут безумцем. Просто и навсегда, да еще и будут говорить: «А, да, ведь это тот самый... Любитель мистерий... Голубого дождя вперемежку с синими и фиолетовыми каплями...»

– Но что это было, если не игра? – спрашиваю я у Эрика. – И разве попытка спеть в ответ не может считаться началом диалога? И что может быть ярче и естественней дуэта, объединяющего два голоса? Диалога совершенно невероятного... В чем-то подобного ситуации путешественника среди скал: затерянный в скалах, он кричит, и слышит в ответ только эхо, свой голос, искаженный, усиленный и многократно повторенный... А что если он слышит эхо – но это вовсе не его голос? Что тогда? Если это попытка ответить?..

Анна Гальберштадт

НОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ МОНАХА

Вот я вернулась к вам, Ямабуси-сан
прошло целых пять лет
вы научили меня принимать то, что есть
и радоваться щебету птиц
шороху тростника на берегу озера
от пробегающей выдры
красоте нежно-розового цветка лотоса
в прозрачной воде.
Вы также научили меня не грустить
о том, чего нет
не искать шестое яблоко там
где сейчас лежат пять
не искать полосатого хозяина дома
с виноградными глазами
и не отчитывать его за то
что он замучил уже двадцать восемь мышей.
Не слушать шаги за спиной того
кто ушел на рассвете с котомкой
не чувствовать пустоту там
где было облако от его выдоха
в холодном воздухе у порога
не просыпаться от скрежета калитки
ветренной ночью
не прислушиваться к хлопающей от ветра двери
надеясь услышать шаги.
И второе – внизу, в долине
новый правитель сошел с ума
он помешался на запахе свежей крови
требует, чтоб ее подавали ему на завтрак
в фарфоровой чаше эпохи Мейдзи
а в день рождения ему еще нужен палец
убитого соперника
запеченный в пирог.
Он совсем помешался
но простому народу нравится его бахвальство
они тоже привыкли к вкусу и запаху
свежей человеческой крови
подражая властителю.

Парни даже дарят флаконы с запекшейся кровью
своим девушкам
а те мажут ею в укромных местах.
А тех, кто слышит звук тишины
и кормит прилетающих птиц остатками
скромной трапезы
из ароматного горного риса и корешков
тех кто почитает божества леса
гор и ручьев
тех он боится и жестоко преследует.
Что скажет твой ученый ворон про то
как не предаваться отчаянию и не роптать?
Май 2024

АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТОРАЛЬ

На деревянных мостках
обалдевшая от жары чайка
обозревает серо-зеленый залив
за ней пустая пивная банка,
небось, дерягнула.
На флагштоке полосатый американский флаг
оставшийся от праздника Независимости
полощется на ветру.
Спасибо американскому народу
который, как всегда, верит в свободу слова –
это святое!
Из Сахары движется облако пыли
в Канаде горят леса
небо в Нью-Йорке было цвета терракоты
дней пять назад.
Парусники покачиваются на волнах
тарыхтенье моторки, как пулеметная очередь,
разрезает полуденную тишину.
Уже пятьсот дней идет война
невыносимо узнавать про новых погибших.
Чем больше сгоревших домов
искалеченных судеб
молодых инвалидов
малолетних сирот
тем страстнее и глубже
российские поэты-почвенники
вникают в красоты русской природы –

форму листков и тычинок
 медовый аромат лепестков
 шелест некошенных трав
 свежесть могильных крестов.

7 июля 2023

* * *

Мир, в котором люди входят
 в незнакомый дом
 и убивают всё живое
 включая собак и кошек.
 Нет, это *не Clockwork Orange!*
 Пожилой доктор в Бершеве
 он с медсестрой и аппаратурой
 выезжал в кибуцы на юге
 лечить и принимать там роды
 говорит мне: смотрю новости
 по телевизору
 плачу и закрываю руками лицо
 я ведь в Кфар-Аза половину жителей
 знал в лицо.

ОКТЯБРЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Нет перемен в кануны октября
 сказал поэт.
 Ан нет, октябрь кровавый
 как ястреб парит над истерзанными
 телами еврейских красоток
 девушек, так беспечно плясавших
 праздновавших свободу
 и радость бытия.
 Не превратились в ветви руки их
 как у Дафны
 если б, то вырос бы кипарисов лес
 на месте фестиваля.
 Давайте плакальщицами оплачем
 этих невинных и наивных
 дочерей, прекрасных, как дочери Иова,
 но невезучих.
 Хор борцов за справедливость и феминисток
 замолк, когда их черед пришел.

Ноябрь 2023

* * *

Это ведь Пушкин написал: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный!»
И Бродский прочел это же стихотворение в конце своего выступления
в Нью-Йорке в 1985-ом.

Ничего безвкуснее, чем московские памятники Пушкину и Наталье
и исполинского размера памятник Бродскому и найти трудно.

Так что ж, если памятники курчавому поэту сносят
и обливают чернилами в Украине?

Поэт не обязан быть ни супружеским идеалом,
ни образцом морали вообще.

А гражданином – желательно, но не у всех это получается.
Лимонов тоже был талантливым молодым поэтом, а последние его
произведения не вызывают ничего, кроме тошноты.

Пастернак, хоть и написал, что быть знаменитым некрасиво,
прославился, и скандал с Нобелевской премией не помешал
его почитателям.

«Февраль, набрать чернил и плакать...» потряс и меня в четырнадцать лет.
К чему всё это?

Памятнику Пушкину не убавляют и не добавляют ничего к строчкам
«У лукоморья дуб зеленый...» с которыми выросли вы и ваши дети.

Так вот, пусть кот ученый и ходит по цепи кругом.
Его, как и Пушкина, без цепи не пускали.

Май 2023

* * *

Всему свое время или чужое время?
Время всякой вещи под небом
по которому огибают дугу дроны?
Время рождаться в госпитале под бомбами?
Время убивать – чье это время? И кто убивает чужое время?
Время врачевать, но ведь врачуют не те, кто убивает?
Время разрушать, но кто же будет строить?
Время плакать и плакать и сетовать и проклинать
а что же со временем, когда смеяться, разве его отменили?
Плясать хорошее занятие, но кто же пляшет?
И что же случилось с прекрасными плясуньями?
А сетовать и сетовать и сетовать?
И сетовать – тут иголку зашло

Январь 2024

ОДА СТАРЫМ ДЕРЕВЬЯМ

На Адамсон Роуд в Лондоне
стоит старый платан с могучими ветвями
стволы молодых деревьев
похожи на букеты
на руки голосующих
или на создание с простертыми
к богу
в молитве руками
жест отчаяния.
Люди убивают и увечат деревья
завидуют их долговечности
деревья нередко переживают людей
в мирное время
если сложится.
И птицы вьют там гнезда посреди листвы
а белки складывают свои запасы в дуплах.
На деревьях вешали во время революций
об них убивали младенцев во время Холокоста.
И всё же, они по-прежнему стоят
годами позже
безмолвные свидетели позора
но также,
дети продолжают бегать и визжать под ними
играя в прятки.
Гурманы ищут белые грибы во мху
Парочки под ними милуются
и шепчут нежные слова друг другу
втайне совокупаются.
Мы всегда считали,
что растения не обладают чувствами.
А что же насчет древних секвой?
Разве они не тоскуют по динозаврам
которые резвились в доисторических лесах?
А Вяз Палача на Вашингтон Сквере?
Одобрят ли он ужасы
Гражданской войны в Америке?
Я читала, что есть сосна
в небольшом литовском местечке Молетай,
где были убиты полторы тысячи еврейских детей.
Это дерево рядом с местом,
где была яма,
перекосилось

на нем нет веток со стороны,
о которую разбивали черепа младенцев.
Так разве ж нам наверняка известно
что это дерево не страдает от ночных кошмаров
и втайне не рыдает
по ночам?

Из антологии «Восхваление богинь»

А ЧТО ЖЕ ДЕЛАЛИ БОГИ

Когда евреев из местечек повели
в залитые солнцем леса
в Молетай, Кайшядорис и Уцянах
и им приказали рыть ямы
Медейна, богиня леса
наблюдала за происходящим в ужасе
и не могла поверить
что это наяву.
Высокие балтийские сосны
покачивались на ветру
Сауле спрятался за облаками
и глаза прикрыла прекрасными руками.

Даля, богиня, дарящая материальные блага,
осталась и смотрела,
как расстреливали
и за их спинами
чтоб заглушить крики жертв,
играл на баяне и щерился
беззубый гармонист.
И она глядела на то, как юные ПТУшники
хватали одежду, которая получше
и деньги, снимали кольца и часы
с мужчин и женщин
лежащих в яме
некоторые еще шевелились и стонали.
Один литовский активист
велел еврею-музыканту
отдать ему свою скрипку
ведь она уж точно ему не пригодится.

Тогда Даля прокляла убийц –
три поколения их потомства
будут страдать от депрессии, злобы, стыда
до конца своих дней отрицать причастность к убийствам
обвинять жертв
лгать своим детям
про то, откуда взялись в доме
старинные комоды
или фортепьяно из дуба
с клавишами из слоновой кости
а может быть,
швейцарские часы с дарственной надписью
от благодарных пациентов
снятые с кисти еврейского доктора.

Прохожие молча наблюдали
как в Вильнюсе, на польском Вильно,
евреев гнали в Понары
охранники с белыми повязками на рукаве.
Так же, как и те
кто молча смотрел на парад Gay Pride
в две тысячи тринадцатом.
Понять нельзя было, что было на уме у них
глазевших на нас – туристов,
студентов и переселенцев
молодых и пожилых.

Вот так же они глазели и на евреев из гетто
на улице Страшуно
где моя бездетная тетя Алта
жила после войны,
когда их вели на смерть.
В Понарах есть яма для детей
в которой двести пятьдесят детишек
были убиты.
Богиня Лайма в ужасе пыталась спасти
нескольких женщин на сносях
но им было некуда бежать.
Когда стрельба затихла
чудом уцелевший мальчик
лет полутора,
играл на телах убитых.
Один из стрелявших взглянул на мальчика
и снял ружье с плеча
в последний раз.

Литовские богини судьбы – семь сестер
которые ткут и прядут нити судеб
и шьют одежду из людской жизни
были вне себя.
Гадинтоя, которая рвет нити, и Нукирпея,
которая режет на куски ткань жизни
бросили свои ножницы на землю и зарыдали
Перкунас, Громовержец,
сидел на вершине высокой горы
и наблюдал за деяниями своих людей
безмолвно
со своим волшебным луком, который мечет молнии,
застывшим в его руке.

Александр Вейцман

ПОСЛЕ ЗАЗЕРКАЛЬЯ

Ты знаешь, вот так, а затем направо:
она и он, плюс это отражение,
в котором закончилась чужая слава,
но началось сердцебиение.
И вместо шевелюры: кадка с цветком,
но он не о том, и она не о том.

Ты знаешь, в фойе этого театра
стоял демон, похожий на зрителя.
Летала уборщица, используя швабру,
а затем ты увидел учителя
пения, который, напомнив о верхних до,
кричал, что он – не это, и тем более – не то.

Ты знаешь, зима должна быть снежной.
Это во-первых. Во-вторых, к Цельсию
нужно добавить, окрыленную надеждой,
подругу Линду. Наконец, известия
о зиме и о Линде – это та красота,
что спасет наш мир, и спасет без Христа.

6-7 декабря 2023

* * *

Пойдем туда, там будет не туман,
а статуя, осевшая в чашкобе,
близ парка, где однажды котлован
не вырыли, но прочитали обе

особы в желтых платьях, шелест губ
которых доносился в ми-бемоле,
пока немногословный дроворуб
искал пилу и размышлял о воле.

30 ноября 2023

ЭЛЕГИЯ

Возвращайся после ужина с Джоном,
когда половина стола
шатается монотонно,
а другая так и не смогла
выработать конкретный ритм для диалога.
Так немного
звезд на небе в пятый час утра,
так немного
пойманной рыбы, которую повара
прочат в новое entrée
в каком-нибудь декабре.

Возвращайся – это был ужин,
который как минимум запомнит Джон.
Вы говорили о смерти в эпоху стужи
и о жизни как о связи времён.
Разрезая мясо, а лимонный соус
оставляя в стороне, вы снова
услышали чей-то настойчивый голос,
после чего не сказали ни слова.

Возвращайся – пусть новые облака
соседствуют за окном, дивно
сливаясь со слезами, что наверняка
пришли с уходом ливня.
Возвращайся: пусть
сохранится воск от твоей фигуры,
как сохраняется литературная грусть,
пускай без самой литературы.
24-25 ноября 2023

ST. LUCIA

Поскольку жизнь не заканчивается, Дерек,
с приездом на родину ямба, на этот берег;
поскольку краскам, вне изобилия сини,
нужен сегодня не ты, а хотя бы Хини;

поскольку жара, распадаясь на хохот,
по-прежнему есть серп и молот;
поскольку судьба
требует карету, а приезжает арба;

поскольку ты – единственный из великих,
познавший страсть с любезной девушкой Кики;
поскольку ты называл ее Кики,
и иногда получались стихи.

23 ноября 2023

* * *

Десятое, двадцатое, и вот что:
ты сам раскрепостил небесный гул,
вписав его в квартирное уродство,
петлю намылив и, конечно, встав на стул.

Двадцатое, тридцатое: ты знаешь,
когда-нибудь забудут, что иных
там не было, что пели, что дверь настезь,
что сцена справа, а сам гул – он не затих.

12 ноября 2023

КИНЕМАТОГРАФ

Когда от мрака остается не тоннель,
а ратуша в окне,
когда тот горизонт, та параллель
являются не мне,
приходишь ты – в бетонной скорлупе,
без профиля, на вы
взывая к чей-то согбенной рабе,
естественно, любви.

И я не замечаю, что пустяк,
раздробленный на два,
давно сосуществует кое-как,
покамест есть слова,
с какой-то важной вестью, что на три
не разделить уже,
как не проведать смелой аркою ноздри,
что там, под неглиже.

ноябрь 2023

Аглая Радова

Три рассказа о любви

РАССТАВАНИЕ. ГОЛОС МАРИНЫ

Этот самолет сегодня уже четвертый. Они низко летают, тяжелые, громкие, совсем не похожие на гражданские. Их почему-то никогда не видно, только слышно. От этого звука просыпается какая-то родовая память – или память обо всех просмотренных фильмах о войне. К этому не привыкаешь ни на пятый день, ни на шестой. Но можно научиться сосуществовать с этим в одной реальности. Главное – запретить себе думать, что он прямо сейчас летит кого-то убивать – или помогать кого-то убивать.

Это южный город, Кубань. Здесь сладкие помидоры стоят копейки, ежевика растет у дороги, пляж в самом центре, а война – совсем близко. Но люди как будто в это не верят. Мама рассказывает: одна соседка спрашивала в районном чате, что это так гудит, и даже написала в МЧС. Ей ответили: не волнуйтесь, просто ветер.

Я лежу в гамаке, по нему ползет муравей. В детстве у меня была книжка зарубежной фантастики, голубая обложка с белым шрифтом. А там – повесть в лучших традициях: далекое будущее, люди отдали планету роботам и собакам, а тех начинают атаковать муравьи. И никто не знает, что с ними делать, потому что без людей на Земле перестали убивать. А когда узнают, решают об этом забыть.

Я морщусь: такая же книга была в детстве у Саши. Мы это случайно выяснили. И оказалось, что он прочитал первые главы, а дальше не стал. А я прочитала только вступление и финал. Мы смеялись, что вдвоем могли бы сдать по ней экзамен. «Но сейчас у нас другой экзамен, похуже», – сказал он тогда. «Вы просто уехали в дальние страны, к великим морям», – думаю я.

Он любит Цветаеву. Господи, сколько, интересно, таких мужчин вообще на свете, – женская же поэзия; я всегда думала, что им ее не почувствовать. На самом деле, не в такие уж и дальние края – до Грузии здесь несколько часов на автобусе. Но я их не проеду: он меня не ждет. И от того, что он сейчас ближе, но так же недосягаем, мне кажется, что он еще дальше, чем когда я в Москве.

Это не более странно, чем то, что последние пять дней февраля

и начало марта тянулись бесконечно, а потом время снова задвигалось, как всегда. Просто мир сейчас нелинейный.

...27 февраля было приказано «перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства». В соцсетях это быстро перевели как «он потянулся к красной кнопке», и я обнаружила себя стоящей на коленях и рыдающей вслух: «Я не хочу умирать, я не хочу умирать». Было синее-синее небо и очень яркое солнце, еще холодное, но уже весеннее. Было очень странно думать, что утром можешь не проснуться. Или следующим еще проснешься, а через неделю уже нет.

Мы так еще пожили какое-то время, а потом перестали об этом думать. По крайней мере – каждый час и каждый вечер. Нет, не призывали, – просто тоже научились сосуществовать.

В тот вечер мне написала подруга: «Приходи, у нас есть вино и еще кое-что». Оля и Дима планировали уезжать в Ереван; она обнимала его за плечи, «кое-что» ее быстро забрало, а я от него начала кашлять. Саша облил вином себя и кресло и сидел на стуле. Я сказала: странно, что это сделала не я – на моих платьях с детства оказывается половина еды, которую я ем. Саша – друг Оли и Димы, я о нем слышала, но встретились мы впервые; мы и с Олей-то до войны встречались раз в год, – нам же всем за тридцать, у всех работа, бизнес, горы, спортзал, поездки на машине далеко-далеко, два вебинара в неделю и вон те курсы, а еще как-то неправильно не посмотреть тот новый сериал, обязательно на английском, – и интереснее, и язык подтягиваешь параллельно, что зря время терять... Сотни планов, и ни один не предполагал вопросов: «Будут ли в Москве танки?» и «Нажмет ли он на кнопку?»

– Представляешь, – говорила я, – ведь нас когда-нибудь спросят, что мы делали...

– ...Восемь лет назад? – смеялась Оля.

– Или тридцать. Что мы делали все эти дни? Что мы скажем – пили вино? Работали с перерывами «на порыдовать»? Ставили на аватарки белых голубей?

– Я на митинге был, – сказал Саша.

Единственный из нас четверых. Нам – страшно. Всем, кого я знаю лично, было слишком страшно. Кроме Саши.

– Я в последний раз была на Сахарова, – вспомнила я.

– И я.

– И я.

Мы были там все четверо, но тогда никто друг друга не знал. Несколько лет спустя мы с Олей будем вместе работать, она познакомится в Tinder с Димой, а он подружится с Сашей, – и так мы окажемся однажды в огромной гостиной их сталинки с окнами на Ленинский и в разговорах о том, что же будет с родиной и с нами.

Мы прощались за полночь. Мне не хотелось брать такси – мой

дом в получасе ходьбы, и если скоро мы все умрем, то лучше напоследок походить на легком морозе. Саша пошел меня провожать – мне казалось, ему не то что бы этого хотелось, просто как иначе. Я была изрядно пьяна, я взяла его под руку, и в этом не было ничего «женского» – какая из меня женщина, я четвертый день плачу по несколько часов, у меня глаза опухли и постарели, я не могу даже причесаться, только голову вымыть.

– Я засыпаю, только обнимая игрушку, – сказала я вдруг. – У меня большой плюшевый заяц, подарили в студенчестве, десять лет лежал, жалко было выбрасывать. И пригодился.

– А у меня нет зайца, – очень серьезно ответил Саша, – я просыпаюсь каждое утро в пять. Засыпаю как придется.

Вопрос «как проспять хотя бы пять часов подряд» был тогда почти так же актуален, как «что будет с Россией» или «кто же мы теперь такие». Я неделю ела бутерброды и конфеты, больше ничего не лезло. Потом это прошло.

– Я никогда так не завидовала «парным» людям, – сказала я. – Их каждый день кто-то обнимает. Сегодня смотрела на ребят и думала, что у них есть такая опция – подойти и обнять.

Это не было флиртом, я вообще ничего не имела в виду. Я настолько не казалась себе женщиной, что ни в ком не видела мужчину. Но мы уже стояли у моего подъезда, и Саша решил крепко обнять меня на прощанье, и я вдруг увидела, что у него на радужке глаза – а глаза светло-голубые – темное пятнышко. И пока я вглядывалась, он меня поцеловал.

И какой смысл двум людям оставаться в одиночестве на целую ночь, если оба боятся, что утра может не быть.

Правда, ничего не было: от вина и травы я сначала смеюсь, а потом хочу спать. Только в ту ночь я заснула без зайца, потому что Саша меня обнимал. А Саша – просто заснул и проспал до девяти утра.

Мы не знали друг о друге почти ничего, кроме того, что у нас общие друзья, что мы не хотим войны и что мы можем помочь друг другу выспаться. И оказалось, что этого достаточно. Он пришел ко мне в тот же вечер, после работы, и я совсем не стеснялась бардака и пыли, убрать которые не было ни времени, ни сил. Он пел под мою настроенную гитару – мне ее подарили, а я так и не научилась играть, и на ней играли только мои мужчины, – одну из песен нашей юности, «когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга». Я потом узнаю, что это – Зоя Ященко из Одессы, и буду читать ее стихи о войне в Telegram и думать о том, что когда-нибудь в другом мире услышу это на концерте. А после песен случился секс, и мы поняли, что ему нужно прийти ко мне и завтра, и послезавтра, и что если в чем-то сейчас есть смысл, то только в этом, хотя говорить о книжках

из детства тоже отлично, но в перерывах, когда хочется занять рот чем-то еще.

Саша говорил об отъезде, он еще в первый вечер сказал, что планирует уезжать, но не хочет впопыхах. Я тогда не обратила внимания, а теперь было поздно. Я об эмиграции даже не думала. Куда я поеду: у меня студенты, у меня три дипломицы в этом году; у меня съемная, но полная вещей квартира, – куда я их дену; у меня папа в прошлом чекист и присылает мне на день рождения стихи «твой куратор из ФСБ», они с мамой давно живут в разных городах, и с ним мы общаемся редко, но я не хочу, чтобы он меня проклял.

Как-то я вела пару, и студентка отвечала домашнее задание, и я не знаю почему взяла в руки телефон, звук был выключен, – и увидела сообщение: «Меня задержали, везут в отделение». «Ааааа», – написала я и стерла. «Какого черта», – и тоже стерла. Студентка продолжала говорить, а я продолжала ее слушать, я должна была что-то сказать про ее ответ, когда она закончит, а в голове у меня стучало «боже боже боже». «Как ты?» – отправила я наконец.

В тот вечер его отпустили без протокола, и я шла домой и думала: что случилось с миром, если мой любовник разбирается с полицией, и это – нормально, то есть естественно: что еще с ним должно происходить при фашизме? Нам пока страшно вслух признавать, что это фашизм, – это звучит как что-то из книг или как лозунг на митинге, но мы все знаем, что это он. В ту ночь не Саша обнимал меня, а я его: прижавшись грудью к спине, к шее – лицом, закинув ногу на бедро, так, как будто нам обоим было страшно, что его у меня отберут; как будто я могла его защитить; как будто это не он из нас двоих смелый и сильный.

На следующий день у Саши были билеты до Тбилиси. Я не стала спрашивать – он вообще меня не предусматривал или просто понимал, что я всё равно не поеду. Мы были вместе полтора месяца – это слишком мало, чтобы учитывать друг друга в долгосрочных планах. Правда, в первые дни и недели войны время шло совсем иначе, и можно было успеть друг в друга враспи, особенно если спать в обнимку почти каждую ночь.

Но разве это важно, когда вам за 30, и каждый решает за себя, и отношения на расстоянии нелогичны, потому что зачем вообще в них ввязываться и потому что это, может быть, отъезд на время – а может быть, эмиграция навсегда.

...Оля не уехала в Ереван, Оля разводилась с Димой, потому что всё это время была влюблена в Костю. Дима разводиться не хотел, но у них был общий бизнес, и нужно было как-то договариваться: в ход шли психотерапевты и разъезды на время.

– Почему он мне всё время пишет, – возмущалась она, пока мы пили коктейли. – Он всё время мне что-то пишет!

– Ну, он воспринимает тебя как свою жену, – дипломатично заметила я.

– Да какая я ему жена!

– Официальная, – сказала я. – А почему он мне не пишет, а, Оля?

Я не думала, что он не скучает. Я думала, что он не видит в этом смысла. Я иногда присылала ему фотографии – смотри, смотри, вот Москва, вот набережная, которую мы оба любим; смотри, у нас начала цвести сирень; смотри, мальчик и девочка на самокате, а вот эти остановились и целуются, не могут друг от друга оторваться, я тоже так хочу, только с тобой. Он иногда отвечал – вот вино, вот хинкали, вот вид из моего окна. А иногда не отвечал ничего. А потом иногда стало всегда.

...Я в отпуске у мамы. У нее частный дом, клубника и розы. Мы пьем чай с мятой и смородиновым листом – это запах детства. Моя сестра с племянницей играют в непонятную мне игру, а я читаю детектив. И поет какая-то птица. Вечером – так, словно соблазняет возлюбленного. А днем – словно уговаривает сына поесть. Мне кажется, она одна и та же, у нее такие интонации – просящие.

Самолет. Пятый за день. Я их пока считаю, но скоро брошу.

– Недавно ночью он пролетает, гудит, как будто как-то особенно низко, – говорит мама, – а я лежу и думаю: а если он возьмет и упадет прямо на мою клумбу? Я же ее делала руками, эту клумбу! А потом думаю – если упадет на нее, то и на меня, наверное, тоже.

Маме в этом году шестьдесят шесть, и ее мысль «здесь может рухнуть военный самолет» звучит безумно, но реально, и оттого еще более безумно.

И к этому тоже не привыкаешь – просто учишься существовать в этой реальности. Как учишься существовать в реальности, где нет того, кого ты хочешь обнимать ночью.

А с зайцем я больше никогда не спала.

СПАСИБО. ГОЛОС АЛЕНЫ

«Я очень тебя любила», – отправляю я, подумав. «Спасибо, – пишет Паша. И вдогонку: – ...что ты есть.» Мне тридцать четыре, и я знаю, что это переводится как «ты хорошая, но я тебя – нет».

Утро воскресенья, я температураю, и можно целый день тихонько плакать в постели, иногда наливая себе чай. Сегодня солнце, и я вспоминаю, что год с лишним назад тоже было солнце – я запомнила, потому что было странно: мир уже четвертый день как рухнул, а оно светит. Это было 27 февраля, а сегодня 12-е. За почти год выяснилось, что в рухнувшем мире тоже можно как-то жить.

...Я смотрю сториз незнакомой украинки, на которую подписана

пару лет. Она вывозит детей из Киева, а в машине звучит: «Ну-ка мечи стаканы на стол» БГ. Она подпевает ему, а я подпеваю ей и думаю, что с ней у меня больше общего, чем с президентом моей страны, который может подпевать разве что «Любэ»; но почему-то она сейчас убегает от армии, которая вроде бы должна меня защищать. Я не заметила, что кричу.

– Так же не может быть, – говорю я своему психологу. – Если человек, который слушает БГ, убегает от российской армии, то это же катастрофа.

Я рыдаю, и мне неловко: кажется, что она не поймет, потому что это нельзя понять.

– Я никогда не думала, что буду так плакать от того, что не касается меня лично, – выдавливаю я.

– Но, кажется, это касается вас лично, – отвечает она.

«Как ты?» – пишу я своему петербургскому другу Косте, мы знакомы лет пять и встречаемся пару раз в год. «Это же Ленинград, мы просто ходим умирать на Васильевский остров, – отвечает он. – Приезжай, пока нас и правда не переименовали.» А что, уже к лету могут, думаю я.

Я приезжаю в конце марта, и гуляю днем по набережным, и кутаю нос в шарф, и вечером мы встречаемся, чтобы по местной традиции обойти все бары на Рубинштейна. «Что-нибудь такое, чтобы я перестала думать», – говорю я бармену. «Неоригинально», – хмыкает он и тянется за ромом.

В одном из баров Костю ждет Паша. Они давние приятели, и мы заочно знакомы – читаем друг друга и иногда болтаем в комментариях. Паша старше меня и разведен уже пару лет; у него свой бизнес, и по его рукам видно, как часто он ходит в спортзал; у него светлые волосы и хипстерская бородка – а я не люблю светловолосых и бородатых. Мы говорим друг с другом ремарковскими фразами – в те дни все говорили ремарковскими фразами, а когда Костя отворачивается, он улыбается и гладит пальцами мое запястье.

Я вдруг вспоминаю, что в последний раз у меня секс был больше года назад, и лучше бы его не было. А потом думаю: «Черт, а ведь в жизни еще есть секс».

Паша не пьет и уезжает раньше нас; Костя провожает меня до моего маленького отеля на пять номеров – за полночь и куда более трезвую, чем мне хотелось бы. Я ложусь в постель и вижу от Паши сообщение: «Хочешь, я сварю тебе кофе?»

«Это же Петербург, – успеваю подумать я. – Может, у них это означает что-то другое.» И сама смеюсь. Мы теперь уже иногда смеемся.

У него квартира в центре, и такси привозит меня быстро, и он действительно варит мне кофе: «Запомни, вот это самый вкусный шоколад, съешь, как лекарство». Он подходит ко мне сзади, кладет

шоколад на стол, а руки – мне на плечи: «Напряженная какая. Сейчас мы тебя расслабим».

Я не знаю, от чего смущаюсь больше, – от того, что приехала «пить кофе» к едва знакомому мужчине или от того, что хочу, чтобы он скорее допил этот кофе и отвел меня в постель. Я почти ничего не запомню с той ночи – только что он рассказывал о своем отце, а я – как в детстве убежала от маньяка. Только как он провел кончиком языка вдоль моего позвоночника. И как перед сном положил мне ладонь между ног и спросил: «Оставить так руку?» Я сказала: «Да», – я улыбалась в темноте: мне всегда хотелось, чтобы кто-то так сделал, но так почему-то никогда не было.

Утром ему нужно бежать по делам, и он ведет меня завтракать в кафе; я шатаюсь по Петербургу, словно запоздало опьянев; вечером сажусь в поезд, засыпаю на верхней полке и с тех пор сплю крепко и без сновидений. До этого мне месяц регулярно снилось, что я сижу в подвале и город бомбят.

– Я почти никогда не засыпаю с мужчиной в первую ночь, – говорю я своему психологу. – Он волшебный какой-то, он лучший на свете, я бы могла с ним жить.

Мы работаем с ней восьмой год, и после этих слов я вижу выражение ее лица, смотрю на себя со стороны и на минуту прихожу в себя. И смеюсь.

Меня ничего не держит в Москве: я с ковида работаю на удаленке. Мы ни о чем не договаривались, но я уверена, что он через неделю приедет ко мне, а через месяц попросит меня переехать в Петербург, и я буду обнимать его каждую ночь, потому что очень глупо не обнимать каждую ночь мужчину, рядом с которым чувствуешь себя так, словно наконец-то пришла домой. Он много работает и много ездит, и я знаю, что времени друг на друга будет мало, и представляю, как он будет ночью возвращаться из одной командировки, чтобы через четыре часа улететь в другую. Я буду просыпаться от того, что он гладит мое лицо, и притягивать его к себе, и сонно спрашивать: «Ты голодный?» – и он будет со значением отвечать: «Очень», – и целовать меня всю, пока я не начну кричать.

Паша бегает марафоны и пахнет дорогими сладковатыми духами, как я люблю; он хорошо зарабатывает, много занимается благотворительностью и постоянно устраивает кого-то на работу; у него есть дочка, с которой он проводит все выходные и рассказывает про нее так, что мне хочется родить ему вторую, – просто чтобы еще у одной девочки на этой планете был такой отец.

Он настолько идеальный, что иногда я пугаюсь и хочу превентивно послать его к черту и заблокировать во всех мессенджерах, потому что так не бывает, и точно должен быть какой-то подвох, наверняка что-то очень страшное.

– Да есть у него недостатки, есть, – успокаивает меня психолог. – Просто вы влюблены.

– Он, – вспоминаю я, – Достоевского не любит.

– Вот видите, очень серьезный недостаток.

Он не приезжает и не зовет меня к себе: «Очень много работы, завалило всем, чем можно. Дико хочу к тебе». Я бы решила, что это секс на одну ночь, и мне было бы не в чем его упрекнуть – он же мне обещал только кофе. Мы даже по видео никогда не разговариваем, и я забываю, как он поднимает левую бровь, когда иронизирует. Но он пишет мне о том, что сейчас читает; о том, как ходил с дочкой на концерт; о том, как нервно сейчас на работе. А еще он пишет: «Я вспоминаю твой запах», – и за пару месяцев мы сочиняем в мессенджере сценарии для целого порнографического сериала, и он рассказывает, как будет переворачивать меня со спины на живот, и я думаю: конечно, всё это будет, очень глупо всё это не сделать, мы же почти ничего не успели – что можно успеть за одну ночь и одно утро?.. Только мы разговариваем всё реже, и мне больно.

Однажды я пишу ему сообщение, такое длинное, что Telegram делит его на два, – о том, что я его вспоминаю, о том, что так не было ни с кем, и о том, что я очень хочу попробовать быть вместе, но если нет, то давай тогда это сейчас решим. «Полное совпадение, если кратко, – отвечает он мне. – Не хочу писать, надо разговаривать, надо встречаться.» А потом снова оказывается слишком занят, и проходит еще месяц, и я понимаю, что, кажется, отсутствие ответа – это тоже ответ, и, наверное, правда надо как-то это заканчивать.

Но всякий раз, когда я об этом думаю и начинаю плакать, он пишет мне: «Как ты?» – и я думаю, что что-то есть.

– Вы старательно не замечаете слона в комнате, – говорит мой психолог. – И он скоро станет таким, что на него можно будет поставить планету.

– Ну а что, – говорю я, – может, ее тогда хотя бы перестанет так трясти.

«Как ты?» – спрашивает он меня. У нас на каждой остановке – портреты «героев России» в форме. Я читаю новости: уничтожены еще 200 военнослужащих, или «нацистов», как они там пишут. Я не успеваю быстро перевести мысль на что-то другое, останавливаюсь на этой цифре и начинаю кричать: вы чего, вы с ума сошли, какое «уничтожены», это же живые люди! Я собираю мешки вещей для беженцев: футболки, летние платья, электрический чайник. В каком-то волонтерском чате просят маникюрный набор: в пункте временно-го размещения есть маникюрша, «хоть сделает девочкам ноготочки». Я читаю это – и опять кричу. Однажды в час ночи меня будит чей-то самодельный фейерверк – я встаю, подхожу к окну и досматриваю его до конца, чтобы убедить себя, что это фейерверк.

– Я уже думала: что я возьму с собой, если нужно будет прятаться от бомбежки в метро, – говорю я психологу.

У меня есть шелковое одеялко, легкое, оно не займет много места. И тонкая курточка, ее можно свернуть и бросить в рюкзак. И много наличных: я в первые три дня войны сняла со счетов всё, что было. Еще новый ноутбук – тогда же успела заказать, пока он еще не подорожал вдвое. Термоса хорошего нет, надо купить термос, говорю я себе раз в месяц и почему-то всё не покупаю, а бутылки под рукой может не оказаться, а как же тогда без воды.

– У вас рядом с домом здания ФСБ, там хорошее ПВО.

– Я же живу на 16-м этаже, как-то всё равно страшно.

Я не говорю этого Паше. Я пишу: «Всё хорошо, работаю». Зачем ему это рассказывать, если с ним всё то же самое. Я вижу это по его постам.

Прошло больше четырех месяцев, и всё, в общем, понятно. Я говорю себе: если он не спит эти месяцы со мной, значит, спит с кем-то другим. В начале августа я еду в Петербург. «Я здесь на четыре дня. Давай встретимся, если между нами еще что-то есть.» – «У меня сейчас нет времени на отношения, слишком сложные времена», – отвечает он. «То есть – всё?» – уточняю я понятное. «Не хочу делать тебе больно, – и через секунду: – И себе.»

Я гуляю целый день – так, чтобы болели ноги. Когда я двигаюсь, мне труднее плакать. Прохожу по Шпалерной улице и вижу на фонарном столбе надпись черным: «Нет войне». И ниже – белым: «Крым наш». Надо прислать фото Паше, думаю я, – и осекаюсь. Я присылаю его Косте – мы завтра договорились выпить кофе. «Вполне возможно, это один и тот же человек написал», – отвечает он.

И я даже смеюсь, но не знаю, как буду жить с тем, что больше никогда не буду обнимать Пашу всю ночь.

– Он же просто мужчина, – говорю я своему психологу. – Ну, хороший мужчина, но я же с ним провела вместе меньше суток. Почему мой мозг из него сделал какую-то... эээ... Татьяну Ларину?

Видимо, в смысле «милый идеал», что-то из школьных уроков; в этом самом мозгу всегда всё всплывает не вовремя, и я думаю, что Паша бы посмеялся со мной, если бы это услышал.

– Может быть, это вообще не я, а то звериное, что в нас живет? – говорю я. – Оно ведь во всех нас живет. Может быть, оно решило, что быть с заботливым, физически сильным и богатым самцом – это шанс выжить в войну? Вот и не отпускает.

– А что, – соглашается психолог, – отличный план.

Середина августа, я надеваю самое красивое летнее платье и иду на свидание с давним френдом; он красив, он берет меня за руку и шутит так, что я хохочу на всю улицу; мне с ним хорошо, и я не откажусь встретиться снова, но когда я еду домой, я плачу от того, что он не Паша.

...Он напишет мне утром 21 сентября, когда я, лежа в постели, буду читать новости о мобилизации. Он единственный из моих знакомых мужчин, за которого я и не думаю переживать: он сильный, он всегда знает, что делать, он найдет законные и незаконные способы, он может всё. «А мне сегодня приснилось, что ты напекла мне корзину пирожков», – пишет он мне: это я ему однажды пообещала испечь пирожки на день рождения. И я вдруг понимаю, что его, сильного, трясет так же, как и всех. «Было ли вкусно?» – спрашиваю я. «Не успел. Проснулся голодный.» Он шлет мне selfie из машины, а я фотографирую себя в постели, приоткрыв рот, – я знаю, о чем он думает, когда видит мои губы, и он пишет, как сильно хочет сделать сейчас именно это.

«Мы можем встречаться всякий раз, когда происходит конец света, – говорю я ему. – В России это раз в полгода.» – «Красиво, – отвечает он, – и чувственно.»

– Кажется, это не совсем то, чего вы хотели, – осторожно напоминает мой психолог.

Это совсем не то, чего я хотела, просто мне кажется, что до следующей осени мы можем и не дожить, а если нельзя выйти за него замуж, то можно хотя бы заняться сексом.

Мы договариваемся о встрече в Москве, и я два часа делаю в салоне педикюр, чтобы ему было приятно гладить мои ножки. Он отменяет свидание – не получится вырваться; и когда мы пытаемся договориться в следующий раз, педикюр уже надо делать заново. Он должен взять мне билеты на «Сапсан» – и заболевает, и я знаю, что в этом сезоне какой-то особенно противный грипп, и злюсь, что он довел меня до того, что я гадаю: а точно ли он болеет или передумал со мной встречаться.

И если бы мне рассказывала об этом подруга, я бы еще несколько месяцев назад запричитала: милая, оставь его, ты же видишь – он в тебя не влюблен.

– У нас с ним провал в коммуникации, – говорю я своему психологу, – мы вообще-то оба неплохо разговариваем с людьми, а между собой коммуницируем так, что два тяжелых аутиста договорились бы скорее.

– И вы всё еще считаете этого мужчину умным? – улыбается она.

– Он умный, он гораздо, гораздо умнее меня! – возмущаюсь я. – Просто...

Тут я понимаю, что правильное продолжение: «просто я ему не нужна».

...Я напишу ему: «Я не могу больше делать перед самой собой вид, что если два человека не могут встретиться год, то это из-за нехватки времени». Он ответит: «Просто я не хочу сейчас никаких отношений».

– Я тебя очень любила.

– Спасибо. Что ты есть.

Я плачу и думаю: наверное, надо сказать «спасибо» за то, что весь этот год я плакала не из-за войны.

МАМА. ГОЛОС СВЕТЛАНЫ

– Да, мама, я купила хороший шампунь, – говорю я, как всегда, включив громкую связь и сделав звук потише, чтобы не слышать крика. – Нет, мама, я не пойду к трихологу, у нас с Никитой нет на это денег. Да, мама, вот так мы плохо живем. Да не сильно у меня выпадают волосы, мама, успокойся уже! Я не кричу на тебя, мама.

«Посмотрела бы я, как бы они выпадали у тебя», – не говорю я, вынимая из головы клок волос. Время час дня, гинеколог у меня в три, надо собираться, только про гинеколога маме нельзя говорить; я говорю, что у меня рабочий зум, да, в субботу, а что ты хотела, мама, твоя дочь зарабатывает, как может. Да, вот так она неудачно выбрала парня, у него нет родительской квартиры на Ленинском и бабушкиной – на Кутузовском; только ипотечная студия в Котельниках, потому что в Саларьево слишком дорого. Мы переехали еще летом, сейчас октябрь, и я до сих пор спотыкаюсь в собственных вещах – большой шкаф нам так и не привезли. 15 февраля мы заказали мебель на триста тысяч, а потом случилось 24-е, и фирма перестала отвечать на сообщения, и то, что мы выбили, выбили с трудом, а первое время спали на матрасе, купленном напоследок в «Икее» вместе с тремя сковородками, десятком свечек и шторами, которые так и не собрались повесить.

«Зато теперь ты не будешь платить за съем», – сказал мне Никита, когда я прикидывала в первый вечер, во сколько мне нужно будет встать утром, чтобы вымыть голову и доехать до работы. Он обнял меня и положил мою голову себе на плечо – так он сделал на нашем втором свидании, когда я упала на катке и в кровь разбила коленку, а потом еще и пролила горячий кофе себе на руки, заплакала от обиды и боли и подумала, что он точно не позовет меня встретиться снова. А он меня обнял, и его рыжие волосы на свету показались совсем золотыми, и я подумала, что у нашего сына тоже всё лицо будет в веснушках.

К двадцати семи годам я уже знала, что если начинаю представлять общего ребенка, значит, влюбилась, хотя на втором свидании это было в первый раз; правда, однажды было на первом. Я вообще хотела ребенка с детского сада; мама любит рассказывать, что без коляски с пупсом я отказывалась идти гулять. Только я хотела, чтоб муж и дом, и чтоб мы с ним еще успели поехать по Европе, а мама – чтобы в двадцать пять и чтобы с москвичом.

– Всё надо делать вовремя, Света, – говорила она мне. – Твоя бабушка всегда говорила: картошку надо сажать вовремя, а то она не прорастет.

Она гордится мной, конечно. Наверное. Золотая медаль, два из трех ЕГЭ на сто баллов, но можно было и не, потому что в МГИМО поступила по Всероссийской олимпиаде. В моем родном маленьком городе таких не было ни до, ни после. Красный диплом, год в дипломатической службе в азиатской стране. Потом устала, вернулась в Москву преподавать в одном из лучших вузов.

Гордится, конечно, только при каждой встрече говорит, что что-то волосы у меня опять стали хуже, надо попробовать репейное масло, в Москве вода жесткая. И прыщи снова на лбу, надо как-то за собой ухаживать, и зачем я опять заказала пиццу, у меня как минимум десять лишних килограммов, тут одним бассейном не поможешь, надо брать себя в руки, а я опять утром ела шоколад.

– Дольку горького с кофе, мама, – привычно отвечаю я. – Так можно, мама.

– Вот помнишь, ты тогда растолстела – конечно, Олег от тебя ушел.

Олег ушел, потому что я работала без выходных и зарабатывала больше, чем он, москвич, старше меня на десять лет, и снимала квартиру, пока он жил с родителями в трешке на Ленинском, мама, говорю я про себя и не доедаю корочку пиццы, это все-таки тесто.

– Вот зачем ты всё время заказываешь то, что даже доесть не можешь.

Затем, что я сама плачу за свой заказ, мама, я сама зарабатываю на свою пиццу, мама, молчу я. Я с ней так со школы молчу.

...Я вешаю трубку и думаю: а ведь я могла бы ей сказать то, чего она ждет уже пять лет. Я беременна, мама. Я буду мамой, мама, я буду хорошей мамой. Я не могу ей это сказать: в три у меня гинеколог, он даст мне таблетки, Маринка рассказывала, что это не очень больно, похуже месячных, конечно, но терпимо. Я договорилась, что могу неделю поработать из дома, а Никита уехал к бабушке, и если меня правда будет сильно крутить, никто не узнает. Просто таблетки, это не очень страшно, это же не настоящий аборт. Срок совсем маленький, какой там ребенок, нет этого маленького рыжего ребенка, всего в веснушках, как у Никиты, и с ярко-голубыми глазами, как у меня.

Я иду к чемодану, который так и не разобрала, потому что его куда-то разбирать; надо найти белый свитер, на улице холодно.

24 февраля мы с Никитой проснулись – квартира еще была съемной, а кровать удобной, – и стали листать Telegram и Twitter. «А почему, – сказал он, – все пишут ‘пиздец’, и никто не говорит, что случилось?»

От ужаса меня рвало всё утро. «Ты, главное, не окажись теперь беременной», – пошутил он. «Не дай бог», – ответила я. Месячные

пришли в срок, через две недели, и я пыталась купить тампоны во всех окрестных магазинах, и везде лежали только нетронутые тампаксы – так я и знала, что ими никто не пользуется, подумала я тогда.

– Потому что иначе бы НАТО на нас напало, – сказала мама. – Всё правильно, конечно, это решать надо было.

– Никита смотрит билеты на Шри-Ланку, – ответила я. – Мы боимся, что перестанут выпускать.

– Как же вы не любите свою страну, – заключила мама, – а он у тебя еще и трус.

Никита отслужил в армии, у него специальность – разведчик, я видела его военник с жетоном, по которому опознают «если»; ему предлагали заключить контракт, когда мы встречались еще только год, и теперь он ищет билеты на Шри-Ланку, а я готовлюсь сидеть одна в квартире без мебели, только с холодильником, плитой и горой платьев, купленных не для жизни, в которой каждый день думаешь, не взорвет ли кто-то завтра ядерную бомбу.

Я говорю, то есть молчу маме в трубку, а потом опять вынимаю пальцами клоч волос. Может, постричься коротко, но мама любит, когда у меня длинные волосы, а я люблю маму. Я звоню ей каждый день и слушаю, что наш президент молодец и что мы ничего не понимаем. Я звоню ей так всю жизнь: из детского лагеря – посоветоваться, что надеть на дискотеку. Из Таиланда – рассказать, что настоящий том-ям совсем не похож на московский. Из Лондона – похвастаться, что здесь никто не замечает у меня акцент. Спросить, сколько сахара класть в блины, чтобы получилось, как у нее.

И она отвечает, что надо было брать в лагерь те красные штаны, про которые она мне говорила; что зачем я вообще поехала в этот Таиланд, надо было в Италию; что еще бы, сколько денег они с папой потратили в школе на моего репетитора по английскому; и что какие опять блины, сама же жаловалась, что попа не влезает в юбку.

Она говорит это, а я молчу. Это моя мама, и она читала мне в детстве сказки и носила чай с малиной, когда я лежала в пятом классе с воспалением легких. И я ее люблю, я ее люблю, только она почему-то думает, что на меня можно кричать, а еще, оказывается, – что людей можно убивать.

– Слабое вы поколение, конечно, – говорит она, когда я жалуюсь на цены. – Мы такими не были.

Я со студенчества работаю, думаю я, у меня очки с оправой от «Гуччи», на которые я сама заработала еще «до катастрофы», я всего лишь хочу жить нормально, мама, и не думать, объявят 9 мая войну или нет. Я покупаю себе стаканчик кофе, замечая, как он подорожал, и думая, что это, возможно, последняя весна, когда я вот так спокойно иду вдоль кустов сирени со стаканчиком кофе. Черт его знает, что будет через год.

– Успокойся, – обнимает меня Никита, когда я плачу перед сном, – если что, уедем в деревню к моим родителям, научимся закатывать помидоры, как-нибудь проживем.

Мы оба не для этого защищали свои кандидатские, но от его слов мне спокойнее и хочется водить пальчиком по его щеке, от веснушки к веснушке.

Потом всё как будто бы устаканилось, и Никита решил пока не уезжать; и оказалось, что если заказывать тампоны онлайн, то всё есть, просто нужно не забывать это делать заранее; и контактные линзы подорожали, но купить можно; и московский август всё такой же, как раньше: воздух тяжелый и теплый, и можно взять бутылку вина и сидеть на скамейке допоздна, а потом подняться в квартиру и любить друг друга, как будто всего этого нет.

Мы так боялись утром 21 сентября услышать что-то очень страшное, что занимались любовью всю ночь, как когда только-только начали встречаться.

– Конечно, мальчики должны защищать родину, – сказала наутро мама. – А как еще?

Двум коллегам Никиты повестки прислали на работу уже завтра, и он искал билеты «куда-нибудь» – поездом до Уфы, оттуда как-нибудь в Узбекистан, там у него тетка, двоюродная сестра отца; он продолжил работать онлайн и платить ипотеку, а с остальным я справлюсь сама; я справлюсь, всю жизнь же справлялась. Нервничаю, конечно, вот уже и задержка на десять дней, у меня так вообще не бывает, у меня месячные приходят не то что день в день, а час в час, ну ладно, завтра точно придут, или послезавтра.

– Мне нужны антибиотики, – говорит в аптеке хмурый мужчина.

– Да к нам давно не привозят. Всё на фронт, всё на фронт, – отвечает молодая аптекарша, и мне кажется, что в ее голосе я слышу сарказм, но может, и нет.

Я успеваю подумать, что не знаю, подорожали ли тесты на беременность, потому что покупала его один раз в 19 лет.

– Может, это брак, так же бывает, – пишет мне подруга Маринка. – Ты сначала сходи к гинекологу, а потом паникуй.

– Подумайте, время у вас еще есть. Только недолго, – говорит гинеколог, темноволосая женщина за пятьдесят, и мне кажется, что она видит все мои мысли у меня на лице. – Если сроки упустите, медикаментозный уже не сделаете.

– Прекращай лениться и начинай ходить в бассейн, – говорит мама. – Сама же жалуешься, что болит спина.

«У тебя будет внук или внучка, мама», – молчу я. Никита в последний момент сдает билет: он не хочет уезжать – ни расставаться со мной, ни менять жизнь. В тот вечер его впервые за эти месяцы прорвало, и он кричал мне, что не понимает, какого черта он не может

просто жить как всегда, просто работать, зарабатывать и обнимать меня, когда мы ложимся спать, и почему постоянно нужно что-то решать, когда решать не хочется.

И я думаю: лучше ему не знать, что сейчас решаю я.

– Это же не навсегда, – говорит Маринка. – Вот он сдохнет, и ты родишь. Ты права, ну какой сейчас ребенок.

Какой сейчас ребенок, говорю я себе, в нашей студии в Котельниках всюду валяются чемоданы; когда у нас будет шкаф, непонятно, и куда ставить кровать, тем более. Мама захочет приехать к нам помогать, а где она здесь будет спать. Я уйду в декрет, и зарплаты Никиты после ипотеки будет едва хватать на еду и подгузники. И повестка, это главное, надо бегать от повестки, – к нам уже звонили и стучали, мы не открыли, а на работе Никите сказали, чтобы скорее брал отпуск и уезжал, может, и удастся перекантоваться. И Москву еще не бомбили, но мы же каждый день думаем, что будут бомбить; да мы же и не планировали, это же случайность, какой, к черту, сейчас ребенок.

...Рыжий и в веснушках, думаю я, с голубыми глазами. И если девочка, то я буду заплетать ей косички, и она не будет выходить из дома без коляски с пупсом; а если мальчик, Никита будет учить его кататься на велосипеде, и однажды мы вдвоем пойдем на каток, где я разбила коленку на нашем втором свидании; а потом вместе будем есть картошку в «Макдональдсе», он к тому времени вернется в Россию, ведь кончится же это когда-нибудь.

«Мой ребенок, вот какой», – думаю я.

...Я сижу, жду очереди у гинеколога и думаю, что можно же не принимать таблетки, а просто пройти осмотр. А потом позвонить маме и сказать, что я тоже теперь буду мамой. Она обрадуется, только скажет, что у нас слишком маленькая квартира, потому что Никита не заработал на квартиру побольше. И что где вообще Никита, – а, уехал, прячется от повестки, и как вы такие будете жить, чему вы только научите ребенка.

Нужно взять таблетки. Нужно взять таблетки или не взять, и время подходит к трем.

– Проходите в кабинет, – говорит гинеколог, приоткрыв дверь.

И я встаю.

Сергей Попов

НАПРАСНАЯ МУКА

Тогда врывалась оттепель в умы
и перспектива выглядела круто
по яростным окрестностям зимы
на юных раскладушках неуютно.

В окне как будто зрела бирюза,
в крови без спроса музыка играла,
где партию клеймили за глаза
и уши до полярного Урала.

И на ура встречалась красота,
и сигаретки вспыхивали дико,
когда о жизни с чистого листа
на кухне танцевала Эвридика.

Аккорды никотиновой любви
горячей дрожью шли по средостенью...
Но как сплетенье нот не назови –
мелодия поддёргивалась тенью.

Скользило вдохновенье в никуда,
припев смолкал и пестовался снова...
И времени горячая вода
не приносила опыта иного.

Цвели красавиц шальные зрачки.
Заря теряла трепетные краски.
И набирало прошлое очки,
в реальность превращаясь по указке.

Но для поправки мятого лица
прекрасно шли сто семьдесят на рыло,
чтоб счастьем не предвиделось конца
и разочарованье не накрыло.

И на подпитке мир существовал,
порой припоминая для порядка
не почитавших сызмальства овал
и живших непростительно и шатко.

И если звук лукавил за окном,
Орфей с гусиной слаживался кожей
и думал о периоде ином
как переобувании в прихожей.

И отходил от мутного окна,
но всё равно от опыта мутило,
где кухонная лампочка одна
пылала как последнее светило.

* * *

В. С.

Это Шамбола шалого эмбола,
утешенье блаватской бедой.
И без разницы – было ли, не было –
Рая и Горбачев молодой.

Это как в зазеркалье забвения –
нет ни смеха, ни плача уже.
Всё наладилось более-менее
на хрущевском еще вираже.

И банальны, и непритязательны
ранних опусов рифма и ритм,
но налёт исторической патины
тем не менее неповторим.

МГУ, философский, издательство,
безалаберный Литинститут,
допотопное богоискательство –
даром если потом проклянут.

И с портфелем бухгалтерским следуя
души через культуру пасти,
он ни с правой не ладил, ни с левою,
но держал мирозданье в горсти.

Воспален семилукской смекалкою,
окрылен индостанской жарой,
не смущался ни участью жалкою,
ни родимой землею сырой.

Там где оттепель, оторопь, каверза,
он отметился не для того,
чтоб навзрыд сокрушаться и каяться,
если понял почему волшебство,

а чтоб всё оприходывать сызнава
и на запад умножить восток,
ведь у прежней политики вызова
обломался извечный шесток.

И выходит Христос на братания,
тянет Кришна улыбку к ушам,
чтоб в тени отдыхала Британия
и пришельцев позор иссушал.

Это дело приبلудного Рериха –
мухлевать с подоплёкой судёб.
Это старого мира истерика,
это бархатный рис, а не хлеб.

Это знаки, что звуков полезнее,
где Охотный манит калачом...
Если спросят, при чем тут поэзия,
то поэзия тут ни при чем.

* * *

Здесь Клигман доходный выстраивал дом,
выпрашивал в банках кредиты –
то всё же давали с великим трудом,
а то говорили: «Пооди ты...»

И кованым солнцем светился фасад,
решетки цвели на балконах.
И радуга больше столетия назад
играла на стеклах оконных.

Здесь «Первого мая» кооператив
в двадцатых лепил коммуналки,
и пил председатель, суров и ретив,
и взносы взымал из-под палки.

Здесь запросто даже водила гусей
и мелкую живность жилища...
Но звал жилотдел с непреклонностью всей
на классово близких не злиться.

И мне довелось тусоваться в одном
из этих позорных пристанищ,
когда всё на свете летело вверх дном
и гусь был свинье не товарищ.

Печальная дама на самом верху
почти в облаках обитала.
Таких на моем не бывало веку,
хоть всякого было немало.

И звезды являлись намного крупней
глядящим на них из-под крыши.
И зрела уверенность, будто бы с ней
возможно подняться и выше.

Она украшала нору как могла
и стряпала, как не умела.
И непоправимые наши дела
мешали дышать то и дело.

На лестничной клетке сиял «Виллерой
и Бох» под ботинками буки...
И кажется, мы говорили порой
о традиционной разлуке.

И гневно в ответ пламенела луна
за рамой из черного бука...
И радость светилась, нема и полна,
где слово – напрасная мука.

* * *

Он плёл, что дед в тридцать седьмом
нашел на лестничной площадке
уездной барышни альбом,
где снов теснились отпечатки.

Смеялись ангелы с небес,
цветы разлуки зацветали...
Ведь был сосед и вдруг исчез –
но это общие детали.

Глядели с выцветших листков
слова про жуткие измены...
Жил-поживал и был таков
служитель местной Мельпомены.

Квартировал один сезон,
срывался в страшные загулы...
«Ужели это был не сон,
и от любви сводило скулы?»

Неслись в распахнутую дверь
наркомов радиоприветы...
«Мой приснопамятный, поверь,
душа не канет в струях Леты.»

И не решился заглянуть –
лишь подобрал, что уронили...
«Земной оканчиваю путь,
но не забуду и в могиле.»

Сначала выкинуть хотел,
потом толкнуть на барахолке...
Но сам попал под беспредел –
одни осколки да наколки.

Да непомерная труха
страстей под ветхим дермантином.
Страна родна и широка
в оцепенении едином.

И как беде ни прекословь,
та огрызается вначале...
«Была без радости любовь,
разлука будет без печали.»

И криком сорвано с цепи,
молчанье катится на сцену...
Лишь внук твердит «купи, купи»,
пугаясь выговорить цену.

* * *

Кто с многоточием, кто с точками над и
в смертельном сговоре пожизненно завис,
под знаком ветра препинанием воды
с неверной почвой объясняя компромис.

Всё изменяется и якобы течет,
но время кривды – небогатая вода –

и точек в нем как ни крути наперечет,
и с восклицательными сушая беда.

Гуляет ветер по страницам темноты,
пустое слово выбирается на свет,
где полевые и военные цветы
как запятые презентуются в ответ.

Но то, что стебли – вопросительной дугой
и все в подпалинах седые лепестки,
цветет и пахнет пунктуацией другой,
где допущения убийственно легки.

И позволительно писать как умирать,
и брать в кавычки всё, что вздумается, влёт :
какая твердь, какая смерть, какая рать –
крошечный Хронос как по писаному врет.

Кто с правдой парится, кто силится тире
себе подобному поставить между дат...
И при обозе, при остроге, при дворе –
езде и всюду каждый сам себе солдат.

* * *

С Воронежем он расставался легко –
загул и нелепая драка –
стяжатель побед, подпоручик Лойко,
стервец без печали и страха.

До подвига дикой душой распростерт
и в скуке провинции заперт,
писал, что хотел не во фронт, а на фронт,
и слезно просился на запад.

Уже новый год приближался и жёг –
пятнадцатый в шалом двадцатом –
а он всё надеялся на посошок
дерябнуть и выдохнуть матом.

От здешних девиц воротило с души
и от командиров тошнило –
хоть сдуру стреляйся, хоть рапорт пиши
о том, что милее могила.

Но жизнь подмигнула, и карта пошла,
и штаб разразился депешей,
что воину суша отныне мала
и в небо отправится пеший.

Барона Буксгевдена лётная часть
и авиашкола на Каче...
И вместо решимости жертвою пасть –
капризные крылья удачи.

«Моран-Парисоль», истребитель «Ньюпорт»,
румынские заросли в дымке...
Владимиром жалован, Анною горд,
он с шашкою на фотоснимке.

Отвязный угонщик, чумной дезертир,
растрава чекистского ока,
с семьей из-за лишних ее десятин
расстался, спасаясь от срока.

И даже когда угодил на Вайгач,
тайком сочинял самолеты
и не растворялся – хоть смейся, хоть плачь –
в наплывах полярной дремоты.

Ему Водопьянов стволом угрожал,
недремлющий сталинский сокол,
и он подчинялся, но не угождал
в горячечных снах о высоком.

Когда же случайная бритва для вен
в пустой медсанчасти мелькнула,
он вспомнил, что смерти не будет взамен
моторного стука и гула.

И не подфартит вознестись задарма,
какая бы фишка не пёрла
в местах, где всегда квартирует зима
и хлещет безумье из горла.

* * *

На фоне транспортной развязки,
где мать кругом и перемать,
дурак рассказывает сказки,
как будто жаждут понимать.

Он перемешивает сходу
слезу безумья от любви
и беспробудную природу
очередного визави.

Ветвится трасса в ритме рваном,
играет время на убой...
И если звать его Иваном,
он видит небо над собой.

Когда вокруг менты да урки,
стократ роднее облака
и слаще мятые окурки,
и божья бережней рука.

Ведь забивать прохожим баки –
немаловажная судьба
в микрорайоне, где собаки
страшнее Страшного суда.

Но правоту нести как знамя
легко у неба на виду –
ее материя сквозная
не подответственна суду.

Андрей Ткаченко

* * *

люди, яблоки, камни и капли
и другие плоды;
говори на шумерском, аккадском,
прорубая ходы,
глаз мой, в каменном времени,
снова, позабыв ремесло
всякой вещи, беременной словом:
«камень», «капля», «стекло»
остаются добычей сетчатки,
молчаливой и не
подходящей для словозачатья,
первородной вполне;
наблюдай, как стремится к закату
обжигающий круг
умолчания, яркие пятна
приглушая вокруг;
глазом чайки и цапли туманный
создавая пейзаж,
сонный шарик прощально лобзает
уходящее за...

* * *

не смотри не ходи назад
вдруг останутся лишь глаза
может запах детского сада
приведет с собой рой литот
край кровати волчок кусток
облаков и любви громады

для чего занимаюсь я
превращением в муравья
и великим бегу разломом
и холмом и путем ствола
в незащитности хрупких лат
тропкой в дрожь листового лона

длиться водорослью в воде
в чьей-то лиственной бороде
ветер ветер глаза залей мне

лишь на лето иль лет до ста
и любовь как прыжок с листа
трепет шкур под звучанье флейты

ПЕНЕЛОПА

Твоего тела белый корабль в темноте
молча, почти бесшумно отчалит;
в узкой полоске света
за горизонтом двери утонет,
мягко сойдет на нет.
Снег, зелень, снег. После лепо ли мне
черным по белому городить
контрасты изменчивых декораций,
уходя уходить, бросать свою пригоршню,
чтобы после белым по черному
вновь замело, успокоило?
Днем ткать, ночью ткань на слова распускать:
«линия», «ломким», «лезвием», «резать»,
«зигзагом», «связать», «отмотать», «назад»,
«бросить», «якорь». Я корявые корни
памяти в землю времени врежу,
ошершавлюсь, покроюсь корой.
Став горой, нарожаю мышей.
Я всё выше, достигаю уже дыханием горизонта;
я дышу; мои легкие облака там, где зрение
стало таким же слабым и ломким,
как твой голос издалека.

ПАМЯТИ ПАПЫ

*Ткаченко Константин Николаевич.
6.09.1950 – 31.10.2021*

Зимние таинства, священнодействия
звезд ли, что ярче и ярче горят..
Я прорастаю из комнаты детства,
греюсь прозрачным огнем ноября.
Где-то в земле, непреклонно, глубоко
спишь ты, глотнув ледяной тишины;
я вечерами плыву на работу
сквозь частокол огоньков ледяных,

тихо лавирую; хрупкому борту
 не устоять, но и не избежать.
 Раз тебя нет, тебе больше не больно,
 только вот мне всё равно тебя жаль:
 вместо житья – лямка тяжкой работы,
 бедность жилья, вспышки гнева жены –
 хрупкому груз чудачу-доброхоту –
 но никому ничего не должны
 ангелы, коих здесь нет и в помине,
 ветер, что дует сквозь нас напрямик,
 дождь и деревья, моря и пустыни...
 Я по привычке окликну: «Старик!
 Пап, ты куда свое счастье запрятал?
 Мне не найти теперь – вот начудил!»

 Только гудков телефонных незрячих
 тихое эхо гуляет в груди.

* * *

недолгий ящик черный маленький
 или большой
 куда когда мой разудаленький
 ушел пришел
 тот час ложиться под осинами
 и забывать
 не слышать воя ветра сильного
 и не вставать

придут поспорить Хаксли Оруэлл
 и просто так
 а ты лежишь порой и вторишь им
 глухой простак
 слепой оратор в черном ящике
 святой дурак
 в овеществленном настоящем их
 лети корабль
 плыви в просторы вод неведомых
 крошась в труху
 с прощальной песней заповеданной
 как на духу

* * *

Пробуждение.

Слово «мессенджер» отвратительно словно разрыв, воронка;
правый глаз заливаёт солнцем, другой в тени.

Во сне пытался всё отменить,
там шевелилось море ярко и звонко;
кажется, сну незнакомо понятие «дни».

Не отдавая себе в том отчета,
я жил под водой и причтён был к сонму морской родни;
где волны у берега катятся через большие камни,
где, смешиваясь со светом, на них колышутся водоросли,
плыл как бы костлявой и большеротой рыбой,
загребал плавниками-руками.

Средь пены над камнем движение ног и лап:

богиня в воду сошла и с нею ее собака –

большого и не надобно, когда б

так изо дня в день повторялось,

море и Солнце были бы вечными,

будут вечными,

вечной будет вся череда

плывущих и выходящих из вод созданий,

даже не найденных в списках,

утраченных в синем объеме воздуха,

во тьме оркестровой ямы,

даже звери Босха ручные,

сумасшедших боящиеся,

даже потерянные,

несмотря на обещанное вознаграждение всем нашедшим,

даже те, кого сон во плоть еще не одел.

Через мгновение я отчетливо их разглядел:

нагота и мокрая шерсть, Солнце в воде

с золотыми и черными волосами.

В это время у самого края воронки утра

Солнце другое смотрит в глаз то ли трупа,

то ли спящего, лежащего на спине.

Я этим утром есть, а кого-то нет.

Мессенджеров перекрестная тресконя.

Новостей уханье, свист и вой.

Перебежками, на другую сторону дня,

прикрываясь Солнцем над головой.

* * *

видела ль волны над полем цветущим уже
девочка там где колышется на рубеже
неравномерное лето сжимаются жизни мечты
и расширяются те что сумели вдохнуть красоты

выкрашен красною краской спасательный круг
выброшен страшною сказкой на берег а вдруг
выпрошен день еще день у кого ты просил
добр он тебе подарил ни о чем не спросив

дышишь ты дышишь ты веруешь в радость уже
завтра мы на берег поля по светлой меже
выйдем как пугала встанем нелепо и смех
наш распугает богов зазевавшихся всех

Алексей Ивантер

* * *

В одном селе, что на Урале, на Пасху церковь обокрали,
Вино и утварь унесли, да вора к вечеру нашли.
Пенькой крученой повязали, слова суровые сказали,
Но местный поп, в миру – в чинах, сказал: «Пустите его нах..»
Поимщики перекрестились, у судей руки опустились,
И, положив воришку в грязь, ушли, негромко матерясь.
А вор проспался под березой, и встал, помятый, но тверёзый,
И, разгрызя лесной орех, решил замаливать свой грех.

В приделе северном – со Святков на ржавых подмостях, внизу
Лежали кисти и остаток пигментов в сплюсненном тазу.
И, укрепя пустое чрево яйцом с пасхального стола,
Он написал Марию Деву, волхвов, младенца и вола:
Не по церковному канону, не ремеслом, зато теплом,
Как помнил старую икону в избе у бабки над столом.
И, завершив работу к ночи, такого задал храпака,
Как может выпивший рабочий в цеху холодном у станка.
Наутро, изгнанный из храма ворчаньем собственной сестры,
Он буркнул и ушел от срама за три уральские горы.

С тех пор ни трезвым и ни пьяным, ни бритым и ни в бороде,
Ни с пузырьрём и ни с баяном его не видели нигде.
А ближе к маю, понемногу, кто были слабы и больны,
Вдруг стали чувствовать подмогу вблизи расписанной стены.
Слепые там не прозревали, и оживали там – навряд,
Но исцелённые – бывали, как наши бабы говорят.

Я там гостил. С попом сидели и доедали соли пуд;
Спросил: «Ну, что там, в самом деле?» Сказал: «Идут».

* * *

Я обрезал зимой сады в предгорьях Южного Урала,
Чтобы бригада до звезды плоды земные собирала,
Чтоб хрустким яблоком большим велась осенняя затарка,
Ведь ждали яблока Ишим, Надым, Челябинск и Игарка.
Но ярче праведных трудов запомнил узкую тропу я
Меж грязных фур и поездов, где встретил девушку слепую.
Она брела вдали села, прикрыв незрячие зеницы,
И что-то длинное плела, закинув голову, как птица.
Я знал, что девушка больна, умом светла, здоровьем шатка,

Она жила в селе одна, как схоронили мать и бабу.
И что-то слышное едва всё время пела, напевала,
Но отдаленные слова моя душа не узнавала.

А в этот раз стояла тишь. Взошла звезда и месяц вышел.
И что-то торкнуло: «Расслышь». Я шаг замедлил и расслышал:
«Един вся веши, – голос креп. – Вся можеш, чтоб всем спастися.»
Я нес бригаде свежий хлеб, чтоб на неделю запастися.
«Даждь ми любити всяк жука, букашку всяк и тварь с рогами», –
Я слышал речь издадека, девичий голос над снегами.
«И даждь ми путь мой обрести, узреть незрячими очами.»
Я молвил: «Господи, прости, спаси с другими сволочами».

В ту зиму были холода. Мы грелись водкой и печами.
И стыла в термосе вода, с собою взятая для чая.
А на исходе февраля был повод в пятницу напиться:
Взяла уральская земля соседку, девушку-слепицу.
В то лето яблоки росли, как кавуны, в садах охранных,
И гнулись ветви до земли у жигулевских и шафранных.
А у садов и ближних сёл я слышал пенье.
А в октябре я в храм вошел принять Крещение.

* * *

На берегу, где лес свели, и брёвна сплывили плотами,
Цветы на вырубках цвели, и пахло дикими котами.
Гудел буксир издадека, был день назавтра нерабочий,
И два приплывших рыбака костер раскладывали к ночи.
Темнела Мишина Гора, и мошкара столбом держалась,
И гулко эхо топора от края леса отражалось.
А чуть поближе к огоньку, где на сосне висело било,
Как кочки с клюквою, во мху темнели старые могилы.

Тут вовсе не было крестов, но был пяток ржавелых траков,
Как рыжий выводок птенцов, среди щепы и буераков.
Росла черника посреди, и вдруг негромко, за спиною
Услышал я: «Не уходи», – над тишиной и бузиною.
На вёрсты не было жилья, кусты и гарь лесоповала.
...Так говорила мать моя, когда лежала умирала.
...Христе, Спаситель, Боже наш! Хранитель сырых и скорбящих!
Ты сам что можеш, то подашь, попомни о лежащих в чаще.
Ты милосердный Отче чад, вельми повинны наши выи!
Пусть изгубленные молчат, а говорят за них живые.

...И, слов не в силах обрести, я вышел к берегу пустому,
Мне было два часа идти вниз по реке к жилью людскому.
А за вспотевшую спиной сквозь березняк и ельник гиблый
Пластался голос надо мной: «Не уходи», – глухой и хриплый.

* * *

Из всех допотопных событий,
Отсеяв давно мишуру
Бараков и соцобщезитий,
Я помню Былову Гору.
В деревне за летней Кабожей,
Где прятался я от властей,
Жил дядька с экземой на коже
И болезнью ломких костей.
Он был нелюдим, и обычно,
Пробуркав: «Желаю и вам», –
В свой мир погружался привычно,
Где не было места словам.
Живя в невербальном общении
С деревней, любившей взболтнуть,
Он был, как немое растение,
Что мне не мешало ничуть.
То в лесе, а то в огороде,
С утра покидая жильё,
Он был сопричастен природе,
Как некая сущность ее.

Мы рядом сидели порою,
И плыл над неспешной рекой,
Мостком и Быловой Горою
Высокий и древний покой.
Случалось, округа вращалась,
А небо вмещалось в реке;
Тому, что в душе ощущалось,
Названия нет в языке.
И все словеса и словечки
От вечера и до утра,
Смолкали у маленькой речки
В деревне Былова Гора.
Да где та обитель, сказитель?
...Лишь вспомнишь порой впопыхах,
Как мой деревенский учитель
Вертел камышинку в руках.

Елена Улановская

Восемь лет спустя*

Часть 1. 24 февраля 2022

МИЛАНА

Милану разбудил звонок. Нет, не телефон, как ей показалось спросонья, – телефон на тумбочке лежит, молчит и не мигает. Может, показалось? Нет, не показалось – опять звонок. Звонили в дверь...

Звонок в дверь в районе трех ночи не предвещал ничего хорошего. Сашка?! Но нет, он так запросто не придет без предупреждения, да и часть свою оставить не сможет... Что-то с ним случилось и пришли сообщить?.. Тоже нет: они в три ночи не явятся – будут ждать до утра, а то и до вечера... Сашка рассказывал, как это делается: сообщают об убитых вечером, когда люди после работы смотрят телевизор, а ночью или утром только в крайних случаях... Когда семье угрожает опасность...

Саша не ночевал дома с 19-го февраля, и Милана прекрасно понимала, что вопрос объявления войны – это дело считанных дней. Ее совсем не волновало «когда», ее волновало – где. Где будет муж в этот момент: в командировке, на границе или в Северодонецке, в штабе, – тогда, если повезет, как раз заскочит домой хоть на часок – соскучился ведь! – в этом у нее не было сомнений. Сомнение было в другом – какой ценой? Какой ценой ему и ребятам придется держать оборону? Конечно, пограничные войска – они на то и пограничные, чтобы границы охранять, но одно дело, когда пара контрабандистов или даже диверсантов прорвется, а другое, когда вся громада российской армии только и ждет, чтобы обрушиться на эту несчастную границу, где всего-то несколько патрулей. Где же ВСУ, где обученные бойцы украинской армии, где танки и бронетранспортеры, где полевые госпитали и учения по гражданской обороне? Вон соседка, медсестра в больнице, говорит, что к главврачу обратились военные: сколько коек в случае войны – так они сказали: в случае войны нужно открывать еще госпиталь... Все говорят о войне – даже американский

* Повесть вошла в шорт-лист Алдановской премии-2023. Те же герои описаны Е. Улановской в повести «Город, где цвели абрикосы» о событиях войны в Луганске в 2014 году. См.: НЖ, № 297, 2019.

президент, но кто его слушает?! Никто до последней минуты не хочет верить в худшее – как будто живут в стране розовых пони, где всё случается только понарошку...

Но политика политикой, а Милана свое дело сделала. С вечера уже готов термос с борщом (дань почти тридцати годам на Украине), ну и хачапури осетинские, как мама учила, и кебабы с кинзой... Конечно, Сашу в военной части чем-то кормят, но знаем мы эту казенную еду! У каждого своя работа: у него – охранять границу, а у Миланы – его кормить! Хорошо, что кастрюли, завернутые в полотенца, в часть таскать не надо, как в молодости – вон термосы всех размеров выстроились на полочке, хоть суп, хоть котлеты туда пакуй.

Жалко, Дениса здесь нет: его тоже подкормить не помешало бы. Уже восемь лет прошло с тех пор, как сын сидел в подвалах Луганской Народной Республики, но вес прежний до сих пор не набрал... Милана не понимает, как он сдал экзамен по физподготовке в пограничное подразделение имени Хмельницкого... Упертый – в папу...

Удивительно, сколько мыслей может промелькнуть у человека в голове, пока он надевает халат, шлепанцы, нащупывает выключатель и, спотыкаясь о кота, который, конечно же, должен быть первым, бежит к двери, где еще нужно повернуть ключ в замке два раза. На простую задвижку рассчитывать не приходится – что-то в последнее время опять неспokoйно стало в городе.

Наконец-то она даже не открыла, а распахнула дверь настежь – и попала прямо в объятия мужа.

– Ты даже «кто там» не спросила, с ума сошла? – ворчал Сашка, пока Милана висела у него на шее, как девчонка, не заметив, что за ним на площадке смущенно топтались двое молодых солдат. По тому, как муж не торопился отрывать ее от себя, она понимала, что Сашка гордится этим порывом любви. Не каждого мужика под пятьдесят жена так встречает! Эти соплики и понятия не имеют, сколько сил и терпения нужно положить, чтобы создать, содержать и уберечь свою семью. Дай бог, чтоб узнали. Дай бог, чтоб дожили...

Сашка знал, конечно, – что тут удивительного? – что война будет; еще неделю назад передали: ждaть диверсий, артиллерии, а может быть, даже танкового прорыва. А людям с мозгами всё стало понятно, когда российские войска начали стягиваться к границам – вроде как учения. Ребята с Мелового и с Троицкого пропускных пунктов предупреждали: за пограничной полосой появились совсем другие военные... Ведь за последние несколько лет пограничники по обе стороны луганской границы не сказать чтобы подружились и сигаретами обменивались, но как-то примелькались друг другу. «Приятно видеть знакомые лица по ту сторону границы», – шутил Антон, записной балагур из Мелового. Теперь же – другие нашивки,

другое вооружение, другая выправка... Это как разница между котом и тигром: не нужно даже стоять рядом – хищника видно издалека.

Кстати, о котях: на армейскую кухню завезли целый ящик кошачьих консервов – с этим начальство разбираться будет, а пока классный повод заскочить домой, порадовать Мурзика. Пацанов, что тащили ящик, можно отправить в машину, а самому юркнуть в постель к Миланке хоть ненадолго: уж неделю почти не виделись – такие долгие разлуки не для него...

Сашку после обороны Луганского погранотряда хотели представить к повышению, но он отказался: как можно уехать в Харьков, оставить ребят? Столько всего вместе прошли... Ничего, он и командиром отряда пользу принесет... Пусть Денис растет по службе: он вот – пацан пацаном, а капитана уже получил за задержание диверсантов.

Сердце екнуло: на Сумской границе тоже беспокойно; лучше бы сын был здесь, под боком. Но нельзя... Хоть и закона такого официального не было, чтобы запрещал отцу и сыну служить в одном отряде, у Сашки – свои законы...

В кармане завибрировал телефон. Освободив одну руку, а другой обнимая Милану, он взял телефон: на экране светились цифры 3:30, срочно вызывали в часть.

«Началось», – Сашка стиснул зубы. Сейчас, прижимая к груди свое теплое счастье, которое придется отпустить, так и не насладившись, он понял: вот она, настоящая цена войны! И для тех, у кого это счастье есть, и для тех, у кого оно должно еще случиться.

МЕЛОВОЕ

Почти бегом спускаясь с пятого этажа (черт, опять коленка подводит!), Сашка слушал отчеты патрулей. Новости были ожидаемыми и, нужно признаться, неутешительными. Прямо в машине, по телефону, Александр Майоркин, командир Луганского погранотряда, начал свой первый бой на Меловом.

Вторжение российских войск началось с захода диверсантов, и это были не раздробленные группы нарушителей, которые старались избегать прямого столкновения с пограничниками, – это была масса до зубов вооруженных вояк, стреляющих на поражение. Сказать, что силы были неравные, – ничего не сказать. Застава могла выставить пять-шесть полноценных нарядов... «Пятерка отважных» отстреливалась – этих ребят Сашка знал лично, сам не раз бывал на Меловом: он постоянно перемещался между заставами, проверял патрули вдоль границы, в штабе не засиживался.

Одному из ребят, которые сейчас принимали первый бой, они с Миланкой даже стали кумовьями: Иван пригласил их на крестины двумя неделями раньше. Саша, скрепя сердце, согласился, хотя обычно он себе такого не позволял – держал субординацию и «невинные»

подарки в виде свинины и свежих яиц тоже никогда не принимал: зарплата полковника пограничной службы хватало. Но к Ивану было особое отношение: он закончил ту же самую Пограничную академию имени Хмельницкого, что и Денис, только несколькими годами раньше. К тому же тогда, в предчувствии войны, так необходимо было ощущение мужского братства – отказать язык не повернулся...

На крестинах местный священник предложил назвать мальчика Александром в честь почетного гостя, чему Иван с женой были очень рады, – оказывается, они и сами того хотели. А может, и шепнули заранее священнику на ушко... Так или иначе, у Майоркиных появился крестник – отец которого в эту минуту прикрывал отход товарищей с позиций: по-другому не было шансов сохранить ни жизнь ребят, ни оружие.

Пока ребята перебегали от деревца к деревцу (какие уж деревья в степных посадках!), Иван, вжимаясь в холодную землю оплывшей канавы, стрелял одиночными, стараясь экономить патроны, которых все-таки не хватило. Нападавшие окружили его кольцом, изрешетили автоматной очередью – вот и нет больше Ивана... Часом позже за пехотным десантом через границу пошли колонны танков. Война началась...

ЖЕНЬКА

Женьку разбудили глухие удары. Ну просто дежавю – как тогда, в Луганске, в четырнадцатом... – и взрывы, вроде, недалеко! Что по новостям? Женька пошарила рукой под подушкой: вот он, мобильник – черт, разрядился! И где эта зарядка для телефона... Как пить дать, Кристина вчера утащила! Она еще спит, да поди, и закрылась – жалко будить ребенка. Но звуки разрывов не прекращались, даже, казалось, приближались...

Женька с сожалением вылезла из-под теплого одеяла – включай теперь свет, чтобы на часы посмотреть, – надо будет вечером дверь спальни закрывать, чтобы бессовестный ребенок не воровал зарядку... Что-то топить плохо стали в последнее время, придется с управдомом поговорить... Она нащупала на стене выключатель. Полпятого... Полпятого? Что же там взрывается?

«Это в аэропорту, – мелькнула догадка, – может, пожар, цистерны с топливом? Надеюсь, до Ирпени не дойдет.»

Перед дверью дочкиной спальни Женька затаила дыхание – слава богу, не заперто! На цыпочках, по стеночке к розетке – вот она, моя светящаяся зарядочка, за диванчиком!

Кристина зашевелилась.

– Мам, это ты? Не даешь поспать!

– Да я на секунду: телефон нужен срочно.

– Сейчас, ночью? Ой, а что это так бухает?

– Вот я и хочу проверить.

– Где мой? – Кристина, окончательно проснувшись, схватила мобильник. Женька вставила свой в зарядку – скорее, скорее, ну засветись скорее! Кристина уже открыла новости, прямо из телефона забабахало... Вот и Женькин телефон ожил и тут же заверещал: Артем из Якутска – он что, с ума сошел? Он же знает, что у нас ночь!

– Мама, война началась! – услышала Женька одновременно от обоих детей.

В испуге Кристина кричала, что нужно сейчас же уезжать, прямо сейчас, не дожидаясь, пока начнут бомбить Ирпень, а то будет то же самое, что в Луганске; Артем по телефону уговаривал спуститься в подвал и не выходить, пока он за ними не приедет. Он в Тикси, на севере Якутии, но он срочно вызовет вертолет... они поймут, война же... А там из Якутска всего шесть часов до Москвы... а там...

– А там из Москвы на военном бомбардировщике, – по инерции пошутила Женька в ответ. Больше ей всё равно ничего не дали сказать: дети продолжали кричать каждый свое. И тут уже звонил их папочка – на ее, кстати, телефон, у них же в Якутске почти полдень, видно, сообщили уже. Надо же, какая честь! – Женька и не знала, что у Алика есть ее номер; думала, только дочкин. Впрочем, он названивал ей в первое время после развода – рассчитывал на прощение: с кем не бывает, месяц без жены – любой пойдет налево... Из-за этого разводиться, ломать всё, кровью и потом построенное, пускать по ветру всё нажитое?... Звонил и ныл, пока Женька не сошлась со Славиком... Славик потом оттяпал половину Женькиного бизнеса и отжал второе кафе. Ну не везет ей с мужиками, что тут делать?! Что делать, что делать?..

ИРПЕНЬ

Женьке этот городок приглянулся сразу. Конечно, она мечтала о Киеве: пить утренний кофе на Крещатике или где-нибудь на Подоле – например, с видом на Андреевскую церковь, где ее любимая «Мадонна» Врубеля. Но это только если жилье снимать, как тысячи беженцев из Луганска. А Женька мечтала о своей собственной квартире. Пусть небольшой. Пусть квартирке... Не под бомбами, в тишине... И это была Ирпень.

На квартиру с видом на реку денег, конечно, не хватило – всё, что Женька вложила в кафе «Заря», пошло прахом: от кафе в Луганске остались одни развалины. Ее счастье, что не потратила мамины деньги: Женька успела продать их старый дом и забрать маму к себе еще до войны 2014-го... И слава богу, что мама не дожила... Как теперь ту войну будут называть? Первая украинская? Наверное, так – ведь вторая началась сегодня...

Снова позвонил Алик. Вот ведь человеку развлечение – сидит, читает новости на компьютере... Он теперь большой чин в колонии под Якутском – ему на плацу, как младшим офицерам, с зэками не стоять...

– Я погорячился: не вздумайте двигаться с места! Вам нужно пересидеть и не высовываться! Воевать с гражданскими никто не будет, но можно попасть под раздачу. Здесь объявили, что это «специальная операция», всего на несколько дней: уничтожают аэродромы и склады оружия, чтобы НАТО не могли ими воспользоваться. Угораздило же тебя поселиться прямо рядом с военным аэродромом! И Кристине скажи, чтобы не высовывалась: есть все-таки опасность провокации – ваши же нацики по своим начнут лупить...

Женька промычала в ответ что-то неразборчивое. Ей не хотелось сейчас ввязываться в спор с бывшим мужем.

Следующий звонок раздался от Софии – хозяйки кофейни в центре Ирпени, где Женька по утрам подрабатывала. Женьке, в прошлом владелице собственного кафе, вставать рано было не в тягость, и запах свежемолотого кофе она любила, так же, как и ранних посетителей... Тем более София ей доплачивала за утренние часы: очень ценила такую самоотверженность. Муж Софии был начальником пожарной бригады в аэропорту Гостомеля и, в полную противоположность шуткам о пожарных, спал очень мало: во-первых, всегда должен быть на службе в семь утра, а во-вторых, его часто вызывали по ночам, и он появлялся дома лишь к завтраку – обнять жену, выпить кофе и снова ехать на аэродром, закинув по дороге старших детей в школу, а малышку в садик.

– Конечно, кофейню открывать не будем сегодня: через пару дней всё уляжется и разберемся. Два мешка зерен должны подвезти в районе полудня. Я подойду, конечно... – Женька пыталась выдерживать деловой тон, хотя самой хотелось кричать: «София, бросай всё и беги! Бери детей и беги, не оглядываясь! Аэродром бомбят, скоро перейдут на Гостомель и на твой дом!» Но единственное, что она смогла выдавить из себя на прощание, было: «Держись...»

Женька с грустью осмотрела свою полубившуюся за восемь лет квартирку, задержалась взглядом на акварели с видом на Днепр сквозь цветущие кроны каштанов, которую когда-то купила на Андреевском спуске, и пошла варить кофе. По дороге открыла клетку с кроликом Кристины и пощекотала пушистого зверька за ушком.

– Держись, – сказала кролику Женька. Судя по всему, держаться скоро придется ей...

ЛЕРА

– Мама, это война! Ты срочно должна лететь к нам!

Лера вздохнула: вот еще один проснулся – в Америке как раз шесть утра. Только что Женька по телефону рассказывала, как ее Артем собирался из Якутска, вернее, прямо из Тикси (практически Арктика!), лететь спасать ее и Кристину.

А теперь Димка на том конце провода просто сходит с ума у себя

в Нью-Йорке. Лера не знала, что ответить сыну. Лететь? Жуляны и Борисполь бомбят. Да и до Киева добраться нужно как-то. Говорят, что дороги уже перекрыты, что расстреливают машины... А самое главное, Юрочка никуда отсюда не поедет: она это точно знала. Военные корреспонденты бегут не от войны, а наоборот – к войне!

А сама Лера? У нее с утра были запланированы две операции – здесь, в Ирпени, и в Бучанской городской, где она приписана. И еще три – завтра в Киеве. Анестезиологов всегда не хватает... В Киев она, конечно, завтра не попадет; из Бучанской позвонили, отменили операцию на сегодня. Но безработица ей не грозит – судя по ситуации, скоро пойдут раненые...

Ее опыт в Луганске 2014-го со счетов не сбросишь. Там у нее в детской больнице несколько палат заняли: кого только ни привозили – и бандитов, и кадровых военных, и новых вождей ЛНР. Детская областная находилась прямо напротив отделения СБУ: таких пациентов ни один врач не откажется принимать, побоится... Будет ли она сейчас лечить русских?

Уже звонила Ксюша, ее медсестра, – она иногда в гостомельском медпункте в аэропорту по ночам дежурила. Там настоящий ад... Несут и везут раненых в убежище – временный медпункт... На руках у Ксюши десантник от ран скончался, когда она его перевязывала – русский десантник, его украинская оборона сняла прямо в воздухе... А если бы жив остался, сколько бы наших положил?

С мужем на эту тему говорить бесполезно. У него ответ философский:

– Человечности не достойны те, в ком нет человечности...

Вон такой он, ее философ Юрочка! А сейчас он на первом этаже диван к внутренней стене передвинул и собачьи миски с подстилками вниз перенес. Подвала у них не было, но стены внутренние, несущие – будь здоров! Юрочка всегда говорил: землетрясение в семь баллов шутя выдержат. Про бомбы старались не думать, а ведь они, луганские, знали – «бункерный» не успокоится. И все говорили, что будет война... Юрик глаза прячет, а она всё равно знает, что он надумал, – сейчас устроит ей безопасный уголок и сбежит... Сбежит туда, куда всегда убегают мужчины, – на войну. Фраза-то какая расхожая, а ведь правда! Ну что ж, она врач – она тоже пойдет на войну.

...Юрику было не по себе. Лера, его Мерилин Монро, как он ее шутя называл, со светлыми локонами и голубыми глазами, была совсем не так проста, как казалось, – впрочем, как и знаменитая американская звезда. Они уже десять лет вместе, а у него всё так же, как в первый день, дух захватывает от ее красоты. И от пронизательности – Юрик не сомневался, что жене точно известно, что он задумал.

Сейчас, когда все бегут из военного поселка – совсем рядом идут бои за аэропорт – проехать в сторону Гостомеля будет гораздо труднее.

Юра может стать первым корреспондентом, который всё увидит воочию: могут получиться очень редкие, практически уникальные кадры. Не каждый день война начинается возле тебя... Тут, если огородами, вообще «два лаптя по карте» – на машине пятнадцать минут или пешком за два часа дотопает. Из Киева вряд ли можно так быстро добраться – да тыловые крысы из центральных изданий и побоятся сюда сунуться. Тем более что в Киеве тоже бомбят – и шоссе, наверно, перекрыли. А Юрика этим не удивишь – он разрывов бомб в Луганске наслушался. И с боевиками живую встретиться довелось – и ведь стреляли, псы, в спину! Если бы не его Мэрилин, не видать бы Юрику белого света. Юрик покосился на жену: по телефону спорит с сыном. Тот уговаривает приехать. Как же, поедет она! Плохо сын свою мать знает...

ГОСТОМЕЛЬ

Лера вцепилась в камеру мужа, которую тот неосторожно повесил на плечо, вместо того чтобы спрятать. А куда спрячешь – велосипед, он существо просвечивающееся...

Женушка дернула камеру так, что Юрику пришлось обе ноги поставить на землю, чтобы велосипед не покатился назад.

– Не тяни, Лерчик! Я же вместе с велосипедом сейчас грохнусь! Фары побью, раму покривлю... Зачем тебе это? Ну вот, руку поцарапала о флажок.

Лера немного ослабила хватку: велосипед – это святое.

Юрик стал преданным фанатом велосипеда после поездки в Амстердам еще в двухтысячном, когда группу журналистов пригласили на конференцию в Голландию. Вернувшись домой, он приобрел велосипед и прицепил на руль подаренный сувенир – миниатюрный металлический флаг Нидерландов. Собственно, конференция проходила в Гааге, при Международном суде ООН.

На семинарах, проведенных специально для русских и украинских журналистов (тогда они еще были вместе), рассказывали, как в одном государстве могут сосуществовать газеты и новостные каналы, выражающие абсолютно противоположные мнения. Как же Юрику тогда хотелось, чтобы так же легко можно было выражать свое мнение у них на Украине – и чтобы эта свобода была не кажущаяся, а настоящая!

Как давно это было... Как много жизней пришлось отдать за эту свободу в 2014-м – а сколько придется отдать сейчас? Что-то не верилось Юрику, что обойдется только бомбардировкой военных объектов... В любом случае, он не упустит своего шанса.

Лера как будто прочла его мысли и потянула камеру еще сильнее:
– Ты куда собрался?

– Да съезжу в Ирпень, в областной совет, поговорю с людьми: если орки сюда придут, нужно объединяться...

– Бомбят, ты не видишь, бомбят!

– Ирпень – не военный объект. И на велосипедиста никто боеприпасы тратить не станет.

– Юрий Мережковский! – Лера перешла на официальный тон. – Вы знаете, что камера – это отягчающее обстоятельство при поимке: обвинят в шпионаже! Уж лучше ехать на машине с логотипом газеты, с которой ты работаешь.

– Не уверен... А по поводу камеры ты, Лерочка, как всегда, права.

Юрик снял с плеча фотоаппарат и отдал жене. Действительно, чего спорить: его последней марки айфон, с приятной тяжестью у сердца во внутреннем кармане куртки, тоже дает очень приличное разрешение. Но этого он своей Мерилин Монро говорить не стал.

Лера обернулась на всполох взрыва на горизонте, и Юрик, как всегда, залюбовался ее профилем с локонами, выбивающимися из-под «дежурной» шапки-ушанки, которую она надевала только в самый мороз – прогулять Цезаря и Мухтара. Страшно было оставлять их всех даже на пару часов. «По дороге позвоню соседу, – решил он, – если что, присмотрит.»

Юрик покатил по улице, не сомневаясь, что Лерка смотрит ему вслед, но на первом же перекрестке повернул за угол и вернулся по другой улице, чтобы попасть на шоссе в направлении, противоположном Ирпени, – на Гостомель...

СОБАКИ

Время тянулось медленно. Просто так ждать у Леры не было сил. Новости сводили с ума, но оторваться от телевизора было невозможно. Нужно что-то делать – но что? Сбегать купить еще продуктов? Кладовая и так забита: Юрик, как и все журналисты – более осведомленные и информированные, чем остальное население, – знал, что война будет. Не верил до последней минуты, но знал и подготовился соответственно. Так что продуктов у них хватит на год блокады или на месяц бегства... Чем же себя занять – может, убраться? Пропылесосить? Вот уж бесполезное занятие – вдруг бомба? Даже если рядом разорвется – стекла полетят, стены порушатся... Вот пылицы-то будет!

Лера слонялась по комнатам, преследуемая картинами разрушенных зданий в Луганске, – неужели с этим домом случится то же самое? Собакам передалось ее волнение: они не лежали, как обычно, на подстилке, наблюдая за ее перемещениями, а бродили из угла в угол вслед за Лерой.

Собаки! Точно – вот кем нужно заняться! Они с Юриком в этом сумасшествии ожидания войны совсем их запустили... Срочно испугать – вдруг не будет воды! – и когти обрезать, чтобы не царапались, если придется в случае бомбежки всем вместе лезть под кровать. У

стены стояла старая, их первая двухспалка из натурального дерева, сделанная на заказ, – раритет и ностальгия...

Для Леры, не имевшей своих детей, собаки стали словно детьми Юрика, а она – как бы их приемной мамой. Хотя Лере – врачу не только по образованию, но и по зову сердца, – люди были намного ближе, и в волнениях и заботах о пациентах она, видимо, исчерпала внутренний запас привязанности к живым существам как таковым. Но Юрик обожал собак, поэтому любовь к мужу она перенесла и на его питомцев. Сейчас Лера была благодарна им хотя бы за то, что они ненадолго отвлекали ее от бесконечной череды мрачных новостей.

...Лера заканчивала расчесывать поскуливающего Мухтара. Цезарь, менее чувствительный к гигиеническим процедурам, поедал свой законный дополнительный паек, заработанный мужественным, без единого писка, купанием. Раздался звонок. Юрик?! Лера кинулась к мобильному телефону, который положила на кровать, чтобы не забрызгать, и чуть не поскользнулась на кафельном полу, где страдающий Мухтар, бесконечно отряхиваясь от ненавистной воды, оставил лужу. «Еще не хватало упасть и что-нибудь сломать!» – чертыхнулась про себя Лера и схватила телефон.

Звонила Ксюша:

– Нужны бинты, спирт, йод, антибиотики и снова спирт! Мы уже выехали в Гостомель, нас чудом выпустили из аэропорта, да – там русские... Одни пропустили, а другие обстреляли – чудом проскочили, водителю по косой пуля щеку зацепила. В основном все легкораненые; я наложила две шины – шкафчик тут на доски разобрали. Но один наш десантник с пулей в животе, у второго ранение в грудь: пуля внутри застряла. Я знаю, что вы анестезиолог – но всё равно больше хирург, чем я! Я позвоню по Вотсапу – сможете мне показать, где резать? Тут еще пара гражданских есть, очень тяжелых... И русских два... тоже плохих. А один умер... Володя мой сейчас сюда едет, он к вам заскочит – сможете собрать, что есть? Бинты и спирт – это главное! Может, простыни есть – тоже пойдут. Мы тут у местных собираем и телефон аптекарши нашли – обещала приехать открыть. Нет, поселок не бомбят – это же не стратегический объект!

РЕНАТА

Ренате не верилось, что это происходит с ней. С ней? С самым предусмотрительным, организованным и хладнокровным человеком на свете? Да, был Луганск. Да, это они пятьдесят дней сидели в квартире под обстрелами, а по ночам развозили продукты и воду друзьям и своим работникам – тем, кому повезло меньше, как говорят в Америке. Но потом ведь была та же Америка, и Испания, и Германия, и Израиль – где только они не побывали, современные люди в современном мире... А сейчас, в Киеве, когда она уже третью неделю после

родов не может прийти в себя, рядом с ней поставили кроватку с малышом: услышишь сирену – хватай и беги в подвал. Хватай и беги – легко сказать!

Рената, еле передвигая ноги, спускается по узким бетонным ступенькам с ребенком на руках, а за ней две медсестры несут подставку для зонда: Максик недоношенный, крошечный комоч, сам есть не может, всё через зонд. И капельницу ставят... Сирена! Опять сирена! Взрывы слышны очень близко...

В подвале Рената, в пальто поверх больничного халата, сидит на шатком стуле с Максимом на руках – у него иголка в вене, медсестра подсоединяет инфузию.

Другая роженица в шубе сидит прямо на полу, подложив под себя целлофановый пакет, и кормит крошку, завернутую в розовое одеяло – девочка... Холод такой, что зуб на зуб не попадает... Врач помогает спуститься новородившей – у той на ноге подсыхает красный ручеек... Рената вообще две недели после родов встать не могла. Следом по лестнице два мужика – завхоз Ромочка и парень из теробороны – волокут железную кровать. Парень увидел пятно крови на ступеньке, побелел и прислонился к перилам. Завхоз засмеялся:

– О, ты здесь еще не такое увидишь. Думаешь, тебя мамка подругому рожала? Мы все так в этот мир приходим – с кровью...

«И уходим тоже», – подумала Рената, а вслух пошутила:

– Его аист, наверное, принес: смотри, какой белый...

Она-то уже имела опыт бомбежек и сирен еще в Луганске и знала точно: лучшее лекарство от страха – это шутка. Невозможно поверить, но они, наверное, никогда так много с мужем не смеялись, как в тот проклятый 2014 год...

Опять сирена! И звуки разрывов – где-то недалеко. В Киеве хоть сирены есть, а вот в Ирпении, например, где Женька с дочкой, или в Ворзеле, где ребята живут – там могут не успеть даже в подвал спуститься... Пока что бомбят аэродром, но Рената уверена, что это только начало. Позвонила Лера – о собаках своих беспокоится... У Ренаты тут младенец недоношенный на руках, а она о собаках...

А Женька, та вообще с ума сошла: кричит в трубку как резаная: Павлика, Павлика заведи! Их сказали срочно забрать – всех домой срочно! – в кадетском нет, что ли, транспорта вывезти детей? А как Рената Павлика заберет, если она к этой стойке с инфузией и Максимом привязана? И сама еле ходит, первородка старородящая – это ей так в больничном файле написали и еще на браслет прихлопнули наклейку.

И Леня – Леонид, то бишь, – в Молдавии. Как она шестого февраля родила, так он назавтра и уехал: срочный заказ. Директор роддома ему лично клялась Максима выводить и сдать в руки с весом в три килограмма. Он ведь им тоже резиновые трубочки поставлял, не

только в танковую промышленность... Вот он звонит уже двадцатый раз сегодня, хочет приехать, а Рената ему двадцатый раз говорит: не надо приезжать, потом не выедешь, указ президента – мужчин не выпускают за границу.

ПАВЛО

Павло решил передохнуть и не отвечать на телефон, но тетя Женья начала слать сообщения: Павлик то, Павлик сё... Во-первых, он уже давно не Павлик, сколько раз просил! Во-вторых, он и сам может разобраться, что к чему. В-третьих, он не ссыкун, как его дружки, – от одной сирены в штаны наделали... Он-то слышал, как бомбы и мины летят, и видел, как самолеты многоэтажки расстреливали в Луганске. Его собственный, например. И видел, как дом распался на куски, как люди падали, – его мама, наконец. Павлик, конечно, в глубине души верил, что она найдется когда-нибудь, но в этом он и сам себе не признавался...

А вот СМС от Ренаты. Она, оказывается, до сих пор в роддоме: у малыша не получается молоко сосать. Ну почему он все новости узнает последним?

Давно прошли времена, когда Павлик не любил Ренату и чурался ее, и даже тетей не называл, но так и привык: Рената, Рената... Даже стыдно вспоминать, как кричал, вцепившись в ногу тети Жени, когда понял, что Рената и Леонид Маркович хотят его усыновить. Рената тогда пришла к тете Жене в черном костюме, точно как директор школы, и всё время поглядывала на него из-за огромных, как у черепахи Тортиллы, очков, и у Павлика всё внутри дрожало от страха. А Леонид Маркович пытался сунуть Павлику конфету «Гулливер» – такую, как приносил папа еще до того, как попал в луганские подвалы... Где Леонид Маркович взял эту луганскую конфету в Киеве, понять было невозможно; только потом Павлик узнал, что бывал Леонид Маркович в Луганске часто: ведь там остался его завод, который делал всякие разноцветные трубочки – с ними Павлик любил играть. Такие же разноцветные трубочки Рената и Леонид Маркович возили в Израиль и даже Павлика с собой один раз взяли.

Именно в Израиле Павлик, который к тому времени уже не разрешал называть себя никак, кроме как Павло, – именно там, в Израиле, он решил, что пойдет в кадетский корпус, а потом в военную академию и будет защищать Украину.

Племянницы Ренаты, близнецы Майя и Дана, пришли на выходные после тиронута* – важные, в форме с беретами, похожие, как две капли воды, и у каждой наперевес автомат. Павлик, то бишь Павло, от

* Тиронут – курс молодого бойца в Израиле, обучение новобранцев Армии обороны Израиля.

зависти чуть не задохнулся. А потом Леонид Маркович с Ренатой позвали его в комнату для серьезного разговора и сказали, что у Ренаты будет ребенок, хоть она уже не такая молодая, что в Израиле им с этим помогли и что это стоило много денег, но это не главное, а главное, что будет сын. И сын этот будет Павлику как брат, и что все оставшиеся деньги и квартиру, и завод разноцветных трубочек они разделят между Павликом и этим новым ребенком, потому что тетя Женя, хоть и официальный опекун, но у нее ничего нет после того, как ее кафе в Луганске разбомбили.

И вот тогда-то Павло дал себе слово защищать и Украину, и этого пацана, своего будущего брата, ну и тетю Женю заодно, у которой никого нет, кроме него, Кристины и сына Артема где-то в Якутии, которого он видел всего-то пару раз.

И вот он – кадет, практически, можно считать, военный, но никто не собирается давать ему в руки автомат. А в это время проклятые «рашисты» бомбят и Ренату, и киевский роддом, полный малышей, и тетю Милану с дядей Сашей, который воюет на луганской границе, и военный аэродром в Гостомеле – это же рядом с Ирпенью, где тетя Женя с Кристиной, и с Ворзелем, где тетя Лера.

Все они – его семья, и кому же он может помочь прежде всего? Конечно, Ренате: роддом недалеко, всего минут десять на такси.

– Еду к Ренате, – написал Павло тете Жене и достал из кошелька купюры – неприкосновенный запас, которым его обеспечил заботливый Леонид Маркович.

Но уехать не удалось. Командир практически схватил Павлика за руку и втащил обратно в здание.

– Да, сказали разъезжаться домой, но с родителями, с родителями-ми! Ты хочешь меня под суд подвести? Как я отпущу тебя одного, да еще если бомбят! Какое такси – весь центр закрыт! Говорят, обнаружили диверсантов! И десантники русские высадились... Сейчас я тебя отпущу, как же! Вот Саша Зайченко, на год младше тебя – его родители сейчас забирают домой в Ирпень. У тебя же там вроде тетя?

– И в Ирпени, и рядом – в Ворзеле...

– Вот и отлично, – командир посмотрел на телефон, – они уже подъехали: пошли, передам из рук в руки... Ирпень, конечно, недалеко от аэропорта, но думаю, туда бомбежки не дойдут, не военный объект...

КИЕВ

С шести лет Павло уже привык, что планы могут поменяться молниеносно и что от него это никак не зависит. Именно поэтому он станет идеальным военным, способным адаптироваться к любым обстоятельствам... Даже если они будут не в его пользу...

На заднем сидении «Тойоты», тесном от кадетских пожиток, Павло, будучи невольным свидетелем семейного раздора родителей

Зайченко, недоумевал: зачем спорить о том, что уже случилось? Видимо, негативная динамика семейных отношений прошла мимо него, так как в шесть лет Павлик стал сиротой. А все его тети Леры и Ренаты никогда не попрекали мужей – и тем более обстоятельства... Наверное, потому, что все были из Луганска, все нахлебались войны и видели такое, что этим необстрелянным киевлянам и не снилось.

– Зачем мы ее оставили? – нервно вопрошала мама Зайченко, молодая женщина со старомодным именем Жанна.

– Затем, что четырехлетнего ребенка не берут под бомбы, – резонно отвечал Зайченко-папа.

– А если, пока мы вернемся, бомбы начнут падать в Ирпени?

– Во-первых, это не военный объект; во-вторых, мы дали маме инструкцию: если что, спускаться в подвал; как ты помнишь, я туда деревянную кровать перетащил.

– Если бы мы забрали Майечку, могли бы сразу поехать к моей тетке в Полтаву. Там точно бомбить не будут.

– А маму и собак куда прикажешь девать?

– Вот их как раз в подвал, – не сдавалась Жанна.

– Ну хорошо – мама моя, но собаки – твои!

– Ладно, – при упоминании о собаках Жанна смирилась, – спорить смысла нет, мы уже возвращаемся.

Она нашла в телефоне фотографии собак, двух здоровых мастиффов, и Майечки в разных платьицах и передала назад Павлику посмотреть. Сашка Зайченко безмятежно спал, запрокинув голову назад, а Павло листал чужие фотки, хвалил и считал минуты до того, когда это неприятное путешествие закончится. Огорчало, что вместо обычного часа они добирались уже три с половиной – их машину то и дело разворачивали: где дороги перекрыты, где приличный кусок шоссе разворотило бомбой – зрелище, как в фильмах про Апокалипсис, где-то – прорыв русских войск.

Наконец-то подъехали к Ирпени, и тут Павло заволновался, как волновался каждый раз, когда ехал к тете Жене, потому что там была Кристина. «Бабочки в животе» – выражение, конечно, для девочек, из диснеевской сказки, но честно говоря, когда Павло видел Кристину, у него в животе трепетали бабочки. Ну и что, что ей девятнадцать, а ему еще пятнадцати нет? Во-первых, скоро будет, а во-вторых, это не так важно в наше время. Тем более в кадетской форме он выглядит намного старше, года на полтора минимум...

ВОРЗЕЛЬ

Неожиданный звонок Ксюши привел Леру в чувство. Она сама поедет в Гостомель, она – врач. Если будет возможность, Юрочка потом за ней приедет. Он, конечно, ее с ума сводит, когда не отвечает на сообщения, но это с ним случается... Особенно, когда он фотогра-

фирует. Слава богу, камеру не взял, но наверняка не преминет воспользоваться айфоном.

Пришло сообщение от Ксюши: Володя будет через двадцать минут. Лера понеслась собирать перевязочные материалы, простыни, да и кухонные белые полотенца из хлопка могут пригодиться. Йод, зеленка и бутылка абсента «Ван Гог», которую Юрочка привез из заграничной поездки. Пить его невозможно: семьдесят градусов – практически спирт, а для дезинфекции пойдет. Бутылку водки тоже не мешаает прихватить: ничего, что начатая...

Стоп! Лера вдруг сообразила, что собак нельзя оставить. Если бомбить начнут, они точно запаникуют. Это они только выглядят устрашающе, а на самом деле пугливые, как дети. У соседа Шурика была собака той же породы – кане-корсо. Они даже тренировали их иногда вместе. Лера отправила сообщение Володе, чтобы ждал, сама подхватила миски, мешок с кормом, собак на поводках и понеслась к соседу огородами. Шурик, когда Лера вручила ему двух собак в придачу к своей, не очень-то обрадовался:

– Я тут в тероборону, наверное, пойду: не нравится мне, что у нас творится... Куда я с тремя собаками? Жена с дочками к матери в Полтаву уехали.

– Да я ненадолго! Там, в Гостомеле, раненые украинские десантники!

– Ладно, если что, я их всех к куме в Бучу отвезу – у нее там питомник, вы же там своих брали? Название еще итальянское...

– Нет, мы своих в Ирпени брали, да неважно. Пришли, если что, адрес и телефон. Я думаю, Юрик скоро приедет, заберет: я ему сообщение оставила...

Уходя, Лера оглянулись. Цезарь и Мухтар стояли, опустив хвосты, и казалось, что на мордах у них такая тоска, как будто они расставались навсегда.

– Я скоро вернусь, – успокоила собак Лера, – всё будет хорошо.

Первое, что услышала Лера, когда открыла дверь микроавтобуса – это звуки взрывов. Вздвогнув, она сообразила, что звуки раздаются из Володиного телефона. Володя повернул к ней растерянное лицо:

– Смотрите, Лера Васильевна, Ксюша послала: уже не аэропорт, прямо Гостомель начали обстреливать! Там же люди – женщины, дети...

Лера поставила сумки с медикаментами за сиденье, села рядом с Володей и похлопала его по плечу:

– Поехали скорей: там раненые, Ксюша одна не справится. Может быть, сможем быстрее эвакуировать...

– Откуда, Лера Васильевна, вы такая смелая – неужели не страшно?

– За одного битого двух небитых дают, Володечка. Мы, луганские, стреляные воробьи...

Володя несся по трассе с непопозволенной скоростью. Навстречу ехали машины, забитые вещами и людьми, но не так много, как следовало ожидать. Видимо, люди до сих пор надеялись, что всё обойдется. Проехали Бучу – дороги пустые, в обычно людном парке – ни души, разрывы со стороны аэропорта всё ближе и ближе. Впереди, у поворота в Гостомель, стоял блокпост с вооруженными людьми.

– Тормози, тормози! – вдруг воскликнула Лера и заставила Володю остановиться.

– Лера Васильевна, здесь нельзя! Нас уже увидели: или разворачиваемся и тикаем, или едем к ним, желательно с белым флагом – доставайте свои простыни.

Лера открыла дверцу машины и выскочила на обочину. У фонарного столба стоял велосипед. Что-то блеснуло на руле в лучах скупого февральского солнца, и Лера уже знала, что это не зеркало. На негнущихся ногах она приблизилась к велосипеду. На руле был треугольный флажок Нидерландов, о который она сегодня утром поцарапала руку.

АРТЕМ

Скоро слово сказывается, да не скоро дело делается... Прямых полетов в Украину нет уже давно, со времен АТО, а сегодня еще и Борисполь разбомбили – придется добираться через Польшу, а оттуда поездом. Лететь в Минск было бы, конечно, легче, но на чем оттуда доехать до Киева – верхом на русских танках?

Как Артем ни бился, купить онлайн билет из Москвы в Краков или Варшаву не получилось. Во-первых, в Тикси барахлил интернет, во-вторых, на какое-то время обрушился сайт польских авиалиний, в-третьих, у него просто не было времени. Тут хоть бы в Москву добраться... Семен Владимирович не разрешил оставлять станцию на выходные, а сам мог сменить Артема только в понедельник.

– Я не виноват, что Путин решил начать в войну с Украиной в четверг! – кричал в трубку Артем. – Я не виноват, что его самолеты бомбят в семи километрах от Ирпени! Я должен вывезти маму и сестру! У них даже машины нет!

– Успокойся, Артем, – голос у Семена Владимировича стал бархатным и вкрадчивым: таким голосом он обычно говорил с министром природных ресурсов и экологии РФ, – это очень точечная военная операция. Никто не будет бомбить мирных жителей, разве что сами украинские нацисты. Это операция по спасению, а не по уничтожению.

Артем задохнулся от возмущения, но сосчитал до десяти и попытался тоже придать голосу бархатистости, но с определенным процентом жесткости.

– Семен Владимирович, вы же знаете, что я из Луганска: я точно знаю, о каком спасении мы с вами говорим. Это война, и я еду вызволять своих близких.

– Артем Александрович, – руководитель НИИ перешел на официальный тон. – Вы вправе принимать решения, касающиеся вашей семьи, так как мы живем в демократической стране. Мы же вправе принимать решения по поводу вашей карьеры. Но я не думаю, что ваши действия совместимы с научными целями нашего института...

– Карьера? – Артем не мог найти слов.

Восемь лет – учеба в университете, аспирантура, работа над докторской, – всё это пойдет насмарку. Научная работа в определенных областях исследований, таких, как сейсмология, иногда держится всего на нескольких людях, и если тебе, не дай бог, доведется испортить с ними отношения – забудь о науке...

Для сейсмологического отделения Российской Академии наук Якутия была уникальной территорией. Незаселенная, до пятисот землетрясений в год – почти все шесть баллов или выше, несколько научных станций – в Тикси на севере, в Якутске в центре, в Усть-Нере на востоке, в Чулмане на юге. Золотая жила для сейсмолога... Недаром же Артем просидел здесь, на краю земли, столько лет, домой почти не ездил...

Артем быстро собрал рюкзак, на всякий случай обесточил станцию. Хорошо иметь друзей. Он всегда привозил вертолетчикам какую-нибудь диковинную бутылку виски из Москвы. Друзья-пилоты были частыми гостями на станции – не коротать же одному долгие полярные вечера. А вот теперь никто, кроме них, не поможет: как он еще доберется до Якутска, на собаках? Стоило только позвонить – и они тут как тут. Услышав шум пропеллера, Артём запер дверь станции и, пригнувшись и прикрывая лицо перчаткой, побежал к вертолетной площадке. Да, в феврале тут, на севере Якутии, прогулочным шагом не пойдешь. Николаеву он позвонит уже из вертолета...

Николаев, замечательный якутский товарищ, партнер по охоте и капитан команды по биатлону, присмотрит три дня за станцией, ключи у него есть – да кому она нужна, в принципе, там и компьютера-то нормального нет... Разве что медведь забредет, так Артем даже консервы в холодильник сложил.

Да! Еще Галочке нужно сказать – ведь не простит потом, что не попрощался. Артем посмотрел на часы – она еще успеет в аэропорт приехать, если он сейчас ей такси вызовет.

Аэропорт порадовал новой инсталляцией – коричневые полотна на фоне синего витража, видимо, изображающие Ленские столбы, стильными кафе с забавными названиями «Полчаса до рейса» и «Чемоданное настроение» и минималистичным дизайном: изящные стулья из пластика и люстры в виде пропеллеров, вращающиеся в разные стороны. Что значит близость к Москве! Это не игра слов: столица поставляет Якутску художников, дизайнеров, актеров и даже парикмахеров. Шесть часов прямого полета – и вперед, покоряй

новый мир! Артёма ни в Луганске, ни в Киеве так стильно не стригли, как здесь, в самом холодном городе мира – и надо же, Галочка оказалась этим самым парикмахером.

...Галочка добралась до аэропорта почти одновременно с Артемом, бросилась на шею со счастливой улыбкой – не ожидала так скоро увидиться: до конца экспедиции по расписанию еще три месяца. В оленьих унтах и песцовой шубке она, казалось, спрыгнула с новогодней открытки. Якутского в ней было всего четверть: мать – сахалярка, а сахалярки часто такие красивые, что могли бы дать фору любой топ-модели из Гонконга.

Галочка, конечно, расстроилась, что Артем улетает; по ее мнению, смысла в том никакого не было – ничего с его мамой и сестрой не случится. Когда она, как под копирку, повторила слова его начальника про спецоперацию, Артем даже не сообразил, что ответить. Он вдруг понял, что они с Галочкой говорили о чем угодно – о новых веяниях в digital art, о фильмах на последнем Каннском фестивале и даже о книгах Пелевина – только не о *политике*, как брезгливо выговаривала она это слово, смешно морща при этом носик.

Галочка закончила Московский художественно-педагогический колледж технологий и дизайна (всегда с гордостью выговаривала это название целиком) по специальности «парикмахерское искусство», выиграла два международных конкурса, потом вернулась в родной Якутск, чтобы открыть собственный салон, – благо папа, заместитель мэра города, помог с помещением и, наверное, с деньгами.

Артем почувствовал, что не в состоянии ничего объяснять и доказывать, говорить Галочке о том, что российские самолеты рано утром начали бомбить одновременно Киев, Одессу и Харьков, – и соврал, что уже начинается посадка на рейс; выдержал жаркие объятия, щекотавший лицо мех шубы и долгий прощальный поцелуй. В нем словно всё окаменело.

На самом деле билет Артему удалось взять только на утренний рейс, и то лишь благодаря его брони от Якутского отделения Академии наук. Ну что ж, придется коротать ночь в аэропорту... Звонить отцу в Якутск даже не стал, боялся опять услышать бред о спасении великого отечества... Отпишется уже с Украины.

Часть 2. 25 февраля – 5 марта 2022 года

НАШЕСТВИЕ

Сашка иногда задумывался – есть ли у него *это*? То есть, по определению, это есть у каждого, ну тогда такой вопрос: заниженное у него это или нет? Да, он отказался от карьеры в Харькове, чтобы не оставлять Миланку, Дениса, отряд. Да и сейчас Сашку абсолютно не волнуют лычки, не интересуется, назовут ли его героем, наградят ли за

удачную операцию. Его волнует жизнь и благополучие его ребят... Некоторые из них даже старше его, ведь на пограничную службу срочники не идут – были бы знания, образование, опыт... Но неважно, старше они или моложе – он отвечает за них, только он.

Вот когда Сашка пожалел, что Денис не служит в его отряде. Черт с ней, с субординацией! В конце концов, они – контрактники... Он не прятал бы сына, но берег бы наравне с другими. Ему даже страшно подумать, что творится сейчас в Ахтырке, где Денис. Кто знает, какой уровень эго у его командиров?

Наконец-то сообщение от сына: «Папа, ты как? Отходите, не ввязывайтесь, ждите подкрепления! Мы отработываем цели. Тероборона поддерживает». Сашка подсчитывал потери... Стало очевидно, что установка новоявленных завоевателей – стрелять на поражение, пленных не брать. И как-то подло они это делают, не по-людски. У того же Ивана, отца его крестника, который прикрывал остальных, орки забрали телефон, заставили разблокировать, добились лежачего, а потом нашли номер жены и позвонили, чтобы забрала труп. Поглумились над человеческим горем – сами же вроде солдаты... Да, его мелочавнам сейчас очень тяжело. Особенно тем, кто был в группе с Иваном.

Сашка приказал отступить к Беловодску и ждать подкрепления. А теперь вот сообщение от Миланки:

– Сашок, позвони маме: Ромы больше нет...

Ромки?! Ромки больше нет?

Роман, старший брат Сашки, служил в харьковском погранотряде. Жена у него из Ольшан. Да, такая вот у них пограничная семья – все Майоркины жили на границах Украины и ее же охраняли. Рома по долгу службы знал больше, чем Сашка, и предупреждал, звонил чуть ли не каждый день:

– Скоро начнется, отправляй жену подальше, забери Дениса к себе, будь в полной боевой готовности!

Только вчера не позвонил...

Роман Майоркин со своими ребятами патрулировал в Купянске – пограничники помогали полиции поддерживать спокойствие в городе: враг близко. Внимание привлекла черная «акула»* без номеров и с тонировкой: остановили на проверку. Роман как старший по званию подошел и попросил документы. Из машины крепкие ребята в балаклавах расстреляли Ромку в упор, одной автоматной очередью, в лицо. Остальные патрульные успели заскочить в свою машину и дать по газам, оставив на асфальте безжизненное тело...

Почему они не открыли ответный огонь? Не были готовы к нападению? Еще не выработался рефлекс? Не ожидали, что так просто и нагло можно расстрелять человека?.. «И сколько же нужно времени,

* «Акула» – просторечие; название автомобиля Mercedes-Benz CLS Asma Shark.

чтобы научиться стрелять первым? – спрашивал себя Сашка. – Стрелять в лицо врагу?» А сколько нужно, чтобы собрать все небольшие разрозненные подразделения в мощную силу? Меловские ушли в Старобельск, Троицкие – в Сватово, потом пришло указание из Лисичанска идти на Лиман, а оттуда все – на Днепр... А утром 25-го февраля колонной из Днепра – в Донецкую область, теперь уже готовые защищать Кременное и Рубежное. Ничего себе путешествие «вокруг света» за одну ночь – и опять вернулись в Донбасс!

Что остается делать пограничнику, когда границы стерты полчищем врагов? Сашка и его товарищи стали разведкой – глазами и ушами ВСУ. Помогали умелая маскировка и секретные посты вдоль главных дорог. В хаосе первых дней войны самое важное – это информация: какая техника, в каком количестве, в каком направлении движется колонна? Жутко, когда идут артиллерийские дуэли. Весело, когда начинается бой и они сражаются плечом к плечу с ВСУ. Смешно, когда им ставят какую-нибудь идиотскую разведывательную задачу типа встать там-то и там-то, подсчитать количество, записать номер танка – и тогда можно стрелять. Но война расставила все точки над «и» – сейчас не до обид и, опять же, не до эго.

Сашке и всему луганскому отряду повезло, что они остались в живых в первые дни вторжения, когда даже Главный штаб не знал, что делать, и когда они еще не умели стрелять врагу в лицо...

ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

От дома до зоомагазина в центре Ирпени было два квартала. Если пешком неторопливо – то двадцать минут, если бегом – пятнадцать. А Кристине с Павликом и десяти минут вполне достаточно. Слава богу, мобильники оповещают о тревоге минут за пятнадцать-двадцать до взрыва: ракеты летят издалека, иногда с Каспийского моря...

Было страшно отпускать детей одних, и каждый раз Женьке приходилось свой страх пересиливать. На Кристине держалось всё живое население ирпеньского зоомагазина. Кристина работала там уже год, и ее походку и веселый голос знали все обитатели этого чудесного пространства. Тридцать аквариумов редких рыб, тридцать клеток тропических птиц, морские свинки, ласки, белки, диковинные ящерицы и много еще чего! В этот экзотический рай приезжали даже из Киева: ну где еще, скажите на милость, можно купить кузнечиков для любимой игуаны? О котятах и щенках и говорить нечего! Кстати, по инициативе Кристины в магазине появился «Уголок кормления и общения», где можно было угостить белочку или хорька купленным тут же кормом, потискать щенка или котенка. Продажи увеличились вдвое, а Кристина получила премию и купила новый китайский «Huawei». Теперь он ей очень пригодился, потому что приложение «Воздушная тревога» невозможно было поставить на ее старый кнопочный...

В зоомагазине был и подвал – Женька даже подумывала, не стоит ли им всем туда переехать, но потом решила, что не выдержит запаха зверья и разноголосого шума. И на корм для рыбок у нее аллергия. Но и в их довольно новой многоэтажке было не лучше – подвал не оборудован, и управдом предложил бегать по тревоге в недостроенный парковочный гараж с бетонированным подвалом. Там им выдали деревянные поддоны, на которых в магазинах перевозят товар, – и устраивайся как хочешь! Февральский холод пробирал до костей, сквозняки свистели вокруг, одеяла не спасали, для обогревателей не было электричества – этот февраль выдался поистине лютым*.

Женька, конечно, видела, что назревает роман: Павлик не сводил глаз с Кристины и выполнял все ее прихоти. Война стерла разницу в возрасте – Павлик стал единственным мужчиной в семье. Они с Кристиной ухаживали за животными в магазине, будто за своими детьми.

Скоро в Ирпении начались сильные обстрелы. Когда первая ракета попала в многоэтажку – все бегали смотреть на выгоревшую квартиру. Жильцы плакали над завернутыми в пластиковые мешки телами, которые выносили спасатели, и ужасались увечьям от осколков – тогда же у Женьки возникло предчувствие, что опять придется уезжать. В памяти всплыли картины ее разбомбленного кафе в Луганске: осколки зеркал в Розовом зале и воронка от попадания снаряда в Голубом... Счастье, что Павлик, которого занесло тогда в «Зарю» за клубничным мороженым, остался жив благодаря тому, что в темноте провалился в подвал.

Женька закашлялась и потянулась за стаканом с водой. Третья подряд ночь в бетонном аду продуваемого ветрами и замороженно-го насквозь подвала парковки принесла удушающий кашель и температуру под сорок – сказался перенесенный на ногах ковид, подхваченный пару недель назад в Киеве, когда Женька ездила в роддом проведать Ренату. Пара недель сейчас казалась вечностью, а Киев дальше, чем Австралия.

Когда же позвонила Лера, которую каким-то чертом занесло в Бучу, и сказала, что город заняли и больницу отдают под госпиталь для русских солдат и что около каждого двора стоят танки и бронетранспортеры, а людей выгоняют из собственных домов и недовольных расстреливают, Женька поняла: пора уезжать из Ирпении!

Но Кристина и слышать не хотела о том, чтобы оставить животных – они от нее зависели.

– Кристина – мы все зависим от тебя. Выбирай: или мы, или звери, – попыталась поставить ультиматум Женька. – Я не могу больше бегать в этот гараж – меня даже норковая шуба не греет!

– Надо продать шубу и заказать такси, – засмеялась Кристина.

* Лютый – февраль (укр.)

– Да, без норковой шубы в Ирпени нынче не прожить, – не удержался Павлик.

– Во-первых, зиму никто не отменял, – возразила Женька. – Начало марта еще не весна, так что шуба и нам пригодится. Во-вторых, в чате нашего дома пишут, что пустили эвакуационные поезда и намечается зеленый коридор через мост: договорились с русскими. Кристина, ты меня слышишь? Денег на такси у нас нет, в поезд нас с твоими зверями не возьмут... – Женька вглядывалась в телефон, пытаясь разобраться с расписанием.

– Подожди, подожди! Павлик, ты знаешь такого Александра Зайченко? Он наш, ирпенский.

– Тетя Женя, ну откуда я могу знать Александра Зайченко, я же в Киеве последние три года учился!

– Просто он тоже в кадетском – только на первом курсе.

– Первый курс? Да мы с этими зеленками на одном квадратном километре рядом не стоим. А что?

– Помните, вчера было попадание в центре и говорили, целая семья погибла? Вот тут объявление: «Выражаем глубокое соболезнование бывшей заведующей областной больницы Марии Семеновне Зайченко в гибели ее сына Владимира, невестки Жанны и внуков: студента первого курса киевского кадетского училища Александра Зайченко и Майи Зайченко, четырех лет, – от ракеты ‘рашистов’ вчера, пятого марта 2022 года. Панихида состоится в здании областной больницы, в подвале...»

– Теперь я понял! Жанна и Саша Зайченко! Конечно, знаю! Они... – у Павлика перехватило горло, – они же меня везли из Киева. Жанна, его мама, еще повторяла: «Почему, ну почему мы ее не взяли?» Это она про девочку... – По щекам предательски потекли слезы, и Павлик покраснел от стыда: ну вот, расплакался перед Кристиной, как маленький.

Больше всего Павлику было жалко эту Майечку, которую он никогда не видел... Он заморгал и отвернулся, чтобы вытереть слезы рукавом, но Кристина подошла и крепко-крепко обняла Павлика. «Конечно, это просто жалость», – подумал он, но вырваться не стал: может, за эти пару секунд глаза подсохнут.

«Ты веруй, но не ожидай» – эта фраза из какого-то шлягера всплыла в голове у Павлика. С тем, что Кристина упрямо называла его Павликом, он уже смирился. Не заходит им, его родным, украинское имя Павло – и не надо. Он всё равно так запишет себя в паспорте. И пусть песни в голове крутятся на русском – некоторые альбомы любимых певцов даже в интернете тяжело найти бесплатно. А теперь мы их судим не по песням, а по отношению к войне... И по языку... Оказалось, что с песнями на русском и на украинском «не всё так однозначно»... Но эту чушь пусть муссируют в блогах и в ТикТоке те, кто боится идти

в военкомат... С войной у Павлика было всё однозначно: он-то готов в любую минуту, только бы вырасти поскорее, чтобы взяли.

С одной стороны, ему всего пятнадцать, а берут с восемнадцати. С другой стороны, не может же он желать, чтобы эта война длилась так долго. Вон на YouTube он вчера одного русского блогера слушал... Говорит, за три дня Киев возьмем и война закончится. Дудки ему – три дня прошло, а Киев стоит, и Сумы, где Денис в погранцах, и Северодонецк, где Милана и дядя Саша. И Ирпень они так просто не отдадут: Павлик видел вчера, как работяги бетонными блоками улицы перегораживали и как сварщики сваривали в противотанковые ежи порезанные куски металлических рельсов. Резали и тут же варили. Чтобы русские танки не прошли... И кстати, они с Кристиной по дороге в магазин пробежали мимо целой команды детей, женщин и подростков, которые солярку в бутылки разливали – коктейли Молотова готовили. Он еще тогда Кристине сказал: «Как закончим кормежку животных – вернемся им помогать». Где это видано – дети к обороне готовятся, а они с Кристиной в подвале будут отсиживаться?

С войной всё понятно, а вот с любовью – нет. Кристина, сестричка, как она себя называла, конечно, не была ему родной, как и все его тети и дяди. Они все вместе практически усыновили Павлика, когда нашли его в развалинах кафе. Так что с вопросами родства у них с Кристиной всё в порядке – они не одной крови. С возрастом, конечно, сложнее, но война за пару дней расставила всё по местам. Во время войны старше тот, кто сильнее, выносливее, кто не боится ни снарядов, ни грязной работы, ни холода, ни голода, – это он, Павло, и есть. Ну, про голод – это он для красного словца сказал: голод ему выносить сложно. Хорошо, они с тетей Женей в первый же день войны, когда он из училища приехал, пошли и продуктов закупили на несколько тысяч гривен. Теперь мешки с гречкой, с картошкой, с рисом в коридоре лежат и под кроватями даже. И консервами полки в кладовке забиты. Пройти негде, но душу греет – с голода не умрем. Ну что он всё про еду да про войну – мужик и есть мужик! Что с любовью-то делать?

Любил Павлик только однажды, в шесть лет, – ту самую Анечку, с которой они в подвале котят выращивали, когда Луганск бомбили. И вот он опять в подвале с девочкой – и влюблен в нее, и не может ни насмотреться, ни наговориться.

Не то что других девочек у него не было – в кадетское его Алиса провожала, печенья напекла по французскому рецепту – во рту таяло! И текстовала каждый день, и даже открытку с сердечком на Валентинов день прислала. Но это всё не то... Может быть, настоящая любовь случается только во время войны? Павлик не знает, жива ли Анечка, но он точно сделает всё, чтобы Кристина осталась жива.

МОСТЫ СОЖЖЕНЫ

Женьке, конечно, не о чем было волноваться, кроме как за Артема. Сидел бы в своем Тикси, где одна только опасность – белые медведи, и то, если сгущенку случайно разольешь. Так нет – ему нужно было объехать полмира, чтобы оказаться на Украине в разгар войны! А теперь вообще непонятно – встретятся они или нет. Тем не менее намерение сына приехать подстегнуло Женьку на принятие радикальных решений.

Было ясно, что если они останутся в Ирпени, Артем будет пробираться сюда. Этого точно допустить было нельзя. Судя по тому, как развивались события, доехать в Ирпень можно было только на русских танках, хотя и тем приходилось несладко: «коктейли Молотова» все-таки работали, и украинские ракетчики не дремали. Но гражданскому населению снаряды, мины, самолеты, – все несли смерть. В городке не было сирены – воздушная тревога передавалась по телефону. Электричество то и дело отключалось, зарядить телефон становилось проблемой. Женьке иногда мерещилось, что она вернулась в Луганск – дежавю.

Чего не было тогда в Луганске – так это такого холода. Отопление постоянно отключали, и было понятно, что скоро в доме станет так же холодно, как в убежище. Впрочем, ни там, ни здесь уже не было безопасно. Огромные авиационные бомбы оставляли на улицах такие кратеры, что сомнений не оставалось: если такая шарахнет в их недостроенную бетонную парковку, то результат будет тот же.

– Всё, мосты сожжены, – заявила Женька детям, – мы уезжаем.

Кристина, наконец, сдалась, и даже Павлик, который явно праздновал каждую минуту их общих приключений, согласился с тем, что нужно уезжать. Они с Кристиной стали писать во все местные форумы, пытаясь найти кого-то, кто сможет кормить животных, – к тому же владелец зоомагазина пообещал неплохую сумму за охрану его экзотического товара. Когда он – человек очевидно не бедный, к тому же депутат городской Рады – ушел служить в тероборону, Кристина осталась в хозяйстве за главную, хотя раньше была просто продавщицей. Однако, несмотря на обещанное вознаграждение, желающих сменить ее не находилось.

Дело осложнялось тем, что среди питомцев был ее собственный белый кролик Рабит, который от стресса начал лысеть. Кристина сказала, что без него она не двинется с места и что друзей в беде не бросают, и что «мы в ответе за тех, кого приручили» и так далее и тому подобное, – на что Женька ответила, что она лично «приручила» их – Кристину и Павлика, и что отвечает она только за них.

Женька, не откладывая в долгий ящик, отправила в чаты своего дома и улицы просьбу найти водителя «за очень приличную сумму». «Приличная сумма» в тысячу евро уже лежала под подушкой – в банк она, наученная горьким опытом Луганска, сбегала в первое же утро

после вторжения. Это всё, что осталось от денег, вырученных от продажи маминого дома и покупки квартиры в Ирпене. Теперь эта последняя тысяча, может быть, спасет ее и детей – спасибо, мама...

Водитель нашелся удивительно быстро – правда, в Киеве, но готов был приехать и забрать их за семьсот евро, чему Женька несказанно обрадовалась:

– Останется хоть на что поесть купить: мы ж свои мешки не потянем...

Павлик с Кристиной огородами (в центре уже стояла русская боевая техника) побежали в местную церковь предложить продукты – при храме кормили беженцев из соседних деревень и оставшихся без крова ирпеньцев, которых становилось всё больше.

Настоятель храма отец Андрей сам приехал на машине, помог Павлику загрузить мешки и пообещал присматривать за животными в магазине – благо, там же были и запасы корма для братьев наших меньших...

– Бог даст, людей не придется этим кормить, – горько пошутил священник.

– А что, консервы для собачек очень даже хорошо пахнут, – ответила Женька ему в тон.

Отец Андрей взглянул на Женьку благосклонно. Женька только сейчас обратила внимание на его голубые глаза и окладистую русую бороду, которая манила своей мягкостью. Женька вспомнила, как София, знавшая всех и вся, сокрушалась, что жена батюшки несколько лет назад скончалась при родах. Проходив год в трауре, батюшка ищет матушку и даже просил Софию поспособствовать ему в поиске подруги. Женьке он показался очень симпатичным, но она была убежденной атеисткой...

Появление священника напомнило, что София сидит в подвале дома в Гостомеле, и никак не может выехать. Чем же ей помочь? Туда сейчас ни за какие деньги никто не поедет!

И тут отец Андрей обрадовал – вроде бы российские части, которые уже пару дней хозяйничали в Гостомеле, обещали дать гражданским «зеленый коридор» в Ирпень.

Что же будет, если Женька с детьми уже уедут – куда податься Софии?

«Пойдут к церковь», – решила Женька. В крайнем случае, она оставит отцу Андрею последние триста евро, чтобы София могла уехать хотя бы в Киев. Свой транспорт Женька отменить не могла – машина уже выехала.

ВЕЛОСИПЕД

Военные на блокпосту при въезде в Гостомель оказались ребятами из теробороны и, Володя, будучи гостомельским, с некоторыми

даже был знаком. С Ксюшей он познакомился в Буче – в травматологии, куда Володя угодил после аварии на грузовике. Ему долго чинили левую ногу и плечо, даже специального хирурга из Киева вызывали. Ксюша меняла Володе повязки и улыбалась на его прибаутки. Она потом говорила, что Володю так хорошо лечили из-за его легкого нрава – он и на операционном столе умудрялся шутить.

При выписке ему сказали – в армию не возьмут, рука так и осталась малоподвижной. Ну он тогда и не рвался. Он стал подрабатывать на такси, а с Ксюшей они очень скоро стали неразлучны. Сейчас Володино место – в ВСУ, чтобы этих «орков» не пропустить; а как выгонят – свадьбу с Ксюшей сыграют. В том, что выгонят, Володя не сомневался: в военкоматах, говорят, уже очереди стоят. Ничего, что рука больная, – это же левая. Вот он Ксюшу сейчас определит куда-нибудь в безопасное место – и в военкомат..

В направлении аэропорта слышались взрывы, висела дымовая завеса. Над поселком кое-где виднелись сполохи огня. Володя покоился на Леру Васильевну, которая смотрела прямо перед собой невидящими глазами. Когда Володя сообразил, что тот велосипед у столба принадлежал ее мужу – военному журналисту, – шутить отпала охота. Ребята из теробороны ничего про ее мужа не знали и предположили, что он мог уехать с кем-то на машине и просто бросил велосипед, так многие сейчас делают. Они даже позвонили председателю поселкового совета, но тот тоже ничего определенного сказать не мог.

Чем дальше они ехали по поселку, тем безрадостнее вырисовывалась картина. Разрывы слышались ближе и ближе, в какой-то момент Лере показалось, что она потеряла слух; ее саму как будто окутало плотное облако дыма – и запах, удушливый запах, проникал даже через закрытые окна машины. Было понятно, что горел аэропорт, но Лере казалось, что это обугливалась ее душа.

Лера с маниакальным упорством безостановочно звонила и писала на Юрочкин телефон, хотя давно уже было понятно, что это не работает.

Они мчались по безлюдным улицам поселка, лишь два раза обогнали велосипедистов, нагруженных кульками из местного магазинчика. Навстречу попало несколько машин, до предела набитых пассажирами и багажом – люди покидали свои дома. И это при том, что на улицах было небезопасно: уже пошла слухи, что несколько машин у Дома культуры расстреляли. На их машину смотрели с удивлением и опаской. Никогда нельзя знать, кто может приехать в прифронтной теперь уже поселок.

По дороге, когда и Ксюша перестала отвечать на звонки, Лера вообразила себе, что Юрочка, должно быть, там – в подвальной больнице у Ксюши: ему, наверное, стало плохо или он упал с велосипеда, или, не дай бог, осколком задело, и добрые люди снесли его в мед-

пункт. Она сама так поверила в эту историю, что, отстранив вышедшую навстречу им Ксюшу, бегом спустилась по ступенькам в подвал и стала обходить пациентов, заглядывая каждому в лицо в надежде, что сейчас увидит своего Юрочку. Ксюша, не понимая, что происходит, бросилась было к ней, но Володя ее остановил.

Через несколько минут Лера, как бы очнувшись от морока, вздохнула, достала медицинские перчатки и занялась осмотром раненых.

Украинский солдат с ранением в живот не дожид до их приезда – Ксюша сказала, что бедняга ужасно мучился и на него ушли все обезболивающие, какие были в подвале. Русский с ранением в грудной клетке был не безнадежен, но ему требовалась срочная операция. Состояние остальных было получше, но без антибиотиков больше недели они, скорее всего, не протянут.

– Эвакуация – вот самый правильный диагноз! Мы должны срочно всех перевезти в Бучанский госпиталь, – Лера пересчитала больных. – Нам нужно еще две машины.

– Но бомбежки не прекращаются! Что если в нас попадут? Могут погибнуть все, – слабо возражала Ксюша.

– Если мне дадут машину, я вывезу самых тяжелых, – решила Лера, – я же опытный водитель. А вы присмотрите за остальными.

– Ну уж нет, – вмешался Володя, – едем все.

– Ну что ж, – Лера не стала возражать, – начинаем искать транспорт. Бог не выдаст – свинья не съест.

Ксюша прыснула от смеха – она, конечно, не слышала этой пошлости и среагировала очень искренне. Лера посмотрела на девушку с завистью – вот ведь легкий она человек! Счастливчик этот Володя...

ЭВАКУАЦИЯ

Трудно было поверить, что этот день когда-то закончится, но темнота наступила быстрее, чем ожидали. Уже был объявлен комендантский час, да и без того было понятно, что ночью ехать опасно.

– Едем завтра, – решила Лера, – сейчас всем спать, а я подежурю.

– Я, я! – Ксюша, как всегда, кинулась помогать.

– Давай по очереди: я разбуду тебя в три ночи. Вам с Володей нужно отдохнуть. Наверх подниматься нельзя, так что уединиться не получится (при этих словах Ксюша залилась краской), но положить матрацы рядом мы вам позволим.

Лера, будучи оптимисткой, должна была признать, что им все-таки повезло: подвал просторный, не очень холодный, а главное, сухой – раны быстрее заживут.

Сказать, что ночь была тяжелой – не сказать ничего. Заснуть никому не удалось: бухало так, что даже бетонные стены содрогались, на головы сыпалась пыль и куски штукатурки. Ксюша и Кристина по очереди бегали наверх греть воду для промывания ран;

одноразовые шприцы закончились быстро и пришлось кипятить антиквариат из стекла и металла, еще восьмидесятых годов, – из колллекции местной аптекарши. Только Володю уговорили прилечь на пару часов – ему с утра за руль.

К утру стало ясно, что тяжелораненых подручными средствами спасти не удастся.

– Что ж, – веско сказал Володя, – Лера Васильевна права. Грузим в мою машину самых тяжелых и везем в Бучанскую больницу. Ты, Ксюша, присмотришь за остальными.

Взгляд, который Ксюша обратила на Володю, заставил Леру отвести глаза... Это действительно мог быть их последний раз.

– Русского не берем, – Володя был непреклонен, – он только место зря займет.

– Во-первых, мы выбираем больных по степени тяжести, во вторых, он будет нам прикрытием, если остановят... – Лера была старше и знала, как разговаривать с молодыми задиристыми ребятами. – И пойдй сними гимнастерку с того русского, что вчера умер, – мы кого-нибудь оденем, так будет вернее.

– С мертвого?! – у Володи округлились глаза.

– Тут кто-то в армию собрался или я ошибаюсь? Ладно, сама сделаю – выводите тех, кто может ходить, и позовите соседей помочь перенести лежачих. Ксюша тут носилки успела смастерить – молодец!

Наконец все как-то были усажены и уложены в Володину «Шкоду» – не самый фешенебельный микроавтобус, но вместительный и крепкий – самое то...

Лера заняла место пассажира, Володя повернул ключ зажигания, поцеловал Ксюшу через окно, и она опять залилась краской.

– Секунду! Я забыла груз, гирю эту, чтобы ногу загипсованную оттягивало Валерику, – Лера уже знала всех по именам, – Володя, спустись в подвал, она там за дверью. Ксюша, проводи его, пожалуйста, а то он сам не найдет.

– Ладно, – добродушно проворчал Володя, прикинув, что он еще раз сможет поцеловать Ксюшу на лестнице, – всё у вас, Лера Васильевна, фантазии: то с мертвого снимай, то без гири никак, как будто в Буче гирю нельзя найти. Машину не выключайте, я сейчас...

Как только Володя и Ксюша скрылись за дверью, Лера перескочила на водительское место (откуда только прыть взялась!) и дала газу. В зеркало она увидела, как Володя с Ксюшей, выскочив из дома, побежали было вдогонку, но вскоре остановились, развели руками и пошли обратно, конечно, целуясь по дороге. Валерик в русской гимнастерке, так и не получив груз для своей загипсованной ноги, заплодировал.

После стартового рывка Лера сбавила скорость. Во-первых, если встретишь русских, лучше ехать медленно – быстрая езда их раздражает, могут обстрелять. Во-вторых, для пассажиров это безопаснее, а

в-третьих, ей было совершенно необходимо проверить – на месте ли Юрочкин велосипед...

ЯКУТСК – СТАМБУЛ

Сойдя с самолета в Шереметьево, Артем понял, почему в Тикси не удалось взять билет из Москвы ни до Кракова, ни до Варшавы – да и ни в какой другой город в направлении украинской границы, ну разве что в Минск... Это были не технические неполадки и не проблемы с электронными платежами – это было решение европейских стран закрыть авиасообщение с Россией.

Внутренне поприветствовав проявление солидарности с Украиной, Артем безбожно кокетничал с девочкой в десятой по счету кассе «международных авиаворот» России. Разрез ее черных глаз напоминал Галочкин, хотя и не якутский – после восьми лет жизни в республике Саха отличить якутские глазки от любых других Артему не составляло труда. Кассирша оказалась родом из Улан-Удэ; она шепотом поделилась, что уже мобилизовали брата, что мама носила в военкомат хушур, а теперь плачет, что завтра брата отправляют на Украину, а он и оружия в руках никогда не держал – помогал родителям в семейном ресторанчике.

– Ну так быть ему в армии поваром! Скажи маме, пусть не плачет, – успокоил Артём, и бурятка благодарно подняла на него глазки китайской принцессы. Артём как можно короче изложил ей свою украинскую историю, пока очередь за его спиной не начала возмущаться, и получил заветный билет на послезавтра до Стамбула – откуда очень легко, как заверила его азиатская красавица, можно попасть в Краков, но место забронировать она не сможет.

– И никуда не уезжайте из аэропорта: сейчас такая ситуация, что самолет может улететь раньше...

Судя по всему, подобным же образом о потенциальных изменениях в расписании предупреждали всех пассажиров, так что в аэропорту скопились тысячи людей – с билетами и без, с надеждами и без них. Артем и здесь не растерялся. Он занял место у входа в комнату матери и ребенка: там была хоть какая-то ротация, и мамочки улыбались и освобождали ему место возле себя в благодарность за то, что он предлагал присмотреть за детьми, пока мамочка сбегает в уборную или за кефирчиком для малыша.

В Стамбул удалось вылететь только 28-го февраля: рейс несколько раз откладывали. Ирпень уже обстреливали танки и бомбила авиация, причем мама и Кристина, судя по сообщениям, практически перестали реагировать на воздушную тревогу, что Артема сводило с ума. Хорошо хоть приехал Павлик, с которым он общался пару раз: когда приезжал на экологический конгресс в Киев и потом, когда они всей семьей – с мамой, Кристиной и Павликом – ездили в Ялту. Уже

тогда он поразил Артема какой-то недетской серьезностью. А на последних фотографиях в кадетской форме Павлик выглядел почти взрослым. Пусть ему пятнадцать, но все-таки мужик...

Ожидание превратилось в кошмар, часы превратились в дни, ситуация с вылетами в Польшу была так же безнадежна, как в Москве, только кассирши не говорили по-русски, и паспорт, который предъявлял Артем, был украинским: слава богу, он сообразил его продлить, когда приезжал на конгресс. Переполненный аэропорт Стамбула представился Артему Вавилоном, где два мощных потока – бегущие от войны и стремящиеся туда – встречались, сталкивались и рассыпались, как девятый вал, радужными брызгами: крики, мольбы и увещевания на разных языках; чемоданы, рюкзаки и котомки; детские слезы и тут же улыбки, объятия и рукопожатия... Билет удалось приобрести на третье марта, и опять всем, кто летел в Польшу, посоветовали не покидать аэропорт: рейс может вылететь раньше или появиться дополнительный.

Сделав несколько кругов по переполненному залу ожидания и заглянув в круглосуточный дьюти-фри, Артем прибил к группе израильтян. В основном это были волонтеры-медики, которые собирались развернуть станции медпомощи на украинско-польской границе. Они то обсуждали, как и когда им смогут доставить медицинское оборудование, лекарства и перевязочные материалы, то спорили о грядущих выборах в кнессет; смеялись и подкалывали друг друга. Эти молодые медики принадлежали к тому самому «полуторному поколению», которое выросло и выучилось уже в Израиле: несмотря на то, что большинство говорило на русском, они кричали, жестикулировали и вдохновенно спорили, как коренные израильтяне, на которых Артем насмотрелся в Иерусалиме, опять же на конгрессе по сейсмологии.

Рядом с медиками расположилась группа ребят его возраста и постарше – тоже израильтяне, но не такие горластые и на вид посерьезнее. Ими Артем заинтересовался еще больше: чего такие неразговорчивые – может, агенты «Моссада»?

Конечно, не было в мире человека, который не уступил бы обаянию Артема. Уже через пятнадцать минут он выяснил, что его израильские попутчики – будущие бойцы украинского Интернационального легиона обороны. Один из них, Михаэль, оказался бывшим снайпером элитного подразделения израильской армии и собирался заниматься тем же самым в Армии Украины. Они тут же погрузились в оживленную дискуссии о преимуществах разных видов винтовок – Артем был хорошим стрелком и старался не пропускать ни возможности поохотиться, ни соревнований по биатлону. Михаэль оказался еще и земляком: в девять лет с родителями приехал в Израиль из Донецка, еще восемь лет ездил на каникулы к бабушке и дедушке в село в Донецкой области – пока прямым попаданием ракеты не разворотило их доброт-

ный дом со скрипучими полами из широких досок, бабушкиными вышивками на стенах и массивным камином, сложенным дедушкой – известным в округе печником. Бабушку убило падающей балкой, но лица не повредило, и соседи говорили, что в гробу она лежала красивая-прекрасивая, в украинском венке, который для нее сплели подружки. От дедушки осталась только кепка-бейсболка, привезенная Михаэлем из Америки, куда он ездил на соревнования по вольной борьбе: дедушка хоть и был евреем, но кипу носить отказывался. Михаэль, будучи наслышан о дедушкином троюродном брате на Брайтон-Бич, звал дедушку поехать вместе на соревнования в Чикаго, а потом махнуть в Нью-Йорк, но тот отказался: «Потом всей семьей съездим». Так и не съездили...

Артем после 2014-го в Луганске не был, но часто видел во сне абрикосовые деревья, усыпанные оранжевыми плодами, что росли вдоль улицы по дороге к дому, – а уж как ему этих абрикосов не хватало в Якутске, словами не передать! В разговорах и воспоминаниях время прошло незаметно; новый знакомый и вся шумная израильская компания улетели второго марта. На прощание Михаэль кинул Артему ссылку на сайт с условиями поступления в Интернациональный легион обороны Украины.

– Каждый должен делать то, что умеет лучше всего, – сказал Михаэль, обняв Артема, как близкого друга. – Одни лечат, – он кивнул в сторону медиков, – другие стреляют, – сделал движение рукой, как будто передернул затвор винтовки.

Артем в ответ тоже передернул воображаемый затвор, но по своему – парни рассмеялись и снова обнялись...

Ночи размышлений между отъездом израильтян и его собственным рейсом хватило Артему на то, чтобы понять, где его место в этой войне. «Каждый должен делать то, что он умеет лучше всего», – вспоминал он слова нового друга.

На следующий день почти в ту же минуту, когда объявили посадку на рейс, Артему пришел ответ из Интернационального легиона: в течение двух недель нужно было явиться на Яворовский полигон.

Часть 3. 6-15 марта 2022

СЕВЕРОДОНЕЦК

О том, почему Сашка с Миланой осели в Северодонецке, можно было бы написать целую книгу. Они бежали из Луганска, где теперь царили сепаратисты, уничтожившие всё, что у них было. На месте абрикосовой аллеи возле дома – воронки от снарядов, на месте их квартиры – зияющая дыра...

В принципе, у каждой семьи беженцев из Луганска или Донецка похожая, но своя история. Истории эти гораздо счастливее, когда у

семьи где-нибудь, неважно где, есть жилье. Конечно, нормальная украинская (бывшая советская) живущая на зарплату семья не могла позволить себе вторую квартиру, но Миланкина тетья в Осетии надумала продать свою «однушку», с высоким потолком и с видом на Терек в центре Владикавказа! Ей стало так тоскливо и захотелось переехать к сестре в ее двухкомнатную, доставшуюся еще от советского государства. После смерти отца для Миланы это стало большой подмогой – страшно было оставлять маму одну. Родители прожили вместе много лет, но отец был намного старше – его час и пришел раньше...

Поскольку тетка была незамужней и бездетной, она подарила деньги за квартиру племяннице – и Майоркины смогли приобрести двухкомнатную в Северодонецке. Почему не в Луганске? Да очень просто: намного дешевле – теткин подарка как раз хватило. Кроме того, планировалось, что после окончания университета, где Денис учился на факультете химической промышленности, он получит направление в Северодонецк, который был, можно сказать, флагманом химической промышленности Украины.

Когда-то Советская власть вбухала огромные деньги в индустриализацию республики и, в частности, Донбасса – и Северодонецк стал примером победы социализма и строительства новой нации «советский народ». Параллельно с цехами заводов возводились целые кварталы пятиэтажек, молодые специалисты из Харькова, Днепропетровска и даже Киева ехали сюда «пачками» – строили новый город и новую жизнь.

Майоркиным тоже более или менее удалось построить новую жизнь в двухкомнатной квартире бывшей кооперативной пятиэтажки; правда, на пятом этаже... Денис доучился уже в Северодонецке, куда переехал университет, но потом объявил, что идет в пограничники.

– Прежде чем развивать промышленность Украины, – рассудил сын, – страну нужно отвоевать. Я не прощу им Луганска.

Родители возражать не стали. Зарплаты у пограничников были выше, чем у начинающих инженеров, да и держать парня в структуре было совсем неплохо: кто знает, куда его занесет. История в Луганске показала, что Денис – парень импульсивный и сначала бросается в бой, а потом начинает соображать, чего это ему будет стоить... Поэтому, отучившись еще четыре года в пограничной академии в Хмельницком, Денис вышел лейтенантом и был назначен – ни больше ни меньше – командиром взвода в Сумской пограничный отряд. Сашка не стал вмешиваться, когда сын попросился не к нему в отряд. Он понял...

Однако сейчас, в этом кошмаре первой недели, когда Сашка каждый час проверял, нет ли сообщения от Дениса, а Милана – от них обоих, когда каждое послание могло оказаться последним, Сашка еще раз убедился, что любимых и родных нужно держать около себя: что еще нам нужно в этой жизни?

Милана же всегда знала, что это главное, – и теперь, когда некому было носить (как Сашке) или передавать с проводниками поезда (как Денису) ее осетинские пироги и хачапури, она впала в такое угнетенное состояние, что впору было пить таблетки от депрессии.

Лера так ей и сказала, когда подруги смогли созвониться и поговорить в перерыве между обстрелами.

– Я не могу сейчас рецепт выписать: сходи в аптеку, там есть хотя бы агомелатин или amitриптилин в свободной продаже, они успокаивают.

«Нет уж», – подумала Милана: сейчас, пойдет она в аптеку, как же! Чтобы прямо на улице завалило или осколком ранило? Противно будет, если тебя в луже крови найдут. Но ей и вправду стало настолько всё безразлично, что она перестала бегать в подвал по тревоге и питалась одними чипсами да крекерами, которые раньше никогда и в рот не брала.

Сашка в пылу боев ничего этого не знал. И так, наверное, и загнула бы его осетинская красавица от попадания снаряда или крылатой ракеты в дом, загнула бы в своей вовремя приобретенной двухкомнатной квартире в молодом, перспективном и еще недавно зеленом городе Северодонецке, который методично сносила с лица земли российская артиллерия, – если бы не сообщение от Дениса: «Мама, папа, всё в порядке, я в Днепрпетровске: легкое ранение, жить буду...»

ЗЕЛЕНЬ КОРИДОР

«Желающий спастись да спасется...» – Милана тысячу раз повторяла про себя эту фразу, неизвестно откуда пришедшую ей в голову. Может быть, она успеет, как говорится, на последний поезд...

Первый раз за эти дни Милана заглянула в чаты ее дома и улицы. Обещали «зеленый коридор»... Управдом, неутомимый голова дома, вывозил лежачих и семейных с детьми в центр на эвакуационные автобусы – казалось, в доме осталась только горстка жильцов. Но когда объявили «зеленый коридор» – тех, кто до сих пор не смог выехать, оказалось на удивление много. Чат был забит просьбами о лишнем месте в машине «хотя бы для детей!»

В их доме жили в основном семьи врачей Центральной больницы, подвалы которой переоборудовали для приема раненых. Их было так много, что медперсонал работал практически круглосуточно, а члены их семей, можно сказать, жили в убежище; многие даже не поднимались в квартиры. Хорошо, что благодаря хозяйственному управдому там имела проводка для розеток, чтобы включать электродрели или другие инструменты. Вот и пригодилось в тяжелую минуту – люди приспособили электрические обогреватели и плитки: так и жили.

В то утро, когда Милана узнала о ранении сына, в здание по соседству угодила снаряд. Их дом тоже тряхнуло, как при землетрясении:

стекла задребезжали, кусок балконной решетки из дома напротив влетел в окно кухни, врезался в посудный шкафчик, и стеклянные формы для пирогов посыпались ливнем осколков на пол. Холодный мартовский ветер ворвался в квартиру, которую, на удивление, пока топили.

Придя в себя, Милана осторожно выглянула в окно. Квартира в доме напротив была объята пламенем, дымились и квартиры этажом ниже; слышались крики людей, потом звуки пожарной сирены и «скорой» – и снова взрывы – теперь уже дом с магазином через дорогу, куда выходило окно спальни.

Милана посмотрела на часы: выезд эвакуационной колонны в десять утра, а сейчас уже восемь. Добежать бы до гаража в целости и сохранности! Да, и белую простыню на машину взять! Руку не забыть повязать белым полотенцем... Ключи от машины – вот они; придется брать Сашкин «бус», хотя она его ни разу не водила. «В 9 ч. жду у подъезда желающих уехать: есть 8-10 мест в бусе», – написала Милана в чат, взяла клетку с Мурзиком, «тревожный чемоданчик», а точнее, рюкзачок, и вышла, не оглянувшись на разрушенную кухню.

Находясь в смертельной опасности, человек иногда чувствует и действует как бы на другой частоте, чем в обычной жизни, так что потом даже не может вспомнить, что с ним происходило. Колонна продвигалась медленно, в обход основных дорог, поэтому вместо обычных пяти часов по трассе поездка заняла почти двенадцать; Милана умирала от голода, потому что свои чипсы отдала детям в «бусе». Она помнила, что взрывы гремели очень близко, а потом и очень часто – так что начальник колонны несколько раз заставлял всех выходить из машин и прятаться в ближайшей лесополосе; некоторые ложились прямо на мерзлую землю, надеясь, что взрывы – случайные, и русские не обстреливали гражданскую колонну намеренно. Когда стихало, все возвращались в машины, и колонна двигалась дальше. Ехали с потушенными фарами, хотя первые мартовские дни – короткие, и темнело рано.

Последние блокпосты перед Днепром оказались украинскими, военные были дружелюбны: угостили детей шоколадом и сгущенкой. Даже коту Мурзику повезло облизать ложку... Все немного расслабились. Пассажиры толпились вокруг полевой печки, грелись и курили, оставили солдатам все сигареты, табак и даже папиросную бумагу для сворачивания сигарок. Ветер пахнул первым весенним теплом и в наступившей после канонады тишине казалось, что мир вернулся на свое место...

Перед тем как возвращаться в машину, одна пожилая женщина из соседнего буса отправилась выгулять собачку на снежку подальше от колонны и, должно быть, наступила на мину: страшный взрыв, вспышка пламени – те, кто еще не сели в машины, повалились на землю... Зацепило несколько машин, но кроме одной несчастной никто не пострадал. Взрыв, однако, был такой сильный, что собирать

и хоронить было нечего. Дочь женщины, на вид совсем девочка, тихонько плакала: все снова вернулись в страшную реальность.

СОФИЯ

Хорошо, что Женька не все продукты в церковь отдала: оставила пару кулчков муки и консервы, чтобы сделать пирожки на дорогу. Пирожки-то они съели, а машина за ними так и не приехала ни пятого, ни шестого марта. Претензий к водителю никаких не было, потому что четвертого марта взорвали центральный Романовский мост. Он звонил с дороги, хотел проехать по Демидовскому, но и тот был подорван, по крайней мере, так говорили на блокпостах: доехать до моста и убедиться в том, что он действительно взорван, было нелепо.

– Я попробую еще завтра через Стоянку, – услышала Женька, измученная ожиданием, постоянными взрывами, непрекращающимся холодом. Электричества в доме не было, и Павлик с Кристиной бежали заряжать телефоны в церковь. И когда священник успел предусмотрительно запастись генератором? К вожделенному источнику электричества выстраивалась очередь. Но другого выхода не было, и ребята терпеливо ждали. Потом бежали с телефоном к Женьке, и та снова звонила водителю. Он, и правда, старался – и литры бензина потратил, но доехать не мог..

Наконец-то вечером этого бесконечного второго дня раздался звонок в дверь – Женька с Кристиной наперегонки понеслись открывать: неужели водитель? Почему же не было сообщения – опять телефон отключился?

Кристина добежала первая, за ней Женька – открыла дверь и ахнула: на пороге стояла София с маленькой Лизочкой на руках, сзади препирались два рыжих подростка – Вадик и Владик, похожие друг на друга как две капли воды, за ними прятался отощавший пес с поджатым хвостом и проплешинами на когда-то холеной шкуре.

София похудела вдвое, выглядела постаревшей и измученной; она еле стояла на ногах. Бросившись было обнимать подругу, Женька застыла как вкопанная: некогда роскошные черные волосы Софии стали абсолютно седыми.

– Видишь, – едва слышно проговорила София, спустив Лизочку с рук, – что со мной случилось. Горе у нас – нет больше Витечки.

«Слава богу, хоть дети живы», – хотела сказать Женька, но язык не повернулся: ей ли, разведенной и одинокой, судить?

– Как вы добрались до нас? Везде стреляют! – Женька завела подругу в квартиру. Кристина подхватила на руки малышку, Павлик помог занести сумки и позвал пацанов к себе в комнату. Собака последовала за ними.

– Мы с колонной, машин пятнадцать... Две первые обстреляли танки, уже здесь, в Ирпени. – София устало опустила на стул.

– Люди погибли? – Павлик не мог представить, что танки могли стрелять по гражданским.

– Сгорели, – глухим голосом ответила София.

– Так... Завтра же выезжаем на эвакуационном поезде, – твердо сказала Женька. – Наш мэр, оказывается, пустил эвакуационные поезда в Киев. Если бы знали раньше – не стали бы ждать машину. В десять утра надо быть на вокзале. А сейчас – всем купаться (запах от приезжих шел невыносимый).

На газу в больших кастрюлях грелась вода, которая еще чудом шла из крана, и женщины старались как можно быстрее помыть детей одного за другим – вдруг тревогу объявят... Сначала близнецов – они согласились, чтобы Павлик поливал их ковшиком, потом Лизочку, и уже совсем ночью при свечах Женька вскипятила еще три кастрюли воды и сделала Софии ванну. Та, лежа в мыльной пене с закрытыми глазами, говорила тихо, чтобы дети не слышали. Женька же была рада темноте и тому, что глаза подруги закрыты, – смотреть в них и не содрогаться от боли было невозможно...

София рассказала, как русский десант брал аэропорт: они шли по аэродрому с оружием наперевес, готовые уничтожить всё и вся живое.

Витечка звонил как сумасшедший в диспетчерскую, чтобы выгоняли машины тушить пожар, но там не отвечали, – может, спустились в убежище? Тогда он взял свою «Ладу», чтобы проехать напрямик по летному полю – так быстрее, и машина ведь не военная, и сам он был в гражданском... Могли бы остановить, проверить – ведь на одном языке говорим. Ну почему нужно было из гранатомета?..

– Ничего не осталось от моего Витечки... Совсем ничего... Даже пепел собрать не пустили... – Слезы Софии капали в остывшую уже воду.

Женька хотела сказать, что пора уже ополаскиваться, Кристина вон еще кастрюлю кипятка нагрела, остывает же... Нужно поспешать – вдруг воздушная тревога? Но говорить что-то в эту минуту было бы кощунством, и подруги молчали.

И тут, конечно, завывла сирена.

ДОРОГА ЖИЗНИ

За ночь воздушную тревогу объявляли еще три раза. Женька все-таки загнала всех в убежище: еще не хватало прямо перед эвакуацией погибнуть в собственной квартире!

В подвале недостроенной парковки было так же холодно, но соседи приспособили там что-то вроде печки и жгли те же самые поддоны, что им выдали вместо кроватей. Едкий запах алкидной смолы, которой были пропитаны доски, уносило сквозняком, но вместе с теплом. Только если лежать совсем рядом, можно было хоть как-то согреться. К счастью, поддонов было много – почти все жильцы уже

эвакуировались, остались Женька с детьми, управдом и несколько семей с лежачими стариками.

Управдом Николай свою семью отправил на Западную Украину, а сам, как капитан тонущего корабля, решил, что пока не вывезет из дома последних жильцов, – поста не покинет. От него Женька узнала, что ночью разбомбили железнодорожные пути, так что эвакуационных поездов больше не будет..

– Но, – продолжил Николай, – мэр организовал эвакуацию через реку возле Романовки. Мост частично разбит, однако там есть, где спуститься и перебраться по перекинутым мосткам. За рекой ждут эвакуационные автобусы и волонтеры помогают с переправой. Я достал «бус» и начинаю вывозить лежачих. Я видел, у тебя там пацаны крепкие – помогут? Вас всех тоже отвезем, само собой...

«Наконец-то ясно, что делать», – Женька не понимала, как всё это время она могла сидеть на одном месте и ждать – это же совсем не в ее характере! Оцепенение какое-то напало – наверное, из-за Луганска. Говорят, второй подвиг намного труднее совершить, чем первый.

Сейчас, помогая эвакуировать семью со второго этажа – дедушку, который давно не ходил, и бабушку, которая передвигалась только с ходунками, – Женька чувствовала прилив энергии. Затем в микроавтобусе разместились еще два лежачих старика с седьмого этажа, их невестка (сын в теробороне), полуходячая бабушка, ее сестра, которая хорошо ходила, но плохо соображала, и Женькино семейство да София с детьми и собакой.

По дороге выбрали ненормальную молодую мамашу с годовалым ребенком, которая катила коляску в сторону моста.

– У меня муж в теробороне, ну как я могла уехать? А вдруг прибежит покушать?

– Так как же ты ушла сейчас? – не выдержала Женька.

– Так квартиру разбомбило – вместо кухни дыра в стене. Хорошо, мы в подвал спустились, обычно не до этого: малыша то кормить, то купать.

Женька переглянулась с Кристиной – та покрутила пальцем у виска.

«Мы сами не лучше, – написала ей на телефон Женька, – полюбуйся на себя с кроликом...» Она сделала фотку и послала дочери. Кристина засмеялась: она действительно напониала плохую иллюстрацию из книги «Алиса в стране чудес» с полупысым Рабитом в клетке.

Повернув на центральную улицу, они присоединились к колонне таких же «бусов» с белыми простынями на бортах и надписями «Дети», «Инвалиды», «Эвакуация».

Все-таки мэр города смог договориться с русскими, чтоб обеспечили зеленый коридор для выезда. «Повезло, – пришла в голову

Женьке нелепая мысль, – повезло, что русские читают на русском: они уж точно не смогут сказать, что не поняли, что написано на бусах.»

Но, как говорится: помяни черта, он и явится...

– Пригнитесь! – закричал Николай. – Все пригнитесь! Танк! Еще один! Мы на прицеле...

...Их «бус» задело по косо́й, сорвало дверцу – слава богу, их машина была в голове колонны. В последнем «бусе» зияла дыра, и Николай бросился вытаскивать раненых. Рядом с Женькой застонала София, сидевшая как раз у оторванной дверцы – что-то с ногой! – джинсы, разорванные на голени, начали набухать кровью – осколок попал?

– Мама, что с тобой? – закричали близнецы, а Павлик молча снял шарф и перетянул ей жгутом ногу.

– Мы же первую медицинскую помощь проходили, – пожал плечами, ответил он на удивленный взгляд Женьки.

Николай вернулся с тремя женщинами и несколькими детьми, доложил:

– Двое убитых, пять раненых: из них двое очень тяжело. Раненых перенесли в медицинский бус, убитых пришлось оставить: отставить от колонны нельзя.

Он посмотрел на Софию, которая с трудом сдерживала стоны.

– Держитесь, на переправе есть волонтеры, они вам помогут спуститься с моста. А на той стороне – медики и автобусы. Ну-ка, двигайтесь все: у нас пополнение...

Пассажиры стали уплотняться, устраивать новоприбывших. Вопросов никто не задавал: и так понятно, что это, скорее всего, семьи тех несчастных. Некоторые были в шоке и даже не плакали, только говорили: «спасибо вам, спасибо». Одна девочка, лет восьми, всё время повторяла:

– Смотрю в окно и вижу танк, и – бум! Смотрю в окно и вижу танк, и – бум! Смотрю в окно и вижу танк, и – бум!..

– Смотри, какой кролик! – не выдержала Кристина, поднимая клетку. – Хочешь погладить? Его зовут Рабит.

– Терапевтический кролик, – пошутил Павлик, и все засмеялись...

ПЕРЕПРАВА

Колона двигалась довольно быстро: боялись еще раз встретиться с танками – скорее бы мост! Его вчера обстреляла русская авиация: изуродованные, развороченные машины на подъезде к бывшей набережной были тому свидетельством. Что стало с людьми в машинах, можно было только догадываться.

Ближе к месту переправы стояли неповрежденные автомобили, брошенные по обеим сторонам моста. Люди выходили, брали детей и рюкзаки на руки и спешили к переправе, иногда даже багажники

оставляли открытым. Подорванная секция моста была ближе к противоположному берегу речки Ирпень – машины и техника не пройдут, а для людей был организован спуск – самодельные ступеньки вниз, а там дощатая переправа...

Николай передал своих пассажиров волонтерам и снова вскочил за руль – где-то еще его ждали люди. Женька проводила его взглядом – увидятся ли они когда-нибудь? На войне герои погибают первыми...

Волонтеры – крепкие ребята в желтых жилетах – казались богами или по меньшей мере ангелами, спустившимися с небес на помощь. Женька, убежденная атеистка, дивилась своим религиозным ассоциациям, пока не увидела отца Андрея – это он привел команду добровольцев, которые помогали проводить эвакуацию. «Вот оно, тлетворное влияние религии, – улыбнулась Женька, – или, может, это голубые глаза?..» Ангелы-волонтеры укладывали лежачих на носилки и спускали с моста, остальные парами или тройками переходили по мосткам. Вокруг валялись брошенные детские коляски, велосипеды, большие чемоданы. Их не было смысла брать: в эвакуационных автобусах всё равно места не хватило бы.

Женька, пользуясь своим несомненным влиянием на священника, попросила помочь Софии, и с моста ее спустили на носилках. Но перед переправой носилки потребовали обратно – привезли новую партию раненых. Софию подхватили под руки сыновья, и она неловко передвигалась по криво проложенным доскам, подпрыгивая на одной ноге, морщась и постанывая. Их перепуганная собака жалась к хозяйке и мешалась под ногами.

– Ничего-ничего, – поймав встревоженный Женькин взгляд, сказал отец Андрей, – на той стороне медики, они помогут... Они уже близко...

Женька обернулась к отставшим детям. Павлик с Лизочкой на руках ждал Кристину, которая возилась с кроличьей клеткой, опустившись на колени. Когда в воздухе послышался знакомый по Луганску свист, Павлик среагировал первым:

– Мины! Ложись!

Женька и Кристина бросились ничком на землю, Павлик прикрыл своим телом Лизу. Глядя на них, другие тоже попадали прямо в ледяную жижу растоптанной мартовской земли.

Взрывы ближе, ближе, совсем рядом; на головы сыплются земля, вода и огонь. Так же внезапно всё затихло – опять стали слышны журчание реки и далекие разрывы в Ирпени.

– Отбой, – поднялся, отряхиваясь, отец Андрей, – продолжаем эвакуацию.

Кристина трясла клетку с кроликом, повторяя «Рабит, Рабит!», но зверек не двигался.

– Разрыв сердца, – мрачно сказал доброволец с белой повязкой

на руке, где простым маркером был нарисован красный крест, – такое бывает у животных. Я ветеринар, знаю.

– Людей, людей убило! – закричали волонтеры с того берега.

Женька присмотрелась. Господи, София! София – да, это была София, – лежала на спине на береговой насыпи, раскинув руки, а рядом в паре метров ее сыновья – Вадик и Владик.

Собака бегала вокруг как сумасшедшая, пытаясь растормошить их, тыкалась носом, ложилась, вставала, прыгала на них обеими лапами.

– Не жилища она была, – сказала священник, подойдя к застывшей от ужаса Женьке, – не жилища...

– Откуда вы знаете, отец Андрей? – Женька, как тот пес, еще надеялась в душе, что они все-таки встанут.

– Тень над ней такая была, и в лице, и в душе – знаки смерти...

– А дети, дети-то за что?

– Бог дал, Бог и взял... – и перекрестился.

Женька ничего не ответила, взяла за руку Павлика, который неловко гладил по голове взмахнув плачущую Лизочку.

Кристина осторожно поставила клетку с мертвым Рабитом под мост, прикрыла своим пушистым белым шарфиком, и побежала по мосткам на другой берег. Женька и Павлик с Лизочкой на руках последовали за ней быстрым шагом, насколько позволяла эта хлипкая конструкция. На полпути они остановились – собака, видимо, поняв бесполезность попыток поднять мертвых, села около тела одного из мальчиков, подняла морду к небу и завyla.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПОЕЗД

«Природа устроена так, что женщины рожают независимо от того, мир на дворе или война. И людей в этом мире прибавляется. И любви в мире тоже прибавляется. Война же устроена так, что обязательно люди погибают, какой бы бессмыслицей это ни казалось. И людей в мире убавляется. И убавляется любви, ведь у погибших всегда остаются те, кто их любил...»

Рената иногда писала мужу свои мысли, сидя в подвале роддома во время обстрелов, которые раздавались всё чаще и чаще. Иногда, в перерывах между тщетными попытками накормить Максика, который до сих пор не сосал сам, она помогала роженицам, кто не мог передвигаться после родов или кесарева сечения: купала, приносила из кухни еду и помогала стирать и гладить подгузники – кто-то из медсестер притащил уголок. В первые дни у них еще были памперсы для новорожденных, потом пришлось рвать простыни и складывать треугольные подгузники по старинке – это их нянечка научила.

В то утро, когда Женька с Павликом и Кристиной сели в эвакуационные автобусы на другом берегу реки Ирпень, Максик в первый раз взял соску сам – и зачмокал, как будто не было этого долгого

месяца зависимости от зондов и инфузий. Почему-то в этот момент Рената окончательно поверила, что Украина победит: ведь если борьбу за жизнь выиграл ее беспомощный комочек, то что и говорить о сорока миллионах человек, которые хотят жить – и жить независимо!

Наконец-то время пошло на минуты, а не на дни. Через пару часов после первого самостоятельного завтрака Максик был осмотрен врачами, которые казались не менее Ренаты довольны тем, что могут выпустить в мир еще одного полноценного младенца.

В это время Женька сообщила, что эвакуационные автобусы высадили их в центре Киева и повернули назад, чтобы ехать за следующей партией беженцев. Теперь задачей было добраться до железнодорожного вокзала. Рейсовые автобусы, конечно, не ходили, а метро использовалось в качестве убежища от бомбардировок – прямо как в Лондоне во время Второй мировой.

Попытка уехать на такси не увенчалась успехом из-за собаки. Та самая собака, которую рука не поднялась оставить в Ирпени, спасала их в автобусе, потому что Лизочка переставала плакать, только когда прижималась к этой потрепанной псине.

Но собака отпугивала водителей, одно за другим такси отказывались их сажать, забирая других пассажиров. Многих забирали родственники и знакомые, и постепенно толпа, выгруженная из трех ирпеньских автобусов, рассосалась полностью. Женька со своим семейством остались стоять на площади под пронизывающим ветром. Она не почувствовала, что теряет сознание...

– Мама, мама! – голос Кристины проходил через уплотнившийся воздух с трудом, как через толстую вату.

Очнулась Женька в «бусе» волонтеров, которые решали: везти их на вокзал или в ближайшую больницу.

– Нет-нет, – Женька благодарно взяла протянутый ей одноразовый стаканчик с чаем, – нас на вокзал...

Раз уж так повезло, что волонтеры подобрали всю компанию и на улице прекратились взрывы, появился реальный шанс попасть на пятичасовой эвакуационный поезд, о котором им говорили еще в Ирпени.

Ренату же выручили ребята из «скорой помощи», которых она не раз поила чаем в приемном покое, когда те привозили очередную роженицу. Они согласились посадить Ренату с Максимом у железнодорожного вокзала по дороге на очередной вызов. Киевлянки рожать не переставали, и главный врач родильного отделения мрачно шутил, принимая очередного мальчика: «Вот еще один солдат родился...»

– Не дай Бог, – писала Рената Леониду, – не дай Бог нашему малышу придется стать солдатом... Неужели эта бессмысленная война продлится так долго?

– Даже не думай об этом, – успокаивал муж, – всё скоро закончится (а что еще он мог сказать?), мы скоро будем вместе: я уже в

дороге. Я буду ждать тебя в Варшаве столько, сколько нужно, – только береги себя и малыша!

ШТУРМ

Рената прибыла на вокзал во всеоружии. На спине – Максик в специальной переноске, которую еще до войны Леня привез из Израиля, хотя потом оказалось, что в Киеве такую можно было купить гораздо дешевле, как и многое другое... Рената вздохнула: Киев двухнедельной давности казался теперь недостижимым раем – вернется ли она когда-нибудь в этот рай? Итак, ребенок на спине, на груди «тревожный» рюкзак с деньгами, подгузниками и смесью для малыша, ну еще пару пеленок нянечка запихнула на всякий случай. Хорошие пеленки, доперестроечные... Можно подниматься на перрон. Женька уже несколько раз текстовала, что они ждут в самом центре – она слышала, что там больше шансов найти место. До поезда оставалось пятнадцать минут.

Как только Рената поднялась на перрон, она поняла, что совершила ужасную ошибку. Люди всё прибывали и прибывали, уплотняя уже донельзя сжатую толпу. Ренату несло тесным потоком, давка усиливалась, и она испугалась, что еще немного – и ее малыша раздавят, просто сплющат, а она даже не поймет, когда это случилось... Максик за ее спиной молчал: может быть, спал – а может быть?.. Ее всё больше и больше теснили, край жестяной банки с молочной смесью в рюкзаке впивался ей в грудь.

Фонарный столб! Ренате в голову пришла спасительная мысль: если немного продвинуться вправо, подальше от железнодорожных путей, то можно уцепиться за столб и остановиться на минутку, глотнуть воздуха и проверить, что с ребенком.

– Ребенок! Здесь ребенок, – кричала Рената, – стойте!

Те, кто окружал ее, на секунду остановились, сдерживая поток толпы, чтобы Рената смогла сделать несколько шагов в сторону и ухватиться рукой за столб.

«Не проси помощи у всех, – вспомнила она книгу по психологии, – проси у одного: того, кто рядом.» Рядом оказался мужчина, который отчаянно пытался протолкнуть сквозь толпу жену с мальчиком лет семи, но шанса пробиться к краю платформы, куда вот-вот должны были подать состав, не было, даже если бы он взял на руки их обоих. Улучив момент, Рената попросила:

– Помогите, пожалуйста, снять переноску, иначе мне задавят малыша.

Мужчина посмотрел на нее недоуменно: он понятия не имел, о чем речь. Выручила его жена: она развернулась, и вдвоем с мужем они прикрыли Ренату телами, пока ей не удалось снять со спины эту ужасную конструкцию. Максик спал, причмокивая губами.

Вздыхнув с облегчением, Рената достала из рюкзака пеленки,

завязала узел, перевязала крестом на груди, как учила нянечка, и пристроила туда Максика. В эту минуту раздался гудок поезда, толпа кольхнулась ближе к краю платформы: казалось, что люди начнут падать на рельсы.

Рената изо всех сил одной рукой держалась за столб, а другой прикрывала ребенка. Рюкзак, который придерживала ногой, смели и затоптали...

– Рената, Рената! – раздался откуда-то голос Павлика. – Я здесь! Я вас нашел! У нас купе в поезде – скорее, держитесь за меня!

Пробившись сквозь толпу к ней – что значит молодой и крепкий! – Павлик теперь своим телом прокладывает дорогу к вагону. Рената кивнула женщине, которая ей помогла, и та, не выпуская руки сына, пристроилась за ней, крепко вцепившись в ее пуховик.

Рената же, одной рукой придерживая малыша, а другой ухватившись за локоть Павлика, передвигалась мелкими шажками под прикрытием его широкой спины – кто бы узнал в нем щуплого мальчика, которого они нашли лежащим без сознания в подвале Женькиного кафе восемь лет назад?

НОЧЬ В ПОЕЗДЕ

Каким-то чудом Женьке с ее командой удалось занять целое купе. Женщина, спасшая Максика, стояла у окна, прижав ладони к стеклу там, где ее муж, оставшийся на перроне, с другой стороны стекла прижал свою ладонь. В его глазах была любовь, как и у сотен мужчин, которые отправляли семьи подальше от бомбежек, а сами оставались защищать страну.

Поезд уже должен был отправляться, когда по вагону прошел слух, что проводница просит найти место для молодой мамочки с новорожденными близнецами – та стоит на подножке и угрожает, что бросится под поезд, если ее не впустят. Ее никто не провожает – муж в ВСУ, высадить ее на перрон рука не поднимается...

Женька с Кристиной переглянулись – к нам, к нам! – мы найдем ей место! Несчастную женщину с двумя младенцами в корзинке и еще пацаном лет четырех чуть ли не на руках передали к ним в купе. Поезд, наконец, тронулся; почти сразу отключили свет, чтобы состав в двадцать вагонов не стал движущейся мишенью. Подсвечивая телефонами, население маленького купе стало устраиваться. Лизочку, которая ни за что не хотела расставаться с собакой посадили на пол, подстелив сначала мешки для мусора, выпрошенные у проводницы, а сверху кинув Женькино дутое пальто; к Лизочке с удовольствием присоединились мальчишки.

Нижние полки отдали Ренате и Максиму, а также маме с младенцами; на верхних разместились Женька с новой знакомой и Павлик с Кристиной.

– Если лечь валетом, можно даже поспать, – учила Женька: на каникулах между вторым и третьим курсом института она ездила со студенческим стройотрядом, и это было лучшее лето в ее студенческой жизни.

Не успели расположиться и доехать до Святошина, как завыла сирена воздушной тревоги. От этого звука сердце обрывается и летит вниз, а в животе внутренности наматываются жгутом.

Женька и Кристина слышали этот жуткий звук впервые – в Ирпени еще не успели поставить сирены, зато киевляне наслушались вдоволь... Женька посветила вниз и увидела: мамочка, прижимая к себе младенцев, упала грудью на мальчиков, задремавших на пальто прижавшись к собаке, а Рената, подхватив с полу Лизочку, подложила под себя ее и Максика. Никто не шевелился, пока Женька и Кристина сверху не закричали: «Отбой!» Близнецы, конечно, сразу заорали, а может, они кричали и до того, но за сиреной их никто не слышал...

Мамочка близнецов вернулась к себе на полку, оправилась, попросила Павлика отвернуться и, прикрывшись полотенцем, стала кормить обоих младенцев одновременно. Максик, услышав аппетитное чавканье, недовольно запищал, потом захныкал и завертел головой в поисках соски. Видеть его голодным Ренате было в удовольствие: раньше малыш не знал этого чувства. На секунду обрадовавшись, Рената с ужасом вспомнила, что рюкзачок с детским питанием остался растоптанным где-то на перроне... Максик орал уже в полный голос, и Рената заплакала от бессилия...

– Питание для грудничка, молочная смесь; есть у кого-нибудь смесь и бутылочка? – эту просьбу, сопровождаемую воплями голодного младенца, передали по вагону, но все только пожимали плечами.

Когда близнецы, наевшись и откинувшись, блаженно задремали, молодая женщина протянула руки к орущему Максиму.

– Давай его сюда, накормлю. У меня молока много – сейчас вот грудь обработаю...

ЛЮДИ И СОБАКИ

Лера знала, что пригнуться смысла нет – потолок больничного подвала был достаточно высоким – но всё равно при каждом взрыве она невольно втягивала голову в плечи, и ей было стыдно перед ранеными. Бучу бомбили, расстреливали из танков и минометов; часто те, кто вез раненых в больницу, до нее не доезжали – и раненые умирали от ран в машине с погибшим водителем.

Тем не менее больница еще как-то держалась. К счастью, Ксюша смогла вывезти оставшихся раненых из Гостомеля и присоединилась к Лере. Володню пришлось забинтовать и замаскировать под пациента, иначе ему не выжить: мужчин призывного возраста расстреливали на месте.

Раненых украинских солдат прятали в углу подвала, форму сразу сжигали. Русским раненым оказывали первую помощь и передавали военному коменданту, и это как-то облегчило существование больницы. Тяжелее всего было с медицинскими препаратами. Запасов еды пока хватало, но было понятно, что и еда скоро закончится – и где ее брать, неизвестно: местные жители сидели в подвалах своих домов, в которых были расквартированы оккупанты. Телефоны забирали и уничтожали на месте; лишь некоторым удавалось их спрятать и заряжать в подвалах – и понемногу до мира доходила информация о том, что происходит...

Русские военные, оккупировавшие город и дома бучан, вели себя по-разному: некоторые специально ставили шкафы или столы на крышку подпола, чтобы люди не могли выйти, а другие угощали детей шоколадом и печеньем из своих пайков. Практически все грабили – из домов выносили всё мало-мальски пригодное, удивляясь зажиточной жизни украинцев. В первое время вытаскивали даже стиральные машины и загружали в оставленные людьми легковушки, но вскоре поняли, что машинам этим не проехать по разбитым военной техникой дорогам, свои же и разбомбят. Поэтому стали брать только деньги и украшения.

Лера сознательно загружала себя работой так, что чуть не падала от усталости, не спала уже несколько суток. От Юрочки не было никаких вестей – он не числился ни в списках мертвых, ни в списках раненых – и да, велосипед его так и остался возле того столба на дороге в Гостомель.

Единственное, что утешало Леру, – это то, что собаки были в питомнике, куда отвез их сосед Шурик. Правильно она сделала, что не оставила их дома: она туда не скоро вернется.

Телефон в питомнике, правда, не отвечал, и Шурик не реагировал ни на звонки, ни на сообщения, но на всё всегда есть объяснения: нет связи, невозможно зарядить... О других причинах Лера старалась не думать. Иногда ей хотелось пробежать несколько кварталов до питомника, обнять собак – так близко были Цезарь и Мухтар, живое напоминание о Юрочке.

Когда заговорили об открытии зеленого коридора для вывоза во Львов раненых и медперсонала больницы, Лера решила действовать: собак она должна забрать с собой! Лера пошла просить у Володи «бус», который, кстати, вернула ему в целости и сохранности, без единой пробоины, чем невероятно гордилась.

Вопреки ее ожиданиям Володя заупрямился, хоть Лера и обещала лично получить разрешение от русского коменданта, которому они только что они помогли с несколькими тяжелоранеными. Спорить с Володей у Леры не было времени: она торопилась на очередную операцию, а когда вышла, заплаканная Ксюша дрожащим голосом рас-

сказала, что в том самом питомнике с итальянским названием пьяные солдаты закидали собак гранатами, а тех, что не погибли, – расстреляли. Хозяйку питомника, женщину лет тридцати пяти, которая кинулась спасать собак, изнасиловали и бросили на улице – спасибо, соседи подобрали, а то не выжила бы в такой холод. Случилось это позавчера, но от Леры скрыли.

Лера, сняв маску и перчатки, обняла Ксюшу и вытерла ей слезы рукавом своей уже не стерильной медицинской рубашки.

– Пойдем готовить раненых к перевозке. Плакать будем потом...

Вместо эпилога

ДРУЗЬЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВО ЛЬВОВЕ

Встречать Леру 15 марта пришли все, кто еще оставался во Львове. Женька одной рукой держала за руку Лизочку, а другой – поводок с собакой, на которую по закону пришлось надеть намордник, и с гордостью наблюдала, как Артем и Кристина с Павликом помогали выводить и выносить из поезда раненых. Но на перроне было столько «скорых» и столько волонтеров, встречающих эвакуационный поезд из Бучи, что ребятам скоро стало нечего делать, и им пришлось вернуться к Женьке и терпеливо ждать, пока Лера распределит раненых по степени тяжести и проверит, есть ли у каждого всё, что нужно.

Лера попросила Ксюшу записать, кого из их подопечных куда забирают, – нужно будет всех навестить. Ксюша возвращалась с Володей в Киев – он идет в ВСУ, а она будет его ждать.

– Почему бы не ждать во Львове? – спросила Лера. – В Киеве намного опаснее.

– Потому что чем ближе ждешь, тем больше шансов увидеться, – с неожиданной мудростью ответила Ксюша.

Наконец-то все смогли отправиться в просторную львовскую квартиру, которую снял для Женьки и всего семейства Артем. У него оставалось два дня до начала службы в Интернациональном легионе, и он делал всё, чтобы облегчить матери и всей команде переезд в Польшу. С присущей ему предприимчивостью он смог, будучи в Кракове, найти Женьке работу в Starbucks на площади перед железнодорожным вокзалом, а также снять квартиру в доме, где разрешали держать собак. Кроме того, он успел оформить Женьке временную опеку над Лизочкой, иначе через границу ее не перевезешь. А вот Ренату с малышом пришлось сразу после прибытия отправить в Варшаву: состояние Максика ухудшилось. Там их уже ждал Леонид. Он планировал взять семью в Израиль, там точно малыша вылечат.

Милана позвонила проверить, как добралась Лера. Она сама в Днепрпетровске: живет в гостинице для беженцев и шьет балаклавы

для ВСУ. Первую партию Денис уже отвез отцу в свой любимый Северодонецк – за него еще боролись. Денис организовал волонтеров и на своей машине возил помощь на линию фронта. Скоро придет в Польшу за дроном – деньги уже собраны.

Через два дня провожали в армию Артема. Женька нашла в квартире настоящий чугунный котелок и наварила плова, который с удовольствием ела даже Лизочка, хотя обычно, как уже поняла Женька, она питалась только йогуртами и мороженым.

Улучив минутку, Лера отвела Артема в сторону:

– Извини дружок, но ты сдай мой билет до Кракова, пожалуйста: я возвращаюсь в Киев.

– Тетя Лера, – заныл Артем как маленький, – там же бомбят, там опасно! И я думал, вы поможете маме... И Димка вам уже вызов в Америку оформляет!

– Артемчик, у твоей мамы много помощников, а меня в Киеве работа в госпитале ждет: я там нужнее, чем в Америке. И самое главное, Артем: я Юрочку жду.

– Но почему не ждать во Львове – тут безопаснее!

– Потому что чем ближе ждешь, тем больше шансов увидеться.

Бостон

Александр Самарцев

ЕЩЕ НЕ ТОЧКА

Светло вовсю но присмотрись – ни зги
флэшмоб самолюбив огнем нехилым
когда не пресловутые мозги
а сердце растекается по жилам
запутаны сезонов провода
искра к ним заполярная тверда
пропущенный срывается звонок
ему ты позарез из ниоткуда
о не пророчь что скручен твой итог
что нас таких немереная груда
лоб в лоб пусть эту правду правда съест
не требуя подъемных и сиест.
День под ногами грязь или пыльцой
нашелся оглашаясь перекликом
с бессчётно с переполненно пустой
надеждою на перепутье тихом
тот смрад тот самый-самый гной слепя
перенайтись по-страшному в себя

И ОСТАЕТСЯ ПРАЗДНОВАТЬ

Крошево жижа двора
предновогоднего
время куда нам пора
выдохом поднято
вязок исхлестан маршрут
этот прогулочный
по умолчанию крут
к самой полночи
тянутся жала ракет
стрелкой курантовой
перст Протопопа воздет
Кремлегарантами
послеприлетный завал
галочкою викторией
Книгу Возмездия смял
стонами вторя ей

Жги свои чучела жги
 прямоходящие
 тостеры стружки снежки
 черные ящики
 морок за что ни про что
 жижу и крошево –
 дар от какого прошло
 столько хорошего

ПРИБЫТИЕ

П.

Клад ли где дыряв а где припрятан
 выветрен божочек бог куриный
 дразнит нас преследует фарватер
 сбывшимся подмятые руины
 намертво смагничена оглядка
 гололедным под навес перроном
 кинолента дрогнула – и ладно
 встретить меня к тебе приговоренным
 небо декабря в румянцах стужи
 близоруко выдохом оно же
 всё что есть неспешного снаружи
 вновь на узнавание похоже
 клейкость хвои в головы наклоне
 сонное недоспанное детство
 счастья и вины запас огромен
 дар двойной легко с которым спеться
 он развеян обморок итогов
 ревности к поплывшему стоп-кадру
 то надрывно то безвольно гордых
 кто продлится длится до упаду

* * *

М.М.

Смерть приторможена как ни ускорится
 не было может и нет
 ейного призрака – подпись убориста
 змееподобного Z
 хоть по-военному вытянут маятник
 связан одышкой размах

и среди вех несдвигаемо памятных
честному сердцу не ах
ни вразливную ни водоворотами
не заштампуется слух
угли присыпало – дунешь – да вот они
август – ау! – не затух
про батарейки любовного мобиле
будь же перпетуум прост
образ плечом подпирает подобие
отнятое через вопрос
душу залатанную потерями
копией как разведем
также и виражами похмельными
стен где их треск и пролом
время фильтровано залимитовано
сжались маршруты вины
малое счастье – лишь масло моторное
мигу которым полны
по умолчанию по холостому ли
ходу про всё что всплыло
перепрошито за хромосомами
вслед безответным «алло!»
наше сбилось потому и ужалено
неисчезаемо днесь
ныне и присно волшебное зарево
взрывонадежная смесь
слив от буксира расходится «елочкой»
множа волну за волной
память укачана тягой осколочной
тиною береговой
тиканьем всей прибиваемой ветоши
ко временам корневым
где мы колеблемы влагою режущей
перед которой стоим

ОХРАННИК

Не сезон – беспилотна пронизанность сочная
разговоры отчетливы за километр
дрон стремглавее зайца – мишень его точечна
это паданцы дворник шурует Ахмет
перегнали пластунски – взбивалка кошмарная
в пластик черный как мобиков их утрясла

есть и ночь с вертикалью горящей шлагбаума
 для «открыто» и просто для ложного сна
 Писк от пульта нажимами суетно целится
 вражий тыл отмахнуть разорвать отскрести
 но авоська межзвездная крупноячеиста
 монитора за пазухой у высоты

* * *

Michael'у

Придирчив я ревнив
 к забросам тьмы сырой
 уроки отменив
 айда но не домой
 как вырастаем вспять
 до спуска за углом
 крик за спиной «стоять!»
 из сна ему – «кругом!»
 Что вспомню что рожу –
 он слипся мелкий ад
 опробуй по ножу
 (тупому – говорят)
 про всё теперь про всё
 поблажками грозя
 грязь грязь под колесо
 из никого в друзья
 трем деревцам холма
 извилинам лыжни
 и нам и нам сполна
 молчания нужны

* * *

Листья ссыпаны – даже здоровые – запросто
 на фигурную плитку на заспанный мозг
 доверительна гибель за что-то ужасное
 шелушит не пускает вразнос
 А другие в ковчегу упрямо скукожатся
 насмерть виснут – зима нипочем –
 сколько надобно мужества или убожества
 о спасении петь закорючкой клочком
 врать угрюмо и всё же бестрепетно
 про с оливковым якобы прутиком клюв
 из призывов обетованного лепета
 что-то выше и выше вверх

Инна Кулишова

* * *

Когда идет человек по улице что не та
он превращается не в своего кота
грязный грустный не грозный усталый он
медленно медленно медленно вне сторон
не оглядываясь не расчесываясь не спеша
он или кот идет и его душа
спит где-то вдалеке в других местах
и не ждет не питает без тела страх
жизнь его душа человека или кота
спит и видит что улица вся пуста

29.03.23

* * *

Говорит вдовец вдове:
как там будет в синеве?
Говорит вдова вдовцу:
первый кто из нас к Отцу?

Чай вприкуску. Булки. Ва-
ренья. Бра. Еще, вдова?
Чай. Добавка. Дай хлебец.
Вот, с вареньем ешь, вдовец.

Скоро будешь ты вдовой.
Ошибаешься, друг мой.
Скоро будешь ты вдовцом.
Тю, кому отпишем дом?

На окно надел чепец
вечер. Хата. Голова
к голове, сидит вдовец,
рядом с ним сидит вдова.

Ночь. Летит в один конец
дрон. Ракета. Синева.
Хорошо, что спит вдовец.
Хорошо, что спит вдова.

26.07.23

* * *

Здравствуйте. Можно ли помолиться?
 Но мой муж лишь лев, а я только львица.
 Я в углу тихонько, на коленях, чтобы
 не тревожить львят из твоей утробы.

Они спят, пока что они спят там мирно
 и не знают, что моя кожа – ширма.
 Заходи – крепка, как бесстыдство, клетка,
 шей свои слова, словно малолетка.

Вот придет мой муж, вот вернется скоро.
 Я в углу, нигде нет угла другого.
 Всюду вскрыта почва, кровь черна и мины,
 и червивы десны, и чернильный мнимый

почерк шага влево-вправо, и готовы, как буквы, черви,
 вспаханы десны, не прожуют, привкус ее – дочерний.
 Заходи – у клетки стены есть и крыша,
 почва не слышна, здесь она не дышит.

В нее не вмерзнуть, бо горяча, только распасться,
 только с миной в обнимку в знак братства,
 равенства и свободы.
 Помолись, у меня отходят воды.

Нас тут сбросили сверху. Посланцы, ррры-мы.
 Лев, мой муж, упал отдельно, вертолетом хранимы,
 мы теперь с тобою, и храм есть клетка.
 Помолись, мой Отче, человек мой, Детка.

4.09.23

* * *

Нашепчу тебе столько тайн.
 Что ни тайна, сильнее по ней ударь.
 Да забудь меня, говорит Иерушалаим,
 оставляй живыми зверей и сухим алтарь.

Что за тайны, в них нового нет, зол зайн*,
 в смысле зайн** зол, умерщвление букв в алфа-
 вите. Забудь меня, жизнь моя, Иерушалаим,
 только пусть будет кровь в живущих жива.

12.10.23

* Зол зайн – пусть будет (*идиш*)

** Зайн – буква еврейского алфавита; пиктограмма меча с обращенным вниз клинком; в иврите имеет также значение «фаллос», в профанном языке соответствует мату.

* * *

Погибнут все. И тот урод, и эта
 профессорша, и олигарх, и стерх,
 которому не довелось, и вето
 на вето и навета, кто не сдох,
 погибнет, журналист, пенсионеры,
 их внуки, правнучки, святые, свя-
 занные узами, и рухнут стены,
 и опадет свобода не своя.
 Слоны, верблюды, лани, черепахи,
 отчет от нашей эры, камни, пыль
 космическая, баловни и лохи,
 останется
 пустой,
 безвидной
 боль

29.10.23

* * *

Самое главное не режь зверей
 которых я лично знаю
 Накрывай стол
 на всё количество стран
 Выпни свой востор-
 г выплесни вызрей
 в заоблачный стан
 плода в котором не выживаю
 ангелы коп(ь)ят там крылья мают
 крылышки типа бесплотные что твой ствол
 когда выстрелит ну скорей
 что там летает железное бездное ней-
 росетное внесекретное тран-
 со-странное and did it my way
 обрежай солнце по каравайкраю
 подавай сочащееся из щелей
 дыр на месте голов только моих не зарезай
 можно и человечину эй
 срежь последнюю стаю
 этих ящич вскрывай кувшины открывай кран
 поперек вино в кровь зол
 и резв ждет левиафан

26,29-30,1.10,11.23

* * *

В черную пятницу все товары попадают в рай:
мыло из тети Цици, абаж'юри из золотистых волос
Лорелеи, голова девятилетней Лизель, головка
пятилетнего Арье, названного в честь прадеда Арье,
крашеную куртку из чьей кожи доносил
мальчик Болек, по доносу отца в свое время
взятого как будущий материал
для куртки, а кошку с псом
у Арье и Ентл отобрали
еще раньше – хо-
рошо,
что они еще успели ранее наплодить нев'роя-
тное количество потомков, некоторых из пос-
ледних съели русский, бурят, еще кто-то в Черноголовке
или где-то еще в Украине, пока в подъе-
зд их соседей входили чекисты за девочкой ...ти лет от сил,
а аллахуакбар перелезали через забор вместе со всеми
фотокорреспондентами, а Господь зевал
во всё небо и принимал товар по скидке – сонм
кресел, диванов, лэптопов, собак, кошек, коров, палли-
ативных типа игрушек, и тихо, тихо
с ними всё дальше шел.

19.11.23

Александр Беляев

* * *

Рак-отшельник в скорлупе
раковины то застынет,
то продолжит по Москве,
превратившейся в пустыню,
в свойственной ему (бочком)
нерешительной манере
перетаптываться в сквере
вопросительным крючком.

* * *

гражданин вселенной
как твой курс обменный
вывезла кривая

в шатком мире этом
что стоишь с планшетом
в поисках вай-фая

твой стаканчик с кофе
загрузился в профиль
сделался скриншотом

и выходит «в топчик»
сладенький сиропчик
ботами сработан

в океане мерча
пиксельного смерча
настоящей крови

облачная встреча
с теми кто далече
вот такой пур-овер

* * *

Дураки, но что-то мы усвоили:
горы, рюкзаки, тетрадки, лыжи...
Зализняк летит на мотороллере
по Москве и по Парижу.

Слышно: самиздатовское, хрусткое,
видно: краснокнижное, осеннее,
мелким шрифтом набранное: «Русское
именное словоизменение».

«Заля!..» Что за время в этом имени!?
...список настоящих и прошедших
(Апресян, Мельчук), покрытых инеем,
с холода в лингвистику пришедших.

* * *

Не хором – дружно – по команде
а кое-как и кое-где
она возникнет на веранде,
помедлит, спустится к воде
и станет чем-то вроде свитка,
украшит зал (а мы зашли,
успев воспользоваться скидкой,
и смотрим): в метре от земли
от ветра, солнца, дня и ночи
проходит тихая игра
на увядание – короче
ну-да, осенняя пора.

ТРАУРНАЯ ПРОПИСЬ

(из Вана Сичжи)

Сичжи падает ниц под тяжестью бедствий и смуты.
Как вспомню, что стало с могилами наших предков...
Сплошные набеги, погромы, жестокости без пощады...
Как же болит всё внутри при взгляде на это!
Что с того, что поймашь, накажешь виновных?
Скорбь тяжела, глубока – что может быть глубже?
Что поделать? – Не ведаю... вот, предаюсь бумаге.
Но что тут скажешь? Сичжи падает ниц. Падает ниц.

* * *

всегда этот первый вопрос с утра
с какой фразы чью книгу раскрыть наугад
палмер? целан? транстрёммер? годзо?
как будто бы от этого что-то зависит
ты вот делаешь утреннюю гимнастику
машешь руками-ногами в определенной
последовательности так называемый
комплекс упражнений здесь вопросов не
возникает по крайней мере не должно
возникать а я стою перед книжной
полкой. бонфуа? муссаппи?
иностранные стихи в переводе на русский
(и чем хуже – тем лучше)
иногда кажутся последним что можно читать
что осталось читать так мне кажется
в этот первый вопрос с утра
в это место рождения строчки из
нового дня

* * *

кастрюлька булькает о том
что появляются стихи
открой где надо толстый том
кило трухи и шелухи

бумага сваренная из
волокон чистой болтовни
убавь прикрой обложкой вниз
перемешай переверни

варись варись стихотворись
не выкипай еще пока
наверняка не повторись
и не кончается строка

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Геннадий Аляев

«Война есть физическое проявление духовной болезни»

*Жизнь и война Василия Франка**

Часть 2. Военный дневник

ФРАНЦИЯ И ВОЙНА

Хотя первая тетрадь дневника практически не сохранилась (кроме одного листа), мы можем точно сказать, что отправной точкой для первых записей стал приезд Василия Франка к родителям в только что освобожденную Францию в сентябре 1944 г., точнее – те беседы с отцом, которые состоялись во время этого приезда. Предыстория этой встречи такова.

В конце 1937 – начале 1938 гг. сначала С.Л. Франк, а затем его жена и дочь, выехали из Германии («Вообще ‘höchste Eisenbahn’¹ выбираться из этой зачумленной страны», – писал Франк Василию 8 февр. 1938) – фактически то была вторая вынужденная эмиграция в жизни семьи. Их план состоял в том, чтобы жить на юге Франции, где перед этим сын Алексей с женой-англичанкой Бетти Скорер купили домик в «русском Фавьере»² – Татьяна Сергеевна собиралась летом вести там пансион для отдыхающих, а на зиму перебираться в Париж. В первое лето дело вроде бы пошло, однако в августе у Франка случился сердечный приступ – сказалось исключительное напряжение духовных сил при написании «Непостижимого», да и южная жара оказалась для него вредна.

Следующие весну и лето они проводили уже в Париже. При этом серьезно рассматривался вопрос о переезде в Лондон, к детям (после Василия в Лондоне оказались также Наталья – в феврале 1939-го она вышла замуж за Поля Скорера и уехала с ним, и Виктор, который тогда же получил академическую стипендию в Оксфорде и последним из семьи выбрался из нацистской Германии). Однако Франка пугала анг-

* Начало см.: НЖ, № 314, 2024. Первая часть публикации была посвящена «знакомству» с Василием Семеновичем Франком, сыном философа С.Л. Франка, – чтобы через его биографию и эпистолярное наследие попытаться понять, насколько это возможно, его духовный мир и этический кодекс. Теперь же в центре внимания – дневник В.С. Франка, обстоятельства написания и содержание этого эго-документа. (*Публикаторы*)

лийская дороговизна – он считал, что его средств (в мае 1939 г. ему была назначена трехгодичная стипендия от Исследовательского отдела Всемирного Совета Церквей в 250 фунтов ежегодно) будет недостаточно для жизни в Лондоне. Пока этот вопрос обсуждался с детьми, началась война.

В сентябре 1939 г. Франк с женой вновь уехали на юг Франции. Сначала они жили с Алексеем и Бетти в Фавьере, а с декабря – в соседнем городке Лаванду. Вопрос о переезде в Лондон обсуждался весной 1940 г., но был снят с повестки дня немецкой оккупацией северной Франции (Франки остались в «Свободной зоне» Виши). При этом сильно осложнилась не только переписка с Англией, но и получение стипендиальных денег – единственного источника существования для Франка и его жены. Постепенно вступали в свои права и условия жизни военного времени – нехватка продуктов, переходившая временами в настоящий голод, которая сопровождалась карточной системой и черным рынком с катастрофическим ростом цен; нехватка дров, медикаментов.

Попытка выбраться в Англию вновь была предпринята в 1942 году. В августе из Фавьера уехали Бетти с двухлетней Марусей и матерью Эми Скорер (Алексеем визу не дали) – утомительный маршрут лежал через Испанию и Португалию, а затем перелет гидропланом. Франку с женой благодаря помощи влиятельных друзей удалось оформить необходимые для выезда документы, были даже куплены билеты на самолет из Лиссабона, но слишком задержалась транзитная португальская виза. Она пришла через несколько дней после того, как 11 ноября немецкая армия вошла на юг Франции и путь в Испанию был отрезан.

Лаванду и Фавьер, где жили Франки, оказались в зоне итальянской оккупации. Это было лучше в смысле безопасности (известно, что в итальянскую зону переехало много французских евреев, спасаясь от немецких концлагерей), но в поисках средств существования теперь приходилось полагаться только на друзей. Регулярную финансовую помощь Франку оказывал Л. Бинсвангер; он же, а также Эльза Малер (когда-то – слушательница Франка на Бестужевских курсах, а теперь – профессор Базельского университета) были едва ли не единственными посредниками, через которых еще можно было поддерживать связь с детьми в Англии, – пусть даже «новости» доходили «из довольно далекого прошлого»³. Условия продолжали ухудшаться. «Мы – в хорошем здравии, хотя еда начинает заканчиваться, а иногда мы действительно голодаем»⁴, – писал Франк Бинсвангеру в апреле 1943 года. Опасаясь, что следующую зиму на Лазурном берегу они не протянут, Франки приняли предложение священника Валентина Бакста переехать под Гренобль, где тот хотел устроить небольшую молодежную общину и обещал гораздо лучшие условия питания. Еще одним фактором стало, конечно, изменение военно-политической ситуации: высадка союзни-

ков в июле на Сицилии (в которой, напомним, участвовал и Василий Франк) предвещала скорый уход итальянцев и приход немцев (что и случилось уже в сентябре), и оставаться на побережье, вблизи таких крупных городов, как Тулон и Марсель, было крайне небезопасно.

В августе 1943 г. Семен Людвигович и Татьяна Сергеевна с сыном Алексеем уехали с Лазурного берега в предальпийский Альвар-ле-Бен (Allevard-les-Bains). С общиной, правда, не сложилось, и уже в октябре они перебрались на хутор Сай (Sailles) возле соседнего поселка Сен-Пьер д'Альвар (St. Pierre d'Allevard), где прожили ровно год – до октября 1944-го. Выбор оказался удачным. Во-первых, ситуация с продуктами здесь действительно была лучше, чем на побережье, и хотя источников дохода по-прежнему не было, Франки брали «кредит в натуральной форме» у местных жителей, лишь изредка и частично погашая его благодаря вспомоществованиям от друзей. Во-вторых, в этом тихом отдаленном уголке они действительно смогли укрыться от немецких облав. Приехавшего к ним после освобождения Василия поразило то, что, прожив год под немецкой оккупацией, родители ни разу не видели немецких солдат (об этом – первая запись дневника), хотя немцы и бывали очень близко – во всяком случае, если бы Франки остались в соседнем Альваре, они бы их точно увидели: «<...> Немцы просто налетали на разные деревни и их сжигали (на Allevard они бросили несколько бомб и убили несколько людей). Всё это их, особенно маму, волновало. Папа говорил, что всё воля Божия. Когда немцы наехали и устроили Razzia⁵ в первый раз на Allevard, они просидели целый день где-то в лесу. Потом им сказали, что немцы ловят именно тех, которые скрываются. Поэтому они уже не уходили из дома во время этих налетов» (Письмо Наталье, 5 ноября 1944).

Немцы охотились не только за евреями, но и за французскими партизанами (Maquis), которых в этих местах было много. Уходил к макийцам и Алексей, однако не прижился в отряде (позднее он написал довольно красочные «Героические рассказы» об этом своем опыте⁶). Зато когда в конце августа 1944 г. в Гренобль пришли американцы, Алексей сделал всё возможное, чтобы доказать им свою полезность, и в результате, даже не попрощавшись с родителями, ушел с американской частью в роли переводчика (фактически, впрочем, как написал потом его командир, «он взял на себя обязанности носильщика боеприпасов для отделения в пулеметной взводе»). Надо сказать, что жизнь с Алексеем – в силу особенностей его характера, негативные проявления которого только усиливались неустроенностью и разлукой с семьей, – была для родителей нелегка, поэтому первой их реакцией стало некоторое облегчение: «Не зная, что с ним будет дальше, на данный момент это лучшее, что могло случиться и для него, и для нас», – писал Франк детям в Англию в день встречи с Василием 22 сентября. Дальше, однако, последовало тяжелое ранение

и увечье на всю жизнь, страдание и отчаянная борьба всех близких – особенно матери – за здоровье Алексея и за компенсацию и пенсию от американской армии и властей; эта борьба продолжалась более десяти лет, но так и окончилась ничем... Впрочем, это уже другая история.

АНГЛИЙСКИЙ КАМИОН

Как мы помним, в октябре 1937 г. семнадцатилетний Василий, младший сын Франков, уехал на учебу в Англию, начав тем самым самостоятельную жизнь. Перед войной он еще дважды встречался с родителями уже во Франции – в декабре 1938-го в Бюсси-ан-От («нам так приятно было снова с тобой ‘познакомиться’ – уже не как с мальчиком, а как с юношей», – писал Франк сразу после его отъезда), а затем в июле 1939-го приехал к ним в Фонтене-о-Роз. Запомнились ему празднование «Quatorze juillet» (пять лет спустя, на празднике в маленькой корсиканской деревушке, он вспоминал, как ездил с мамой и Виктором смотреть на танцующий Париж и фейерверк) и день рождения, проведенный с родителями; этим же летом побывал он и у Алексея в Фавьере (туда ему доведется еще раз попасть уже в конце войны).

Находясь в действующей армии, Василий получал очень скудные сведения о родителях, которые ему передавал Виктор со слов Бинсвангера. При этом письма Василия к брату и сестре полны забот и переживаний об их судьбе (как и о судьбе второго брата). Воображение рисовало – и вовсе небезосновательно – самые разные картины возможных опасностей и бед, связанных с пребыванием в оккупации. Особенно невыносимой была мысль, что родители, скорее всего, голодают, а он живет на всём готовом, и его жизнь в армии «принципиально не отличается от английских стандартов», и даже лучше, чем он мог позволить себе в Англии (что было обусловлено, конечно, особым характером службы). Василия охватывал стыд: «Вокруг хаос, смерть, голод, зло, а я живу так, словно в мире царит порядок, словно человечество ведет себя, как хороший ребенок. Я забываю, что папа и мама в этот момент голодны. Я забываю, что недалеко от меня умирают люди, что люди страдают, что в России мучают миллионы, что всё, что мы ценим, всё, что для нас является смыслом и целью жизни, уничтожается и насилуется. Я краснею и ненавижу себя за то, что ложусь спать и знаю, что завтрашний день неизбежно наступит со своей ужасающей и кошмарной регулярностью и рутиной. И я не могу понять и презираю людей, способных выдерживать и полюбить это. Мы подвергаемся испытанию, испытанию наших достоинств, мы запятнали приличия, человеколюбие и брак, и многое другое, и я не могу и не буду считать это рутиной. Я не приму как следствие агонии человечества чистку ботинок. Когда мой ребенок находится в горящем доме, я не занимаюсь укладкой волос. Я приехал сюда с открытым сердцем, надеясь, да, надеясь, что не останусь в стороне от этого гран-

диозного события, происходящего с человечеством. И всё же ничего не изменилось, если не сказать больше, я чувствую себя хуже, стал физически ближе к этому, и всё же всё это так далеко, так туманно» (Письмо Наталье и Виктору, 12 марта 1943).

На этой почве, между прочим, у него частенько возникало недопонимание с его английскими сослуживцами – Василия корбила их напускная отстраненность, отсутствие сострадания, нежелание понять окружающих: «На меня находит регулярная меланхолия и хандра, всё надоедает, люди, ежедневная рутинная однообразной жизни, грязь моральная и слепота людская» (Письмо Наталье, 2 марта 1944). Во всяком случае, его главным желанием и надеждой было «как можно скорее выиграть войну и вывезти их [родителей] оттуда». Но война шла своим чередом и не спешила заканчиваться.

Из полученных через Виктора известий Василий знал, что родители уехали с побережья, и знал их адрес («Слава Богу за папу и маму. Я ужасно боялся за них на юге, особенно теперь, что начинаются наши налеты. Я за последнее время нагледелся жизни штатской в таких районах, и – не дай Бог.» (Письмо Виктору, 12 ноября 1943)) По мере чисто географического приближения к югу Франции (Северная Африка – Сицилия – Неаполь – Корсика) у него появилась сначала «фантастическая», но потом всё более реальная мечта увидеть их, и не просто увидеть, а помочь, дать им то, чего они были лишены, буквально – спасти их жизни. Он учил французский язык – для того, чтобы легче их найти: «Я по ночам себе представляю, как я разыскиваю папу и маму. Раньше бывало всё спрашивал, нет ли поблизости русских, а теперь гордо по-французски: ‘Pardon, madame, connaissez-vous où M. et Mme Frank habitent?’ Когда придет это время, Наташа, когда?» (Письмо Наталье, 12 января 1944). «Я думаю, что недалеко время, что я приеду к ним» (Письмо Наталье, 23 февраля 1944).

Уже в Италии, а затем на Корсике, он начал собирать вещи, продукты, деньги на случай, если такая встреча произойдет. Особенно интенсивной эта подготовка стала после высадки союзников в Нормандии и с началом освобождения Франции: Василий запасался продукцией английского «военторга» NAAFI⁷ (сигареты, спички, крем для бритья и лезвия, мыло и полотенца, носки и носовые платки, консервы), для Алеши и отца откладывал сигареты, которые ему присылал из Англии Виктор, и даже просил Виктора и Лорну использовать канадские связи (она была канадкой) для отправки ему посылки, которые он мог бы потом передать родителям. «У меня столько накоплено вещей, что мне нужен будет автомобиль. Уже один мешок полный, а другой наполовину.» (Письмо Наталье, 6 июля 1944) «Скопил больше 6000 фр., т.е. 30 фунтов для них, но как я ни живу скромно, трачу много, потому что покупаю много. Папиросы, табак, разные консервы, всё, что могу из нашей NAAFI (я, между прочим, стал ей у нас управ-

лять). Скоро ли, скоро я им это доставлю.» (Письмо Наталье, 23 июля 1944) Надеялся он помочь, кстати, не только родителям: «Кроме того, дай мне адреса (если знаешь) твоих и наших знакомых, которые там. Я, если смогу, хочу быть своего рода Travelling UNRRA⁸)» (Письмо Виктору, 24 августа 1944). Высадка союзников на Лазурном берегу переполнила чашу терпения – сержант воздушной радиоразведки готов был идти вместе с передовыми частями и с радостью ловил в эфире каждую новость о продвижении в сторону Гренобля.

Наконец, в первых числах сентября его подразделение оказалось в Сен-Тропе. Совсем недалеко были Фавьер и Лаванду, и Василию удалось побывать там. Картина оказалась печальной: «Русский Фавьер» был почти уничтожен немцами, когда они готовились отражать высадку десанта союзников. С болью описывал он брату то, что осталось от их виллы «Золотой петушок»: «Там, где я помнил дома, их не было, деревья тоже отсутствовали. Наконец, я нашел те каменные ступени, ведущие на кухню. И тут я понял и начал представлять, где находился дом. От него ничего, абсолютно ничего не осталось. Даже камни и кирпичи разбросаны. Деревья исчезли, по всему этому месту прорыто множество траншей, оно выглядит ужасно грязным и непригодным для жизни. Там до сих пор много мин. К морю я идти не решился. Blanc предупредил меня, что маленькая тропинка и пляж заминированы. Это очень печально. Это было сделано задолго до вторжения, в июне или июле» (Письмо Алексею, 21 октября 1944).

Но главной целью всё-таки было добраться до родителей. Фронт уже был далеко, и работы у подразделения, очевидно, немного. Командир Василия лично отвез его. (Вскоре он погиб: «Мама, ты помнишь моего капитана, того, кто привез меня (а не увез)? Он умер в начале ноября. Где и почему, я не знаю. Он тебе нравился, помнишь?») (Письмо родителям, 17 декабря 1944)) Они приехали в Сен-Пьер д'Альвар 22 сентября около 10 утра. Василий расспрашивал (вот и понадобился французский!) дорогу на хутор Сай (оставалась пара километров) и называл фамилию хозяина – мсье Raffin, но его узнали – «votre maman sera heureuse»⁹. Когда грузовичок подъехал к дому, Татьяна Сергеевна уже стояла на крыльце – потом объясняла, что «она, как маленькая девочка, выбегала посмотреть на каждый проезжающий камион». Не видев младшего сына пять лет, сначала даже не узнала: «Подумала, что я – Алеша, только почему-то ростом пониже и блондин, и лишь через несколько секунд поняла, кто я такой». С отцом встретились уже в доме. «Следующие несколько дней они, как они говорили, были немного сумасшедшими» (Письмо Наталье и Виктору, 19 октября 1944).

Это неожиданное появление любимого Васюты на английском камиионе и несколько дней взаимного счастья, «от которого можно было умереть», стали для семьи, конечно, легендарным событием. «Он привез нам самого себя, деньги и подарки», – писал Франк лон-

донским детям в день его приезда. Безусловно, Василий спас родителей от «долговой ямы», что позволило им уже вскоре перебраться из глухой деревушки в Гренобль. Это было важно не только для лучшей коммуникации с детьми и подготовки условий для последующего переезда в Англию, но и для преодоления духовного голода – Семен Людвигович смог, после нескольких лет перерыва, вновь работать в библиотеке. Но бесконечно более важным, чем вещи и деньги, в приезде Василия был он сам – живой и здоровый, и хотя не прежний «*meine Kleine*»¹⁰, как называла его в детстве мама, но такой же любящий и нежный. В день его отъезда Франк записал в своем ежедневнике: «30 сентября. После 9 дней безграничного счастья общения с Васенькой он, так же неожиданно, как приехал, поздно ночью (в 1 ч.) с субботы на воскресенье нас покинул – за ним приехали товарищи на камиионе и увезли его – обратно в Salon под Марселем, а потом неведомо куда. Кончился наш блаженный сон!» Как вспоминала позже Татьяна Сергеевна, «мы долго не могли наладить своей жизни, нам всё казалось, что он возвращается, мы путали шум от соседнего ручья с шумом от автомобиля»¹¹.

Для самого Василия эта встреча стала настоящим глотком свежего воздуха: «У меня было ощущение, что я был под водой, с трудом дышал, но каким-то чудом выбрался на поверхность и сделал несколько судорожных вдохов» (Письмо 23). Вернувшись в Италию, он очень подробно, в нескольких письмах, описал сестре и старшему брату мельчайшие детали своего приезда – как его встретили, как проводили время, о здоровье и самочувствии родителей, как они выглядят, как питаются, как обстоят дела с финансами, с кем общаются и как переживали немецкие облавы, что рассказывали о судьбе общих знакомых. Наконец, одно из писем он специально посвятил «мыслям отца». И мы понимаем, что для отца-философа это свидание, которое он пережил «как чудо», было исключительно важным именно своей содержательной стороной – это было духовное общение с младшим сыном, которому он поведал надуманное за долгие годы войны. Равным образом это было крайне важно для Василия, который мог, наконец, непосредственно, «глаза в глаза» – в отличие от своих «философских писем», ответы на которые приходилось иногда ждать месяцами, – услышать мнение отца по мучившим его вопросам. На маленьком предальпийском хуторе сын с отцом получили уникальную в условиях войны возможность выговориться друг перед другом, обсудить то, что их давно занимало, что волновало их дух и значило для них обоих больше, чем заботы и тяготы чисто физические.

ХРИСТИАНСКАЯ СОВЕСТЬ

Это письмо – не только изложенные в нем «мысли отца», но и ясно выраженное Василием отношение к ним, – является настоящей

«завязкой» дневника. При этом можно утверждать, что Франк прямо говорил сыну, чтобы тот записывал свои мысли: «Я также немного пишу, как ты мне советовал, папа», – замечал Василий позднее (Письмо 24); этот совет был уже не первый – вести дневник как средство самопознания Франк рекомендовал сыну еще в школьные годы¹². Для самого Семена Людвиговича философский дневник был важным инструментом его духовной лаборатории – прежде всего тогда, когда идеи будущей книги еще не выстроились в логически стройный ряд, а приходили подчас неожиданно, как «*свободные божьи дети*» (Франк любил эти слова Гёте), – так записывалась «Первая философия»; или тогда, когда внешние условия не позволяли думать о систематической работе, а скорее, лишь о страданиях и близости смерти, и когда подчас не было даже бумаги, чтобы начать большой труд. Так, в ноябре 1942 г. – сразу после того, как в результате немецко-итальянской оккупации рухнули надежды выбраться из Франции к детям в Англию, – Франк начал записывать «Мысли в страшные дни». И хотя этот философский дневник в итоге будет почти полностью посвящен, казалось бы, отвлеченным проблемам философии творчества (напомним – «тема Васи»!), эпиграфом к нему Франк записал мысль о прощении как главном условии победы: «В ужасающей бойне, в хаосе бесчеловечности, царящем ныне в мире, победит в конечном итоге тот, кто *первый начнет прощать*. Это и значит: победит Бог»¹³.

Эта же мысль – только, скорее, как внутреннее чувство, не вполне оформленная саморефлексия – зрела у Василия примерно с того же времени, с начала североафриканской кампании, с того момента, когда в нем пробудилась жалость к пленённым в Тунисе немцам, с письма к Виктору 18 марта 1943 г., – и для него, конечно, крайне важно было поговорить об этом с отцом. Но и для отца это оказалось не менее важным – разговоры с сыном подтолкнули его к оформлению и развитию своих мыслей. Уже 16 октября 1944 г., т.е. через пару недель после отъезда Василия, Семен Людвигович начинает свою «новую тетрадь» и делает запись о «двух основных и безусловно неколебимых признаках» христианской нравственной установки в отношении войны. А именно, первый признак: «*Ненависть* к врагам, злодеям, преступникам безусловно и при всех обстоятельствах, без малейшего исключения, *недопустима и исключена*»; второй – «Начало *личной ответственности каждого* за всё зло, творимое в мире», – и Франк вновь повторяет: «Царство зла, разрушения, несчастий будет подлинно преодолено – можно сказать: эта ужасная война будет окончательно выиграна – только теми, кто наконец *научится прощать*. Вне этого миру нет спасения!»¹⁴

В силу внешних причин эти записи не получили продолжения, но в июне 1945 г. Франк написал статью «Христианская совесть и реальная политика», в которой его мысли нашли свое концентрированное

выражение. Эту статью (как и рукопись книги «Свет во тьме», содержащей те же идеи) Василий не мог тогда прочитать (статья так и не вышла при жизни автора¹⁵). Вообще Василий к этому времени почти не был знаком с опубликованными работами отца. В Берлине он до них еще не дорос, а в Лондоне их было сложно найти: «Читаю твою, папа, статью о русском мировоззрении¹⁶, которую я достал у Жени, когда я был там¹⁷. Мне очень хочется прочесть какие-нибудь твои книги, папа, да негде достать. Кроме 'Непостижимое' ничего здесь нету. А это трудно! Мне – стыдно. Твой я сын и ничего не знаю о отце» (Письмо родителям, 13 августа 1941). Тем более это было невозможно на фронте.

Младший сын впитывал мысли отца не из книг, а из живого общения с ним. Это духовное общение, получившее мощный толчок в сентябре 1944-го, было продолжено – в меру возможностей – в переписке первой половины 1945 года (не все письма С.Л. Франка, к сожалению, сохранились). Так, отвечая на рассуждение Василия о «том хаосе, той анархии в душах людей, которую создали 4 или 5 лет физической ненависти» (Письмо 24), Франк писал 3 марта 1945 г.: «Твоя мысль, что главный ужас войны в моральном разложении душ, – совсем моя мысль, и притом одна из заветных моих мыслей, и мне так приятно и трогательно думать, что в наших головах рождаются совсем одинаковые мысли».

Здесь важно подчеркнуть, что при всём пересечении основных идей С.Л. Франка и его сына, дневник последнего вовсе не есть их простое повторение. При том, что отец-философ безусловно помогал «собрать» мысли, привести их в некоторый порядок и выразить более четко и непротиворечиво, моральная рефлексия Василия о войне имела собственную природу. Эта природа была определена, прежде всего, его конкретным жизненным опытом – как предвоенным, так и, в особенности, военным. В сочетании с отмеченной выше склонностью к саморефлексии и воспитанными семьей моральными принципами непосредственная практика жизни – и особенно практика страдания и смерти – позволила Василию не только приблизиться к тем формулировкам, которые потом так точно, «в одном предложении», формулировал отец, но и выразить свое отношение к ним.

Прежде всего, в этом контексте следует отметить его рефлексии в связи с открывшимися в конце войны страшными фактами о немецких концлагерях. Вообще, если у Франка-философа идея «*солидарной ответственности всех за зло, царящее в мире*» звучит всё-таки несколько абстрактно, то у Франка-солдата она абсолютна конкретна: он искренне чувствует свою «ответственность за Лидице и Гернику, за каждого ребенка, умершего от голода» (Письмо 28), за все жертвы нацистских концлагерей: «В этих концлагерях мы все страдали, все умирали от какой-то разумом непостижимой силы, которая заставляла нас страдать и умирать. И также мы убивали и сжигали самих себя. Те

эсэсовцы и те жертвы и суть мы, мы умирали и телесно, и душевно» (Письмо Наталье и родителям, 1 мая 1945). В варианте этого письма, написанного сестре по-русски для пересылки родителям (английский вариант Василий послал прямо родителям и включил в дневник), он также писал: «Я помню одно стихотворение английского поэта 17-го столетия, John Donne'a¹⁸, в котором он пишет, что смерть каждого человека есть в каком-то религиозном смысле смерть всего человечества, что есть, кроме индивидуальной жизни, какая-то сверхиндивидуальная, общая жизнь всего человечества. Он сравнивает человечество [с] частью света, и смерть человека смыкает кусок земли морем. Помоему, мы связаны не только жизнью и смертью, но и грехом, т.е. есть и индивидуальный грех, и общий грех. Да это ведь само собой понятно. Христос ведь взял на себя не индивидуальные грехи человека, а общий, коллективный грех всего человечества».

Еще одним важным аспектом, которым отличаются рассуждения Василия Франка по поводу моральной оценки войны от рассуждений отца, является, пожалуй, его больший скептицизм в отношении возможности взаимного прощения. С одной стороны, он вполне соглашается с отцом в том, что война «не кончится до тех пор, покуда одна сторона не найдет в себе силы простить своему врагу». Однако при этом у него мало надежды, чтобы *какая-либо* из сторон нашла в себе такие силы. Франк-философ пытался переосмыслить концепт «реальной политики» (*Realpolitik*) в том смысле, что, в качестве «ответственной политики», она не ограничивается узкоэгоистическими интересами, а означает «ответственность за судьбу ближних», и в этом смысле не противоречит христианской морали, а воплощает ее. Иными словами, он считал такую *христианскую* политику вполне *реальной*. Франк-сержант видел на практике явное, реальное преобладание *политики силы* (*Power politics*), а также такой масштаб морального разрушения – разрушения душ, христианской морали, – который просто не давал возможности людям осознать смысл «прощения» (*forgiveness*) и применить его. И этим моральным разрушением были отмечены как агрессоры и оккупанты, которые в конечном счете побеждены, так и освободители-победители. Почему так происходило?

По логике Василия, зло можно победить только «злом», т.е. такого же рода насилием, «а не честностью, справедливостью и абсолютными моральными принципами», – на действие (*Druck*) необходимо ответить противодавлением (*Gegendruck*) (Письмо 20). Но это означало, что, пусть «невольно и неосознанно», но с необходимостью «мы пожертвовали своим моральным превосходством над ним [врагом]» (Письмо 27). И физическая победа сама по себе не возвращала этого морального превосходства, но, скорее, была способна усилить моральное разложение, поскольку давала ощущение силы и внешнего преимущества, а *психологически очень понятная* ненависть, по мере выявления всех

зверств побежденного врага, становилась всё более страшной и ужасающей. При этом ненависть – для того, кто ненавидит, – есть «*успокаивающая эмоция*» (Письмо 26), она позволяет «выключить» самоконтроль, забыть о собственных грехах и оправдать *любое* действие в отношении врага тем, что он враг. Сержант Франк честно признавал, что это – вывод из его собственного опыта, как внешнего, так и внутреннего (иногда он ловил себя на непроизвольно возникающем злорадстве). Но его письма и дневник ясно свидетельствуют о том, насколько он всё же смог преодолеть это «успокоение» ненавистью, а потому не был готов разделить «истерическую радость» по поводу победы.

Дневник заканчивается рассуждением об атомной бомбе, взятым из письма к Виктору от 7 августа. Накануне, в день бомбардировки Хиросимы, Василий писал об этом же Наталье: «Сегодняшние новости меня ужасают. В изобретении этой атомической бомбы есть что-то явно апокалиптическое. Мы всё ближе и ближе двигаемся к саморазрушению, атомной анархии. А кроме того, я чувствую так ясно, что с мощью и силой мы теряем то моральное превосходство, которое было так явно на нашей стороне. Мне жутко делается думать, что может быть».

Новое оружие, таким образом, сразу было оценено им не только с точки зрения его мощи – как «апокалиптическое», способное прекратить существование человечества в целом, – но и как новый факт той самой утраты морального превосходства – утраты, которая была неизбежна на этапе отражения «действия» силы зла, но которая на этапе победы над фактически уже поверженным врагом становилась сама несомненным злом. Развивая эту же тему в написанном несколько дней спустя письме к родителям, Василий, признавая *некоторый* эффект бомбы в смысле «уменьшения срока войны» (японской), остался и здесь скептиком в отношении того, чтобы она могла иметь «*эффект сдерживания*» при развязывании новых войн, и в отношении способности человечества ограничиться мирным использованием атома: «Я просто не верю, что человек мудрый» (Письмо 29).

Позиция Франка-философа, выраженная в ответном письме (Письмо 30), на первый взгляд, звучит оптимистичнее (если не утопичнее), однако этот *метафизический* оптимизм не означал наивной веры и упования в стиле «всё будет хорошо» в отношении бытия *физического*. В марте 1946 г. он так разъяснял свою позицию Бинсвангеру: «Напротив, в том, что касается действительности мира, я в целом, и в нашем настоящем положении в особенности, – решительный пессимист: я не верю в predeterminedность победы добра над злом и я верю, что Богу – как и всяческому человеку-творцу – многое не удастся и что неудавшееся он отдаст на уничтожение»¹⁹. Что же касается собственно атомной бомбы, то в своей статье о христианской совести С.Л. Франк лишь подчеркнул, что причиняемые даже ею разрушения несравнимы с тем злом, которое несет *дух ненависти*.

РУССКИЕ

В своих воспоминаниях о «*русском* мальчике в Берлине» Василий Франк подробно описал, как, не имея собственного опыта жизни на родине, он стремился «знать русский язык, историю, литературу, культуру, знать и любить всё это, как любит всякий русский человек», и подчас прямо боролся «за собственную русскость»²⁰. Хотя его принимали поначалу в школе за настоящего немца (чему поспособствовало и странное свидетельство о рождении на немецком языке – странное, поскольку нужных бланков в маленьком поселке поволжских немцев не нашлось, и факт его появления на свет зафиксировали на бланке свидетельства о смерти, лишь от руки исправив «Gestorben» на «Geboren»²¹); он сам считал себя «другим», подчеркивал свою «инаковость», «непохожесть» – и отказываться от этого не собирался. Даже тогда, когда эта непохожесть становилась опасной вдвойне – когда на уроках подчеркивалось превосходство германской расы и над евреями, и над славянами («поскольку в моих жилах текла и та, и другая кровь, меня эти нападки касались самым непосредственным образом»), – он находил в своем противостоянии «некое мазохистское удовольствие»²². Этот сложный комплекс чувств любви к необретенной родине и ощущения себя вечным эмигрантом преследовал младшего Франка всю жизнь: «Госковал я по русским людям, ‘живому’ языку, испытывая чувство жалости к себе, вынужденному в силу исторических обстоятельств жить в чужой стране. <...> Все мои юношеские годы меня не покидала тоска по ‘моей’ стране. Будучи уже взрослым человеком, я не мог отделаться от странного, почти физического ощущения себя иностранцем, независимо от того, в какой стране мне приходилось жить»²³.

Это действительно был один из центральных вопросов, определявших мировоззрение Василия. Ощущение своей «русскости» и поначалу безотчетное, но сильное желание не поддаться ассимиляции, страстная любовь к незнакомой России (сочетавшаяся с ненавистью к большевикам, ее погубившим) и боязнь, почти обреченность, что она ему не ответит взаимностью, – это не только ключевая тема поздних воспоминаний, но и один из лейтмотивов военной переписки и дневника. На склоне лет он вспоминал о «безнадежной и изматывающей ностальгии», о «восторженном, возбужденном чувстве, с которым я слушал русские песни, смотрел русские фильмы, читал книги и – особенно – говорил с людьми из России»²⁴, – и эти признания находят яркие подтверждения в документах военных лет.

Василий частенько жаловался в письмах к родным на своих сослуживцев – не только на атрофию сострадания в них, но и на отсутствие тем для интеллектуальных и душевных разговоров. «Говорить, по-нашему, не с кем, не только потому что они англичане, но и потому, что я один-единственный, который, например, знаю что-

либо о Lawrence, о Bach'e и о Botticelli.» (Письмо Наталье, 14 февр. 1944) Говорить «по-нашему» всё-таки можно было только со «своими», а «своими» для Василия были и оставались русские. «Я русский насквозь, независимо от того, знаю я Россию или нет. Мне как-то не по себе в этой западной атмосфере, когда не с кем поговорить *откровенно*, не с кем 'понять русскую душу'!» (Письмо Наталье и Виктору, 28 марта 1943), «Мне малость претит между англо-саксонцами. Широты у них нет и вообще чужие они мне совсем. А теперь особенно, встретившись с русскими людьми здесь, почувял я, насколько более приятны и ближе мне они, чем какие-либо англичане или французы.» (Письмо Наталье, 30 марта 1943) (Заметим, впрочем, что в других письмах он не раз признавался в любви – несмотря на все их недостатки – и к англичанам, и к французам, и к итальянцам...)

Встречи с русскими в Северной Африке, Италии, даже на Корсике – постоянная тема военных писем Василия. «Где бы я только не был, повсюду откуда-то появляется какой-то русский человек» (Письмо Наталье, 15 мая 1944). Встретив русского инженера, с которым потом четыре часа пели русские песни, он писал: «Так приятно и освежающе говорить по-русски, общаться с человеком, у которого русский темперамент. Для меня это было как запах маминых 'котлет'²⁵ – того, чего мне так долго не хватало, а теперь я снова это почувствовал» (Письмо Наталье и Виктору, 28 марта 1943). В Италии он встретил русскую женщину – Богданову, которая, как оказалось, знала Франка, семью Струве, а также Ариадну Тыркову еще до революции; на Корсике – русскую еврейку Елену Марковну Розингер из Парижа, которая была знакома с семьей Животовских и с Наташей. В Удине «встретился с двумя русскими девочками и страстно влюбился не в них, а в их русскость, их говор, их манеры» и пел с ними русские песни в парке (Письмо Наталье, 10 июля 1945). «Мне всегда приятно встретить русского человека», – писал Василий в августе 1944-го. Однако всё же не все эти встречи были приятны. Будучи на освобожденном Лазурном берегу, он узнал несколько историй про сотрудничество русских с оккупантами. «Встретили, как и следовало ожидать, довольно много русских, но, за редким исключением, чем меньше о них говорят, тем лучше. <...> Если я когда и испытываю и не стыжусь испытывать Schadenfreude, так это по отношению к подавляющей массе русской эмиграции.» (Письмо Наталье и Виктору, 17 сент. 1944)

Наиболее значимой оказалась встреча с русскими в Греции, которую Василий описал в целом ряде писем и в дневнике. Сержант Франк попал в Грецию в конце ноября 1944 г. и был там во время горячей фазы гражданской войны, в которой так или иначе участвовали и английские войска, что, конечно, заставило вновь ужасно беспокоиться родителей. По признанию Василия, дважды он действительно был близок, по крайней мере, к серьезному ранению, но спасли «ваши

молитвы», как писал он сестре и матери. Работал он при этом не по основному своему профилю воздушной радиоразведки, а был направлен переводчиком в лагерь бывших русских военнопленных, вывезенных ранее немцами из лагеря в Баварии, а теперь оказавшихся под контролем английской армии. Это была не отдельная встреча, а полтора месяца напряженной работы и почти круглосуточного общения.

Эта работа и общение глубоко затронули душу молодого русского эмигранта. Василий наконец почувствовал себя «своим» – он был своим среди русских, говорил на одном языке, пел с ними русские и украинские песни, вел «душевные» разговоры, распивая английский виски и греческую узо под вполне русскую «закуску». Но он вынужден был скрывать, что семья была выслана из России и что у него вовсе не британский, а советский паспорт, – он придумал легенду, по которой отец был англичанином, но мать «осталась» русской. Он буквально влюбился в этих парней, восхищался их «кротостью» и «внутренней дисциплиной», обретая с ними «чувство дома, которого мне так не хватало», – и в то же время слишком ясно понял, что «мы не сходимся», что «самые для нас простые, элементарные вещи они не понимают», что мировоззрение советских людей слишком заражено раболопием перед режимом и неспособностью к критическому мышлению – так же, как это было в известной ему нацистской Германии. Он был искренне рад встретить земляков-саратовцев и даже поволжского немца, выросшего в его родном Варенбурге, и получил приглашения приехать в гости едва ли не во все концы Советского Союза, и действительно рвался в Россию вновь, как и в начале войны, – но когда эмоции одолевались разумом, понимал, что «нам там не жизнь»: «Туда поехать обязательно надо, посмотреть, почувствовать, но жить там я не мог бы» (Письмо Наталье, 21 января 1945).

Василий вновь ощутил себя вечным эмигрантом. И все разговоры об исторической миссии русской эмиграции, о возвращении в новую Россию и о служении ей, в результате оказались досужими. «Русский человек с европейской культурой» осознал, что он *будет эмигрантом и на своей родине*, если туда вернется. А поэтому – лучше «быть завсегдаем какого-нибудь маленького бистро в провинциальном французском городке, а не мотаться по всему миру, даже не надеясь оказаться где-нибудь ‘chez moi’.» (Письмо 25)

Работая в русском лагере, Василий открыл в себе талант «дипломата»: «Если бы я точно переводил то, что говорили и русские, и англичане, в лагере начались бы драки» (Письмо 26). Этот опыт очень пригодится ему в будущем, уже после войны. Он работал с перемещенными лицами и беженцами из России во время службы в Международной организации по делам беженцев (IRO), а затем в Толстовском фонде в Австрии. Много лет Василий Франк был также обозревателем и редактором радио «Свобода». В конце жизни ему

посчастливилось несколько раз побывать в России – «посмотреть, почувствовать». Но он вынужден был признаться, что «чувствовал себя там, вероятно, еще более иностранцем, чем я чувствую себя здесь [в Германии] или в Англии, или вообще за границей»... Впрочем, это всё – уже другая история.

* * *

Дневник Василия Франка сохранился не полностью. Первую тетрадь он начал, очевидно, вскоре после своего сентябрьского визита к родителям – от нее сохранился только один лист с записью (неполной) от 9 ноября 1944 года. Вероятно, поначалу дневник велся нерегулярно; из него наверняка выпали почти два месяца пребывания в Греции, когда было не до записей, и лишь по возвращении в уже спокойную Италию Василий снова фиксировал свои впечатления и осмысливал их – и в несохранившихся частях дневника, и в сохранившихся письмах. На основании содержания второй тетради дневника (13 апреля – 7 августа 1945 г.), значительную часть которой составляет цитирование собственных писем (впрочем, что интересно – не буквальное; Василий сам говорит, что «развивает» в дневнике свои мысли из писем, – и, как правило, так оно и есть), мы посчитали возможным частично реконструировать утраченную первую тетрадь отрывками из нескольких его писем. «Предисловием» к дневнику логично считать письмо Василия, которое он специально посвящает «мыслям отца», впитанным после того памятного сентябрьского приезда. «Послесловием» к дневнику мы ставим обмен мнениями с отцом, связанный с последней дневниковой записью Василия, – к сожалению, это едва ли не единственная содержательная реакция С.Л. Франка на размышления сына, которую находим в его сохранившихся письмах этого периода.

Дневник написан на трех языках – русском, английском и немецком. Это было обусловлено как вставками из англоязычных писем, так и тем, что иногда Василий выбирал язык в зависимости от настроения и содержания записи. Англо- и немецкоязычные части дневника даются в переводе на русский язык Геннадия Аляева и Николая Франка-Львовского, что отмечено в примечаниях. Благодарим Игоря Эбаноидзе за предоставленную возможность использовать перевод радиообращения Томаса Манна. Авторские подчеркивания переданы курсивом; курсивом также даны слова, написанные по-русски в иноязычном тексте. Особенности стиля автора сохранены.

Вторая тетрадь дневника (очевидно, как и первая) – большого формата, со специальной разлиновкой, больше похожая на какой-то специальный журнал, – заполнена почти наполовину (11 листов, 22 стр.). Дневник хранится в семейном архиве в мюнхенском доме

Василия Франка заботами его вдовы Сюзанны Франк-Килнер и сына Николая Франка-Львовского.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Давно пора (*нем., разговорн.*).
2. О «Русском Фавьере» см. книгу М. Макарова «Русский холм. La Favière (1920–1960)», отрывки из которой «Новый Журнал» печатает с № 313, 2023.
3. Переписка С.Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934–1950) / Ред. колл.: К.М. Антонов (отв. ред.) и др. Комментар. Г.Е. Аляев, А.А. Гапоненков, Т.Н. Резвых и др. М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. С. 650.
4. Там же. С. 653.
5. Облава (*нем.*).
6. Опубликовано в «Гранях», № 23, 1954.
7. Navy, Army and Air Force Institutes – британская правительственная компания по управлению развлекательными заведениями для британских вооруженных сил, а также по продаже товаров военнослужащим и их семьям.
8. United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций, ЮНРРА) была создана в 1943 году в районах, освобожденных от держав «Оси».
9. Ваша мама будет счастлива (*фр.*).
10. Мой маленький (*нем.*).
11. Воспоминания Татьяны Сергеевны Франк. С. 218.
12. *Буббайер, Ф.* С.Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа. 1877–1950. М.: РОССПЭН. 2001. С. 179.
13. *Франк, С.Л.* «Мысли в страшные дни» / *Франк, С.Л.* Непрочитанное... Статьи, письма, воспоминания. М.: Москов. школа полит. исследований, 2001. С. 347.
14. *Франк, С.* «Фрагменты из записных книжек 1941–1944 гг.» [Публ. Г.Е. Аляева]. Соловьевские исследования. 2015. Вып. 4 (48). С. 96-97.
15. Первая публикация: *Frank, S.* Christian Science and Politics / *Франк, С.Л.* Христианская совесть и политика [Пер. А. Р.]. Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2001–2002 годы. Под ред. М. Колерова. М.: Три квадрата, 2002. С. 571-598.
16. *Frank, S.* Die russische Weltanschauung. Charlottenburg, 1926.
17. У Евгения Ламперта в Оксфорде.
18. Джон Донн (John Donne, 1572–1631) – английский поэт и проповедник, представитель «метафизической школы» английского литературного барокко.
19. Переписка С. Л. Франка и Л. Бинсвангера (1934–1950). С. 800.
20. *Франк, Василий.* Русский мальчик в Берлине / «Волга». 1998. № 10. С. 124, 113.
21. Там же. С. 157. «Умер», «родился» (*нем.*)
22. Там же. С. 121.
23. Там же. С. 167.
24. Там же. С. 126.
25. Там же. С. 142. Ср.: «Не думаю, что я пробовал что-то вкуснее маминых котлеток».

Военный дневник Василия Франка. Из переписки (1944–1945)

23. ВАСИЛИЙ ФРАНК – НАТАЛЬЕ СКОРЕР и ВИКТОРУ ФРАНКУ*

27 октября 1944

<...> Я уже писал вам об их жизни, но пока ничего не писал о мыслях и планах папы. Вы уже знаете – я упоминал об этом ранее, – что он написал книгу воспоминаний о жизни дяди Пети¹, уже вскоре после его смерти. В книге, как он говорит, подробно изложена их с папой жизнь и прослежена история их дружбы с самого начала – кажется, с 1895 года – до его смерти. Он назвал ее, если я не ошибаюсь, «Воспоминания о П.Б.С.». Она посвящена «моим и его детям»². К сожалению, я не смог ее дочитать. Я дошел только до 1907 года, когда мне пришлось уехать. Это очень интересно и должно быть особенно интересно для тебя, Виктор. Папа говорит, что он упоминает некоторые вещи, которые до сих пор не были опубликованы. Это, по его словам, одни из немногих подробных воспоминаний, посвященных интеллектуально-политической жизни в России конца 19-го и начала 20-го века. Они охватывают также эмигрантскую жизнь П.Б. и всей русской интеллигенции за границей. Для нас она, конечно, бесценна. Я впервые узнал кое-что о жизни и карьере папы.

В настоящее время он ничего не пишет и, насколько я знаю, не имеет определенных планов. Он сказал мне, что всё еще хочет написать книгу для детей, своего рода философскую сказку (одна из его идей для нее – та, которую он рассказывал мне, когда я был совсем маленьким: механизм времени идет неправильно и поэтому минута длится столетие, а столетие длится минуту и т.д.). Но это всего лишь «мечта», и он пока ничего не сделал. В любом случае, он больше не хочет писать за деньги. Он отказался, когда я был у них, от предложения написать популярную статью для какого-то швейцарского (!?) журнала на том основании, что он не хочет ничего писать, кроме того, что он чувствует, что хочет и должен писать. Он, как всегда, энергичен и ясен, но не может говорить слишком много – это его утомляет. Когда я был там, он очень внимательно следил за ходом войны, каждый вечер проводил у радиоприемника. Его Stamm-stations³ являются BBC; он в совершенстве владеет английским пассивно, то есть понимает каждое написанное и произнесенное слово, но говорит плохо и с

* Нумерация писем ведется от опубликованной в мартовском номере НЖ переписки В.С. Франка с родными. См.: НЖ, № 314, 2024.

плохим произношением. Последние 4 года он слушал ВВС практически непрерывно и, по его словам, во многом научился у них английскому (хороший комплимент, кстати, вашим работодателям⁴). Кроме того, он слушает «Atlantic»⁵ и какого-то швейцарско-французского комментатора. Они слушают и Россию, и здесь мама, конечно, авторитет. У них есть свои клички для разных дикторов: один – «*дякон*», другой – «*аристократ*». Они хотели познакомить меня с *Руслановой*⁶ (знаете ли вы ее?), но не смогли ее найти. У папы начинаются проблемы со слухом. Он не то чтобы оглох, но плохо слышит и не понимает, когда кто-то говорит тихо.

Теперь о папных мыслях. Его главная идея, которую он постоянно повторяет и излагает, заключается в том, что окончательная и полная победа достанется не той стороне, которая победит на поле боя, а тем, кто первым научится прощать, прощать полностью и безоговорочно. Ненависть и жестокость подобны бацилле. Когда человек использует ее, она перескакивает с одной стороны на другую, заражая другую, и так будет продолжаться до тех пор, пока они не уничтожат друг друга физически и морально или пока одна из сторон не простит. Считая, что моральная правда на нашей стороне, он утверждает, что наш долг – простить, но не надеется на это. По этой причине он выступает против любых репрессий и, конечно, особенно против любого суда и наказания военных преступников. Во-первых, мы не имеем права никого судить (это старая, старая проблема правосудия), во-вторых, это не будет и не может быть правосудием, потому что этого будет требовать общественное мнение, и, в-третьих, и это главное, потому что это не исправит вреда, который они причинили, и создаст только дополнительную ненависть, которая, по сути, *и есть* враг. Он допускает, что нужен будет какой-то пример, но это, конечно, не будет правосудием. Это будет всего лишь пример, и мы не должны путать его с христианской и платонической концепцией справедливости. Они видели и рассказывали мне, что происходит, когда «*Röbel*»⁷ получает свободу действий, чтобы наказывать по своему усмотрению. Истории действительно ужасающие. По этой причине он не одобрял и решительно протестовал против убийства любого коллаборанта⁸ (например, Анрио⁹), потому что это, в конечном счете, – убийство.

Другая мысль заключается в том, что долг каждого христианина и любого человека – быть на стороне тех, кто страдает. Это, конечно, независимо от национальности, независимо от того, правы они или нет, хорошие или плохие. Он удивительно прав. Я это всегда чувствовал, но не мог сформулировать, выкристаллизовать это так четко в одном предложении. Вы помните, как я писал перед самым крахом немцев в Африке и недавно, когда их так сильно били во Франции, что «теперь можно себе пожалеть их». Теперь я знаю, что должен быть «с ними», просто потому, что они слабы, потому что они стра-

дают. Это так удивительно ясно и просто. В этом кроется спасение от всего нашего зла.

Наконец, но это старая мысль, и я даже чувствовал ее в себе, что враг, настоящий и окончательный враг, – это не физический противник, который противостоит нам на поле боя, а враг внутри нас самих, и что, следовательно, мы ничего не добьемся его физическим поражением и нашей физической победой, если в то же время мы не уничтожим его и в себе, простив его (идея Анатоля Франса¹⁰).

Это папа, мудрый и бесконечно добрый папа. Если бы вы только знали и могли разделить почти физическое удовольствие от общения с ним! Это было настоящее счастье, счастье, которое можно было почувствовать и осознать.

Но в этом письме я ничего не сказал о маме. Она разделяет его идеи, его мысли и так удивительно, практически мудро поступает. Но мне нет нужды хвалить маму перед вами. У меня было ощущение, что я был под водой, с трудом дышал, но каким-то чудом выбрался на поверхность и сделал несколько судорожных вдохов. Всю жизнь я буду помнить эти несколько коротких вдохов. И они сами говорили, что от счастья тоже можно умереть. Я с ними согласен. Вы должны мне завидовать. <...>

Перевод с английского.

1. Петр Бернгардович Струве (1870–1944), общественный и политический деятель русской эмиграции; экономист, философ, публицист. В семье Франков было принято называть Струве «Бернардовичем».
2. Получив известие о кончине П.Б. Струве в Париже 26 февраля 1944 г., Франк сразу начал писать воспоминания, завершив их уже к концу мая. Книга вышла – под неточным названием «Биография П.Б. Струве» – в 1956 г. в нью-йоркском Издательстве имени Чехова.
3. Stamm – ствол, здесь – основные радиостанции. (нем.)
4. Виктор Франк работал на радио ВВС с конца 1939 года. Там же работала его жена Лорна.
5. Очевидно, американская радиостанция.
6. Лидия Андреевна Русланова (1900–1973), советская певица, исполнительница русских народных песен. В годы войны часто выступала с концертами на фронте, особенно популярной была песня «Валенки».
7. Чернь, сброд (нем.)
8. Использовано французское написание слова: collaborateurs.
9. Филипп Анрио (1889–1944), французский поэт, журналист, политик. Был министром в правительстве Виши, руководил пропагандой, сам постоянно выступал по радио. Убит французскими партизанами 28 июня 1944 года.
10. В письме к родителям 1 мая 1945 г. Василий писал: «Я помню это прекрасное высказывание Анатоля Франса в ‘Восстании ангелов’, где он заставляет предводителя ангелов сказать, что бесполезно бороться (с Богом), потому что сначала нужно победить дух врага в себе. Иначе победа ничего не принесет». Имеется в виду заключительная речь Сатаны, в которой он говорит о том, что

«война порождает войну, а победа – поражение», и что восставшие ангелы уже победили своего тирана, «победив в себе невежество и страх» (Франс, А. Восстание ангелов. Пер. с фр. М.; Л.: Academia. 1937. С. 198-199).

Дневник Василия Франка

Первая тетрадь

(Отрывок)

9 ноября 44 г.

Пишу по-английски. Ничего.¹ П[апа]+М[ама], поскольку они жили в Saillies, расположенном в стороне от одной из главных дорог их района, дороги Гренобль–Шамбери (она ответвляется в Гонселен и ведет в Альвар-ле-Бен), никогда не подвергались нападкам и, что еще более странно, за весь год, что они жили там под немецкой оккупацией, ни разу не видели немецкого солдата. Конечно, это объясняется необычными обстоятельствами, и им действительно повезло. Но, тем не менее, нам, не знающим жизни под оккупацией, это кажется странным. Наше представление об оккупированной немцами Европе во многом построено по драматизированному, ужасно упрощенному голливудскому образцу, где безмерно запутанные и сложные эмоции, возникающие от присутствия победоносной армии посреди побежденного населения, сводятся к удобной формуле. Формула, которая является частью целого: оккупанты угнетают, а оккупированные угнетаются и героически сопротивляются. Добро и зло распределены математически. Оккупанты – зло, а оккупированные – добро. Здесь все начала и концы. Бывают некоторые модификации, но, думаю, можно с уверенностью сказать, что кроме этого о той жизни было известно очень мало. Для нас, таким образом, должно казаться странным, что именно то, что мы представляли себе как сердцевину оккупации – постоянное физическое присутствие угнетателя, – отсутствует. Это вызывает недоумение, потому что физического угнетения, которое, как нам казалось, автоматически следует за оккупацией, здесь не было. Очевидно, мы ошибались относительно природы оккупации.

Как я теперь знаю, самая страшная, самая опасная по своей сути часть оккупации заключается не столько в присутствии или хотя бы близости угнетателя – эта часть среди многих других, мы знали, является сносной хотя бы потому, что вызывает сопротивление и какой-то внутренний *Gegendruck*², – но в том, что физическое присутствие и близость врага нарушает моральное и духовное равновесие тех, кто находится рядом. Его присутствие разрушает, в конце концов, все христианские и моральные нормы, как в тех, кто с ним борется, так и* в тех, кто от него в стороне. Когда-то война была идео-

логической, то есть люди сожалели о том, что приходится убивать врага – враг был лишь исполнителем чего-то, что противоречило их принципам. Но уничтожение врага во враге переросло в уничтожение его ради уничтожения, не заботясь и не признавая в нем врага. Борясь с ним, сопротивляясь ему и отстраняясь от него, воспринимаешь в себя то самое, носителем чего был враг, что делало его таким отталкивающим, заставляло сопротивляться и бороться с ним. Заражаешься его болезнью. Его дьяволизм – а теперь и наш, в отличие от того, что делает войну идеологической и почти религиозной (*'s ist ja nicht für die Güter der Erde, das Heiligste schützen wir mit dem Schwerte*³) и что теперь ушло полностью и, возможно, безвозвратно, – заключается не столько в его способности убивать людей, сколько в его способности убивать их души. Человек, убитый духовно, умер, возможно, худшей смертью – более медленной и мучительной, – чем тот, кто был убит бомбой. Возможно, он более мертв, чем тот, другой. Возможно. Этого нам не дано знать. И в этом заключалась глубокая, противоречивая, непонятая трагедия немецкой оккупации. Люди умирали духовно, но считали себя более живыми, чем прежде, более сияющими, чем прежде. Они побеждали на поле боя и теряли себя. Я говорю об этом буквально, ибо то, что так долго извращало врага, теперь в самих победителях. Разница больше не является идеологической или духовной. Разница в том, что они говорят по-французски или по-русски, и зовут их Жан или Ванька, а враг говорит по-немецки и зовется Ганс. Ненависть, которую вызывали немцы, духовно уничтожала и самих немцев, и тех, кто с ними воевал, и лишала перевеса в моральной и духовной победе.

Следовательно, враг – последний и, возможно, единственный серьезный враг, который превосходит чисто военного противника, – находится как на нашей, так и на их стороне. Если он не будет побежден, исход войны с духовно-нравственной точки зрения будет неважен. Ведь уничтожив одно зло, на его место приходит другое, мало чем отличающееся. Ненависть и вытекающее из нее зверство подобны микробам, перескакивающим от активного к пассивному, и пассивный, как только появляется возможность, становится активным. Он совершает те же преступления (и считает себя оправданным в их совершении).

Для людей религиозных близость и возможность смерти, *il y en avait assez*⁴, не могли быть так страшны, как для других. А вот наблюдать за медленным и мучительным распадом христианских принципов, отказом от всех моральных ценностей было бесконечно страшнее. В любом случае это было гораздо опаснее с точки зрения будущего, и они чувствовали некое разочарование, когда вместо того, чтобы искоренить зло, оно принималось, не будучи признанным. А признавать этот факт не хотелось. Способность человеческой души впитывать зло казалась огромной. Это не могло не напугать их. Война – это

духовная способность впитывать зло, вписываться в шаблон некой духовно-нравственной анархии. Физическая сторона ее заключается в той лихорадочной активности двух высокоорганизованных частей человечества, которая в конце концов завершается тем, что человек убивает человека. Духовная сторона, Urquell⁵ войны, заключается в том хаосе, который порождается <...>⁶

* Союзы «и» («and») в оригинале подчеркнуты.

1. Далее до конца записи за 9 ноября 1944 г. – перевод с английского.
2. Противодействие, отпор (нем.).
3. Это не борьба за земные блага: / Мы защищаем мечом самое святое (нем.) – строки из стихотворения Теодора Кёрнера (См. примечание к письму Виктору от 18 марта 1943).
4. Которой достаточно вокруг (фр.).
5. Первоисточник, первооснова (нем.).
6. На этом текст обрывается.

24. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С.Л. ФРАНКУ И Т.С. ФРАНК

11 февраля 1945

<...> За те почти два месяца, что я провел там¹, я многому научился. Я увидел и почувствовал, какое опустошение принесла человеку эта война. Всё, что о ней говорили, было верно, только никто еще не осмелился предположить, что основная беда была не в разногласиях и политических интригах. Этого было, конечно, достаточно, но корень, Urquell всего этого, был в том хаосе, той анархии в душах людей, которую создали 4 или 5 лет физической ненависти. Мне кажется, что самая опасная сторона войны заключается не столько в физической опасности – она определяется временем и пространством и сравнительно невелика, – сколько в почти несомненном моральном и христианском падении, которое автоматически следует за ней.

Всё началось, как идеологическая война. Правые и виноватые, хорошие и плохие были распределены так аккуратно и удобно. Начали с уничтожения врага во враге. А теперь посмотрите, что происходит вокруг. В сегодняшней газете какой-то идиот пишет, что Niemöller² прежде всего немец, а уже потом – христианин. И это происходит повсюду. Но я не хочу писать об этом слишком много. Это рискованная тема. Вы понимаете, что я имею в виду, и, должно быть, чувствуете то же самое. Только для меня было шоком – увидеть это так ярко. Наша ошибка там была не военная (в любом случае я не могу судить об этом), а духовная: неспособность увидеть, что душа человека находится в хаосе, что военная победа ничего не решает. Эдгар Уоллес³ рассуждает об Иване Карамазове. Понимаете ли вы и согласны ли со мной? <...>

После периода кипучей деятельности сидеть здесь и ничего не делать – тяжело и неприятно⁴. Кроме того, это слишком удобно; я снова миллионер, который ест гуся на глазах у голодного человека. Я нашел хороших друзей, лучший друг – итальянский монах, который 15 лет назад убил человека и теперь отбывает пожизненное заключение в тюрьме, совсем недалеко от меня⁵. Я часто хожу туда, официально – чтобы помыться, а неофициально – чтобы поговорить с ним. Возможно, это попахивает Достоевским, но в этом есть правда. Самые милые, «самые кроткие» люди, с которыми я сталкивался в последнее время, – это 4-5 таких заключенных, практически все они убийцы. Каждый раз, когда туда прихожу, они моют мне спину, и я остаюсь практически без сигарет, потому что много на них уходит. Не пугайся, мама, мы все прямо или косвенно убийцы, как бы мы ни были правы. Они, как ни парадоксально, должны провести остаток жизни в тюрьме, а мы – герои. Мне хочется поклониться им до земли, потому что они страдают за наши грехи, и мне стыдно смотреть им в глаза. <...>

Я также немного пишу, как ты мне советовал, папа. <...>

Перевод с английского.

1. В Греции. Далее Василий говорит о гражданской войне в Греции и об участии Англии в этой войне.
2. Мартин Нимёллер (1892–1984) – немецкий протестантский богослов, пастор протестантской Евангелической Церкви, один из самых известных в Германии противников нацизма.
3. Эдгар Уоллес (Wallace; 1875–1932) – английский писатель, киносценарист и драматург, журналист, военный корреспондент.
4. После возвращения из Греции Василий Франк находился в местечке Конверсано (Италия).
5. Речь идет о тюрьме в местечке Тури (Turì), недалеко от города Бари. Василий служил там еще до отправки в Грецию и описывал свою дружбу с каторжниками в письме к сестре 15 ноября 1944 г.: «Я к ним очень привык и их полюбил. Потому ли, что мне папа так хорошо сформулировал про страдающих, всех надо любить – это ведь Христово слово, потому ли, что они были хорошие люди, не знаю».

25. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С. Л. ФРАНКУ И Т. С. ФРАНКУ

21 февраля 1945

<...> Я попросил Виктора написать вам о моей встрече с русским в Греции. Он подробно напишет вам об этом. Однако я понял одну вещь, которая меня огорчает. Мое существование, моя жизнь – это жизнь эмигранта. Я знаю теперь, как бы ни был я близок к ним, как бы ни были они для меня ближе, чем кто-либо другой, но там жизнь была бы невыносима для такого человека, как я, выросшего в западной культуре. С ними я чувствовал себя как дома, но было что-

то, что нас разделяло. Виктор пишет, что наша миссия – историческая, и я, грустно и тихо, соглашаюсь с ним. Только иногда мне хочется быть завсегдагаем какого-нибудь маленького бистро в провинциальном французском городке, а не мотаться по всему миру, даже не надеясь оказаться где-нибудь «chez moi»¹. <...>

Перевод с английского.

1. Здесь – «у себя дома» (фр.).

26. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С.Л. ФРАНКУ и Т.С. ФРАНКУ

14 марта 1945

<...> Среди многого неприятного у меня была одна сплошная радость – встреча и общение с русскими. (Я подробно написал об этом эпизоде Виктору и Наташе и попросил их написать об этом вам. Я также между делом выучил ту песню и слова, которые вам так понравились, и написал ее Виктору, попросив его переслать ее вам. Жаль, что я не могу писать вам по-русски¹. Мне так много нужно сказать и рассказать вам, и почему-то на английском это гораздо сложнее. Но я не могу.) Мама, может быть тебе интересно будет узнать, что я познакомился с тремя людьми, которые приехали из Саратова или совсем рядом с ним. Один из них, ставший одним из самых больших моих друзей, Степан Давыдович Черницов, старшина (что соответствует французскому «adjutant»). Он родом из Пензенской области, Чамбургского района², деревни Языково. Возможно, ты его знаешь. Другой был Иван Иванович Степурин, из самого Саратова. Он один из украинцев, живших в Саратове. Они, видимо, приехали в Саратов около 100 лет назад, жили общинами и до сих пор говорят только по-украински. Третьим был Иоганн Клемм, поволжский немец, родом из Энгельса. Он вырос в Варенбурге (!!) и работал мотомехаником (*мотомех*) в Саратове. Я осторожно поинтересовался Саратовом. Он стал огромным городом, очень промышленным, очень, по их словам, красивым и «культурным» («культурный» используется так же часто и так же по-идиотски, как и всегда. Культурным считается всё, начиная от Пушкина и заканчивая чистым туалетом. Есть, спать и ходить можно либо «культурно», либо «некультурно». Но это так, к слову). Люди, с которыми я познакомился, представляли практически всю европейскую Россию, и, пообщавшись и послушав их, убедился, что саратовский русский язык – самый лучший и чистый. Я заметил одну деталь. Все они, кроме ленинградцев и северян, произносят «г» мягко, по-украински, даже саратовцы. Я не знаю, было ли это всегда так или появилось только недавно.

Можете себе представить, как мне было интересно. Я был то «Василий Семенович», то «Товарищ Переводчик», то «Товарищ Сержант», и каждый раз, когда кто-то называл меня Василием Семеновичем, я гордился и радовался, как пятилетний ребенок. Я был наполовину англичанином, наполовину русским. Из тебя, папа, я сделал ассимилированного англичанина. Ты, мама, осталась русской. Я уехал из России в 1922 году, потому что в то время там было очень тяжело жить (это было воспринято не слишком благосклонно), и я так свободно говорю на русском, потому что дома он всегда был первым языком. Мы были большими русофилами дома, фактически настолько, что я чувствую себя больше русским, чем англичанином. Они приняли меня не только потому, что я был им полезен. (Я действительно работал как раб и, кстати, открыл в себе большой дипломатический талант. Если бы я точно переводил то, что говорили и русские, и англичане, в лагере начались бы драки. Я стал таким искусным лжецом, и это было трудно, потому что я должен был точно помнить, что я сказал. Думаю, что я сделал очень хорошее дело для англо-русского союза.) Как бы то ни было, они приняли меня, потому что считали меня больше русским, чем англичанином (они не могли знать, насколько были правы); также потому, что они чрезвычайно гостеприимные люди, и в сравнении с западноевропейским так называемым гостеприимством их радушие казалось еще более значительным; и, наконец, потому что я был им полезен. Мое впечатление о них примерно такое: у них есть все те огромные недостатки, которые мы знали и которые сделали бы нашу жизнь с ними невозможной. Но если забыть и простить им это, то они, несомненно, гораздо выше по воспитанию (*воспитание*)³; по внутренней дисциплине – не говоря уже о военной дисциплине, которая внушает благоговение; по высокому уровню – гораздо, гораздо выше, чем у моих товарищей, – общих знаний, за исключением, конечно, того, что они все окрашены в красный цвет и очень односторонни; по их культуре в собственном смысле этого слова – все они читали классиков, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев и др. занимают первое место; по отсутствию отвратительной казарменной пошлости, что было для меня чем-то очень новым и странным после более чем трех лет общения с солдатами; по их огромной гордости и, наконец, простоте и «приятности», которая была удивительно очаровательна. Для меня это был уникальный опыт. Я не хочу говорить об их индивидуальных судьбах – они в истинно русском ключе страдания и крови. Они сказали мне, что на каждого, кого я вижу, приходится около 20, которые лежат под землей. Мне казалось, что я был с другой планеты. Мой опыт войны заставлял меня, возможно нелогично, стыдиться быть с ними. Был, например, очень трогательный эпизод. У них была возможность написать своим родным, с которыми они не имели связи два или три года, и больше половины отказались, сославшись на то, что уже давно

оплаканы своими матерями и женами, хотя сами всё еще упорно продолжают жить (*нахально*).

Я уже писал вам, что это значило для меня. До того, как я встретил и узнал их, а через них и Россию, и жизнь в ней, во мне всегда жило чувство, что мне не всё известно, что, возможно, я смогу обрести там, с ними, то чувство дома, которого мне так не хватало. Теперь же я знаю бесповоротно, что, несмотря на всю схожесть и близость, жизнь для меня там невозможна. Я совершенно не похож на них во многих значимых вещах. Образование, культура, свобода критики нас разделяют больше, чем нас объединяют. И за те 2 месяца, что я был с ними, я осознал схожесть мировоззрения между ними и *secularius*⁴. И то, что угнетало нас там, будет угнетать нас и у них. (Жаль, что я не могу написать более полно, потому что это такая интересная тема, которая затрагивает и «*angeht*»⁵ нас лично.) Я принял решение ехать туда – около 50 человек дали свои адреса, от Одессы до Иркутска, и пригласили меня приехать и остановиться у них. Я должен туда поехать, хотя бы для того, чтобы еще янее убедиться, что мне там не место. И всё же, несмотря на всё это, мне было невероятно хорошо с ними, и мне тягостно и просто скучно быть с моими сослуживцами после двух месяцев пребывания среди них. Разговаривать, петь песни (я выучил несколько очень красивых новых и старых песен), пить свою порцию виски с соленой селедкой в качестве «*закиски*», учить новые слова и выражения, просто быть с ними и среди них, быть им полезным – это было для меня чистой, детской радостью, и я горько плакал, когда нам пришлось уехать. Там я почувствовал и продолжаю чувствовать, что мне суждено быть бездомным, что, как бы я их ни любил, я не могу быть с ними. Но и другая сторона – тоже не моя. Виктор утешает меня, что у нас, эмигрантов, есть определенная историческая миссия, и всё же – это не помогает. Я не хочу исторических миссий, они слишком обременительны. Как бы я хотел быть с вами и подробно рассказать о своей жизни с ними. <...>

Война заканчивается, но почему-то это не кажется мне таким радостным, как я представлял себе несколько лет назад. Когда это наступит, это не будет концом, и я боюсь горечи в людях и пробуждённой ненависти. Искусственное спокойствие, которое наступит с окончанием войны, сделает его еще более полным ненависти и лицемерия. Ты был прав, папа, – победит только тот, кто первым научится прощать. Вот только шансов на то, что хоть одна из сторон сможет это сделать, не так уж много. Это слишком большой запрос. Ненависть, как я теперь знаю, – успокаивающая эмоция. Она так много решает, так легко применима и скрывает многое из того, что в нас не так. <...>

Перевод с английского.

1. Из-за военной цензуры Василий Франк, военнослужащий Армии

Великобритании, мог переписываться с родными только по-английски или, в редких случаях, по-французски.

2. Правильно – Чембарского. В 1948 году город Чембар переименован в Белинский, соответственно Чембарский район стал Белинским районом.

3. Английское слово «education» может переводиться и как «воспитание», и как «образование», поэтому Василий добавляет в скобках русское слово.

4. Условное обозначение в семейной переписке немцев, живших в нацистской Германии.

5. Касается (нас) (*нем.*)

27. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С.Л. ФРАНКУ и Т.С. ФРАНКУ

26 марта 1945

<...> У меня всё хорошо, я в полной безопасности, работаю много и с большим интересом, так что у меня остается мало времени на себя. Я живу в палатках в заброшенной, полуразрушенной крошечной деревушке¹ с разрушенным монастырем XIII века прямо через дорогу, счастлив и жду, что война закончится. Только почему-то мне страшно, я чувствую, что наличие активного врага, с которым мы воюем, оправдывает моральное падение души (в наличии которого мы с тобой согласны, папа). Есть необходимость, как это ни печально, сделать «Gegendruck»². О последствиях придется забывать, потому что «Druck» слишком силен.

Я имею в виду, что это было необходимо и, возможно невольно и неосознанно, мы пожертвовали своим моральным превосходством над врагом. Но всё же это было оправданно. Каким бы плохим я ни стал, я, по крайней мере, осознал свою негодность и со временем, возможно, пойму, что с плохим во мне можно бороться. Но как только, возможно скоро, чисто физическая опасность и необходимость быть плохим закончатся, останется что-то непростительное и, что еще хуже, что-то в нас самих для себя необъяснимое. Уберите этот «Druck», и «Gegendruck» станет бессмысленным и жестоким, а согласно тому, чему учил меня Dr. Rinck, его вообще не должно быть. Я уже давно чувствую, что война не закончится, когда перестанут стрелять друг в друга, что война, как ее понимают, – это лишь физическое проявление духовной болезни и что, следовательно, одна сторона может быть лишь поверхностно права или не права, поэтому мы призываем к коллективной ответственности. Я, как человек, несу ответственность за Лидице и Гернику, за каждого ребенка, умершего от голода, и пытаюсь избавиться от этой тяжелой вины мне кажется неправильным. И в этом, как мне кажется, смысл христианства. Христос взял эту коллективную вину на себя, только мы не настолько сильны, чтобы сделать то же самое. Вернее, он осознал эту коллективную вину.

Практически это означает, что у меня есть сильное желание не

принимать в этом участия, как только война закончится. Чтобы что-то защищать, я пойду, но не для того, чтобы стать полицейским. Быть проигравшей, слабой стороной имеет огромную притягательную силу. Не задаешь себе вопросов, не беспокоишься о моральной правоте или неправоте, есть ощущение Давида³. Надеюсь, вы это понимаете. <...>

Перевод с английского.

1. Подразделение Василия располагалось в местечке Форлимпополи (Forlimpopoli) возле Форли.
2. Противодействие, отпор (нем.)
3. Отсылка к библейской истории Давида и Голиафа.

28. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С.Л. ФРАНКУ и Т.С. ФРАНК

15 апреля 1945

<...> Тем временем я пишу, пишу мало, но всё же веду своеобразную летопись своей жизни. Не знаю почему, но я ощущаю пустоту, некое разочарование. Мне кажется – возможно, я ошибаюсь, – что я не могу мысленно и морально примирить основную нравственную, христианскую идею с тем, что с нами происходит. Я имею в виду, что сейчас, на этом этапе, мы пошли глубже права или правосудия, и что чисто внешние различия и различия национальности исчезают. Я думаю, что мы подошли к самому глубокому, фундаментальному, к страстям и страданиям человека, где проблемы правоты и неправоты «отпадают». Вероятно, материальные и моральные разрушения в Европе настолько огромны, что пройдет несколько поколений, прежде чем всё вернется к норме. Виктор говорит, что то, что происходит с Европой сейчас, сравнимо с Европой после 30-летней войны или «Черной смерти». Мне кажется, что чисто технический конец войны, когда прекратят бросать бомбы друг на друга, с религиозной точки зрения имеет мало значения. Война, на мой взгляд, – это разложение, способность впитывать ненависть и прославлять ее, разлагаться морально и духовно. Бросать друг на друга бомбы – это лишь результат, своего рода рефлекс. С русскими я видел это очень ясно. Пока они живут и помнят, они будут ненавидеть их всем своим существом, и никакие официальные заявления не остановят их ненависть.

Тем временем война заканчивается. Если бы только немцы оставили свой вагнеровский героизм. Иначе их трудно простить. Магдебург, Ганновер, Веймар (Гётевский Веймар) – всё взято! Все мои Иваны Ильичи в Вене!! <...>

Перевод с английского.

1. Вена была взята советскими войсками 13 апреля 1945 года. Наричательным для Василия стало имя комбата Ивана Ильича Посисеева:

«Иван Ильич Посисеев, командир батальона, самый из них симпатичный. Небольшой, голубоглазый, белокурый красавец на русский стиль. Он бывший физкультурный инструктор. Силач и, в то же время, страшно женственный. Мы с ним очень сошлись и полюбили друг друга.» (Письмо Наталье от 21 января 1945)

Вторая тетрадь

13-го апреля [1945]. Вот. Начал вторую тетрадь. Сегодня жарко и как-то грустно. Вечером поздно Седрик вдруг меня разбудил и сказал с каким-то странно испуганным видом: «Roosevelt has died»¹. А мне почему-то стало грустно, как будто умер кто-то мне близкий. Он правда был великим человеком. Я это ясно почувствовал, то есть осознал сегодня, слушая разные «appreciation»² о нем. Ведь всё то, что о нем говорилось, правда. Он ведь первым, задолго до англичан, понял гнусность Гитлеровскую и первым, не боясь, говорил о них как надо. Для этого нужно было не только мужество, но и чувство справедливости. Жалко и как иронично, что не дожил он до конца. А теперь что будет! Кто этот Truman³? Страшно думать, что американцы теперь м[ожет] б[ыть] будут без той моральной сдержанности, без которой они станут до того unbeliebt⁴, и Бог знает, сколько зла они сделают своей гордостью, своим хвастовством.

9-тая амер[иканская] армия перешла Эльбу. Weimar, Goethe's Weimar взят ими. Говорят, что они недалеко от Bayreuth'a. Конец, конец. Мне страшно жалко немцев. Чувствую простую человеческую Mitleid⁵.

14-го. Поздно встал сегодня. После обеда сидел в моей машине. Работы было мало, всё меньше и меньше. Чем же это кончится [?]. Я до того эгоистичен, что мучаюсь моей будущей судьбой. Qu'est-ce qu'on va faire avec moi?⁶ Знаю, что если меня и других отошлют в Англию, то предстоит мне скоро служба в Германии. А этого я не хочу и боюсь. Как трус, я убегаю от страдания других. Мне больно видеть разрушение человеческой души, разложение моральное, окружающее нас всех, но главное – это чувство, что немцы будут страдать за свои грехи ужасно и что я не хочу и не желаю этого свидетельствовать⁷. Написал (ненужное) письмо Дорли о всех этих вещах. Не отошло пока что, потому что там есть идеи, которые мне нравятся и которые я хотел бы разработать для папы и мамы. Написал и отослал письмо Эдди. Вечером скучал. Нэш страшно меня раздражает. Жить с ним в одной палатке невыносимо. Его сегодняшние крики об этих «сволочках Австрийцах», которые встречают русские войска с восторгом, меня взбесили. На взор его⁸ мне начхать. Он человек еще не развитый, да вообще довольно глупый. Но трудно игнорировать людей, живу-

щих и спящих напротив, в расстояние 2 метров от меня. Я тоже знаю, что в этом раздражении виноват и я сам, в том смысле, что я нетерпелив и вспыльчив. Одним словом, я не выдержал и вышел из палатки.

Чудная, ясная ночь. Видно опять, но уже далеко, далеко, молнии орудий, как будто дальняя зарница. Видно, да не слышно. Ложусь спать. Устаю я очень почему-то. Встаю к 10-ти, а к вечеру уже полумертвый.

16-го апреля. Уже 5 часов утра. Мое ночное дежурство. Написал папе и маме только что⁹. От мамы письмо, в котором она мне переписывает молитву Ефрема Сирина, которую начинают читать на третью неделю Великого поста:

Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия не даждь ми (поклон).

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви даруй ми, рабу твоему (поклон).

Ей Господи, Царю, дай зрети ми прегрешения мои и не осужда-ти брата моего, яко благословен еси во веки веков. Амин (поклон).

Чудная молитва, в которой вся мудрость (нехорошее слово) Христианства.

Написал Dorli вчера, хочу его переписать здесь, потому что пора отослать, а я всё не успел его разработать.¹⁰

«...Теперь начинается нечто иное, возможно, более одиозное, но это начало начал. Как скоро, как скоро мы перестанем ненавидеть друг друга и находить в этой убийственной ненависти какую-то извращенную силу и утешение, как будто в ней есть что-то положительное и хорошее? Как скоро мы начнем жить? Мне, в каком-то странном, превратном смысле, повезло в этой войне. То есть я видел и пережил немного того, что вам при самых больших интеллектуальных усилиях не удастся увидеть и пережить. Тот ужасный хаос, который мы сами себе устроили в течение последних лет. Я имею в виду, что мне дали понять, что самая ужасная часть войны – это абсолютная тщательность разрушения. Разрушение не только физических вещей – это *wiederaufbaubar*¹¹ – и не самой жизни (этого мы ожидали и приняли так ужасающе буднично), но разрушение здравомыслия, нарушение некоего равновесия. Вы не можете себе представить, если только вы не стараетесь избежать этого (а многие это делают, потому что это неприятно, и англичане, с их нелюбовью ко всему неприятному и трагическому, всё же умудряются избегать этого), каковы люди, пережившие европейскую (не нашу!) войну. Это трудно объяснить, потому что это действительно не поддается описанию, и я чувствую, что блуждаю вокруг, но не могу высказать, что я чувствую. Я имею в виду, что всё то, чему на протяжении нескольких тысяч лет мы учились, за несколько лет было забыто. Всё, что плохо по своей сути, всё,

что даже рационально мы считаем неправильным, было сделано во имя человечности, с нашей стороны, и во имя чего-то другого, с их стороны. Сейчас мы подошли к той стадии, или, возможно, мы подошли к ней уже давно, а я осознаю это только сейчас, когда поверхностное разделение народов, идеологий, правых и виноватых не имеет особого значения, возможно потому, что мы так уверены в окончательном итоге. Я думаю, что сейчас человек как таковой, его трагедия, его страдания, независимо от всего, от всего остального, имеет значение, и это стало действительно фундаментальным, действительно религиозным вопросом, где каждая душа важнее, чем вся история мира. ...Разум? Дух что-то потерял. Война – это духовная установка, способность впитывать ненависть, своего рода духовное и моральное разложение. Чисто физические действия по метанию бомб друг в друга – лишь следствие этого разложения, такой же рефлекс, как движение руки к месту, где чешется. И я вижу, чувствую, слышу, знаю это отношение вокруг себя...»

Завтра еду на 3 дня в Флоренцию. Как я мальчиком мечтал туда попасть, «in die Stadt wo Boticelli schaffte»¹².

19-го апреля. Вернулся вчера из Флоренции и начал вечером работать, но чувствовал в себе такую пустоту, или, лучше сказать, чувствовал отсутствие чего[-то] позитивного, что не писал, а сидел, ничего не делая. Сейчас опять дежурю. Работы нет и, вероятно, не будет.

Красота – город. Ходить по улицам, смотреть по обе стороны, видеть что-то до того неопишимо гордое и простое. В итальянской ренессансной эпохе есть что-то замечательное – гордое и простое, смесь неопишемой красоты с отсутствием грусти. Меня это всегда поражало, и теперь я тоже заметил. Есть такая гибкость, элегантность, такая простая радость творчества, напоминающая Моцарта. В этом есть что-то детское, бесконечно невинное. Renaissance есть не только вторичное понятие греческой красоты и простоты, но, главное, отсутствие гордого высокомерия, фальшивости. Достаточно пройти по городу, чтобы убедиться в этом. Это всё сделано, построено, сотворено так «nonchalantly»¹³, т.е. без видимого усилия, так как у Моцарта «лётся из крана». Борьбы, страдания, победы не видно, не ощущается. Я как пьяный ходил. Два дня недостаточно. В этом городе жизнь провести и то не увидишь и не поймешь сердцем то, что там есть.

Осмотрел Pallazzo Vecchio, Ponte Vecchio, собор, Pallazzo di Justizia (??) и башню Giotto. Мало, мало. А все-таки голова переполнена и трудно запомнить детали.

20-го апреля. Собирался было поехать на 3 дня в Assisi и Perugia, но Иббс меня просил с ним поехать сегодня утром на допрос

«наших» военнопленных. Результаты никакого, никто, конечно, ничего не знал (по-видимому, это держится в страшном секрете), и нам они помочь не смогли. Первого, Unteroffizier'a из Regensburg'a я спросил насчет конца войны, а он мне в ответ сказал: «Der Krieg ist doch schon praktisch zu ende»¹⁴. Другой, из Westfalen'a, довольно глупый, беззубый Obgfr.¹⁵ ответил: «Im August oder September»¹⁶. Но все они тихи, и атмосфера неприятная, как повсюду, где пленные. Мне их не жалко, в том смысле, что им здесь лучше будет житься, чем у себя. Но Schadenfreude¹⁷ я не ощущаю никакой. Допрашивал и одного офицера, типичного немецкого студента или учителя. Очкастый, высокий, серьезный человек, лет 35-ти, очень вежливый, говорящий довольно свободно по-английски.

Написал Наташе о Флоренции. Стоит жара и страшная духота. Работа кончилась.

21-го апреля¹⁸ Почему и зачем я сегодня хочу писать по-немецки? Я только что закончил длинное 8-страничное письмо маме и папе¹⁹, только что положил письмо в ящик и чувствую, что вынужден писать и, что меня больше всего интересует, писать по-немецки. Связано ли это с распадом Германии, с немцами, или это просто естественная потребность выразить себя на языке, на котором я вырос, я не знаю. Во всяком случае, я только что написал им по-английски и не хочу продолжать на том же языке. Русский для меня не то что иностранный, но уж точно не повседневный, а немецкий?.. Если у меня когда-нибудь будут дети, я научу их как минимум 4-м языкам. Они должны будут говорить по-русски. Я не буду разговаривать со своими детьми на иностранном языке. Английский – потому что он прост и полезен. Французский – потому что это французский. Немецкий – потому что это язык Гёте и Гёльдерлина, а итальянский – возможно потому, что это красивый, красиво звучащий язык. И, кроме того, владея 4-5 языками, вы не пропадете в мире.

Боже, какой я глупый и пустой. Раньше я чувствовал внутри себя что-то. Не знаю, был ли я умным, но, по крайней мере, у меня была внутренняя потребность выразить себя. Теперь всё прошло.

23-го апреля. Вчера не писал. Утром работал, переписывал и работал над «Guide à Florence»²⁰, а после обеда было жарко, и я заснул. Вечером идиотский и совершенно ненужный Sgt. Mess-meeting²¹. Потом с Kurt'ом (длинным американцем) пошел в деревушку. Так прошел мой день. А что делается на фронтах. Бьют немцев повсюду, только немного затихло на американской средней части фронта. Русские в Rankow'e и Weissensee²². Обстрел идет центра города. Разрушается то, что еще стоит. Сегодня уже говорят, что 16 пригородов взяты русскими²³. Того Берлина, той Германии, тех немцев, среди

которого и которых я вырос и мы прожили 15 лет, больше нет и в нашей жизни не вернется. В эти 5-ть лет войны скончалась не только Германия, но и вся Европа. То, что делается в Европе, а теперь, конечно, особенно в Германии, что-то такое колоссальное и трагическое, что нам всего размера этой трагедии и разложения не обсудить. Я только чувствую, что что-то умерло, что наша жизнь и жизнь, вероятно, наших детей будет затронута тем, что разрушается, физически и морально, в Европе. Разложение ужасное. О немцах говорить и не стоит. Об этом мы знаем. Но я сознаю, что мы разрушаем и разрушали и, в конце концов, разрушим много хорошего. С плохим пропадает хорошее. Нам не вернуть человеческой невинности, христианской любви в широком смысле слова, многим не понять значения forgiveness²⁴. Геройство, чувство товарищества у нас есть, но зато сколько ненависти, сколько гипокризма²⁵, сколько горечи в сердцах человеческих. Папа, конечно, был прав в том, что война (т.е. ненависть в человеческой душе) не кончится до тех пор, пока одна сторона не найдет в себе силы простить своему врагу, простить всё зло, весь ужас, вытекший из страстей человека. Покуда мы будем носить в себе злобу, война не кончится.

А тем временем немцы, кажется, собираются продолжать войну из района Альп.

30-го апреля. Война, если еще не кончилась, то кончается. Дело теперь уже не неопределенного дня победы, а часов, дней, пока не рухнет окончательно всё и союзниками не будет объявлено, что мир наступил (хорош мир, когда страдания бесконечного количества людей будут продолжаться и ненависть друг к другу не только не утихнет, но вспыхнет, и этим будет убивать людей так же конкретно, как пушки, бомбы и штыки). Этого «мира» мы ждали почти что 6 лет – всю жизнь маленького Мишки²⁶ – а теперь чувствуется какая-то нереальность и непостижимость всего того, что это значит. Как всё кажется релятивно. Уже хочется нового и другого и уже недовольны мы тем, чего достигли. Я предчувствую грандиозный антиклимакс, какую-то пустоту. Но слава Богу за то, что Он нас довел до этого, к разгрому окончательному и совершенному этого ужаса. Одно то, что нашей победой мы прекратили это неопишное и непостижимое страдание душ и тел в немецких концлагерях, одно то стоило бы всего этого братоубийства и кровопролития. Дай Бог только, чтобы нас научило что-нибудь то, что открылось там. Кроме нереальности и чувства, что объять нельзя всего того, что там делалось, непостижения умом размера ужасов, там творившихся, и впоследствии которого люди всё еще страдают и умирают там же, я чувствую какую-то горькую боль и бесконечный стыд и срам за человека (т.е. за себя). Никогда до сих пор нам не приходилось подозревать и дотрагиваться до той бездон-

ный бездны человеческой души, которая дозволила такую профанацию самой себя. Чем больше я узнаю и слышу и начинаю умом постигать размер этой бездны, тем больше я знаю и верю и уверяюсь, что вина, в конце концов, не единиц, не тех, которые творили эти зверства, а наша общая, всего человечества как единицы. В этих концлагерях мы все страдали, испытывали человеческие дьявольства, все умирали и кричали от боли, ужаса и непостижения разумом той силы, которая заставляла нас страдать и умирать. И так же, в этих же концлагерях мы все, человечество, сжигало и убивало само себя и творило неописуемые зверства. Те эсэсовцы и те жертвы *суть* мы, мы умирали и мы профанировали человека, мы умирали и телесно и душевно. Вот в чем оказалось наше наказание. В нас самих пробудилась какая-то дьявольская сила, и за это мы страдаем. Долго и горько мы за это будем платить той ненавистью и тем злом, которое вновь вспыхнуло. Ненависти к тем, которые это зло причиняли, я не чувствую и чувствовать не могу. Какую-либо Schadenfreude при смерти их я не ощущаю. Я только хочу молиться и умолять Бога прощения за всех нас одинаково, потому что они, эти палачи, только были каким-то инструментом нашего греха и нашего зла. Я себя лично, совершенно реально, чувствую виноватым. По-моему, только тогда, когда мы осознаем в себе этот наш индивидуальный грех и как бы наше участие в этом грехе, только тогда мы заслужим прощение, и только тогда будет настоящая победа. До тех пор, пока мы будем разделять грех, до тех пор я чувствую какую-то неправду духовную и трусость сознаться в своей вине. В таком расположении духа, конечно, не может никогда быть конца братоубийства и ненависти.

Об Ассизи не хочется писать.

1-го мая. Из письма к папе и маме.²⁷ «Это (открытие в К.З.²⁸ в Германии) настолько грандиозно, размах и профанация человека настолько сильны и велики, что мне кажется бесполезным пытаться понять и охватить это умом. Скорее всего, это невозможно, и лучше бы так и было. Потрясение, если бы его удалось осознать, было бы очень велико. Я чувствую, что у этого есть гораздо более серьезная и глубокая причина, чем те, которые были предложены увидевшими это людьми. Прежде всего, и я говорю по опыту, – когда, например, мне приходилось сталкиваться, во время гражданской войны в Греции или здесь, в Италии, особенно сцена в Milazzo²⁹, с сильно страдающими людьми, – это факт, что страдания вызывают у других прежде всего чувство отвращения. Оно настолько сильно, что на мгновение заглушает все остальные соображения. Эта реакция ужасна, безжалостна, абсолютно неверна и ложна, но я сам видел и пережил ее и знаю, что это правда (впрочем, она проходит, если в человеке достаточно *человеколюбия* или простой *гуманности*). Когда,

например, дети и женщины, неописуемо грязные и худые от недоедания, в лохмотьях и с выражением сильного страдания, подходили к нашим окнам в Афинах, чтобы попросить еды, реакцией, первой, немедленной реакцией, были гнев и отвращение. Вероятно, это защитная реакция, поскольку человек злится на них за то, что они нарушают его приятную и комфортную безопасность, и за то, что они своими страданиями демонстрируют степень человеческой деградации. Но в некоторых случаях это может легко привести к садизму (сначала чувство превосходства и, в конце концов, причинение людям страданий, чтобы можно было сравнить себя с ними в свою пользу; это своего рода *Angeberei*³⁰) и, что чаще и вероятнее, зрелище сильного страдания может, если оно появляется достаточно часто, привести к полному безразличию. И это последнее, пожалуй, более тяжкое преступление. Равнодушие – это полное отрицание человека, полное отсутствие интереса к нему, к его судьбе и страданиям. Садизм, каким бы извращенным и бесконечно плохим он ни был, демонстрирует интерес к человеку. С религиозной точки зрения, я думаю, это не совсем плохо, поскольку интерес есть. Из всего, что я слышал об этих К.З., самый большой и далеко идущий по результатам и страданиям фактор был связан с пренебрежением, безразличием. (Русские в Афинах, рассказывая мне подробности своей жизни в немецких застенках для военнопленных, уверяли, что активно издевались над ними нечасто и не очень жестоко. Например, было мало случаев расстрелов, избиений, пыток или чрезмерной работы³¹. Основной дискомфорт и страдания были вызваны тем, что они не получали должного ухода. Не было адекватной медицинской помощи, не хватало еды, места для жизни, одеял, одежды и т.д. Лагерь, в котором они находились изначально и откуда их потом отправили в Грецию, Moosbach³² под Мюнхеном, был взят американской 7-й армией, и более 120000 наших военнопленных были освобождены.)

Я уверен в двух вещах. Преступления такого масштаба и преступления, которые организуются, допускаются и поощряются государством, могут происходить только там, где нет общественного мнения. Chez nous³³ происходят вещи, которые, если и не имеют такого же масштаба, то, по крайней мере, допускаются такими же условиями. В любом случае ничто не мешает этому существовать, как, например, в западных демократиях. (Полное, абсолютное отсутствие даже желанной критики – а критика, то есть общественное мнение (парламент, пресса и т.д.), является единственным эффективным сопротивлением от этих ужасов – у этих русских приводило меня в ужас. Это напомнило мне о такой же слепой вере немцев.) Во-вторых, я уверен, что жестокость и вообще всё, что касается психики, духовности и морали, не ограничивается какой-то одной нацией или слоем населения. Опыт Германии научил меня, по крайней мере, глупости, если не ска-

зять больше, *Rassentheorie*³⁴, в какой бы форме она ни проявлялась. При благоприятных обстоятельствах, получив возможность, уничтожив пропагандой желание и способность к критике, она появится где угодно. (Немцы виноваты в том, что допустили появление режима, который привел их к этому. Но даже это не всегда верно. Пример – Россия. Это просто произошло, и теперь они не знают, что они неправы.) Я хорошо знаю и помню, что даже я, находившийся под иным, противоположным – вашим – влиянием, начал верить в абсолютное превосходство немцев и тем самым исказить свое представление о добре и зле. От такого образа мыслей до убеждения, что я должен убивать ради народа и т.д., остается совсем немного до тех ужасных масштабов, которые открылись сейчас в этих К.З. Я не оправдываю тех, кто это сделал, и тех, кто позволил этому случиться (в любом случае я частично ответственен за это), но я могу понять процесс, который привел к этому. Отказавшись от гуманных мыслей и чувств (ради далекого блага, как им кажется), они делали это, вероятно, без осознанного чувства вины и неправоты. Я думаю, что по этой причине немцы, более молодые немцы, просто не смогут понять наш гнев и обиду, и им вполне естественно покажется, что это просто чувство мести в нас. Эти люди не «не пригодны для жизни», как сейчас часто говорят, а слишком опасны, чтобы быть на свободе.

Я, конечно, знаю, что это проявление дьявольщины – болезнь человека и что как таковая она *abwehrbar*³⁵ и излечима. Это, по-видимому, ослабление сопротивления человека, и это не зло как таковое, а проявление, форма зла, один из бесчисленных способов, которыми зло может проявляться. Я думаю, что возникнет очень большая опасность, если мы будем считать гитлеризм самоцелью, злом как таковым, а не проявлением зла, которое появилось из-за определенной нравственной болезни человека в данное время и в данном месте. Думать, что его поражением, чисто военным уничтожением, мы устранили зло или даже этот конкретный вид зла и возможность его повторения в любое время, очень опасно. Это порождает ложное чувство безопасности. Если мы не поймем, что гитлеризм и вообще любой диктаторский режим – это нравственная болезнь, то мы выиграем очень мало, потому что в любой момент она может проявиться в нас без нашего ведома. Мы должны быть внимательны, чтобы знать и осознавать, что в каждом из нас есть это «начало» зла. Разгром гитлеризма не дает морального решения, но он дает такое комфортное ощущение, что всё достигнуто, что с разгромом Германии ничего больше не может произойти, потому что мы спасли мир, что уничтожение гитлеризма – это духовная победа.»

Послезавтра еду, сперва в Феррара, а потом вплоть до Виченса. Надеюсь увидеть Венецию.

2-го мая. Вчера объявили, что умер Гитлер. Этим кончилась глава человеческой истории и безумной стихии и бестиальности. Больше 12-ти лет Гитлер пробыл у власти немецкой, вел – недаром его называли Führer'ом³⁶ – их и довел вот к чему. Немцев возненавидели все такой страшной, психологически очень понятной, но в результате ужасающей, ненавистью, которая не даст нам в нашей жизни ни покоя, ни свободы истинной. Станный, загадочный народ, который позволил себя довести до таких бездн. Я вполне могу понять ход событий, который позволял им позволять эти зверства. Но как-то простить по-человечески трудно и не хочется. Знаю я, что прощать, особенно когда причина понятна, есть долг, но для этого нужна чуть ли не сверхчеловеческая сила, а я не в состоянии этого сделать. Но винить, чувствовать месть, Schadenfreude, разоряющую ненависть я тоже не могу, ибо есть во мне какие-то рациональные христианские эмоции.

Вчера внезапно я почувал, что стал религиозным человеком. То есть я себе отдал в этом отчет, как будто это духовное чувство наконец дошло до ума и registered itself³⁷, и мне от этого сделалась радостно. Жить так и легче, и многое умом станет понятнее и яснее. А главное то, что это не даст расти ненависти и желанию мести. Напротив, есть такая чисто человеческая мудрость и рациональность в прощении, что мне неясно, отчего я не дошел и [не] додумался до этого раньше.

4-го мая.³⁸ Если быть совсем честным с собой – а видит Бог, это одна из самых трудных вещей, – я бы раз и навсегда признался, что я не умен. На это есть много причин, и, кстати, им не место в дневнике. Но факт остается фактом: я не унаследовал талант папы. Мне не хватает не только силы и концентрации ума, но и ясности, которая особенно важна и существенна для мышления. Мысли, возникающие в моей голове, могут быть ценными в зародыше, но проваливаются из-за неспособности развить и прояснить их, привести в порядок. Я понимаю, что если у меня и есть талант, то он не интеллектуальный, а скорее религиозный. Мне легко любить и понимать детей и быть с ними на одном уровне. Я хорошо чувствую себя с детьми, они понимают меня и почти не боятся. Я также верю, что у меня есть способность любить людей и прощать им многое, очень многое (хотя и не всё, и мне это не удастся, потому что я также пытаюсь установить ненужные границы в этой чисто духовной области). Недавние зверства в немецких концентрационных лагерях, которые произвели такое ужасное впечатление на весь мир, погрузились в меня, если можно так выразиться, и глубоко потрясли меня. Моя собственная вина была раскрыта так ясно и недвусмысленно через чисто физическую невозможность отделить себя как человека от остального человечества. Я виновен не только в абстрактном смысле, то есть в том, что мои, так сказать, коллеги грешны и что через их грехи я, как человек, тоже

грешил и поэтому буду с ними вместе искупать вину (это самоочевидно и несомненно), но и в совершенно политическом, недуховном или абстрактном смысле. Я, по своей слабости, допустил это, и мне стыдно признаться в этом самому себе. Как я уже писал папе, а также здесь, я знаю, что существует коллективная ответственность и коллективный грех, который охватывает и затрагивает человечество как таковое, как единое целое. Я несу ответственность за человечество. Как человеческое существо, я взял на себя обязательства, выходящие далеко за рамки сугубо личных. Бог доверил мне быть человеком, я не могу жить и существовать отдельно от своих братьев, и наши индивидуальные поступки настолько тесно связаны, что грех неизвестного и непознаваемого для меня человека, находящегося за тысячи километров от меня, касается лично меня и затрагивает лично меня. Я не знаю, признает ли это Церковь, христианское учение, но мне кажется, что в своей мудрости она должна это признать. Я бы хотел пойти на *исповедь*, где попросил бы у Бога прощения за грехи человечества, насколько я к ним причастен, а также за грехи всех людей, насколько они меня касаются и затрагивают.

А теперь о другом. Во-первых, я чувствую в себе большую радость и гордость о здешней победе. Началось с тех бурных дней в Salerno, потом отдых в Корсике, те 8 радостных дней с папой и мамой, встреча моя и работа моя в Афинах с русскими и, в конце концов, эта замечательно интересная работа. Теперь мы выиграли и во мне делается что-то странное и бурное. Один из довольно грустных результатов – это то, что я не увижу ни Венецию, ни вообще сев[ерные] итальянские города. Кроме того, теперь начнется и начинается то время, в кот[ором] мы очутимся в каком-то пространстве. Нам, конечно, предстоит Германия, но когда, а до тех пор будет довольно неприятно.

5-го мая. Сегодня вечером, говорят, в восемь часов по радио будет передаваться что-то очень, очень важное. Я и все мы ожидаем с нетерпением, что будет объявлен конец. Конец всему. Как бы ни ожидали конца после последних потрясающих побед и совершенного разгрома врага, но все-таки это есть что-то сверхнеожиданное. Я достал маленькую пол-литровую бутылку легкого вина, но справлять бурно, с пьянством и песнями, не хочется, да и не надо. Радоваться надо о том, что кончилось братоубийство (или, еще мне кажется, надо писать «кончится» или «кончается»), да и последнее неизвестно), но радоваться нельзя, напиваться, торжествовать и от восторга кричать и с ума сходить нехорошо. Это как будто бы плясать и радоваться, что разбойник убил только мать, сжег дом, а жена и дети спаслись. Мне всё время грустно, до боли грустно, и я не могу, да и не хочу радоваться. Пойду завтра в церковь, если это правда, и помолюсь – есть же у меня к этому желания и силы – о смерти бесчисленных, о муче-

ниях матерей, всех, всех, всех, виновных и невинных, убийц и убитых, грешных и святых. Надо жалеть человечество, любить человечество как человека и человека как человечество. Страдания и смерть стали так дешевы, так ежедневны, что мы позабыли цену и стоимость, святость каждой души, каждого человека и, наверное, и каждой слезы. Ведь человек есть мир, есть космос, есть чудо, и в нем рождается такая сила, такая простота и такое бесчисленное количество страдания, что мы забываем про это. Война! Ужас, потому что нас научили забывать святость человека, и разрушаем с каждым Dreck'ом³⁹ на курок целый мир. Безумие. Как после этого нам жить, нам – убившим.

О житейских делах моих мне писать не хочется, да и не можетя. Напишу только, что подал прошение о демобилизации и об отпуске к папе и маме. М[ожет] б[ыть] это выйдет. Отпуск мне обязательно дадут, если только нам уже не предназначили работу в скором будущем в Германии. А насчет демобилизации, не знаю. Наверное, так говорит Исаас, отпустили бы, если я не был бы переводчиком.

6-го мая. Справил заутреню вчера ночью⁴⁰, читавши глупую и более чем обыкновенную пустую книгу Vicki Baum⁴¹, да и то в английском переводе. Сегодня мылся, написал Наташе и Ви о моих прошениях, похристосовался с ними, а вот уже 7 часов, скоро стемнеет и будет скучно сидеть с Седриком в палатке, жарить хлеб, пить чай, слушать радио, спорить с его раздражающим, чрезвычайно английским умом и потом, от ничегонеделанья, лечь спать к 12-ти часам. Таким образом проходит мой день.

Потрясло меня – нет, об этом надо писать на каком-либо языке, кроме русского.⁴² Мне кажется, это один из признаков несправедливости и абсолютной бесчеловечности, что в данном случае я вынужден писать на немецком языке. Русский язык здесь неприменим, поскольку речь идет о резкой критике России изнутри, а точнее, о критике власти, правящей в России в данный момент. Вчера вечером по радио сообщили, что на запрос Идена⁴³ и Стеттиниуса⁴⁴ Молотов⁴⁵ заявил, что несколько польских политиков были арестованы русскими⁴⁶. Причиной, как говорят, стали акты саботажа в тылу Красной армии. Теперь Молотов также заявил, что они находятся в Москве и что либо все, либо большинство из них будут преданы суду. Пусть вмешательство англичан и американцев спасет их от худшего. Однако замечательно, что иностранные державы вынуждены вмешиваться. Судьба этих людей и обращение с ними чрезвычайно важны, потому что это еще яснее покажет, что представляет собой Россия. Если их расстреляют или сошлют, можно будет со всей честностью и убежденностью сказать, что Россия принципиально ничем не отличается от немцев, что эта война была, по сути, войной, по меньшей мере одинаково зараженной человечности между русскими и немцами.

Ведь невозможно утверждать, что поступок плох и несправедлив, если его совершил немец, и что он хорош, справедлив и простителен, если его совершил русский. Мне давно казалось, что абсолютная потеря свободы, будь то в Германии, России, Италии или где-то еще, – это несправедливость и угнетение народа, даже если народ убежденно заявляет, что счастлив ее потерять, что это жертва во имя чего-то другого и/или лучшего, или что это вовсе не жертва, а гуманистическое (!) развитие политической идеи (я слышал это в немецкой школе). Однако мне казалось, что если хоть раз это может принести что-то хорошее, это простительно. Это были мечты, ложные и бесосновательные мечты. С возрастом, а особенно после жизни с русскими в Афинах, после обнародования разоблачений немецких концентрационных лагерей, для меня стало неопровержимо ясно, что это тирания, что это начало, зародыш взывающей к небесам несправедливости. Без свободы человек не только не может жить достойно в нашем западном понимании этого слова. Но именно здесь начинается политическая ошибка в том смысле, что свобода способствует оппозиции, а оппозиция правительству представляет собой здоровую вещь.

Из всего, что я узнал о России через этих людей, я был приятно удивлен их социальным обеспечением*. То есть страховка, отпуск, школы, университеты, клубы и т.д. и т.п. Однако мне кажется, что я предпочел бы жить, например, в Англии или любой другой демократической стране, где нет этих первоклассных социальных услуг. Потому что свободу – это ужасно коверканное слово – не стоит презирать. Я могу обойтись без праздников. Для меня важнее знать, что я могу спать по ночам, не боясь быть арестованным и избитым, сидеть годами в тюрьме, быть расстрелянным. Это, конечно, практическая и достаточная причина, причем довольно важная. И, скорее всего, правда, что Россия победила немцев именно потому, что была похожа на них. В этом одна из трагедий человечества. Зло нельзя победить без зла.

Уже второй час ночи. Достал себе стул и стол из бывшей комнаты № 9^а и сижу под лампой и радуюсь тем, что могу писать при хорошем освещении, никем не мешаемым, кроме редких звуков странных из радио Седрика, который, как обыкновенно, сидит и чинит свое драгоценное радио. О нем-то и хотелось мне написать.

Окончил письмо Алеше и его опустил в наш «ящик», который состоит из старой медной банки из-под галет в большой машине Leyland⁴⁷, стоящей у нашего креста. Крест-то этот правда интересный. Наша горка – самая последняя гора⁴⁸. Куда ни помотришь на север, гор больше не видно. Пред нами долина реки По. И вот крест наш,

* В оригинале письма: «angenehm enttäuscht», именно – «приятно разочарован». В этом, возможно, противоречивость испытанных чувств: он разочарован собственным незнанием истинного положения вещей – и ему приятно осознавать, что на деле всё обстоит лучше, чем он предполагал. (Публикаторы)

вышиной 5-6 метров, стоит свидетелем холмов и гор Италии. Последний как бы представитель их. Ну вот, до чего я путаюсь. Начал с Седрика, а дошел до каких-то представителей итальянских гор. Ладно, писавши Алеше, зашел заика Charlie, и разговор пошел о тех самых поляках, которые были арестованы русскими силами и началось, потекло из этого маленького, до того полного какой-то британско-расовой гордости и самолюбия, что я только начал пыхтеть и себя уговаривал, что спорить с ним нельзя. Спорить с ним вообще трудно (я себя с ним часто очень сдерживаю). Его рассуждения вот какие: что если Россия себя дальше будет вести таким образом, то очень вероятно, что это кончится войной между западными державами и Россией и что тогда, конечно, они Россию разобьют в два счета. Дальше он не может понять (это его слова в переводе), почему они так поступают, ведь «у нас делается это по-другому. Называйте нас Empire-builder'ами, но мы это делаем спокойно и тихо» (хорошее сравнение!). Эх вы, англичане. Нам многому у вас учиться, многому, многому, но [не] такту, вежливости, человекопочтению, – вы, по сравнению с европейцами, дети, варвары, неряхи. Это мне так ясно стало в лагере в Афинах, когда я краснел, стыдился, в углы хотел прятаться от стыда от их невежости (sic), негостеприимства и бестактичности (sic). Пусть мы русские варвары, но у нас есть какое-то гостеприимство. Ах, да на ... с ними, как выразался Иван Ильич⁴⁹. Так, нет?

Мучает меня почти что телесно слушать его взоры о России, потому что он выражается так бестактично передо мной. Как взрослый человек, чуть ли не сорока лет, может себе позволять такие вещи, я просто не могу себе представить. Главное, что меня раздражает (и это несмотря на то, что в глубине я с ним согласен о советском режиме), это его ненависть к России и какая-то мания величия не самого себя, а английского всего. Я с ним, в конце концов, соглашаюсь, но о русских не отзываюсь, как он, «bastard'ами» и «А...'ами»⁵⁰. Меня раздражает его бестактичность, его отсутствие любви к России и ко всему русскому. Он, конечно, страшный эгоист. Но это дело не мое, с ним поэтому жить трудно, он типичный английский капиталист, суперконсервативный, дрожащий за денюжки свои жалкие, и обожает из себя представлять большого и важного человека. Но это всё неважно и неинтересно. Я с ним сношения после войны иметь буду вряд ли, но как тип он интересен. Даже странно как-то, что англичанин, насмотревшись миром до такой степени, как он, может быть, во-первых, до того узким в своих взорах, до того шовинистичен в своем восторге к своим англичанам, и, во-вторых, что он так мало принял европейской культуры и нравов. Помнится мне, как отец Лев⁵¹ сказал, что Россия и русские – это как будто заколдованный сад; перелез через забор, посмотри Россию, русских людей, – и человек пропал. В этом есть много правды. Мне судить об этом трудно, но даже я заме-

чаю шарм многого русского. И потому мне именно и непонятно, как человек, повидавши Россию и проживши там несколько лет, мог не только не быть очарованным ею, но и возненавидеть ее [с] такой страстью и [с] такой силой.

7-го мая. 8-15 ч. вечера. Только что несколько минут тому назад прервали программу и объявили, что завтра, 8 мая, будет официальный день победы. Сегодня утром, в 2 часа 41 минуту, немцы подписали мир в Реймсе. Сдались немцы, сдались враги. Кончилась война. Слава Богу. Спасибо Тебе, Господи, что ты окончил этот ужас, что привел нас к этому. Это военная победа, но мне грустно, и думаю, не могу не думать, о всех потерях, всех смертях и потери моральной и духовной. Надо теперь думать, молиться о том, чтобы как-нибудь человечество не смогло бы забыть то ужасное время, которое кончилось сегодня.

8-го мая. Сегодня ночью, в одну минуту первого часа, кончается война с Германией. Немцы сдались безусловно и, тем самым, окончили войну европейскую. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, что Ты нас привел к окончательной победе, что нас миновала безумная опасность, что мы победили врага, победа которого была бы в буквальном смысле слова хуже смерти. Дай Господи только, чтобы потери, смерти, ужасы не прошли бы даром, чтобы научились чему-то и чтобы эта война имела бы в будущем смысл.

Я не могу писать. Голова до того запутанна, столько произошло за этот день, что я в каком-то нервном расстройстве, у меня голова болит, и я чувствую, что как-то писать и думать не могу. Ощущал и переживал сегодня столько, что умственно не могу больше работать. Знаю только, что кончилась война, что целая ужасающая эпоха нашей жизни перестала быть, что братоубийство, активная, фальшивая ненависть человека к человеку больше не нужно, что это больше не императив, а уже если оно будет продолжаться, то по привычке этих жутких пяти с половиной лет. Я знаю, что то, что я ощущаю, что мне думается, не есть то, что ощущают и думают мои товарищи. Их холодность, независимость, отвержение от общего дела и от общей ответственности меня ужасают. Неужели люди – ведь от людей зависит судьба всего человечества, не могут и не хотят понять самых элементарных правил моральности.

Ложусь спать с тяжелым сердцем, ибо среди всей этой истерической радости мне грустно и вспоминаю Поля, Наташу, Алешу, папу и маму и ясно ощущаю человеческие страдания.

12-го мая. Не писал несколько дней. Стоит жара и поэтому трудно и потно что-либо серьезно делать. Всё жду не дожусь ответа

насчет отпуска (увольнительного) к папе и маме. Завтра часть наших едет в Венецию на четыре дня. Я же отказался – боюсь пропустить ответ и этим потерять несколько дней, а кроме того ожидается Wing Commander⁵², и я с ним должен буду поговорить, потому что он сейчас же сможет, если захочет, мне дать увольнительную.

Сегодня окончил вчера начатое письмо папе и маме. Переписываю и, как всегда, вероятно в процессе переписки, разработаю. Должен писать им по-английски.⁵³

Я хотел бы ответить на твое⁵⁴ письмо в ответ на мое, где мы обсуждаем христианскую мораль. Конечно, я могу только согласиться с тобой, когда ты говоришь, что христианская точка зрения на мораль, в той мере, в какой она воплощает чувство ответственности человека за поступки других людей (независимо от того, принимает он в них активное участие или нет), является единственной практически осуществимой и трезвой политикой. Так и должно быть, потому что только благодаря чувству Mitschuld⁵⁵ и равнодушию к тому, что происходит вокруг, может существовать дух терпимости, тот дух, который только и позволяет человеку увидеть, без предвзятости и ненависти, свое истинное отношение к другим. Но хотя я не могу не согласиться с тобой, мне кажется, что можно пойти еще дальше, чем ты, и доказать, что Гитлер и эта война – прямой результат отсутствия коллективной ответственности у отдельных людей. Гитлер, те события, которые привели к нему, и те, которые последовали за ним, в чисто политическом смысле являются результатом морального разложения не только немцев, но и всей Европы. Достаточно того факта, что западные политики не увидели в то время того, чем является Гитлер, или не захотели увидеть. Здесь, как мне кажется, можно найти взаимосвязь политического и морального разложения. Немцы (и les nôtres⁵⁶) искали вне себя то, что можно найти только в себе. Мы терпели это и не понимали, насколько это опасно, в своей ansteckender⁵⁷ привлекательности. Поиск причин несправедливости и неправоты вне себя – это разрушение способности к критике, а это, в конечном счете, крах политической мудрости. Идея обвинять евреев, коммунистов, кулаков и контрреволюционеров в грехах, которые есть и у нас, и у них, типична для этого краха. Моя вина, неизбежная и неотвратимая вина и грех, возлагается на других людей. (Это признак низкого интеллекта – обвинять людей, а не события. Это такая же дешёвка, как злодей из детективной истории для двенадцатилетних про Тома Шарка⁵⁸, который воплощает в себе всё зло и уничтожение которого является гарантией искоренения зла.) Здесь, как мне кажется, и кроется настоящая опасность для нас. После ужасных страданий последних пяти лет и внезапного «решения» немецкой проблемы всю вину перекладывают на плечи немцев, и начинаешь думать, что с уничтожением немцев автоматически уничтожается и зло как тако-

вое. На самом деле это такое же самое ужасное моральное разложение, которое привело к Гитлеру, его еврейской «проблеме» и, наконец, к этой войне. Мне кажется, что очиститься от этой негативной моральной установки чрезвычайно трудно. Не понимать, что в конечном счете и в основе причина кроется в нас самих, что мы, люди, взаимосвязаны и, следовательно, несем общую вину за грехи, совершенные человеком во имя человека, – это чистая трусость. И это, к сожалению, привлекает. Следовательно, я не вижу, как христианский взгляд на коллективную вину и коллективную ответственность может быть принят и понят всеми, разве что меньшинством. Он порождает, если принять и понять его, слишком много неловких и неудобных ситуаций. Кроме того, он требует такого высокого уровня нравственности, что кажется безнадежным рассчитывать на него. В ближайшем окружении из 20-30 человек, окружающих меня, мысль о том, что вина не лежит исключительно и окончательно на немецкой стороне, кажется глупой. Недавние разоблачения ужасов в немецком К.З. только укрепили это мнение. Приведу один пример: никто не видит ничего плохого в формуле: «wie du mir, so ich dir»⁵⁹, а то, что правительства явно не это имели в виду, рассматривается как еще одно проявление коррумпированности правящих классов. Это расценивается как «слабость, судебная ошибка, политическая и моральная непрактичность и глупость, которая будет иметь пагубные последствия для нас в будущем». Это напоминает мне детскую логику «er hat angefangen»⁶⁰, когда я бью его по носу, потому что из моего течет кровь. Приказ о запрете братания в Германии⁶¹ – это тупик, который, если его не отметить, не может предложить никакого решения и заставляет их почти визжать от радости. Какое-то наказание в любом случае неизбежно – немцы виновны в этом слишком легком *Verführbarkeit*⁶² – но в основе такого отношения лежат те же чувства, которые в конце концов привели к ужасам в Бельзене и Дахау. И это, папа, грубо говоря, позиция людей, которые внешне верят в христианство, но при этом так слепы. На нашей, русской, стороне это еще больше, потому что они ощутили злодейство немцев и потому что это, как и всё, как правило, организовывается. При таких обстоятельствах трудно представить, как может распространиться это христианское нравственное чувство, говоря практически, моего личного участия в бельзенских мучениях. А если этого не произойдет, мы мало что выиграем.

В этом, папа, похоже, кроется основной, страшный вопрос, касающийся не только войны, но и всего поведения человека. Как легко читать о Каине и Авеле и ничего не понимать.

Вот послание Thomas Mann'а немцам к Рождеству 1941 г. Переписываю из книжечки «Is Christ divided?»⁶³:

«И снова Рождество, немецкие слушатели, военное Рождество –

в третий и не в последний, увы, долго еще не в последний раз. Ваши правители почитают за лучшее признаться вам по крайней мере в этом – что вам предстоит долгая и тяжкая борьба, с кровавым Рождеством год из года. Они говорят: этого требует обстановка в мире – обстановка, которую они и создали. Вы можете им в порядке исключения поверить – в то, что они говорят и о чем умалчивают, и что вы и сами чувствуете: никакой Зигфрид не ждет вас с победоносным миром на выходе из вашей войны, потому что победа Германии не означала бы мира, и человечество должно и будет препятствовать миру, который планирует ваш фюрер. Снова военное Рождество, одно из многих – оно пройдет скромно. Не хочется ли вам скорее, чтобы этого праздника больше и вовсе не было, чтобы о нем не надо было хлопотать, придумывать друг для друга подарки, по которым неплохо заметен упадок материальной жизни – не говоря уж о душевном состоянии, в котором вручаются и принимаются эти дары? Каково вам на душе, немцы, в этот праздник мира, праздник рождения света, праздник сошедшего к нам, рождающегося для людей милосердия? Верно ли я чувствую, что вас при этом наполняют стыд и безграничная тоска – тоска по невинности, прочь из пут безумной вины, которые повязали вас по рукам и ногам; и стыд, жаркий стыд перед любящим духом этого праздника? Оглянитесь, что вы натворили! В Греции каждый день двести человек умирают от голода – и это лишь один из примеров вопиющей к небесам нищеты, вымирания наций, унижения людей, творящейся вокруг вас агонии тел и душ, в которой вы повинны своей податливостью, своей чудовишной послушливостью. Что станет с Европой, что станет с вами самими в ходе ‘долгой и жестокой’ войны, которую вам обещают с наигранной откровенностью? Если бы отчаяние начало проникать в ваши души, это было бы славно, немцы, это было бы началом добрых перемен. Отчаяние – это хорошо, это лучше, чем трусливое хвастовство. Из отчаяния, если оно только достаточно глубоко, ведет подъем, новая надежда, возрожденный свет. Посмотрите: рождественская звезда, за которой держит путь человечество, горит и светит даже сквозь плотный кровавый туман этого времени. То звезда мира, братства и правосудия»⁶⁴.

27-го мая. Из письма к папе и маме.⁶⁵ «Я был очарован Венецией. Уникальный, необычайно красивый и завораживающий город. Гондольер, катаясь на старой типично венецианской гондоле с гребенчатым носом, указывал на здания, где жил Вагнер, сочинивший ‘Tristan und Isolde’, где жил и умер Браунинг⁶⁶, дом д’Аннунцио, ателье Тициана, Тинторетто и Бог знает что еще. И гондольер так горд, так полон достижений своего города, так явно горд и рад рассказать мне, найти во мне слушателя, который оценит его и его описание, и красоту, и согласится, что город действительно велик.

Я видел практически все красивые города Италии – Венецию, Флоренцию, Рим, Неаполь, Ассизи, Болонью, Падую, Римини (полуразрушенный), Равенну, Палермо, Агридженто, Чефалу на Сицилии, и понял, что в эти времена физического и морального разрушения и презрения к жизни и людям мы должны воспитывать в себе, помимо очевидного гуманизма, чувство благодарности к прекрасному творению. Когда я смотрю на Святого Марка, на Санта-Мария-дель-Фьори, на Колизей, на фрески Джотто в аббатстве Святого Франциска в Ассизи или на Парфенон, я понимаю, что они – часть той культуры, переданной нам, которую мы растрчиваем, неправильно понимаем и отказываемся ценить, учиться у нее и принимать ее. Мы, как говорит Виктор, *проматываем* эту культуру в Бухенвальде и на Соловках, с одной стороны, в Чикаго и Вулверхэмптоне – с другой. Настало время спасти то, что пощадил этот ураган человеческих страстей. То, что я увидел и узнал в Италии, поможет мне. Италия – это колыбель культуры, которую сейчас, как, возможно, никогда прежде, мы должны научиться ценить. Опираясь на это умственное и общественное состояние, которое позволило Италии создать культуру такого масштаба, мы сами должны строить, пытаться что-то построить. Мы, с нашим культивируемым презрением к человеческим усилиям, должны найти в себе достаточно сил, чтобы разучиться этому. Если есть коллективная ответственность и коллективный грех, то должно быть и общее, коллективное богатство, истинно социалистическое общее благо, прошлое которого я вижу и научился ценить и считать своим здесь, в Италии и в Греции.

Я нашел книгу Liam O'Flaherty 'The Informer'⁶⁷. Он ирландец, конечно, мрачный и талантливый. Примерно 4-5 лет назад, в разгар воздушных налетов на Лондон, я открыл его для себя и прочитал все его книги, которые смог найти, и на короткое время он стал моим героем, после Оскара Уайльда, Честертона и других. Теперь, немного повзрослев, я нахожу в нем недостатки. Что меня тогда привлекло, так это крайнее отрицание порядка и анархия, которая в его случае была оправданна силой чувств. В этом, в насилии, в обращении к примитивным, почти атавистическим импульсам и в их связи он имеет определенное сходство с Д.Г. Лоуренсом. Однако у Лоуренса была определенная и очень позитивная программа, в то время как у О'Флаэрти нет ничего подобного. Он слишком легко подходит к проблеме, которая проходит через все его книги, – проблеме примирения первобытных поступков с функционированием современного общества. Он полностью отрицателен, и его герой всегда плохо кончает. Его анархия нравилась мне, когда мне было 20 лет. Это был как легкий Достоевский. Сейчас я нахожу этот ирландско-русский нигилизм недостаточным. Но его увлекательно читать, и как персонаж он должен быть очень интересным.»

10-го июня⁶⁸

19-го июня. Опять из письма к папе и маме:

«Несколько дней тому, в Бари, мне пришлось случайно наткнуться на группу русских офицеров. Я хотел было к ним подойти, с ними заговорить, а потом, обдумав, махнул рукой и ушел. Какая-либо связь с русскими (оттуда) обозначает какое-то представление, а мне не хотелось опять начинать то вранье о моей «английскости», о том, что ты, папа, англичанин, не хотелось быть не самим собой, а главным образом, не хотелось ощущать ту тоску, которую вызывает всякий контакт с ними. Я так намучился там, в Афинах, среди той группы русских, какой-то русской душевной болезнью, той несовместимостью моего и их мирозерцания. Чем больше я думаю о них, обо мне и о нашем отношении, тем яснее мне становится, тем яснее я вижу и чувствую ту ужасающую разницу, которая нас разделяет. Мне стало ясно, что я русский человек с западноевропейской культурой, что мне разумом невозможно их понять, разумом невозможно с ними сойтись и сблизиться. Несмотря на всю ту близость, ту чисто эмоциональную близость и теплоту, я им и они мне, в конце концов, совершенно чужды. Разница между нами в мирозерцаниях, я не могу, не в состоянии думать по-ихнему. Это, в конце концов, конечно то же самое, что меня разделяло и томило с немцами. Трудность состоит в том, что я их, русских, нежно и верно люблю, а с немцами я себя во всё чувствовал чужим, и поэтому не существовал тот конфликт разума и эмоции. Как бы мне ни было хорошо и совершенно удовлетворительно с ними быть, жить, с ними разговаривать, им помогать, с ними вместе ругать и возмущаться английской негостеприимности и нетактичности, всё это было какого-то рода флерт, жизнь с ними была бы так же неудовлетворительна и, в конце концов, так же катастрофична, как брак с красавицей, в которой меня ничего, кроме ее красоты, не интересует. Меня тошнило и тошнит от их Сталинов, их узкости, их ужасающий наивности, их *Verführbarkeit*, их сходства с немцами, и я отдыхал от этого варварства в кругу англичан, которые мне во многих отношениях противны. А стоило мне вдруг вечером запеть в три, четыре голоса:

Еще солнце не заходило
 Изрубилась темнота,
 Несчастлива та девчина,
 Эх, да, несчастлива та девчи-и-и-и-и-на,
 Кот'ра любит казака» и т.д., и т.д.⁶⁹

Я вторю, а тенорком кто-нибудь, Степурин ли, тянет так высоко, так высоко, сладко и нежно, что сердце замирает, или так с Иван Ильичем, Гришей, начальником штаба⁷⁰, Степан Давидовичем⁷¹, стар-

шиной 3-ей роты, где-нибудь в уголку, закусив селедкой, выпить бутылку ουσόν⁷² или моего Whiskey и рассказывать друг другу наши истории жизни (как я там научился со вкусом лгать), то казалось, что больше ничего не надо и так всю жизнь прожить. Меня эта несовместимость их шарма и этого варварства и наивности поражала и мучила. Я и мое поколение русской молодежи, поскольку она не ассимилировалась, именно так и будем метаться между этим русским тенорком и русской варварстью».

1-го июля. Morruzzo (Udine)

Из письма Jeanjacques'y⁷³:

«Попадают странные люди, с почти невероятными историями. Русская девушка 18 лет, которая с 1942 года работала в немецкой солдатской столовой и теперь не хочет возвращаться в Россию, югославы десятками, титовцы и другие (до смерти напуганные тем, что их могут репатриировать), немецкие дезертиры, которые были собраны в немецкий партизанский батальон, входивший в состав триестско-удинских итальянских партизанских сил. Они были снабжены полными документами (заслуживающими доверия и всё такое), подписанными людьми из F.S.⁷⁴ Некоторые хотят вернуться (двое из них отправляются на следующей неделе в Вупперталь и Дюссельдорф соответственно). Один хочет обосноваться здесь. У него есть итальянская невеста, брат которой обещал ему работу в Милане. Он один из тех счастливых, кто избежал этого ужасного вакуума, когда человек оказывается вовсе потерянным. Правда, сталкиваясь с людьми, которые были полностью выкорчеваны этой войной, узнаешь о судьбах настолько странных и в своей полноте настолько ужасных, что никто не смел и подумать, что они возможны. Бельзены и Дахау – это лишь часть, крайний, страшный финал того хаоса, который царил в Европе на протяжении всей войны. Перемены в жизни людей были огромны, и мы еще не знаем, насколько они масштабны. Один случай, который я хорошо знаю, в некотором роде даже комичен, но очень типичен. Вот он. Когда я был в Афинах и работал русским переводчиком для около 400 русских бывших военнопленных, ко мне обратился один из них. Он сказал мне, что он румын, и умолял пойти с ним к новозеландскому капитану, который временно отвечал за них, пока они находились в лагере британской армии. Румын умолял меня ничего не говорить об этом визите русским. Что ж, я пошел и перевел его рассказ. Вот он. Он румын русского происхождения, моряк, живет в Буковине. Когда Россия аннексировала эту область в 1940 году, он попал в плен. Ему дали выбор – вероятно, из-за его происхождения и потому, что он свободно говорит по-русски, – остаться военнопленным или поступить на службу в русский флот. Он выбрал военноморской флот, был направлен в Одессу и прошел там обучение. В июне 1941 года немцы и румыны напали на Россию. Он попал в плен

к румынским войскам в Одессе, замаскировался под мирного жителя, румына, и под чужим именем во второй раз был принят на службу в румынский флот. В 42-м году он дезертировал, пробирался на Буковину, но по дороге был схвачен немцами, которые определили его в трудовой батальон. С этим батальоном, как полупленник, он объездил всю Европу, в конце концов был отправлен в Грецию на дорожные работы. Там он сбежал, ушел в горы, был подобран отрядом E.L.A.S.⁷⁵, который определил его в русский батальон бывших военнопленных, видимо потому, что он говорил по-русски. Прибывшие в ноябре англичане взяли под свой контроль для репатриации, в числе многих других граждан союзников, и этот русский батальон. Он был среди этой группы. Теперь он ожидал репатриации в Россию. Он умолял капитана не отдавать его с ними (его послужной список был не слишком безупречен по российским меркам). Капитан предложил следующее – он должен объявить себя румынским моряком, так как его последняя служба была у них. Тогда его можно будет номинально взять в плен на месте и посадить в тюрьму для военнопленных. Этот человек заплакал от радости, буквально расплакался и расцеловал меня, когда понял, что может стать военнопленным англичан и провести Бог знает сколько лет за колючей проволокой. Мне кажется показательным, что этот мягкий, приятный новозеландский капитан с его ясным и последовательным умом был органически неспособен понять, почему человек хочет превратиться из союзника в военнопленного».

27-го июля. Ну, вот, вчера были [под]счеты выборов⁷⁶, и консерваторы не удержались. Опасность, по-моему, не в том, что социалисты у власти, а в том, что они слишком сильны и что оппозиция минимальна. Мне страшно обидно, что разные идиоты, вроде Daily Mirror'a и т.д., будут захлебываться от восторга, самовлюбленности и начнут страдать от мании величия. Начнут их отвратительный снобизм «необразованных классов», который, по-моему, еще страшнее и неприятнее снобизма аристократии и интеллигенции. Жалко старика Черчилля.

Постольку, поскольку я могу судить по настроениям моих товарищей, которые почти что все выбирали социалистов, я уверен, что этот поток налево случился не из-за какого-нибудь глубокого и честного убеждения в праве социалистов, а просто потому, что большинство людей невероятно наивны и глупы, не умеют логично думать. Вчера, как только стало ясно, что социалисты пришли к власти, они, мои товарищи, сразу же стали утверждать, что, мол, «now they'll demobilize us in 3 month[s]»⁷⁷, и «we'll be able to show these bastard officers where to get off»⁷⁸ и что теперь вообще конец всем их личным трудностям. Поэтому я уверен, что эти самые люди, которые сейчас выбирали социалистов, в следующих выборах, через 5 лет, будут выбирать консерваторов. В новом интерес – хорошо там, где нас нет.

Социалисты у власти, потому что у одного болел живот, у другого сбежала жена, у третьего ненависть к офицерам и вообще авторитету и т.д. По-моему, одно из самых трагичных явлений демократии – это то, что важные политические перемены происходят не потому, что люди умны, а потому, что они бесконечно глупы и наивны. Русская революция произошла по глупости и наивности народа, Гитлер и вся эта война, потому что они были наивны, а теперь эта новая английская перемена. Это явление, по-моему, опасно, потому что оно манит к *Macchiavelli*. Всё это пугает меня. Вся Европа тянется к социализму, а теперь даже не существует оппозиция Англии.

28-го июля. Предыдущее из письма к Ви. Я о том же писал и Наташе⁷⁹, и папе и маме, и вот в последнем письме папе и маме⁸⁰ разработал более подробно и яснее (как всегда, мои мысли утончаются в повторении. Я по опыту знаю, что стоит мне только переписать письмо, то оно становится лучше. Во всех тех местах этого дневника, где я переписываю из писем, мною написанное лучше, яснее оригинала). Ну, всё это между прочим. Вот же оно, письмо к папе и маме:

[«]...Результат, правда, потрясающий. Мне лично ни консерваторы, ни социалисты не по душе. М[ожет] б[ыть] потому что я инстинктивно чувствую, что мне во внутренних делах Англии нету никакого дела, но независимо от этой внутренней политики Англии мне как-то жутковато думать, что будет в Европе. Ведь, кажется, казалось, что Англия одна осталась правой, что одна она оппозиция – страшно необходимая оппозиция – всей той левизне, которая ползет по Европе, и я лично надеялся, что она удержится. Теперь же как-то страшновато. Россия, всё влияние России, того зверства и силы, останется без *Gegendruck*'а. А кроме того, мне кажется, что их большинство опасно – у них разовьется мания величия.

Постольку, поскольку я могу судить по реакциям, настроениям и эмоциям моих товарищей (кот[орые], между прочим, почти что все без исключения на стороне социалистов), я убедился в одном грустном факте, а именно: я познал, что думающая часть выбирающих минимальна, что очень, очень немногие выбирали по каким-нибудь политическим, или философским, или религиозным принципам. Вот тебе примеры: среди моих 30-ти товарищей я знаю – об этих вещах за последние месяцы говорилось много и часто, – что только трое выбрали по каким-либо принципам. Двое из этих консерваторы и один социалист, и то один из этих двух консерватор только потому, что он человек очень богатый, с двумя фабриками. Он теперь боится ужасно, что государство их от него отнимет. Все же другие, т.е. человек 25, выбирают по каким-то странным эмоциональным причинам. Вот тебе опять-таки примеры: у одного жена сбежала с богачом, и он теперь уверен, что социалисты накажут этого богача, другой ненавидит офи-

церов и вообще авторитет и теперь уверен, что начнется царство рабочих и что авторитета больше вообще никакого не будет, третий – потому что старое ему надоело и хочется нового, четвертый – потому что ‘там хорошо, где нас нет’, а пятый – потому что все его товарищи на стороне социалистов и поэтому они должны быть правы, и т.д., и т.д.

Я не сноб и не циник, но я познал за последние 4 года в армии, и особенно мне это стало ясно в этих выборах, что воля народа ничего не значит в интеллектуальном смысле. Я сознаю, что, к несчастью, большинство людей глупы, наивны и не может и не хочет логично думать. Я знаю, что так рассуждая, наткнешься на *Macchiavelli* и что потому такие рассуждения опасны и поэтому могут быть предлогом к абсолютизму для нечестного человека. Но я не могу согласиться с *Chesterton*’ом, что так называемый *common man* мудрый⁸¹. Это не так.

В этом отношении мне в голову пришла мысль. Я не историк и поэтому не могу ручаться, но, по-моему, большая часть великих перемен в истории человечества вызываются и вызывались глупостью этого самого ‘*common man*’. Русская наша революция, Гитлер и впоследствии эта ужасающая война, французская революция и теперешний английский эпизод. Мне помнится, как в Берлине ты как-то пришел раз домой и нам рассказал, что нацистские функционеры ходили по лавкам и уверяли людей, что под Гитлером не будет больше налогов – помню тоже Елизавету Александровну Штутцер, которая выбрала Гитлера, ‘потому что это что-то новое’⁸². Это же просто глупость и наивность, действия людей, которые не злодеи, а которые просто не в состоянии логично думать».

7-го августа. Из письма к Ви: «Меня ужасает и пугает эта новая атомическая бомба. Не только потому, что я боюсь и за свою жизнь, и за жизнь наших детей, но я чувствую, этой бомбой мы в буквальном смысле слова приближаемся к концу человека, к, так сказать, массовому самоубийству. Я не верю и не могу верить, что эта новая ужасающая сила не будет употребляться в будущем как военное, разрушительное средство, что все, все так добровольно откажутся от этого. Я не верю, что человек мудрый. Еще другое меня пугает: ведь до тех пор, пока немцы и русские или еще кто-нибудь не догадаются до формулы этой бомбы, теперь начнется такой грязный и неприятный шантаж и *Power politics*⁸³ со стороны англичан и американцев. Всё это меня глубоко потрясает, и я не понимаю, почему *Churchill* и *Roosevelt* при всей своей мудрости не отказались от этого. Мне это напоминает *Goethe*’вского ‘*Zauberlehrling*’⁸⁴, только ‘*der alte Meister*’⁸⁵ не придет и не спасет положение. Как мне хочется, чтобы кто-нибудь сказал бы ‘*seid’s gewesen*’⁸⁶, и этим вся эта история кончилась бы. Потому что в этой бомбе такая ужасная апокалиптическая опасность, потому мы наложили на себя эту тяжелую ответственность, а я не в состоянии

верить в мудрость или даже [в] рациональность человеческого разума. Человек не разумное существо, и возможность и опасность саморазрушения, по-моему, не мешает ему заниматься войной. Мне страшно».

29. ВАСИЛИЙ ФРАНК – С.Л. ФРАНКУ и Т.С. ФРАНК

12 августа 1945

Ну вот, кажется, и другая, последняя война кончается. Мы тут, как и, вероятно, все повсюду, в каком-то нервном расстройстве, ожидая известия. Как ни ужасна и ни жутка эта атомическая бомба, но, по-видимому, она в конце концов уменьшила срок войны. Но независимо от войны и от влияния этой бомбы на войну, она меня ужасает и пугает. Не только потому, что я боюсь за жизнь собственную и за жизнь моих детей, но и потому, что я чувствую, что этой бомбой мы в буквальном смысле слова приближаемся к концу света, к массовому самоубийству человека. Тут всякие оптимисты и утописты захлебываются от возможности этой атомической энергии, но я не верю, что мы все вдруг станем умными и откажемся добровольно от употребления ее как разрушительной силы. Я просто не верю, что человек мудрый. Это мне напоминает Goethe'вского 'Zauberlehrling'. Помнишь, как мальчик в ужасе говорит: 'Die Geister, die ich hergerufen, die Wird ich nicht los'¹. Только тут никакой старый колдун не придет и нас не спасет. Я боюсь, потому что мы наложили на себя тяжелую ответственность, потому что в этой бомбе такая ужасная апокалиптическая опасность, и я не верю в мудрость человека или даже в рациональность человеческого разума. Страшно.

1. Точная цитата: 'Die ich rief, die Geister, / Wird ich nun nicht los'. См. перевод Б. Пастернака: «Вывал я без знания / Духов к нам во двор / И забыл чуранье, / Как им дать отпор!»

30. С.Л. ФРАНК – ВАСИЛИЮ ФРАНКУ

24 августа 1945

Твои мысли мне всегда нравятся. Ты думаешь несистематично, но у тебя хорошие и верные идеи. Конечно, ты – к несчастью! – прав насчет атомной бомбы. Только что я прочитал: один английский специалист по этому делу говорит, что через 5 лет все народы с промышленностью будут иметь атомные бомбы. Значит, Сталину стоит, при конфликте с Англией, налететь на Лондон, и мы все сразу развалимся на частицы атомов! Остается только уповать на Бога и помнить, что правда и добро остаются правдой и добром, а зло – злом, хотя бы мир погиб, т.е. жить верой в Бога. Бог – в другом плане бытия – сильнее даже атомной бомбы!

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Президент США Франклин Делано Рузвельт умер 12 апреля 1945 года.
2. Признательность (*англ.*).
3. Гарри Трумэн (Harry S. Truman, 1884–1972) стал вице-президентом США с января 1945 г., со вступлением Рузвельта на четвертый президентский срок, и занял пост президента США после смерти Рузвельта, а также был избран в 1948 г. на еще один президентский срок.
4. Непопулярный, вызывающий антипатию (*нем.*)
5. Сочувствие, жалость, сострадание (*нем.*)
6. Что собираются со мной делать? (*фр.*)
7. В рукописи: свидетельствовать.
8. Правильно: «на его взгляды» или «на его точку зрения».
9. В данной публикации – письмо № 28.
10. Далее до конца цитаты – перевод с английского.
11. Восстанавливаемо (*нем.*)
12. В город, где творил Боттичелли (*нем.*)
13. Беззаботно (*англ.*)
14. Война уже практически закончена (*нем.*)
15. Obergefreiter – обер-сфрейтор (*нем.*)
16. В августе или сентябре (*нем.*)
17. Злорадство (*нем.*)
18. Запись за 21 апреля – перевод с немецкого.
19. В письме к родителям 21 апреля Василий описал свою поездку во Флоренцию.
20. Путеводитель по Флоренции (*фр.*).
21. Встреча сержантов (*англ.*) – рабочее заседание для обсуждения текущих вопросов, касающихся жизни солдат, жалоб, предложений и т.п.
22. Панков и Вайсензее – северо-восточные пригороды Берлина. В Панков 23 апреля вошла 3-я Ударная армия 1-го Белорусского фронта.
23. На следующий день, 24 апреля, начался штурм Берлина.
24. Прощение (*англ.*).
25. В «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» А.Н. Чудинова (1910 г.) «гипокоризм» (*греч.*) – смягченное название постыдного поступка. См.: *huroscisus* – лицемерие, притворство (*англ.*).
26. Племянник Василия Михаил Скорер родился 26 декабря 1939 года.
27. Далее до конца цитаты – перевод с английского.
28. Konzentrationslager – принятое в немецком языке обозначение концлагерей.
29. Город на Сицилии.
30. Хвастовство (*нем.*)
31. В тексте письма (которое цитирует здесь Василий) в описании этого эпизода содержится уточнение, которое не попало в дневник: кроме, конечно, членов партии, у которых не было надежды выжить.
32. В письме: Moosberg. Очевидно, имеется в виду Moosburg (Moosburg an der Isar), где располагался Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager VII A (kurz: Stalag VII A).
33. У нас, в нашем доме (*фр.*), здесь – в России.
34. Расовая теория (*нем.*)
35. Защищаемое (*нем.*), здесь в смысле: от нее можно защититься.

36. Как и в русском языке, Führer (вождь) – буквально «проводник», указывающий путь, от führen – вести, водить.
37. Зарегистрировало себя (*англ.*)
38. Далее до слов: «насколько они меня касаются и затрагивают» – перевод с немецкого.
39. Нажатием (*нем.*)
40. Православная Пасха в 1945 г. пришлась на 6 мая.
41. Вики Баум (Hedwig «Vicki» Baum, 1888–1960) – австрийская писательница. В 1932 г. эмигрировала в США, в 1935 г. ее книги запрещены в Германии.
42. Далее до слов «Зло нельзя победить без зла» – перевод с немецкого.
43. Энтони Иден (Robert Anthony Eden, 1897–1977) – в этот период занимал пост Министра иностранных дел Великобритании.
44. Эдвард Стеттиниус-младший (Edward Reilly Stettinius, Jr., 1900–1949) – в этот период занимал пост Государственного секретаря США.
45. Вячеслав Михайлович Молотов (1890–1986) – в этот период занимал пост Народного комиссара иностранных дел СССР.
46. Речь идет об аресте руководителей Армии Крайовой и антикоммунистического подполья в Польше во главе с генералом Л. Окулицким в конце марта 1945 года. Польское правительство в изгнании направило ноту протеста правительствам США и Великобритании, но Советское правительство сначала отрицало этот факт. Э. Иден 4 мая официально заявил, что Великобритания не поддерживает генерала Окулицкого и военное подполье в тылу действующей Советской армии, и 5 мая советское правительство подтвердило арест «террористов». В июне 1945 г. в Москве состоялся показательный судебный «процесс шестнадцати»; большинство обвиняемых были осуждены, Окулицкий в конце 1946 г. умер (был убит?) в тюрьме.
47. Leyland Motors – английский производитель автомобилей и автобусов.
48. Речь идет об отрогах Апеннинских гор в районе Форли (Forli).
49. Иван Ильич Посисеев, о нем в письме Наталье от 21 января 1945 года.
50. Возможно, сокращенное слово: Arseholes, – т.е. «ублюдками» и «засранцами». (*англ.*)
51. Отец Лев Жилле (1892–1980) принял православие в 1928 г. (до этого был монахом-бенедиктинцем и греко-католиком, личным секретарем митрополита Андрея Шептицкого). Служил в Париже, перед войной переехал в Лондон, где был священником Содружества Святого Албания и Преподобного Сергия. Василий имел возможность общаться с ним в доме сестры Натальи и ее мужа Поля Скорера. Наталья писала родителям в декабре 1939 г.: «У меня часто бывает о. Лев Жилле, и я всё больше с ним схожусь. Он трудный человек, очень путанный, но так глубоко и страстно любящий Христа и, вместе с тем, необыкновенно широкий в своей духовности. С ним трудно говорить на религиозные темы, но он интересуется всем, чем угодно, и всё это освящено верой и любовью. <...> Он очень любит Поля и обожает Ваську».
52. Командир авиационного полка (*англ.*)
53. Далее до слов «Как легко читать о Каине и Авеле и ничего не понимать» – перевод с английского.
54. В тексте дневника нет уточнения, но в самом письме Василий обращается в данном месте конкретно к отцу: «I would like to reply, papa, to your letter». К сожалению, это письмо С.Л. Франка не сохранилось.
55. Совиновность (*нем.*)

56. Наши (*фр.*). Василий имеет в виду русских.
57. Заразительный (*нем.*)
58. Имеется в виду серия дешевых детективных повестей «Tom Shark – König der Detektive», выходящих в Германии в 1928–1939 гг. Василий увлекался ими, когда ему было 12 лет.
59. Как ты поступаешь со мной, так и я с тобой (*нем.*)
60. Он первый начал (*нем.*)
61. Приказ «решительно препятствовать установлению братских отношений между союзными войсками и немецкими официальными лицами и населением» содержала директива Объединенного комитета начальников штабов США и Великобритании, направленная генералу Д. Эйзенхауэру еще в апреле 1944 г. (известна как «directive CCS 551»). После окончания войны эта политика была постепенно отменена (см. об этом: Earl F. Ziemke. The U.S. Army in the Occupation of Germany 1944–1946. Center of Military History United States Army, Washington, D. C., 1975).
62. Соблазнительность, соблазны (*нем.*)
63. Радиообращение Томаса Манна от 24 декабря 1941 года. Брошюра (ее название – цитата из 1 Кор. 1:13) под редакцией архиепископа Кентерберийского вышла в 1943 году. Василий ранее уже переписывал этот текст в письме к Наталье 21 дек. 1943 г., заключив при этом: «К этому нечего прибавить. Жутко это всё, потому что и мы потеряли ту наивность, ту детскую наивность, без которой мир не может быть. Все мы, все, все забыли, что это такое, и мне страшно делается от этого».
64. Перевод с немецкого Игоря Эбаноидзе. Впервые перевод представлен на семинаре Независимого института философии (Institut de Philosophie Indépendant). Текст всех радиообращений Томаса Манна «Слушай, Германия» на русском языке готовится к публикации в издательстве Ивана Лимбаха.
65. Далее до конца цитаты – перевод с английского.
66. Роберт Браунинг (Browning, 1812–1889) – английский поэт и драматург.
67. Лиам О’Флаэрти (1896–1984) – ирландский новеллист, социалист. Роман «Осведомитель» был издан в 1925 году.
68. Почти целая страница текста тщательно зачеркнута. Возможно – опять цитата из переписки. Но в написанных 9 и 10 июня письмах к родителям (русском и английском, почти идентичных) – только личные новости, никаких рассуждений нет.
69. Украинская народная песня. В.Ф. приводит русскую транскрипцию оригинального текста и фактически его искажает. В оригинале звучит так: «А ще сонце не заходило, / А зробилась темнота. / А зробилась темнота... / А нещаслива та дівчина, / Котра любить козака. / Котра любить козака...»
70. Вероятно, «Решетняк Григорий Григорьевич из Киева» (Из письма к Наталье от 21 января 1945 г.).
71. «...старшина, Степан Давыдович Черныцев. Он из Пензенской губернии, жил в Саратове» (Из письма к Наталье от 21 января 1945 г.).
72. Правильно: обѣо – узо, греческая анисовая водка.
73. Далее до слов «почему кто-то хочет превратиться из союзника в военнопленного» – перевод с английского.
74. Вероятно, имеется в виду Foreign Service, т.е. британская дипломатическая служба (Diplomatic Service), которая, совместно с секретной разведывательной службой, курировала деятельность Управления специальных операций

(Special Operations Executive), в том числе – в Северной Италии и Югославии (см. об этом: *Damien Lewis. Churchill's Hellraisers. The Thrilling Secret WW2 Mission to Storm a Forbidden Nazi Fortress.* New York: Citadel Press. 2020).

75. Народно-освободительная армия Греции (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ΕΛΑΣ) – вооруженные силы греческого сопротивления против нацизма. Расформированы в феврале 1945 года.

76. Парламентские выборы в Великобритании начались 5 июля, однако на некоторых участках были отложены на несколько дней, а ради доставки голосов из-за рубежа подсчет и объявление результатов отложены до 26 июля.

77. Теперь они демобилизуют нас за три месяца. (англ.)

78. Мы теперь покажем этим ублюдкам-офицерам, куда надо убираться (англ.)

79. Василий Франк – Наталье Скорер. 26-27 июля 1945.

80. Василий Франк – С.Л. Франку и Т. С.Франк. 28 июля [1945].

81. Обычный человек (англ.). «Здравый смысл» (common sense) обычного человека часто противопоставлялся Г. Честертоном заумным, беспочвенным и односторонним философским теориям. В частности, об этом он писал в апологетическом эссе «Orthodoxu» (1908). Посмертно, в 1950 г., был издан сборник его эссе, так и названный – «The Common Man».

82. О Е.А. Штутцер и ее сестре Каролине Василий писал в воспоминаниях: «После революции они бежали в Берлин, где и зарабатывали на жизнь, обшивая богатых русско-еврейских дам. <...> Сестрам удалось-таки доказать свое немецкое происхождение и получить таким образом гражданство. У Елизаветы Александровны была дочь Ольга, которая вышла замуж за немца по фамилии Квак (которого я, естественно, назвал как-то раз по ошибке ‘Фрош’ (нем. – лягушка)), совершенно ассимилировалась и даже умудрилась развить в себе выраженные нацистские симпатии» (Франк, Василий. Русский мальчик в Берлине. С. 134).

83. Политика силы (англ.)

84. Баллада Иоганна Вольфганга Гёте «Ученик чародея» (1797)

85. Старый мастер (нем.)

86. Можно перевести: «сгиньте» или «вам конец». Из последней строфы баллады Гёте: «In die Ecke, / Besen! Besen! / Seid's gewesen». В переводе Б. Пастернака: «В угол, веник. / Сгиньте, чары. / Ты мой пленник» (Гёте, И.-В. Собр. соч. в 10 тт. Т. 1. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1975. С. 298).

*Публикация, текстология и комментарии –
Г. Аляев и Н. Франк-Львовский*

Игорь Ефимов

Три жизни Владимира Ипатьева*

История не повторяется, но она рифмуется. Нам, как и пассажирам «Философского парохода», на котором советская диктатура изгнала мысль, честь и совесть исторической России, сегодня пришлось встретиться с преступлениями путинской автократии XXI века, братоубийственной войной, убийствами политических оппонентов, цензурой, с уничтожением институтов законности, культуры, науки и образования. Очень важно знать прошлое, чтобы обрести силы для сохранения себя в кровавом настоящем.

Академик и генерал Владимир Николаевич Ипатьев (1867–1952) был примером русского патриота, в котором сочетались благородство и интеллект высшей пробы. Владимир Николаевич на переломе эпох прожил три ярких жизни – в Российской империи, СССР и США. И в каждой из них он внес значительный вклад в отечественную и мировую науку и экономику, справедливо полагая, что ученый обязан работать прежде всего на благо человечества.

Первые пятьдесят лет жизни В.Н. Ипатьев прожил в Российской империи. Он родился 9/21 ноября 1867 года в семье архитектора Н.А. Ипатьева. Вскоре родители расстались, и мать вышла замуж за А.Ф. Чугаева, преподавателя физики в учебном заведении при Военном ведомстве для подготовки педагогов начальной школы. Среднее образование Владимир получил в 3-й Военной московской гимназии, затем поступил в Александровское (пехотное) военное училище, откуда перевелся в Михайловское артиллеристское училище. Уже обучаясь в Михайловской артиллерийской академии, он увлекся химией. Защитив диссертацию, Ипатьев получил звание штатного преподавателя академии. За исследования, проделанные для его диссертации, Русское физико-химическое общество присудило молодому ученому малую премию им. А.М. Бутлерова. В 1896–1897 годах В. Ипатьев довелось работать в Мюнхене у известного профессора Байера, а в Париже – у проф. Вьеля по изучению пороха и взрывчатых веществ.

* В настоящее время готовится к печати переиздание первых двух томов автобиографии В.Н. Ипатьева, посвященных жизни в России и СССР и изданных им в Нью-Йорке в 1945 году, а также ранее не издававшегося третьего тома о его жизни в США. Издание включает письма современников В.Н. Ипатьева с отзывами на его мемуары, исторические документы и фотографии из личного архива ученого.

К началу 1914 года он уже был генерал-майором. За работу по обеспечению безопасности страны от химического оружия во время Великой войны В.Н. Ипатьев был произведен в генерал-лейтенанты. Он стал ведущим специалистом по нефтепереработке и гетерогенному катализу в органической химии и действительным членом Императорской Академии наук.

В.Н. Ипатьев разработал многочисленные методы химического производства и построил десятки химических заводов по всей России; в военные годы он фактически руководил всей химической промышленностью государства. Ипатьев получил множество наград Российской империи и стран-союзников, включая Орден Почетного легиона Франции.

С женой Варварой Владимир Николаевич вырастил четверых детей. Ему довелось испытать и горечь личной трагедии – потери сына Дмитрия, погибшего на фронте Первой мировой войны. И именно в «Ипатьевском доме» в Екатеринбурге, доме брата Владимира Николаевича, архитектора Николая Ипатьева, большевики зверски расправились с царской семьей.

Однако после большевистского переворота В.Н. Ипатьев остался в России. В конце 1917 года к нему обратились из советского правительства с предложением о сотрудничестве. Несмотря на свои монархические убеждения, Ипатьев согласился, собрал прежний состав Химического комитета и уговорил их работать на новую власть. Его вторая жизнь, в СССР (1917–1930), была наполнена работой по созданию советской химической индустрии и химической науки. Даже во время советской диктатуры он продолжал работать на благо России. Владимир Николаевич проводил исследования, учил новое поколение ученых и инженеров-химиков, разрабатывал передовые методы химического производства, строил химические заводы по всей стране, создавал учебные программы и научно-исследовательские институты. В течение нескольких лет, по декрету Ленина, который очень ценил ученого, он был членом советского правительства, фактически – министром химической промышленности, и за свою работу удостоен наград и премий. В 1927 году Ипатьеву исполнилось 60 лет, и к юбилею ему вручили Ленинскую премию и присвоили звание Заслуженного деятеля науки. В 1929-м ученый стал директором Института высоких давлений.

И в этот период жизни Ипатьеву пришлось пережить личную трагедию: в эмиграции умер его сын Николай, офицер, участник Белого движения, тоже – химик по профессии. Сын умер в Африке, испытывая изобретенное им лекарство от желтой лихорадки.

Но жить и работать в СССР Владимир Ипатьев мог только до тех пор, пока не почувствовал угрозу безопасности своих близких со стороны сформировавшейся сталинской диктатуры. По делу Промпартии

во вредительской деятельности было обвинено и арестовано более 2000 инженеров, начались аресты учеников и ближайших коллег Ипатьева. И он понял, что пора уезжать. В 1930 году Владимир Николаевич, будучи с женой на Международном энергетическом конгрессе в Германии, решил не возвращаться.

Третья жизнь академика Ипатьева (1930–1952) началась с короткого периода в Германии. Там он встретил представителя чикагской нефтехимической компании Universal Oil Products (UOP), которая искала ученых в области органического синтеза и нефтехимии для разработки новых методов переработки нефти и синтеза органических материалов. В 1931 году В.Н. Ипатьев заключил договор с UOP, получил место преподавателя в Northwestern University в Чикаго и переехал в США. Как оказалось, до конца жизни. Сейчас трудно себе представить, даже имея перед глазами миллионы сегодняшних примеров вынужденных и добровольных эмигрантов, что 63-летний больной раком ученый, без знания английского языка, оставил всё и приехал в Америку. Однако Ипатьев проработал профессором Northwestern University и руководителем научных исследований UOP более двух десятилетий с интеллектуальной энергией, которой позавидует ученый любого возраста. За это время в США он получил более 200 патентов и опубликовал сотни статей в области нефтехимии и химии высоких давлений и температур.

По признанию многих академических и промышленных специалистов он является одним из отцов американской нефтехимии. Его метод производства авиационного бензина с октановым числом 100 позволил Великобритании выстоять под натиском гитлеровской «Люфтваффе» в драматичной битве за Британию и спасти страну от прямого нападения немецкого десанта. Его открытия и патенты в американский период работы стали основой производства на многих химических заводах, построенных в СССР по контракту с UOP. Они внесли большой вклад в победу СССР и союзников над нацистской Германией.

Как и в предыдущие периоды жизни, Ипатьев получил множество наград и научных степеней от международных научных обществ, университетов и академий. Его десять раз номинировали на Нобелевскую премию, которую он несомненно заслужил.

Наград от СССР он не получал, даже за вклад в победу во Второй мировой войне. Сталинская машина не могла стерпеть, чтобы 70-летний химик продолжал успешно жить и работать в капиталистической Америке; его нужно было вернуть в СССР и публично наказать как предателя. В 1936 году по дипломатическим и академическим каналам Ипатьев начал получать сначала вежливые, а потом и ультимативные требования вернуться и принять участие в «грандиозной работе по социалистическому строительству». Уговаривать к

нему в Чикаго приезжал сам и вызывал в посольство в Вашингтоне его бывший ученик, бывший кадет Михайловского артиллеристского училища, тов. А.А. Трояновский, первый посол СССР в США.

Ипатьев, однако, не согласился вернуться в СССР даже после того, как получил жесткий ультиматум от секретаря АН СССР Н.П. Горбунова, бывшего личного секретаря Ленина. Владимир Николаевич вежливо мотивировал свой отказ состоянием здоровья, преклонными годами и невозможностью сделать для науки за оставшиеся ему немногие годы жизни столько, сколько он сделает в хорошо оборудованных чикагских лабораториях с высокопрофессиональными научными сотрудниками-американцами. После чего академики Владимир Ипатьев и Алексей Чичибабин – друг и коллега Ипатьева, также отказавшийся вернуться в Советский Союз, – были исключены в 1937 году из Академии наук СССР и лишены гражданства. Ипатьев навсегда потерял возможность увидеть детей и внуков. Его сын, профессор химии Ленинградского университета Владимир Владимирович Ипатьев отрекся от отца с трибуны АН СССР – от своего имени и имени сестры. Увы, это не спасло его от ареста через несколько лет.

Николай и Варвара Ипатьевы прожили все 22 американских года в гостинице «Pearson» в центре Чикаго на Pearson Street. Они жили просто, не приобрели ни дома, ни автомобиля, зато удочерили двух русских девочек и завещали большую сумму денег университету на создание Ипатьевской лаборатории, профессорской кафедры им. В.Н. Ипатьева и приза имени В.Н. Ипатьева, который по сей день присуждается раз в три года Американским химическим обществом.

Владимир Николаевич Ипатьев умер 29 ноября 1952 года в Pearson-отеле. Варвара Ипатьева пережила его всего на 10 дней. Они похоронены вместе в пригороде Чикаго – как и многие эмигранты из России.

В этом номере мы представляем неопубликованную часть рукописи проф. В.Н. Ипатьева «Жизнь одного химика», которая, по замыслу автора, должна была войти в третий том его мемуаров. Рукопись хранится в McCormick Library of Special Collections and University Archives, Northwestern University. Evanston, IL. Vladimir Nikolayevich Ipatieff (1867–1952). Vladimir N. Ipatieff Papers. Box 5, Folders 1-3. Pp. 245-255.

Рукопись печатается по современной орфографии с сохранением некоторых особенностей стиля В.Н. Ипатьева.

*Игорь Ефимов,
профессор Northwestern University, Чикаго.*

Владимир Ипатьев

Жизнь одного химика

1936 ГОД

...Но в жизни каждого человека успехи и удовлетворение его желаний всегда чередуются с неприятными переживаниями и событиями, которые причиняют ему большие горести. Я всегда сознавал, что мое долгое пребывание за границей не могло быть приятным явлением для советской власти; она была, несомненно, злобно настроена против меня, в особенности потому, что я имел большой успех в моей научной и технической деятельности за границей и, в особенности за последнее время, в Америке. Для Советской власти не были секретом мои достижения в нефтяной промышленности; они знали, что я уже обладал десятками патентов по важнейшим каталитическим процессам, которые представляли для СССР громадный интерес, так как некоторые из них имели серьезное применение в военной авиации. По декретам Советской власти, советский гражданин не имеет права брать никаких патентов без ее разрешения, и в случае нарушения этого декрета и взятия патентов за границей на предмет, касающийся военного дела, обладатель патента подвергается смертной казни. Поэтому для меня был совершенно отрезан путь возвращения в СССР, хотя, как уверял меня Тов. Трояновский¹, эти мои деяния не будут приняты во внимание, если бы я решился вернуться домой. Но разве можно верить Советской власти после того, как она без всякой вины отправила на тот свет своих наиболее деловых членов, создавших в России «коммунистический рай» на погибель всему народу, жившему в России. Живи я за границей тихо и не давай о себе знать новыми открытиями и изобретениями, я был уверен, что Советская власть не стала бы интересоваться моей особой и не предлагала бы мне несколько раз вернуться в СССР. Но так как мое поведение было иным, то несколько раз не был удивлен, когда в половине октября получило официальное письмо от Непременного Секретаря тов. Горбунова следующего содержания:

*Академия Наук СССР, Москва
17 сентября 1936 года*

Многоуважаемый Владимир Николаевич,

Вы уже около шести лет находитесь вне пределов СССР и не принимаете никакого участия в грандиозной работе по социалистическому строительству.

Вы являетесь гражданином СССР, крупным ученым, действительным членом Академии Наук. Вы нужны нашей стране. Поэтому по поручению Президиума Академии Наук, я прошу Вашего прямого, ясного и откровенного ответа на следующий вопрос – считаете ли Вы себя обязанным целиком работать для своей Родины – Советского Союза – для усиления ее мощи и процветания и, если считаете, то готовы ли Вы немедленно сделать из этого практические выводы. Если Вы отвечаете на поставленный вопрос утвердительно, то Вы должны в ближайшее же время вернуться в СССР для научной работы. Академия Наук примет все меры к созданию для Вас благоприятных условий как по научной работе, так и в бытовом отношении.

В противном случае Академия Наук и, вероятно, вся страна должны будут сделать соответствующий вывод о Вашем отношении к СССР.

В ожидание скорейшего извещения о Вашем решении и с надеждой на скорое Ваше возвращение.

Непременный Секретарь
Академии Наук СССР
Н. Горбунов

На это письмо я ответил примерно через две недели после того, как я переговорил с Олсером² и получил от него категорическое подтверждение, что они примут все меры, чтобы задержать меня в УОП³ и чтобы я не беспокоился за свою будущность, так как он и Галле⁴ имеют одно желание, чтобы я оставался в УОП до конца моей жизни.

На письмо Горбунова я послал следующий ответ

*29 Осн. 1936**

Уважаемый Николай Петрович,

Ваше письмо от 17 сентября я получил только 17 октября, и я не спешил с ответом. Я очень уважаю требование Президиума Академии Наук ко мне, и я, конечно, дам полный и откровенный ответ.

Первое, что я должен заметить, я не согласен с Президиумом, что я не принимал участие в научной работе, которая проходила в СССР в эти 6 лет. Достаточно отметить, что несмотря на мой преклонный возраст, болезнь и операцию, я написал книгу, в которой суммировал все мои предыдущие исследования и в которой представил богатый новый материал, который может быть использован в последующей научной работе и также для новых технических процессов. Кроме того, я посылал все мои исследования за последние пять лет в российские и американские химические журналы одновременно.

Многие российские химики и химические инженеры, приезжавшие из СССР за последние несколько лет, посещали меня в моей лаборатории в Риверсайде (пригород Чикаго). Я давал им пояснения по поводу моих последних статей, опубликованных в американских журналах. Эти исследования открыли новую главу в области углеводородов и определенно оказали большое влияние на развитие нефтяной индустрии.

* Перевод с английского Игоря Ефимова.

Я прошу Вас ответить откровенно на следующий вопрос: мог ли я осуществить такую работу в СССР, как здесь, где у меня есть всё в моем распоряжение и где мне не мешает необходимость работать по какому-то плану. Моя научно-техническая эффективность во время 13-летней работы в СССР, как отмечали многие люди, была так полезна, что я заслужил право в последние годы моей жизни работать в благоприятных условиях, которые не испортят мое здоровье.

Я думаю, что я нигде не смогу найти такие благоприятные условия для работы, как здесь. Я имею возможность недельного перерыва, если мне это необходимо, и я могу выбирать темы для работы, которые мне интересны.

Никто не может отрицать, что каждый ученый работает не только для своей страны, но и для всего человечества.

Я люблю мою Родину, и я всегда думал, что мои научные открытия принадлежат также и моей стране, которая будет гордиться моими достижениями.

Я прошу Вас проинформировать Президиум, что я всё еще надеюсь на возврат в СССР, но обстоятельства не позволяют осуществить это теперь. Я детально объяснил нашему послу А.А. Трояновскому, когда он приезжал ко мне в Чикаго и я приезжал к нему в Вашингтон, почему я не могу вернуться в СССР. Я подписал контракт с Universal Oil Products Co., и я не могу его нарушить. Чтобы избежать любое непонимание, я попросил г-на Трояновского пригласить президента УОП мистера Х. Галле в Вашингтон и поговорить с ним о моей работе. Во время этих бесед г-н Галле проинформировал его, что мое возвращение в СССР невозможно из-за контракта с УОП.

Кроме того, мне дали понять, что любая личная акция с моей стороны приведет к дипломатическим неприятностям между СССР и Америкой, как мне указал г-н Трояновский.

Когда я ознакомил Совет Директоров с содержанием Вашего письма ко мне, я получил убедительное подтверждение невозможности разрыва моего контракта. Они указали, что СССР получил огромную выгоду от моей работы здесь, потому что СССР может пользоваться моими открытиями. В качестве доказательства можно указать на обсуждение контракта по строительству завода по моей селективной полимеризации.

Только мое присутствие в Компании помогло обосновать этот контракт, поскольку до моего приезда Компания отклонила все предложения, которые СССР сделал Компании. Каким бы ни было мое желание поехать в СССР, я не могу его осуществить, потому что не могу получить разрешение покинуть эту страну.

В заключение моя совесть велит мне заверить вас, что даже если бы в СССР были условия гораздо лучшие, чем у меня здесь, организация научной работы в новой лаборатории вызвала бы такое огромное напряжение моей нервной энергии, что в короткое время уничтожило бы мое здоровье и оставило меня полным инвалидом.

Весь комплекс моих идей, собранный моими помощниками и реализованный в великолепно оборудованной лаборатории, будет нарушен и повредит всей моей научной работе.

Я надеюсь, что всё вышеизложенное убедит Вас и Президиум в том, что вся моя работа до сих пор была направлена на пользу моей родной страны и в меру своих сил, которыми я располагаю, должна быть использована в наиболее благоприятных условиях для моего здоровья.

Любые подозрения в том, что мои отношения с родной страной неправильны, должны быть отвергнуты и могут лишь вызвать у меня тревожные мысли относительно причин желания моего немедленного возвращения.

В. Ипатьев

29 октября 1936

В половине Декабря я неожиданно был вызван по телефону в моем офисе в Риверсайде из Лондона корреспондентом Ассошиатед Пресс, который извещал меня, что в Российской Академии Наук возбужден вопрос о моем исключение из числа членов: я привожу это извещение, которое было опубликовано в газетах:

ACADEMY MAY OUST TWO RED SCIENTISTS

Moscow, U.S.S.R., Dec 21 (AP)

Expulsion from the Russian Academy of Science of two honored members was demanded today.

V. Komaroff, secretary of the Academy, asked the members to expel Vladimir N. Ipatieff, now in the United States, and Alexis Chichibabin.

Komaroff said the men had violated articles 130 and 133 of the constitution by refusing to return to Russia and continue their work.

*АКАДЕМИЯ МОЖЕТ ВЫГНАТЬ ДВУХ КРАСНЫХ УЧЕНЫХ**

Москва, СССР, 21 декабря (AP)

Сегодня потребовали исключения из Российской Академии Наук двух почетных членов.

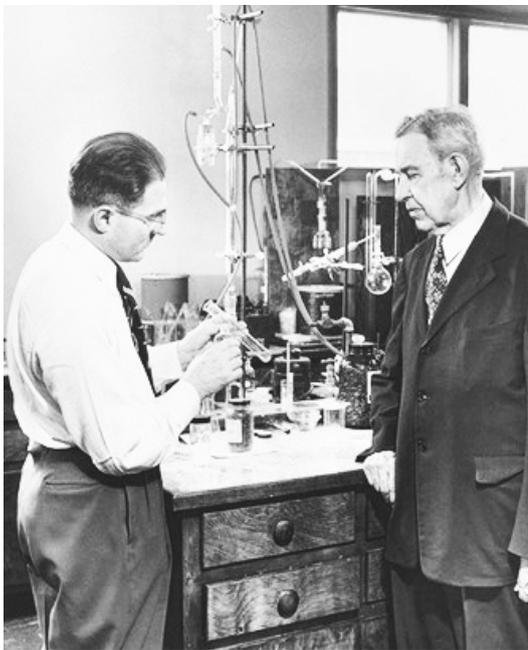
Секретарь Академии В. Комаров обратился к членам Академии с просьбой исключить Владимира Н. Ипатьева, находящегося сейчас в США, и Алексея Чичибабина.

Комаров заявил, что эти люди нарушили статьи 130 и 133 Конституции, отказавшись вернуться в Россию и продолжить свою работу.

Мне пришлось по крайней мере около 15 минут говорить с корреспондентом Ассошиатед Пресс, который, главным образом, интересовался моей здешней деятельностью и спрашивал меня, не владею ли я каким-либо военным секретом по изготовлению взрывчатых веществ и ядовитых газов, которыми я занимался во время войны 1914 года, а также во время большевиков; им было известно, что в Советской России я был председателем Военного Химического Комитета, который был организован мною уже в 1923 году. Я ему ответил вполне определенно, что никакими секретами не владею и что последние 6 лет я исключительно работаю в нефтяной промышленности.

Как видно из газетного объявления, такой же участи подвергнулся мой друг проф. Чичибабин⁵, который на запрос Горбунова ответил, что

* Перевод с английского Игоря Ефимова.



Герман Пайнс и В.Ипатьев в лаборатории катализа и высоких давлений. Northwestern University. 1950.

при советском режиме он не может вернуться в СССР.

22 декабря в Чикаго приехал Галле, который должен был по делам ехать в Калифорнию; он вызвал меня и, узнав все подробности моего приглашения в СССР, сказал мне для моего успокоения то же, что сказал мне Олсер.

24 декабря я получил от сына и дочери телеграмму, в которой они настоятельно просили немедленно телеграфировать мое согласие на возвращение в СССР, иначе они не отвечают за последствия.

Я имел с моей женой продолжительный разговор по поводу этой телеграммы и определенно заявил ей, что она должна решить этот вопрос, а я подчинюсь ее решению. Я поставил таким образом вопрос потому, что мое невозвращение прерывало всякую связь с детьми и внуками, и она, как мать, должна будет это чувствовать гораздо сильнее, чем я. Но она без всякого давления с моей стороны заявила мне, что она вполне убеждена, что меня в СССР ожидает смертная казнь и что детям от этого будет только плохо и по всем вероятностям их вышлют куда-нибудь в отдаленные места.

После этого краткого обсуждения я дал телеграмму детям, что я и мать не можем вернуться в настоящее время в СССР. Мой друг проф. Гензел и его жена вполне одобрили наше решение и также находили, что было бы безумием ехать на верную смерть и издевательство в СССР.

Так печально закончился 1936 год, в течение которого было пережито немало счастливых минут, связанных с новыми научными достижениями. Случайно или нет, в ноябре исполнилось 5 лет нашего пребывания в Соед. Штатах, и мы имели право подать прошение на приобретение гражданства в Соед. Штатах. После такого поведения Советской власти я и жена использовали это право и подверглись

экзаминации на получение вторых бумаг. В этом отношении мы имели успех и благодаря любезности Еглова и Моррелла, и Корзана⁶, давших о нас благоприятные отзывы: все формальности были соблюдены, и нам только осталось выждать законные три месяца для того, чтобы стать гражданами нашего нового отечества Соед. Штатов. Я получил гражданство 11 марта, а жена, державшая экзамен несколько позднее, стала гражданкой 7 апреля 1937 года.

1937 ГОД

Этот год начался для меня и жены крайне неприятными переживаниями относительно моего отчисления от Российской Академии Наук и затем лишения меня гражданства СССР и запрещения въезда в СССР. В «Известиях», органе Центрально-Исполнительного Комитета ЦИК, за подписью председателя Комитета тов. Калинина было опубликовано Постановление о лишение меня гражданства и отдельное Постановление о запрещение въезда в СССР. Этот акт, совершенный надо мною, был опубликован во всех газетах мира. В течение января и февраля в Американских Штатах были помещены статьи, порицающие резко этот поступок Советской власти. Я не говорю уже о Русской зарубежной прессе, которая посвятила нашему изгнанию большие статьи, где приводились все подробности заседания Академии Наук, на котором мой сын Владимир, проф. химии в Ленинградском университете, публично заявил от своего имени и имени сестры отречение от такого отца, который изменил рабочему классу и продался капиталистическим организациям. Он сказал, «что ранее он гордился своим отцом, а теперь он должен опускать глаза, когда кем-либо поднимается вопрос о поведении отца».

Интересно отметить, что при голосовании о моем исключение из Академии из 62 академиком нашлись 6, которые воздержались от голосования. Эти шесть голосов, по крайнему разумению, принадлежали академикам старой Царской Академии, которые являлись представителями истинной свободной науки, незагрязненной политическими предрассудками, базирующихся на непонятных методах «диалектического материализма» и стесняющих свободное творчество в науке. Американские большие газеты Нью-Йорка напечатали также подробности моего изгнания и очень удивлялись, каким образом сын может отречься от отца только потому, что он не может в данное время вернуться в свою страну. Когда мне задали вопрос, как я смотрю на заявление моих детей относительно их отношения ко мне, то я отвечал, что это меня мало трогает, потому что я знаю своих детей и отлично понимаю, почему они так поступили. И большевики отлично понимают, что это всё одна проформа, но это для них необходимо, потому что одно из наиболее характерных свойств большевиков, озлобленных и завистливых душ, это желание издеваться над

каждым человеком, который не хочет в силу своих убеждений согласиться с нелепостями их постановлений. Я полагаю, что я очень хорошо заканчивал свой ответ относительно отречения от меня моих детей, ссылаясь на поступок Апостола Петра, который трижды отрекся от Иисуса Христа, когда был взят под стражу в Гефсиманском саду.

Я совершенно не мог объяснить поведение большевиков, отказывающихся от использования моих знаний и опыта при моем нахождении в Америке. Всякий раз, когда меня посещали представители Советской власти, я постоянно говорил им, что я могу принести большую пользу СССР, находясь здесь. Специалисты по нефтяной промышленности, приезжающие в Америку, могли бы получить от меня такие научные указания и разъяснения, вполне законные с точки зрения УОП, которые нигде они не могли достать. Тов. Поляков, представитель СССР по нефтяной промышленности, не раз обращался ко мне за советами и всегда получал полное удовлетворение. Поэтому мое изгнание причинит большой вред для СССР, и это будут сознавать все здравомыслящие технические работники по нефти. Исключение меня из членов Советской Академии Наук не является для меня каким-либо наказанием, потому что Советская власть, или какая-либо другая власть, не может меня лишить звания члена Российской Академии Наук, существовавшей при Царском Правительстве; звание Академика было получено мною исключительно за мои научные работы, признанные не только в России, но и за границей, не принимая в соображение мои политические убеждения.

В Российской Академию Наук избирались иногда ученые, которые по своим политическим убеждениям принадлежали к партиям, состоящим в оппозиции к Царскому Правительству, и это не считалось помехой к их избранию. Советское Правительство имело полное право исключить меня из списка членов Всесоюзной Академии Наук, так как я не выполнял полностью тех обязанностей, которые возлагаются на действительных членов Академии Наук. По моему мнению, Академия должна была это сделать без особой гласности для сохранения меня для работы на пользу СССР. На самом деле Советская власть сделала мне такую рекламу за границей, о которой она, вероятно, и не мечтала. Она хотела меня наказать, а в результате она сама получила резкое порицание за свой необдуманный поступок, а моя особа вызвала во всех странах полное сочувствие и лестную оценку моих научных трудов на пользу всего человечества. В Германии, например, не только в газетах, но и по радио было извещено о безрассудности подобного поступка Советской власти по отношению такого ученого. Так же Советская власть поступила и с моим другом А.Е. Чичибабиным, выдающимся органическим химиком, который также мог бы принести громадную пользу для СССР, если бы Советская власть не порвала с ним сношений. Подобное поведение Советской власти, совершенно не

объяснимое с практической точки зрения, по отношению меня и Чичибабина не является исключением в деятельности этого правительства. Стоит только обратить внимание на уничтожение в Красной армии всей головки командного состава и наиболее способного офицерства, чтобы понять тот вред, который Советское Правительство приносит России и несчастному Русскому народу.

Один американский инженер, возвратившийся из Москвы, сообщил мне, что после объявления моего исключения из Академии и гражданства, Советская власть приказала устроить митинги в Высших учебных заведениях и исследовательских институтах, и выступавшие ораторы, не стесняясь в выражениях, порицали мое поведение. В особенности в газете «Правда» появились статьи гнусного содержания. Этот американский инженер пробыл в СССР 4-5 лет и хорошо мог говорить по-русски (он доктор Чикагского Университета и житель Чикаго); он рассказал мне, что ему пришлось посетить митинги, и он определенно заметил, что масса студенчества не разделяла нападков на мою особу и, если голосовала за резолюцию против меня, то только по принуждению.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. А.А. Трояновский (1882–1955), первый посол СССР в США, ученик В.Н.Ипатьева в Михайловском училище.
2. Олсер – генеральный менеджер УОП.
3. УОП – *Universal Oil Products* (г.о. 1914), американская транснациональная компания, разрабатывающая и поставляющая технологии для нефте- и газопереработки, нефтехимического производства и крупных обрабатывающих отраслей.
4. Хирам Галле (Hiram J. Halle, 1867–1944), американский бизнесмен, филантроп, исследователь, президент УОП с 1921 года.
5. А.Е. Чичибабин (1871–1945, Париж), друг Ипатьева, известный химик-органик, член АН СССР, изгнанный из Академии одновременно с В. Ипатьевым.
6. Первым профессиональным химиком UOP, Riverside, был Густав Еглов (Эглофф). Он работал с Галле по подбору ученых-исследователей в штат Риверсайда. Среди них был Кларенс «Ларри» Герхольд, Герман Пайнс, Владимир Ипатьев, Герман Блох, Владимир Хансен, Дж. С. Моррелль и др.

*Публикация, подготовка текста,
комментарий – проф. Игорь Ефимов,
Northwestern University, Chicago, IL*

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

Максим Макаров

Страсти по...

*Фавьерское лето Марины Цветаевой (1935)**

Поскольку всегда найдутся те, которые будут манипулировать историей, самое полезное, что можно сделать, – знать эту историю лучше них и не уничтожать негативов.

Василий Львов

Тот факт, что Марина Цветаева как-то раз провела пару летних месяцев в русском дачном поселке La Favière на Лазурном берегу, цветаевоведам хорошо известен – да, был такой эпизод, сохранились письма, пара-тройка записей в тетради и несколько стихотворений 1935-го – «Окно раскрыло створки...» (26-27 июля), «Небо – синей знамени!» (июль), «Никуда не уехали – ты да я» (1932 – лето 1935-го) «Ударило в виноградник» (20-22 сентября)... Но поскольку имя это резонирует в сознании любого русского человека, неважно, любит он поэзию или нет, то оно с успехом эксплуатируется в мемуарах. Если вдруг, по счастливому стечению обстоятельств, описываемое давнее прошлое хоть как-то (неважно как) соприкасается с Цветаевой, вы непременно наткнетесь на знаковое имя, причем сиять оно будет «во первых строках». Так произошло и с русским Фавьером, любой рассказ о котором начинается с *«здесь на берегу Средиземного моря жили (sic!) выдающиеся представители русской культуры, среди которых Марина Цветаева...»* Впрочем, дальше этой красивой фразы дело, как правило, не идет. А жаль.

Во-первых, тот даже не период, но – кусочек жизни Марины Ивановны интересен сам по себе. А во-вторых, вникая в него поглубже, оглядываясь там внутри по сторонам, осознаешь, каким же непростым было время, как корёжило оно людские судьбы.

1935 год... Что-то неумолимо надвигающееся уже ощущалось, хотя за окном, вроде, всё оставалось «как всегда». Время поляризации. Время исчезающих полутонов, когда мир постепенно упрощался до черно-белого, и контраст с каждым днем нарастал – между людьми, поколениями, странами, цивилизациями. Как стремительно расходились в стороны пути, насколько болезненным было это расщепление, к каким печальным последствием оно привело... Канун великих трагических событий.

Можно спросить, а при чем тут, собственно, Фавьер, Цветаева, и вообще – зачем мешать всё в кучу? Никакой натяжки! Тот крохотный дачный русский мир на французской земле представлял собой своего рода микрокосм, в котором преломились события куда более важные, чем простые повседневные «заморочки» и маленькие радости. Капля воды, в которой виден весь океан.

Русская эмиграция первой волны... К слову сказать, во Франции она была не такая уж и многочисленная – «русские составляют очень скромную иностранную колонию во Франции, если сравнивать ее с колонией итальянцев, поляков, испанцев или бельгийцев. Их будет даже меньше, чем швейцарцев».¹ Франция – берег, на который выбросило спасшихся, та самая земля обетованная – оказалась далеко не раем, и всё-то в ней шло наперекосяк. Экономический кризис (за двадцать межвоенных лет французский франк обесценился в десять раз), многотысячные манифестации «против!» всего – на одном полюсе коммунисты, на другом ультраправые (и те, и другие – экстремисты) и нескончаемая чехарда во власти: только за пять лет в середине 1930-х сменилось... 15 правительств! Европа, еще вчера такая далекая, сегодня же – совсем под боком: Гитлер стал канцлером (1933), Германия вовсю вооружается (1935), началась гражданская война в Испании (1936), аншлюс Австрии (1938)...

Иллюзии у русских апатридов уже давно исчезли («советы вот-вот рухнут, и всё вернется...») – не рухнули, не вернулось), а с ними вместе поухили и политические междоусобицы – дебаты и заседания, съезды и собрания, союзы и партии. Жить становилось всё труднее – биржевой крах в одночасье поглотил последние сбережения у одних и выставил на улицу других. То, что поначалу воспринималось как НЕЧТО временное, теперь со всей очевидностью превратилось в окончательное и бесповоротное НИЧТО: чужая страна, чужие люди, чужой язык. К тому же статус пребывания во Франции для большинства так и остался неопределенным, а потому повсюду – административные препоны, ибо «либертэ, эгалитэ, карт д'идентитэ»² «Вышел русский генерал-беженец на Пляс-де-ля-Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством: 'Всё это, конечно, хорошо, господа! Очень даже всё хорошо. А вот... кё фер? Фер-то кё?' ...»³

Мужчины стали уходить в мир иной первыми, один за одним и раньше срока, – они всегда слабее (*высокие* переживания, ностальгия, неприкаянность, алкоголь); их спутницы оказались выносливее, на них держалась повседневная жизнь, точнее – выживание. Выросло новое поколение. Одни, оказавшись среди французских сверстников, легко отрелись от уже довольно смутных детских воспоминаний и *вписались* – учились, работали, заводили смешанные семьи, становились «как все». Другие же так и застряли на перепутье между прошлым и

будущим. С одной стороны – крохотный привычный мирок родителей и знакомых, где все с одинаковыми воспоминаниями и печалями, все – прихожане одного православного прихода, все – завсегдагаи одного русского рестораничка... А с другой стороны, шумит вокруг парижская жизнь, но ведь это – ИХ жизнь, НЕ НАША. Прошлое они проклинали (в отличие от старших, для них то была абстракция, повинная во всех сегодняшних бедах), а будущего для себя не видели. «Эти ослы, попав в это *заморье*, ничего в нем не узнали – и не увидели – и живут, ненавидя Россию (в лучшем случае – не видя) и, одновременно, за границу, в тухлом и загхлом самоварном и блинном прошлом – не историческом, а их личном; чревном: вкусовом; имущественном, – обывательском...» – Марина Ивановна Цветаева, взгляд изнутри. И она же:

До Эйфелевой – рукою
 Подать! Подавай и лезь.
 Но каждый из нас – такое
 Зрел, зрит, говорю, и днесь,
 Что скушным и некрасивым
 Нам кажется ваш Париж.
 «Россия моя, Россия,
 Зачем так ярко горишь?»⁴

Но ведь середина 1930-х – это еще и апогей дружественных отношений Франции и СССР. В мае 1935-го был даже подписан франко-советский пакт о взаимопомощи на случай, не дай Бог, новой войны (кстати, именно в ответ на этот шаг Гитлер начал ремилитаризацию пограничной Рейнской области, запрещенную по итогам Первой мировой войны, – прямая дорога к войне открыта).

Во Франции как никогда сильны «левые силы». В октябре 1935 года Андре Мальро, вернувшись восторженным из Москвы, заявил буквально следующее:

«Часто говорят о подозрительности, недоверии, с которым молодое советское общество, так часто оказывавшееся в опасности, вынуждено относиться к человеку. Будем осторожны в словах: эта подозрительность распространяется только на отдельную личность. Что же касается человека вообще, то, напротив, доверие, оказываемое ему Советами, быть может, самое большое за всю историю. Доверие к детям сделало из них пионеров. Женщина царской России, чье положение было, пожалуй, самым унижительным и тяжелым в Европе, превратилась, благодаря доверию к ней, в советскую женщину, проявляющую сегодня поразительную волю и сознательность. Трудом воров и убийц построен Беломорканал. Из беспризорников, которые тоже почти все были ворами, созданы коммуны по перевоспитанию. <...> Я считаю, что фундаментальная особенность Советского общества есть возможность воссоздания им гуманизма. Именно гуманизм станет основой взаимоотношения человека с цивилизацией, которую он принимает (тогда как индивидуализм олицетворяет отношение к цивилизации, им отвергаемой), и важными

будут уже не индивидуальные особенности каждого члена общества, но его сплоченность, когда индивид будет защищать не то, что отделяет его от других, а то, что позволяет ему надличностно с ними объединиться». ⁵

Этому верили. Или, скорее, хотели верить. И примеряли на себя. В 1934 году в СССР вернулась Наталья Столярова, осенью 1936-го уехал Билибин, в мае 1937-го – Куприн, в марте 1937-го – Ариадна Эфрон, в октябре 1937-го – Сергей Эфрон, в июне 1939-го – Марина Цветаева с сыном... Все они в той или иной степени – наши герои, фавьерцы. Последствия, как мы знаем, для них оказались одинаково печальны, хотя мотивы у каждого были, разумеется, свои. ⁶

Эти возвращения сегодня интерпретируются по-разному, что нормально. У каждого своя интерпретация прошлого. Плохо, когда Историю насилуют. Вот потому так важно хранить «негативы» – оригиналы, факты. Ниже читателю предлагаются три таких «негатива», три «папочки» с документами. А уж выводы пусть каждый делает сам.

* Мы продолжаем публикацию книги М. Макарова «Русский холм. La Favière (1920–1960). История русской колонии на юге Франции». См. НЖ, №№ 313–314, 2023–2024.

1. *Pierre, A.* Combien y a-t-il d'émigrés russes en France? Paris: Le Monde, 24 juillet 1946.

2. Популярный среди русских эмигрантов каламбур: в национальном девизе Французской республики *Liberté. Égalité. Fraternité* (Свобода. Равенство. Братство) последнее слово заменено на более насущное для беженцев: *carte d'identité* – «удостоверение личности».

3. *Тэффи, Н.* Городок. Париж: «Последние Новости». 1920. Здесь в русской транскрипции приводится фр. выражение *que faire?* – «что делать?».

4. *Цветаева, Марина.* Лучина. 1931.

5. *Мальро, Андре.* Проблемы литературы (Отчет о работе 1-го Всесоюзного съезда советских писателей). Париж, 23 окт. 1934 г.

6. Позднее вернутся в СССР «фавьерцы» мать и дочь Богдановы, Белокопытова, Родионова-Шерцер с дочерью...

Марина Ивановна Цветаева

Папка № 1

ИЗ ПИСЕМ И ТЕТРАДЕЙ 1935 ГОДА*

1. Письмо Н.А. Гайдукевич

10-го мая 1935 г. суббота

33, Rue JB Potin, Vanves (Seine)

Дорогая Наташа,

Деловое. Если Вы серьезно решили ехать, напишите мне тотчас

же: 1) во Францию вообще или на́-море 2) так или иначе, на сколько времени на́-море 3) сколько у Вас на месяц жизни на́-море.

Я написала одной незнакомой даме, у которой в Фавьере, деревеньке на Средиземном море (хотя странно: «деревенька» – поселке) – пансион¹. Дешевый. Может быть, подходящий Вам, раз едете одна. Мне – нет, ибо нас двое, и самый дешевый пансион звучит уже угрожающе. Жду от дамы ответа, ибо запрашиваю ее про комнату <...> со своим хозяйством, т.е. полной душевной свободой. Я нелюдима и всё люблю по-своему.

Мне Ваш ответ нужен срочно, ибо все дешевые помещения и устройства разбираются уже сейчас, через две недели ничего не будет.

Могли бы, конечно, если на месяц (на меньше навряд ли сдадут, и нужно знать – на какой) тоже снять комнату и столоваться у нас: мне всё равно: две или три тарелки мыть, но м.б. Вы на диете? не всё едите? привыкли к разнообразию и, просто, к хорошей кухне? У нас просто – едят. Что есть. И почти всегда два раза в день то же самое. Но зато много и дешево. Вот.

Надеюсь – ничего еще не знаю – выехать в первых числах июля, после Муриной «distribution de prix»². На́-море (океане) в последний раз была в 1928 г. – итого 7 лет назад, а на Средиземном – но это уже до-история – весной 1912 г., только что выйдя замуж, – в Сицилии, итого – 23 года назад!

Да, м.б. даме придется сразу дать деньги, на снятие, п.ч. без денег никто не поверит. Имейте и это в виду и при первом моем извещении действуйте молниеносно.

Где, в точности, Фавьер (Favières) – не знаю, кажется – против крохотных Îles d'Hyères. Но достоверно знаю, что: сосны, песчаный пляж (на Средиземном – редкость), море. И, главное, – лохматые, курчавые горы. Знаю еще, что поблизости курорт Lavandou. Если есть большая карта Франции – найдете. (Ищите Îles d'Hyères: d'Hiér: как раз для меня! В «Demaïn» бы – не поехала!)³

Будете отвечать – положите письмо перед собою: ни один мой вопрос не зря. <...>

Если собираетесь «осматривать» Францию, да еще ничего не пропуская, – конечно, не отдохнете. Я после часа выставки – опустошена. Для меня самое мучительное – насильно, т.е. нарочно – глядеть. Это у меня с до-семи лет, с младенчества. Я хочу с вещью (городом, собором, забором) жить. Но м.б. Вы, как Мур, любознательная, т.е. способны познавать вещь извне, не сделав ее тут же собою: живым мясом души. Видеть вещь отдельно от себя, а не в своем (бездонном) колодце. Тогда Вам Франция – нужна.

Словом, отвечайте и по существу, и применительно, и возможно точнее – и скорее. Я на днях буду видеться с дамой, послала ей для верности конверт с адресом и маркой. <...>

Обнимаю и жду скорой вести.

МЦ

* Письма к Наталье Гайдукевич / Сост., подгот. текста и примеч. Л. Мнухина; Вступ. ст. В. Завистовского. М.: Русский путь, 2002. Письма М.И. Цветаевой цитируются по: *Марина Цветаева. Собрание сочинений в 7 томах* / Под ред. А. Саакянц, Л. Мнухина. М.: Терра – Книжная лавка РТР, 1997.

1. Пансион С.П. Богдановой, так называемые стойла.

2. Церемония вручения наград школьникам по результатам летних экзаменов.

3. Игра слов: название островов Нуères фонетически совпадает с hier (*фр.*) – вчера; demain (*фр.*) – завтра.

2. Письмо Н.А. Гайдукевич

16 мая 1935 г.

33, Rue J B Potin, Vanves (Seine) France

Дорогая Наташа!

Le sort en est jeté!¹ Сняла мансарду² за 600 фр. в лето и уже дала 200 фр. На полной свободе: можно готовить и, даже, не крупное стирать.

Всё остальное было дороже и хуже, т.е. «лучше» – с 10% за обязательную хозяйскую уборку, т.е. проверку, – с запретом готовить, т.е. «хорошей обстановкой», и даже, в одном месте «без мальчишка» (о-го-го!).

Теперь о Вас и для Вас. Комнаты (без пансиона) сдаются только на сезон (3 месяца), и они совершенно правы. Значит – остается пансион. Их несколько. Я говорила с владелицей одного из них, Г-жой Богдановой: 20 фр. в день с комнатой. По франц. ценам, особенно морским, – дешежка. Утром кофе – сколько угодно с чем угодно (NB! масло и мед), обед – много всего, фрукты и чай (NB! по-русски – много, т.е. на двоих!), ужин – легче, но тоже достаточный. В 4 ч. – ничего, но это – везде. Мясо, в обед – «жаркое», на ужин – аранжировка (котлеты, зразы и т.п.). Решайте скорее и, если решите (решитесь), тотчас же пишите Г-же Богдановой <...> высылайте задаток – не менее 100 фр. Необходимо написать, когда собираетесь и на сколько (приблизительно).

Мы с Муром (тьфу, тьфу!) очевидно тронемся 21-го июня, с первым train de vacances³ – льготным. Так что увидимся уже – там (всякое ТАМ – великолепный ФОН). И – лучше: я перед отъездом – уже сейчас! – в непрестанной тревоге: дробь, дрожжи: этого не забыть, то захватить, что захватить? – et n'ai ni d'yeux ni d'oreilles⁴ для чего бы то ни было. Вы бы от такой меня просто пришли бы в отчаяние, тихая сумасшедшая. (Вот и сейчас, пока пишу: стиральная доска – но как везти?? – большой чан – брать?? – м.б. примус – в ведро – а ведро – в

чан?? и т.д. и т.п., с припевом: «а во сколько всё это влетит????!!!»). И так будет – до *train de vacances*, боюсь, что и несколько дней спустя. А как взять Мурин горшок?? Неужели – в руках? Как букет или огромную бонбоньерку. А без горшка нельзя: он верный, преданный, – и я с 17 лет путешествую с горшками. – Да. – Милая Наташа, как люди возят горшки? В портплэдах??

Целую Вас и жду молниеносного ответа и решения.

МЦ

Ж.д. – Paris – Lyon – Méditerranée⁵. Маршрут: Тулон (рифма: Наполеон), а последняя ж.д. станция – Levandou, или doux (сладкий: мягкий, нежный), или Lavandou (от *lavande*⁶), а лучше всего Lavandoux (doux п.ч. – *lavande*), но, кажется, все-таки: Levandou⁷. Поселок La Favière, где будем жить, в 1 км, четверть часа ходу.

Сосны, песчаный пляж, другой – каменистый, горы – крымские, курчавые (1200 метров), лаванда. Москитов – нет.

Взять: купальный костюм, побольше полотняной обуви (может, купить здесь, есть чудная, цветная, непроноская: 6 фр.), голые платья (спина!), рекомендуют гамак, но у меня – нету и меня в нем тошнит (даже от вида!). Сетку для кроваток, но я слепая и не туда попаду. У Мура – будет.

Наташа, хотите меня осчастливить? Пришлите мне 50 фр. на настоящий шведский примус, несокрушимый, который буду жечь, беречь и любить – всю жизнь. (До сих пор горюю о 13 лет назад оставленном таком в России – забыть не могу: жжет!)

Это будет главное действующее лицо моей фавьерской жизни – главнее моря. В прошлом году у меня был чужой, я его починила, но пришлось вернуть. Так привязалась к нему, что насилу отдала. Обещаю Вам написать про него стихи и, даже, поэму. <...> Честное слово, напишу! И посвящу – Вам. <...>

Жду скороспешных новостей. И таких же деловых, как мои. Я лирику из письма выкинула, а много есть: про даму, у которой сняла, – целая поэма! но лирика – потом.

Самое важное мне – знать Ваши точные планы. Торопитесь: места в пансионе разбираются загодя, т.е. сейчас.

Жду.

1. Жребий брошен (*фр.*)

2. Чердачное помещение на даче Л.С. Врангель – *Villa Wrangel*.

3. Поезд с удешевленными во время летних отпусков билетами (*фр.*)

4. Не могу сосредоточиться (*искаж. фр.*)

5. Париж – Лион – Средиземное море (*фр.*)

6. Лаванда (*фр.*)

7. Правильно: Le Lavandou.

3. Письмо Ариадне Берг

23 мая 1935 г.

33, Rue Jean Baptiste Potin, Vanves

Дорогая Ариадна,

Буду рассказывать всё по порядку. Этим летом я твердо решила увезти Мура на море, ибо вот уже в течение семи лет (а ему – десять!)

Никуда не уехали, сын и я, –
 Обернулись прорехами все моря!
 Совладельцам пятерки рваной –
 Океаны – не по карману!
 Нищеты – вековечная сухомять!
 Снова лето, как корку, всухую мять.
 Обернулось нам море – мелью:
 Наше лето – другие съели!.. и т.д.

Так вот, я на этот раз решила: еду – и – будет.

Стала раздумывать и узнала, что есть на Средиземном море, под Тулоном (рифма: Наполеон), местечко – несколько русских дач: песчаный пляж, сосны и – простота. Дали адреса здешних владельцев, пошла и нашла (перипетии – опускаю: когда-нибудь – устно) мансардное помещение за 600 фр. в лето, с полной свободой, т.е. могу стирать и готовить. Тут же внесла накануне полученные 200 фр. за перевод «Поэта-альпиниста» на сербский. Т.е. внесла – треть.

Теперь: 400 остающихся фр., так или иначе, добуду: хочу устроить вечер числа 15-го июня.

Но на что у меня нету и навряд ли будет – на 2 билета aller-et-retour! в train de vacances, т. е. 430 фр. за обоих в два конца. Вносить нужно – сразу, в окошечко, которое открывается 21-го июня в 7 ч. утра (стоять надо с 5 ч. – очередь огромная). Поезд идет 28-го июня (ходят они 2 раза в месяц), будет ад, которого – не мыслю.

И вот, я подумала о – когда-то Вашем – предложении: а что если несколько человек, которые ко мне хорошо относятся и любят то, что я делаю, стали бы мне помогать, немножко, жить? Я тогда ответила: – А чем я заслужила?

Если бы Вы мне у них, дорогая Ариадна, могли раздобыть к 15-му деньги на билет – я была бы счастлива. Ибо подумайте: всё дело – в дороге. В прошлом году – в безводной деревне Elancourt под St. Суг'ом – с запретным (маркизиным!) лесом и загороженным (бычьим!) полем, за голые стены без мебели (пришлось всё везти из Ванва) я платила 175 фр. в месяц, т. е. на 25 фр. меньше, чем с меня просят – в этом раю!

А где взять? Ибо если я даже заработаю на вечере 300 фр. (мак-

симум!), то мне нужно за комнату внести еще 400 фр! И – до отъезда, и владельцы² – совершенно правы: сдают дешево, но хотят – без канители. А то – въеду, а платить не буду! Кроме того, столько предварительных расходов! Примус, купальное себе и Муру, аптеку, кое-что из продуктов – там всё *втридорога*, меня предупреждали. Обувь... Здесь – дешевка, а там каждый четвертак будет на счету. Но, опять-таки, всё это, кроме купального, мне всё равно необходимо – здесь, тот же примус (в прошлом году ездила с чужим) и та же обувь – только обидно на *здесь*, т.е. какую-нибудь дыру, п.ч. хорошее под Парижем – дорого, Вы сами знаете.

Но – самое главное – дорога, т.е. 430 фр. *poids brut* – и даже *brutal*³. Этого мне – не осилить⁴.

О них прошу.

Можете сказать, если и когда будете просить, что у меня сильное малокровие (это правда, есть свидетельство от Маршака⁵ – постоянные нарывы на этой почве – что я замучена черной работой, что мне никто не помогает, что у меня нет никакой стипендии (у всех писателей – есть!) – что это – не *partie de plaisir*⁶, а – необходимость. Знаю, что жизнь там будет – не легче здешней! Мансарда, т.е. дикая жара, хождение на рынок в соседний городок и ношение на себе всех закупок (есть поставщики на машинах, но это – намного дороже), хождение на далёкий колодец (есть цистерна, но только для питья, а мне надо – стирать на двоих и мыть посуду) – словом, даже труднее, чем здесь, где кран и на каждом углу – Магги⁷.

Но – сосны (мое до безумия любимое дерево! север и юг в одном) – море, имя которого я ношу, – и Мур на воле, голый, коричневый и соленый. Мур своим чудным учением – заслужил. <...>

Кончаю. Пишу Вам с утра, в еще неубранном доме. Идея: м.б. Вы и у Гартманов попытаетесь что-нибудь извлечь? Я – сама не могу, но за другого – за Вас бы – смогла и сумела. Ведь эту сумму – 430 фр. – набрать нелегко, а – Бог их знает – может и дадут 100 фр. – раз однажды послали 50 фр. Бальмонтам на проезд в Courbevoie (а они проехали, помните?). Они ко мне чудно относятся. Нужно только живописать положение.

Словом, Вам видней. Ведь если Вы напишете: собираю по друзьям на поездку Ц-вой на море – они навряд ли откажут. Только надо – скорей. И лучше: на билеты, это – конкретнее.

С волнением жду ответа. Писала – с абсолютным доверием. Обнимаю.

МЦ

Простите за эгоизм письма.

1. Билет «туда-обратно» (*фр.*)

2. Л.С. Врангель

3. Игра слов от фр. *poids brut* – вес *брутто* и *brutal* – ужасный, жестокий.
4. «С.Я. при всем желании не может поднять этого отъезда, он и так нас везет на себе: и жизнь, и терм (здесь: квартплата – *М.М.*), и Мурино учение (80 фр. в месяц). Он – не может. А должны мы не должны.» (Примеч. М. Цветаевой). Здесь С.Я. – Сергей Яковлевич Эфрон.
5. Маршак Аким Иосифович (1885, Киев – 1938, Ницца) – врач-хирург. Участник Первой мировой войны на французском фронте в качестве интерна. По окончании войны открыл в Париже частную практику, специализировался в области хирургии и гинекологии. Один из основателей и ведущий хирург Франко-русского госпиталя в Villejuif. Вел бесплатный прием во многих русских медицинских заведениях Парижа.
6. Здесь: ради удовольствия (*фр.*)
7. Сеть бакалейных магазинов фирмы Maggi (молочные продукты, бульонные кубики, какао).

4. Письмо Вере Буниной

2 июня 1935 г.

33, Rue Jean Baptiste Potin, Vanves

<...> Вера, скажите: тьфу, тьфу, не сплзить! (Трижды – в левую сторону.)

Едем с Муром в Фавьер. Мансардное помещение – 600 фр. всё лето. Внесла уже половину. Можно стирать и готовить. Есть часть сада, а в общем – 4 мин. от моря. У Людмилы Сергеевны Врангель, оказывается – рожденной Елпатьевской, т.е. моей троюродной сестры, ибо мой отец с С.Я. Елпатьевским – двоюродные братья: жили через поле.

Знаете ли Вы ее – и какая? Мне очень понравилась ее мать¹, и – на свое удивление – я ей, кажется, тоже, ибо она во вторую встречу меня первая поцеловала, почуяв во мне современницу, как все старики и старухи свыше 70-ти лет.

Теперь всё дело – в *train de vacances* (28-го июня): 1) достать билеты, 2) оплатить. 430 фр. – 2 билета – в оба конца. Билетных денег у меня нет. Просила у Руднева² аванс – не дал ни копейки. Хочу устроить к 15-му – 20-му вечер, без предварительной продажи³. <...>

Ну вот, Вера, полночь. Устала – не от письма, а от целого дня работы по дому, и не от работы, а от толчеи: своей собственной. (Стала было перечислять содеянное, но самой стало скучно.) Устала от несвоего дела, на которое уходит – жизнь.

В Фавьере тоже будет очень трудно: жара (мансарда), примус, далекий рынок, стирка без приспособлений и, кажется, даже без воды. Писать навряд ли придется, во всяком случае не прозу – требующую времени. <...>

В следующий раз напишу про Мура. Очень обрадовался привету и сам приветствует. Вас он зовет «Вера».

Напишите впечатление от семейства Врангелей. Они Вас знают. Какой – он⁴ <...>

Вы ко мне приедете летом? (Конечно – нет!) Сердечный привет Вашим, Вас – целую.

МЦ

1. Елпатьевская (урожд. Сокологорская) Людмила Ивановна (1857–1937, Париж).

2. Руднев Вадим Викторович (1879–1940, По) – один из основателей и редактор журнала «Современные записки».

3. Вечер Цветаевой состоялся 20 июня 1935 года.

4. Николай Александрович Врангель (1887–1961, Фавьер).

5. Письмо Ариадне Берг

3 июня 1935 г.

33, Rue Jean Baptiste Potin, Vanves

Дорогая Ариадна,

Спасибо за быстрый ответ и хлопоты. Пока что еще никто не отозвался, но – может быть – рано?

Провожу дни в обычных срочных делах и перед отъездных задолгих мыслях. Главная забота – Вы улыбнетесь – огромная стиральная доска, одно из главных действующих – и вспомогательных! – лиц моей жизни: брать или не брать? Много таких «стиральных досок»... <...> «Мой поезд» (как гордо!) идет 28-го, в 5 ч. 20 м. дня, с Лионского (львиного) вокзала.

Привожу в порядок стихи за долгие годы. <...> я перестала писать большие поэмы, ибо стала – прозу, которую люблю, но – всё-таки не так – и не то. А стихи есть хорошие, но ни одних – дописанных, а сколько – вовсе не записанных... Хочу – летом, хотя жизнь будет очень трудна.

У Мура – нарывы (малокровие). Совершенно неожиданные, но непрерывные. Сейчас – огромный ячмень. Очень бледен – до зелени. Ему отъезд еще больше нужен, чем мне. Учится отлично. Но убивает меня страстью к газетам и к событиям, – такой не моей!

Алю почти не вижу, заходит раз в две недели на пять минут. Говорит, что много работает в школе. Не знаю. Но – ее жизнь. Осенью ей будет 22 года – в ее возрасте ей, в моей жизни, было уже четыре года: четыре года моей ответственности. Но я была другая – вся.

– Ну, вот...

Напишите, увидимся ли?

Целую Вас и, еще раз, спасибо за всё. Не можете ли Вы, в мою пользу, утянуть из своего хозяйства какую-нибудь среднего роста *алюминиевую кастрюлю* и нет ли у Вас лишнего *алюминиевого кофейника*? Я сейчас неспособна ни на франк, ибо – ведь еще примус! Купальные костюмы и халаты! Не найдется ли у Вас купального *халата*? Простите за вечные просьбы, но мне почему-то – совсем не неудобно – просить у *Вас*. (Я вообще ничего ни у кого не прошу.)

Обнимаю.

МЦ

6. Письмо Наталье Гайдукевич

7 июня 1935 г.

33, Rue J B Potin, Venves (Seine) France

<...> «Лето». Нужно чинить Муру зубы и прививать оспу. А у него сейчас *trimestriels*¹. А живем мы за полтора часа езды (и скольких – ожидание в приемной?) от зубного врача, того, который – даром.

Вываю на-круговую к знакомым дамам, чтобы подарили прошлогодний прошлосредиземный или океанский купальный костюм. Два: Муру и мне. Дамы – молчат. А нужны еще – купальные халаты, без них на берег идти не разрешено, а раздеваться на берегу – мне – с моими старомодными лифчиками на пуговках... (здесь все носят «бюстгалтеры», с полушариями, – преимущественно розовые и деликатные и, у меня, ничем не заполнимые! Шью на заказ (!!!) И не только – лифчиками: желтыми штанами и лиловыми рубашками, ибо покупаю всегда самое дешевое и недомерочное: вес – 50 кило и соответствующая худоба. Моей тальи (60) в большинстве магазинов нет, нужно брать *jeunes filles*², а у *jeunes filles* все соответственно-узенькое, я же в плечах – верста. «Идеально-спортивная... мужская фигура», как мне в полной невинности сказала 84-летняя старушка-соседка, которая на меня шьет... за соответствующую старинную цену. Как я бы хотела об этом написать!

Лето будет... трудное. Там ни молока, ни масла, ни мяса, а рыба, как всегда на море, не по средствам. Яиц нет, п.ч. курам слишком жарко (!). Есть, но крокодиловы. Боюсь Муру – с непривычки. (А гомерическое зрелище – крокодиловая яичница! А вдруг одно – с зародышем?? Уже – с ЗУБАМИ?) Про крокодилов – вру.

Наташа, как я ску-учно живу, и сколько во мне неизбытого – неизбежного! – веселья.

Почему я, как дура, верила, что Вы приедете? Так сразу и твердо поверила в наше лето? Так его – видела? (Яснее: чем море.) Et voilà³.

Если уеду, то 28-го. В 5 ч. 20 мин. Подумайте обо мне, пожалуйста. И еще 22-го в 5 ч. утра – увидите меня во сне: я в это время буду

стоять у кассы Train de vacances на Gare de Lyon⁴, которая открывает-
ся в 7 ч. Боюсь этого до содрогания. <...>

Не пишите иронически о примусе, это – друг! Сниму его отдель-
но и пришлю. Спасибо за него – и за всё. Пишите чаще.

Бегу за Муром в школу. Обнимаю.

МЦ

-
1. Школьные экзамены (фр.)
 2. Здесь: одежда для девочек (фр.)
 3. И вот, пожалуйста (фр.)
 4. Лионский вокзал Парижа (фр.)

7. Письмо Вере Буниной

11 июня 1935 г.

33, Rue J. B. Potin, Vanves

Дорогая Вера,

Хотя очень мало времени до 20-го, – но может быть попытае-
тесь? Посылаю пять¹. (С Вами хорошо, что можно говорить без при-
лагательных (лгательных!) и даже, иногда – без существительных!)

Итак – пять.

А у Мура третий день смутное нытье живота, и резкая боль при
согбении и распрямлении – боюсь аппендицита – тогда, прощай наше
лето! Завтра веду к врачу. А нынче до 12 ч. ночи – буду писать собст-
венноручные билеты и такие же, к ним, просьбы – ну-у-дные! Все-
таки – противоестественно – вечно клянчить. Проще – деньги в банке,
тем более отцом и дедом – делом! – заработанные. (Мой дед А.Д.
Мейн был редактором московской газеты «Голос» – чей, интересно??)

До свидания, милая Вера, мне совсем не стыдно Вас просить.
П.ч. Вам *всё равно* – как и мне.

Пишите!

МЦ

1. Имеются в виду билеты на вечер М. Цветаевой, о распространении кото-
рых она просит.

8. Письмо Ариадне Берг

21 июня 1935 г.

33, Rue Jean Baptiste Potin, Vanves

Дорогая Ариадна,

Что же Вы замолчали?

А вот – мои «новости»: у Мура три дня слегка побаливал живот (впервые за всю жизнь!) – повела к русской докторше, та обнаружила аппендицит и посоветовала немедленно показать Алексинскому¹. К концу второго дня безрезультатной езды, наконец, Алексинского застали, тот велел сегодня же доставить в клинику Ville-Juif, чтобы завтра утром оперировать.

14-го утром его оперировали, нынче пошел седьмой день, пока всё благополучно. Вел и ведет себя мужественно – лучше, чем взрослый.

Всё это, конечно, сильно расстроило наши материальные дела, ибо хоть с нас, с точки зрения клинической, взяли грош, но этот грош был насущно-отъездный – или квартирный, – насущный. (Алексинский за операцию ничего не взял.)

Но сейчас тверже, чем когда-либо, решила везти его на море: всё последнее время он выглядел очень плохо, был желт, как лимон, и всё ложился, – прикладывался, – сам не сознавая, что болен. (Дети не жалуются.) А сейчас, после операции (пять дней приблизительного не-едения), он, конечно, будет очень истощен.

Вчера был мой вечер: 200 фр.

Из Ваших, пока, никто не отозвался, и – думаю – уж не отзовется. (Удивляют меня – Гартманы, всегда такие сердечные. Но они так же «мои», как «Ваши».)

Ну, вот.

Тороплюсь, ибо каждый день езжу к Муру на три часа, итого, с дорогой – 6 ч. – Это на краю света.

До свидания!

Вы меня совсем забыли.

Целую Вас и детей, – все ли вы здоровы?

МЦ

Непреренно пишите о себе.

1. Алексинский Иван Павлович (1871–1945) – хирург, один из основателей франко-русского госпиталя в парижском предместье Villejuif.

9. Письмо Анне Тесковой

2 июля 1935 г.

La Favière par Bormes (Var) – Villa Wrangel

Дорогая А[нна] А[нтоновна]!

Вкратце: перед самым концом блистательного учебного года и за 2 недели до нашего *train de vacances* на юг (вместо 400 фр. – 215 фр. в оба конца) – у Мура стал побаливать живот: аппендицит – немедленная операция. 14-го его оперировали: Алексинский, еще российское светило. Пролежал 10 дней в Ville-Juif'ском госпитале (еврей¹ –

ни при чем: старинное название пригорода) и на 14-ый день с Божьей и дружеской помощью, выехали с ним – тем самым поездом – на юг.

Нынче морю и югу – четвертый день. Сняли мансарду – просторное, но – пекло, пекло – но просторное – и дешевое: чердак баронессы Врангель, к<отор>ая оказалась моей троюродной сестрой: ее отец, писатель-народник (и врач) – поколения Чирикова – С.Я. Елпатьевский был двоюродный брат моего отца. Но я больше взволновалась этим открытием, чем она. (Баронесса она по мужу: не Главнокомандующему, а земскому деятелю, но – очевидно – одна семья...)

...Море – блаженное, но после Океана – по чести сказать – скучное. Чуть плещется, – никакого морского *зрелища*. Голубая неподвижность – без событий. Пляж – чудесный: песчаный и дно очень долго – мелкое. Вода – изумительного цвета. Но (Вам – скажу) – скучно. Я плохой пловец, – не моя стихия, а лежать для меня – самый тяжелый труд. С Муром же ходить – нельзя, и долго нельзя будет. А какие вокруг горы! Сосна, лаванда, мирт, белый мрамор. И какие – доступные. Я нынче писала С.Я.: здешние горы – Чехия, выигравшая 5 милл. в Нац. Лотер., но – Чехия: то же обожаемое мною соединение сосны, камня и суши. (Чехия осталась у меня в памяти как один синий день. И одна – туманная ночь.)

Наш сад переходит в горку, немножко нынче с Муром побродили, я сразу влюбилась в какой-то куст, оказался – мирт, – посылаю веточку. <...>

– О многом напишу, о чем не могу писать никому. О том, что я – aus dem Spiel, совсем, aus jedem². Смотрю на нынешних двадцатилетних: себя (и всё же – не себя!) 20 лет назад, а они на меня – не смотрят, для них я скучная (а м.б. «странная»), еще молодая, но уже седая, – значит: немолодая – дама с мальчиком. А м.б. просто не видят – как предмет. Горько – вдруг сразу – выбыть из строя – живых.

Вечера – самое тяжелое. Мур в 9 ч. спит, в мансарде – жарко и крохотная керосиновая лампа, на воле темно и писать нельзя. К морю – тоже нельзя. Никуда нельзя. И никого нет. Вокруг русские радостные голоса: – идем? идем! – не забудьте кофточку: свежо! – палку взяли?

И – пошли.

А я хожу – быстрее их!..

...Я давно уже выбита из колеи писания. Главное – нет стола, а если бы и был – жара на чердаке тропическая. Но еще главней: это (вся я) никому не нужно. Это, в лучшем случае, зовется «неврастения». Век меня – миновал. Но об этом – в другой раз. Целую Вас, дорогая Анна Антоновна, и жду быстрой весточки, что – дошло.

МЦ

1. Juif – еврей (*фр.*)

2. «Вышла из игры, ... из всякой» (*нем.*)

10. Письмо Ариадне Берг

4 июля 1935 г.

La Favière par Bormes (Var) – Villa Wrangel

Дорогая Ариадна,

Пока – два слова. Ваше письмо долетело, верней – доползло, – спасибо. На 14-тый день после Муриной операции мы с Божьей и дружеской помощью тронулись, на *train de vacances*, на Юг. Фавьер – несколько русских вилл и французских ферм, без улицы и почтового ящика. Огромный пляж, на котором мы с Муром, от 4 до 6 ч. – *одни*, не считая прибегающих собак.

Виноградники подходят прямо к морю, уступая последнюю близость – соснам.

Растительность – сосны, всякого рода деревца и кусты, среди которых – мирт.

На миртовом дереве повесилась Федра, у меня говорящая:

На хорошем деревце
Повеситься не жаль!

Нет, не так, – та́к:

Федра: – Ввериться? Довериться?

Кормилица: – Лавр – орех – миндаль!

На хорошем деревце
Повеситься не жаль!

Жизнь здесь трудная, густо-хозяйственная, всё нужно добывать – и весьма в поте лица.

Самое, для меня, тяжелое: нельзя ходить. Муру нельзя ходить – значит, и мне нельзя. А – какие горы!! И горный городок – *Bormes – феодальный*: мой – и всего только в 6 кил. всходу! Дразнит – пуще чем лисицу – виноград. *Ногой* подать!

Мур, конечно, не купается – полощется руками и ногами и ухитряется ходить на четвереньках, не моча бандажа. Он *очень* сознателен.

Спасибо Вам и Вашим дочкам за память. Мур *с удовольствием* писал им ответ. Это – первые девочки, к которым он *хорошо* относится.

<...> Целую Вас и сердечно рада буду, если еще напишете. От Гартманов перед отъездом получила 70 фр., еще не успела поблагодарить. Courbevoise (Seine) – ? – Charles Hébert (37? Не помню, умоляю сразу, а то выхожу – невежей).

Дай Бог, чтобы и остальные последовали их примеру: перешлют. Еще раз спасибо за память.

МЦ

11. Письмо Вере Буниной

8 июля 1935 г.

Favière, par Bormes (Var) – Villa Wrangel

Дорогая Вера!

Вы уже видите: Фавьер¹. Живем 9-тый день, – Мур и я, я и Мур, Мур, море и я, Мур, примус и я, Мур, муравьи и я (здесь – засилье!). Дом – дико беспорядочный, сад в ужасном виде – настоящее «Дворянское гнездо» (хотя здесь – баронское. А вдруг – я напишу повесть – Баронское гнездо??). Писать, еще, невозможно, почему – в письме. Вообще, ждите письма (целой жалобной книги на фавьерскую эмиграцию). <...>

МЦ

1. Письмо написано на открытке с видом пляжа Фавьера.

12. Письмо Анне Тесковой

12 июля 1935 г.

La Favière

...Живем вторую неделю. Я – томлюсь. Сейчас объясню, и надеюсь, Вы меня поймете. Мне вовсе не нужно *такой* красоты, *столькой* красоты: море, горы, мирт, цветущая мимоза и т.д. С меня достаточно – *одного* дерева в окне, или моего шенорского верескового холма¹. Такая красота на меня накладывает ответственность – непрерывного восхищения. (Ведь сколько народу, на моем месте, было бы счастливо! *Все*.) Меня эта непрерывность красоты – угнетает. Мне *нечем* отдарить. Я всегда любила скромные вещи: простые и пустые места, которые никому не нравятся, которые *мне* доверяют себя сказать, – и меня – я это чувствую – *любят*. А любить Côte d'Azur² – то же самое, что двадцатилетнего наследника престола, – мне бы и в голову не пришло. (Пришло – Марии Вечере, но тому не было – двадцать лет, было за тридцать, а ей – семнадцать, и он не был красавцем – и это она его одаривала!)³

...Так же, как не могла бы любить премированную собаку, с паспортом высококоротенных дедов и бабок (то, из-за чего обыкновенно и любят!).

Второе: я, из-за Мура, целый день должна сидеть или лежать у моря: на него (море) глядеть: ничего не делать, ибо писать на воле никогда не могла, а читать – это в каком-то смысле – тоже ничего-не-делать.

Третье: у меня здесь никого нет, ни души – для беседы, как у Мура – никого – для игры. Нас русские, явно, бойкотируют⁴.

Никто (а много – знакомых, напр. вся семья кн. Оболенских) за 2 недели нас ни разу не позвал к себе – хотя бы на террасу, не говоря о том, что – не зашел. М.б. наша явная *бедность*, – не знаю.

С 9 ч. веч., уложив Мура, томлюсь. Ведь весь день либо закигала примус, либо бессмысленно переливала песок из ладони в ладонь. Сижу в кухне, открыв дверь на лестницу (окна нет), слушаю чужие голоса: кто-то идет на море, кто-то – в гости, – Бог с ними, конечно, – и не мое это «море», и не мои это «гости» и м.б. я бы первая от всего этого веселья отстранилась: слишком много уж женского визгу и мужского хохоту! – но все-таки каждый вечер сидеть на кухне, без ни-души...

Купаюсь, но мало: я мало люблю воду: плохо плаваю и сразу замерзаю. Муру доктора разрешили, сняв бандаж, немножко полоскаться. Но и он скучает: играть не с кем, а он в школе привык к детскому обществу... И так – каждый день, и не знаю, как я так буду жить до 1-го октября.

Главная беда: у меня нет твердого места для писания: в хорошей комнате, с окном и сосной в нем, спит Мур (днем и с 9 ч. веч.), а в кухне – нет окна, и вся еда, и лук, и жара от примуса, и стол – непоправимо, целиком распатанный, на к-ый гляжу с отвращением, всячески – взглядом – обхожу.

Еще беда, что здесь нет органического населения: что я, всегда, так люблю, – ни одного старого дома, ни одной старой стены: только дачи и дачники, не считая нескольких франц. ферм, тоже – со вчерашнего дня. Это – эмигрантский поселок в сосновом лесу. Зажиточно-эмигрантский, т.е. буржуазный. (Рядом со мной 2 дачи Милюкова, где никто не живет – и не будет жить.) Мы в этот поселок *не вошли*: здесь все – либо хозяева пансионеров, либо пансионеры. Мы – сбоку, на вышке чужого (пока – пустого) дома, – как на маяке. <...>⁵

1. В сентябре 1924 г. М.Ц. поселяется в Вшеноры, пригороде Праги. Кухонное окно смотрит на лесной холм, можно быстро попасть к любимым деревьям, а среди них избранник – вереск, который «первый встречает на верху горы».

2. Лазурный берег (*фр.*)

3. Имеется в виду нашумевшая так называемая Майерлингская трагедия – двойное самоубийство наследника трона Австро-Венгерской империи Рудольфа и его любовницы баронессы Марии Вечеры.

4. В эмигрантской среде М.Ц. сторонились из-за мужа С.Я. Эфрона, подозреваемого (не без оснований) в связях с ГПУ.

5. К письму приклеен засушенный цветок с подписью Марины: «Цветок олеандра».

13. Письмо Наталье Гайдукевич

13 июля 1935 г.

Villa Wrangel, La Favière, par Bormes (Var) France

Дорогая Наташа,

Пишу Вам под пинией, рядом с кактусом, – и не думайте, что я от этого счастливее.

La Favière – роскошное место, природой – роскошное, а я никакой роскоши никогда не терпела, кроме – словесной <...> и бирюзы на серебре <...>. Здесь: пальмы, кактусы, эвкалипт, кипарис, мирт, мимоза, олеандр над головой, [под] рукой и под ногой. NB! Масса змей, но только две породы: либо двухметровые желтобрюхи, жрущие цыплят, – либо гадюки (и даже «-чки») – на одну такую чуть было не наступила: еле удержала ногу, а она от страха совершенно иступленно затанцевала. – Змеи ведь тоже относятся к роскоши. – Дальше – море, тоже – роскошь – драгоценное, раз «средиземное» (иначе бы земли его не хранили) – нестерпимо-великолепных цветов. И приморские Альпы. И – виноградники. Словом, по чести, угнетена этой роскошью – этой ответственностью. Сколько народу мне сейчас завидуют – завидовало бы. (Я к этому не привыкла. Внутренним дарам никто не завидует всерьез, а внешней славы у меня слишком мало...)

Такую природу – трудно любить. Мне – трудно. Да ей моя любовь и не нужна. Она – красавица. Она любви – требует, и ее не понимает. Что тут делать поэту? <...> я куда более любила мой единственный и одинокий можжевеловый куст в Чехии, чем все здешние олеандры и тамариски.

Нельзя любить Ботанический сад.

Это – пока. Нынче – две недели с нашего приезда.

Назад – вкратце: за неделю да начала переходных, верней – три-местриальных экз. – т.е. около 7-го июня – Мур вдруг стал жаловаться на живот <...>, повела его к знакомой русской – докторше – обнаружила аппендицит и направила к Проф. Алексинскому (хирургу – нашей еще московской и давнишней знаменитости). <...> Посмотрел, опросил. Да, аппендицит. Я – «Не резать, конечно?» – Нет, резать и завтра же. (А 28-го train de vacances – ехать. Понимаете мой ужас?)

Словом, 14-го утром был оперирован – первым. Лежал 10 дней. На 14-тый – поехали. Доехали (!). А завтра – ровно две недели как здесь, и месяц с операции. Еще носит бандаж, но уже можно снять. Уже ходили с ним за полторы версты за продовольствием и на почту. Уже – четыре дня – купается – тихонечко, конечно. И всё это с разрешения и даже усиленного совета докторши, старой, русской и очень опытной.

Но – одна беда: почти что нечего есть. Верней: нэ на что. Ему

после операции нужно поправляться, а у нас в день на обоих – 7 фр. при цене мяса 7 фр. фунт, помидоры – 2 фр. ф., яблоки – 3 фр. 50 с. и все в таком роде. Здесь – обдираловка. Поэтому сидим на водяных супах и голой картошке. Умоляю, милая Наташа, если только можете, пришлите мне сто фр. – Муру на еду. Как страшно подкосила операция: 700 фр., причем А-ский от гонорара отказался – только в лечебницу, да еще со сбавкой – и 10 дней пансиона, расходы по операции, оплата персонала. Мы заплатили 400 и 300 остались должны. Уехали на день-ги с моего вечера (читала своего «Чорта» – повесть, о себе, конечно). Путешествие обошлось 500 фр. – вдвоем, конечно, и с обратными билетами. Но на жизнь осталось – 7 фр. в день. «Совр. Записки» в авансе отказали. А С[ергея] Я[ковлевича] просить – невозможно: он 15-го должен заплатить кв[артирный] терм, т.е. 750 фр. Он и так себя ободрал, чтобы нас отправить. Ему я пишу (по системе Проф. Куэ¹) – Всё хорошо. Всё – очень хорошо. Всё – нельзя более хорошо. Он – живая совесть, т.е. терзание, особенно, когда в разлуке. И у него ничего нет. Кормится сейчас по знакомым – его, к счастью (тьфу, тьфу!), все любят.

Мур пишет отцу (про Лаванду – соседний курорт, куда бегаем опускать письма, когда пропустили почтальона) – «Лаванду – довольно простой курорт. (NB! На курорте – в первый раз!) Но есть и щеголи, и пальмы». Правда – хорошо? Пальма ведь сама – щеголь. (Не люблю).

Пишу на тряском столе, сидя на ящике, – простите за почерк. Облеплена мухами и об-трещена? -трэскана? цикадами. Я не знала, что они живут на деревьях и так диaboлически (!) трещат. Хуже мотора, ибо – сотни моторов, без устали, с 6 ч. утра до 7 ч. вечера.

Обнимаю Вас и умоляю простить за просьбу.

Примус – чудный, блестит как негр (не цвет, а блеск!) и работает (тьфу, тьфу!) как китаец. Настоящий, шведский с надписью даже по-русски. Вот его – люблю. Когда снимут – пришло карточки.

Целую.

МЦ

1. Эмиль Куэ (1857–1926) – французский психотерапевт, автор методики лечения, основанной на самовнушении.

14. Письмо Анне Тесковой

11 августа 1935 г.

Фавьер

Дорогая Анна Антоновна,

Я недолго жила в Чехии и, собственно, жила не в Чехии, а на

краю деревни, так что жила в чешской *природе*, за порогом культуры, т.е. природы плюс человека, природы плюс народ. И, руку на сердце полагаю, – люблю. Люблю бескорыстно и безответно – как и полагается любить. И – может быть – даже безнадежно, ибо: увижу ли еще когда? (Люди, когда *безнадежно*, – перестают любить.) То малое, что я видала от Праги – так далеко живя, – навсегда для меня включилось в *Märchen meines Lebens*¹, как свою жизнь назвал Андерсен. А Пращский Рыцарь – навеки *мой*.

Еще расскажу Вам: иногда в Т.S.F.² слышится музыка, от которой у меня сразу падает и взлетает сердце, какая-то повелительно-родная, в которой я всё узнаю – хотя слышу в первый раз. И это всегда – Смётана. Вообще – чешское. Так я под прошлое Рождество прослушала целый концерт чешских народных песен – нечаянно попала – и была заморожена.

<...> Но – будьте уверены – Ваши соседи-патриоты и своей *Patria* не знают, разве что казачий хор по граммофону и несколько мелких рассказов Чехова. Ибо – знающий Россию, *сущий* – Россия, прежде всего и поверх всего – и самой России – любит *всё, ничего* не боится любить. Это-то и есть Россия: безмерность и бесстрашие *любви*. И если есть тоска по родине – то только по безмерности мест: отсутствию границ. Многими же эмигрантами это подменено ненавистью к *загранице*, тому, что я, из России глядя, называю заморщиной: заморьем. Вспомните наши сказки, где *всегда* виноград, которого ни одна баба в глаза не видала. И *всегда* – орел. И *всегда* – в самых степных местах возникшие – *горы*, да еще свинцовые или железные. – Мечта.

А вот эти ослы, попав в это заморье, *ничего* в нем не узнали – и не увидели – и живут, ненавидя Россию (в лучшем случае – *не видя*) и, одновременно, за границу, в тухлом и затхлом самоварном и блинном прошлом – не историческом, а их личном: чревном, вкусовом; имущественном – обывательском, за которое – копейки не дам.

<...> Недавно, на пляже – пристаёт лодка. Трое в купальных костюмах: отец, мать, дочь. (Все молодые.) Слышу родное, но не русское. И вдруг, к своему удивлению, хотя не русское, – всё понимаю. – Чехи! (Удивилась, п.ч. не ждала, Фавьер – не курорт: глухой уголок.) Было приятно смотреть, как они радовались. Вот уж воспользовались «заморьем»! Нырjali, валялись в песке (как дети, как собаки!), лазили на камни, скакали с них в воду, всё это громко крича и даже визжа и совершенно не думая о зрителях. Потом по команде отца вскочили в лодку и совершенно мокрые, песочные и счастливые – отплыли – поплыли. Больше я их не видала. Очевидно, на своей лодке объезжали всю Côte d'Azur. Какой-нибудь чиновник, наверное долго мечтавший и копивший – и ждавший, чтобы дочь кончила школу...

...В следующий раз напишу о короткой и прелестной встрече с

русской швейцаркой, д-ром Базельского Университета³, которая мне напомнила Вас...

1. Сказка моей жизни (*нем.*)

2. От фр. *Transmission Sans Fils*, «передача (сигнала) без проводов», здесь – радио.

3. Елизавета Эдуардовна Малер (*Elsa-Eugenie Mahler*) (1882–1970) – доктор Базельского университета. Уезжая в СССР, М.Ц. доверила ей часть своего архива.

15. С.Я. Эфрон – М.И. Цветаевой*

31 июля 1935 г.

Дорогая моя Рыся,

Пишу Вам вот по какому делу. Как бы Вы отнеслись, если бы мы приехали с Алей вместе? На время моего пребывания можно бы принанять какой-либо угол или комнату франков по десяти (даже по 15) за день. Я могу себе это позволить, ибо приезжаю ненадолго и с'экономлю на здешнем пансионе и дороге (автомобиль). Мне бы хотелось приехать с Алей, т.к. второго такого случая не будет, а после моего отъезда к Вам – она хочет ехать домой, чего я допустить не хочу. Приехал бы с нею без предупреждения, но Аля меня уверяет, что Вы ее пригласили на гораздо позже, что осуществить будет невозможно.

Жду Вашего быстрого и точного ответа. Я бы жил с Вами, а Аллю бы на время моего пребывания устроили бы на стороне. Если ничто не помешает – буду у Вас 4 веч. или 5 утр.

* *Эфрон, С.Я.* Переписка. М.: Директ-Медиа, 2016.

16. А.С. Эфрон – А.И. Цветаевой *

7 апреля 1946 г.

Дорогая Асенька,

В одной из открыток Вы спрашиваете меня о моих юных увлечениях и об отношении мамы к ним. В предыдущем письме кратко ответила, что увлечений было мало, платонические и какие-то бедные. Мама к ним относилась плохо. А бывали и забавные случаи.

Когда мы приехали с мамой и девятимесячным Муром в город¹, Марина познакомилась с сыном одного своего, вернее, какого-то общего знакомого, пожилого. Сыну его, Жене, было года 24, он был высокий и светлый, новоиспеченный горный инженер, умница, человек тонкой души и холодного сердца. Жена его, тоже умница и даже красавица, была юристом. У Марины с Женей была короткая лириче-

ская дружба, он сильно ею увлекся, а потом они как-то разошлись, он уезжал надолго, и потом встречались очень редко, случайно и холодно. Женю я, тогда девчонка, видела в то время всего раз или два, и в памяти остались только общие его черты.

И вот прошли годы, мне уже лет 20-21. Марина летом едет на юг с сыном, в полудикое местечко Фавьер, на море, Сережа² – в командировку. Я еду с Сережей, с которым провожу месяц, а оттуда с попутным автомобилем еду к Марине. Приезжаю под проливным, редким в этой местности, как в Сахаре, дождем. Марина встречает меня необычайно холодно, помещает меня в курятнике с видом, правда, на клумбу с цикадами и с места в карьер предупреждает, что, мол, знаю, зачем ты приехала, берегись! Я в недоумении и в курятнике. Из курятника выхожу на следующий день, а из недоумения – нет. На повороте встречаю Женю, того самого, но не узнаю. Он подходит: «Вы – Аля?» – «Я». – «Я должен с вами поговорить». Идём. Жара, цикады, море. «Аля, я вас совсем не знаю. Помню, видел когда-то давно, девочкой с косичками. Но ведь с тех пор мы никогда не встречались? Правда?» – «Правда». – «Ну вот, я не знаю... не пойму, в чем дело. Вчера, после вашего приезда, М.И. вызвала меня к себе, сказала мне, что знает всё о наших с вами отношениях, потребовала, чтобы они прекратились, – в чем дело?» – «Не знаю и не понимаю сама».

Женя приехал в Фавьер, не зная, что там Марина, я – зная, но от этого не легче. Марина нас грызёт, каждого в отдельности. И волея-неволей спасаемся от ее гнева вместе, то в горы, а то и в море. Дружим, лирически и платонически, говорим много, а о чем, сейчас уже и не помню, ибо опять прошли годы и от этой дружбы тоже в памяти одни общие черты. Он уже давно разошелся с женой, есть невеста, о которой он говорит слишком охотно, чтобы это было с горячим сердцем, – потом он уезжает, сперва в столицу, потом в бесконечные командировки, пишет мне часто, коротко и умно. Но летние дружбы – вещь непрочная, впоследствии мы легко теряем друг друга из виду, когда непонятный гнев богини перестает тяготеть над нами.

Разгадка? Я ее нашла не сразу. Как все девчонки, я вела дневник, как все матери, она его тайком читала. И там и была фраза о том, что мать меня не любит, дома – невыносимо тяжело, – что же делать? Не топиться же, в самом деле, и не выходить же замуж за Женю, сказавшего мне однажды: «Ты милая и тихая – выходи за меня замуж». Это был совсем не тот Женя! Марина его совсем не знала! И фраза его, полушутливая, была случайной и случайно попала в несчастный дневник. <...>

* Р.Б. Вальбе. Марина Цветаева в письмах сестры и дочери / «Нева» (2003) № 3. С. 198.

1. Осенью 1925 г. М.Ц. с семьей приехала в Париж.

2. С.Я. Эфрон

17. Письмо Наталье Гайдукевич

14 августа 1935 г.

Villa Wrangel, La Favière, par Bormes (Var) France

Дорогая Наташа,

Одно мое письмо явно пропало, раз Вы спрашиваете, получила ли я 70 фр. Конечно, сразу ответила – большим письмом (три таких листка) и давным-давно уже. Одного сейчас не могу восстановить: опустила ли я его в Лаванду на почте или в местный фавьерский – несколько сомнительный – ящик, в который никогда не опускаю без ущемления сердца (не забудет ли почтальон забрать, не вытрясет ли лавочница¹ в песок – висит на лавке и вручает почтальону – для верности – лавочница, потому что почтальон... задумчивый бывший пастух, привыкший к однообразию овец: к волнам овец и гор. Недавно научился подписывать свою фамилию).

Так или иначе – сердечно жаль, что я – писала, а Вы – не читали и, главное, что могли счесть меня за простую невежу.

Еще раз спасибо – за прежнее, и – новое – за нынешнее, за всю Вас ко мне, за всё.

Только что проводила мужа, прогостившего у нас неделю: довез на автомобиле знакомый – через всю Францию (я бы умерла от морской болезни и от страха). И вот, проводив, вижу – насколько для меня чужая радость действительнее – радостнее – собственной. Пока он был здесь, я с радостью купалась, с радостью ходила за продовольствием, с радостью пила местное *rosé*², словом – купалась, ходила и пила через него: его радость всему этому. А сейчас, когда его нет, ничего нет, кроме обиды – что всё это мне, а не ему. Не в коня корм, вся красота даром – зря пропадает.

Он за эти семь дней – помолодел, поздоровел, подобрел, Все городское – отпало, купался с упоением, как Мур, не мог нарадоваться волне, тишине, водорослям, песку – всему – каждому шагу и виду, каждой минуте дня. А...

Что-то во мне оборвалось: гоню дни и рада, когда кончаются. Может быть, потому что у меня совершенно нет будущего, что всё – было. Чего мне ждать? Внуков? Но это сердце у меня уже растрачено.

Мне иногда кажется, что жизнь – слишком длинная, а когда думаешь, что вся эта нескончаемость – из минут...

Почему все думают, что я сильная и полная, когда я полна только вдохновением, как грудь – дыханием. Разве вдохновение (дыхание) – содержание? Я в себе чувствую пустоту и огонь.

Простите, милая Наташа, за бессвязное письмо, но лучше такое, чем еще один день Вашей мысли, что я – невежа. <...>

А Мур об отце не скучает. И это ужасно. (Я отродясь скучавшая

обо всех! Не – без всех, обо всех: тоска как устремление, нет: СТРЕМНИНА! как основной двигатель.) Отец его безумно любит и был с ним – нежнее нельзя, добрее нельзя, всё исполнял: подарил. (Посильно!)

Что это за беспощадное поколение! Вот он – новый человек. БОЮСЬ его.

Нужно всё отдавать детям без всякой надежды – даже на оборот головы. Потому что – нужно. Потому что – иначе нельзя – тебе.

Мур не будет ходить на мою могилу. (Неприятно. Зачем? Всё равно там никого нет. И т.д.) Физическая энергия – и головная. (Силен и умен.) А – душа?? Где? Когда? И даже не знаю – желать ли? Хороша я со своей «душою». Живого места нет.

Простите, Наташа. Следующее письмо будет в kolejny день, более мое. С утра, со свежей головой и с поменьше – сердца.

Обнимаю Вас.

МЦ.

Я здесь до 25-го сентября.

1. Л.В. Грудинская (Оболенская)

2. Розовое вино (фр.)

18. Письмо Вере Буниной

28 августа 1935 г.

La Favière, par Bormes (Var) – Villa Wrangel

Дорогая Вера,

Я знаю, что мое поведение совершенно дико, но знаю также, что я совершенно взята в оборот фавьерского дня. Во-первых – у меня нет твердого места для писания, во-вторых – при нетвердости места – отсутствие твердого стола: их – два: один – кухонный, загроможденный и весь разъезжающийся от малейшего соприкосновения, к тому же – в безоконной комнате, живущей соседним окном, другой – на ком сейчас пишу – плетеный, соломенный, стоящий только когда изо всех сил снизу подпираешь коленом, т.е. – весь какой-то судорожный. С этим столом я в начале лета таскалась в сад – пока Мур днем спал – от 2 ч. до 4 ч. – но это была такая канитель: то блокнот забудешь, то папиросы, то марки у Мура остались, кроме того – в двух шагах квартиру – тропинка, по к-ой весь Фавьер на пляж или с пляжа – и *всё* слышно, все отрывки, и я сама – видна, а я никогда не умела писать на людях, – словом, я совершенно прекратила писать письма, – только Сереже – коротенькие листочки.

Конечно, будь я в *быту* нрава *боевого* – я бы добилась стола, и мне даже предлагали ходить на соседнюю дачу, – но это – *душевно*-сложно: похоже на службу – и всё те же сборы: не забыть: блокнота, марок,

портсигара, зажигалки (не забыть налить бензин), – тетради на всякий случай (вдруг захочется перечитать написанное утром) – и т.д. Нет, стол должен быть – место незыблемое, чтобы со всем и от всего – к столу, вечно и верно – ждущему. (Так Макс возвращался в Коктебель.)

Мой день: утром – примус и писанье своего – до 11 ч., с 11 ч. – 1 ч. купанье, т. е. пляж, около 2 ч. обед, от 2 ч. – до 4 ч. – Мурин сон в комнате с окном и моя беспризорность (бесстоловость), 4 ч. – чай, 5 ч. – 7 ч. – прогулка или пляж, около 8 ч. – ужин, а там – тьма и ночь, т.е. опять Мурин сон, а я в кухне – при открытой двери освещенная, верней – *светящая* – как маяк, при закрытой – закупоренная как бутылка, и опять нет стола, а доска – годная разве только для кораблекрушения¹.

Словом, у меня третий месяц нет своего угла, и поэтому я очень мало сделала за это лето, хотя как будто было много свободного времени. (Вот сейчас пишу Вам вместо стихов, т.е. утром, и к тетради за весь день уже не прикоснусь: не смогу. Т.е. буду таскать ее на пляж и буду сидеть с ней на коленях на своей скворешенной лестнице, но в лучшем случае – несколько строк. Повторяю: без стола – не могу, не говоря уже о *карандаше*: символе бренности и случайности.)

А все входы и выходы! Один Мур чего стоит: – Мама, скоро купаться? – Мама, огромный паук: наверное тарантул! – Мама, мяк раз-дулся! (т.е. выдохся). – Мама, я кончил «Dimanche Illustré»!² и лейтмотив всех каникул: – Ма-ама! Что-о мне де-е-е-ла?!

Но лето (помимо писанья, а оно главное: после Мура – главное, второ-главное) – было чудное. Говорю – было, п.ч. оно явно кончилось. Остатки. Улыбки. И если бы я могла быть как все – или хотя бы – жить как все – я этим летом была бы счастлива. Но *все* – отдыхали – от работы: службы, очевидно нелюбимой, мой же отдых и есть моя работа. Когда я *не* пишу – я просто несчастна, и никакие моря не помогут.

Теперь – о другом. За последние годы я очень мало писала стихов. <...> Приходили, конечно, стихотворные строки, но – как во сне. Иногда – и чаще – так же и уходили. Ведь стихи сами себя не пишут. А всё мое малое свободное время (школьные проводы Мура, хозяйство, топка, вечная бытовая неналаженность, ненадежность) – уходило на прозу, ибо проза *физически* требует больше времени – как больше бумаги – у нее иная *физика*.

Отрывки заносились в тетрадь. Когда 8 строк, когда 4, а когда и две. Временами стихи – прорывались, либо я попадала – в поток. Тогда были – циклы, но опять-таки – ничего не дописывалось: сплошные пробелы: то этой строки нет, то целого четверостишия, т.е. в конце концов – черновик.

Наконец – я испугалась. А что если я – умру? Что же от этих лет – останется? (Зачем я – жила?!) И – другой испуг: а что если я – разучилась? Т.е. уже не в состоянии написать *цельной* вещи: *дописать*. А что если я до конца своих дней обречена на – отрывки?

И вот, этим летом стала – дописывать. Просто: взяла тетрадь и – с первой страницы. Кое-что сделала: кончила. Т.е. есть ряд стихов, которые – *есть*. Но за эти годы – заметила – повысилась и моя требовательность: и слуховая, и смысловая: Вера! я *день* (у стола, без стола, в море, за мытьем посуды – или головы – и т. д.) ищу *эпитета*, т.е. ОДНОГО слова: *день* – и иногда *не* нахожу – и – боюсь, но это, Вера, между нами – что я кончу как Шуман, который вдруг стал слышать (день и ночь) *в голове*, под черепом – трубы en ut bemo!³ – и даже написал симфонию en ut bemo! – чтобы отделаться – но потом ему стали являться ангелы (слуховые) – и он забыл, что у него жена – Клара, и шестеро детей, вообще – *всё* – *забыл*, и стал играть на рояле – вещи явно-младенческие, если бы не были – сумасшедшие. И бросился в Рейн (к сожалению – вытащили). И умер как большая отслужившая вещь.

Есть, Вера, переутомление *мозга*. И я – кандидат. (Если бы *видели* мои черновики, Вы бы не заподозрили меня в мнительности. Я только очень сознательна и знаю свое уязвимое место.)

Поэтому – мне надо торопиться. Пока еще я – владею своим мозгом, а не он – мной, не то – им. Читая конец Шумана, я *всё* – узнавала. Только у него громче и грознее – п.ч. *музыка*: достоверный звук.

Но – пожалуйста – никому ничего. Во всяком случае, пока – я справляюсь.

– Ну вот. Я ничего не написала о людях, но *в конце концов* я никого сильно не полюбила за это лето, а только это – важно.

Мур (тьфу, тьфу!) совсем поправился. Говорят – очень красив. Мне важно, что – *живой* Наполеон: раскраска, сложение, выражение, не говоря уже о *чертах*. Только – светловолосый. – Еще бы написать «Святую Елену»: дань любви – за жизнь.

Обнимаю Вас. Простите и пишите.

МЦ

1. Рядом с этим абзацем в письме небольшой чертеж, иллюстрирующий расположение двух комнат, и надпись: «окно», «выемка: двери нет», «дверь с воли, т.е. с внешней лестницы».

2. Воскресная иллюстрированная газета.

3. В до-бемоль

19. Письмо Ариадне Берг

2 сентября 1935 г., вторник

La Favière, par Bormes (Var) – Villa Wrangel

Дорогая Ариадна,

Я конечно сразу ответила Вам на письмо, но это уже не первый случай недохождения по адресу; я так же писала Буниной в Грасс –

давным-давно – и от *нее* ждала ответа, а получила запрос – почему молчу. Дело в том, что в начале лета не было почтового ящика, и я оставляла свои письма то на одной, то на другой даче, то в лавке – на милость частного внимания – «когда пройдет почтальон». Очевидно – кто-то забыл, тем более, что клала их то на подоконник, то на кухонный стол, вообще – ненадёжно. Очень жаль, что не дошло, но сердечного рада, что не усумнились в моей дружественности.

Я, как видите, еще на Юге – приблизительно до 25-го, на Юге, который постепенно перестает быть югом (так же неуловимо и неуклонно, как друг – другом (на этот раз и *смысловая* – рифма!)) – напр. ныне сосна в окне – явно северная, п.ч. сквозь нее – не синь, а серебро: прохладного равнодушного неба. Купаться уже не хочется: либо жарко на воле – холодно внутри, либо обратно, но всегда – предвкушение, верней – угроза – озноба. Да я вообще землю (сухую, горную) несравненно предпочитаю морю: хождение (восхождение) – своему плохому плаванью, ибо я глубины – боюсь: трус, самый простой – физический.

Прогулки здесь чудные, но – скучно о чужих чудных прогулках? Нам и открытки чужие – скучны, если не особенно уж красноречивы. Но спутника – верного – у меня за лето не нашлось: такого, с которым бы одинаково хорошо – идти, говорить, молчать. Были либо ходящие и неговорящие (говорящие – не то и не о том), либо говорящие – и неходящие – одна замечательная русская швейцарка, написавшая огромную книгу-труд – о русском причете (плачу по мертвым) – умница, красавица, но с больной ногой. И побыла недолго. Остальное – сменялось. Был у меня и молодой собеседник – моложе меня на десять лет – который приходил ко мне по вечерам на мою скворешенную лестницу – вечером гулять нельзя, п.ч. совершенно черно и всё время оступаешься, а в комнате спит Мур – вот и сидели на лестнице, я повыше, он – пониже, беседовали – он очень любил стихи – но не так уж *очень*, ибо с приездом моей дочери (я не хотела, чтобы она летом сидела в Париже, да и случай был хороший – даром, на автомобиле) – сразу перестал бывать, т.е. стал бывать – с ней, сразу подменив меня, живую, меня – *меня*, – понятием «*Votre maman*»¹. Пишу Вам об этом совершенно просто, ибо я всё еще – *на верху лестницы*, и снижаться не собираюсь, рада бы – да не выйдет. Положение – ясное: ей двадцать лет, мне – сорок, *не мне*, конечно, – мне – никаких лет, но – хотя бы моим седым волосам (хотя начались они в 24 года: первые) – и *факт*, что ей – двадцать. А у нее – кошачий инстинкт «отбить» – лапкой – незаметно. Там, где это *невозможно* – она и не бывает, т.е. заведомо неравный бой: всех средств – и их полного отсутствия: ибо – у меня ни молодости, ни красоты, ни – не только *воли* к бою (нравлению), а мгновенное исчезновение с поля битвы: меня не было. Там, где может быть другая (другая, чем голая

душа: я) – меня *не было*. Такова я была и в 20 лет. И меня *так же* променивали. Не думайте, что это – рана. Честное слово: даже не царапина. *Может быть* – крохотная заноза, которую лучше всего – йодом.

У меня *бесконечная* трезвость, до цинизма. Я *всё* знаю вперед – и всё знала – и на этот раз. (Какое *маленькое* «всё»!) Кончилось тем (он нынче уезжает), что вчера он совершенно официально обратился ко мне за разрешением пригласить Алю (Votre fille) на прощальный обед в ресторан, на что последовал ответ: Il y a un an qu'elle est majeure. – *Marina*, que dois-je faire dans la vie? Puis-je être écrivain? Je ne puis demander cela qu'à Vous. Être écrivain – comme Vous l'êtes... и т.д. – Soyez grand. Soyez plus grand que nature. Quant à écrire – personne ne Vous le dira, même moi: *surtout* – moi². Таковы были *первые* разговоры. И «*Marina*», без разрешения – но и без наглости – под наплывом душевной тревоги – к *большой* птице – под крыло. Было еще и: – Comment ferai-je sans Vous? Я, *молча*: – comme tous.³

Вот и вышло – comme tous.

Мур – чудный, как вы точно сказали – белый негр. Но белого – мало: он совсем коротко – острижен, вот только – глаза, совсем беспощадные на этой бронзе. *Страстный* купальщик – частые скандалы по этому поводу: закупывается. Научился отлично плавать и нырять. Пляж здесь (тьфу! тьфу!), слава Богу, – мелкий. И ходок *отличный*. Единственный из здешних детей, ходящий с нами на далекие прогулки – и *не* устающий. Это в меня – моё.

Душевно – томится без дела, скучает по школе, читает всякую рвань (лучшее из рвани, но – рвань: Benjamin, Mickey, Dimanche Plustré), но и Диккенса – «Лавку Древностей», – ему бы лучше всего в хорошую – швейцарскую или английскую – мальчишескую колонию: спорт, дисциплина, себе – подобные. Я ему – *ни к чему*, да я и слишком (словесно и душевно) – уязвима, требую *всё обратное* – веку, а он весь – свой век: весь свой век.

– Ну, вот. Это письмо опущу собственноручно в ближайшем городке Lavandou.

<...> Писала – мало. Приводила в порядок стихи последних лет. Кое-чего – добилась.

Целую Вас и детей и жду письма.

МЦ

1. Ваша мать (*фр.*)

2. Уже год, как она совершеннолетняя. – Марина, что мне делать в жизни? Могу я стать писателем? Я лишь у Вас могу об этом спросить. Быть писателем – как Вы... – Будьте значительнее. Будьте больше, чем вы есть. Что же касается писания – никто вам не подскажет, даже я, тем более – я... (*фр.*)

3. Как я буду без Вас? ... Как все. (*фр.*)

20. Письмо Анне Тесковой

30 сентября 1935 г.

Ванв

<...> Ваше письмо в Фавьере получила последним, – прямо в последнюю минуту, так что читала его уже в вагоне.

Переезд был трудный и сложный, – я с 18 лет путешествую с кастрюлями (дети!) – но море до последней минуты было блаженно-синим, и часть моей души – надолго там.

Итог лета: ряд приятных знакомств (приятельств) и одна дружба – с молодым русским немцем – в типе Даля, большим и скромным филологом, – <...> специалист по русскому языку XVI в. со странной фамилией¹.

...Итог другого лета – не людского – три пробковых пояса из таких вот [рисунок] круглых аккуратных пробочек от сетей, морем выброшенных и мною подобранных, и благодаря им – полная свобода в воде – как на земле, свобода в страшной для меня стихии воды. Могу сказать, что плавала даже не *в море*, а *над морем* (я очень мало вешу, так что пояса меня выносили) – вроде хождения по водам. И целые связки эвкалипта, мирта, лаванды. И еще итог – несколько стихов: немного, и половина поэмы (о *невице*: себе) – чудный мулатский загар, вроде нашего крымского. Люди думают, что я «помолодела» – не помолодела, а просто – вымылась и на 40-50-градусном солнце – высушилась. Много снимали, но проявлять будем здесь – там было втридорога. Непременно пришлю карточки, – и свою...

1. Унбеггаун (Unbegaun) Борис Генрихович (1898–1973) – лингвист и филолог, специалист по славянским языкам и литературе. В 1935 году защитил докторскую диссертацию на тему «Русский язык XVI века (1500-1550)».

Из записных книжек Марины Цветаевой

Из тетради 1935 г.

21-го июля: В ответ на мои стихи «Небо – синей знамени, Сосны – пучки пламени...»:

– Синее знамя? Синих знамен нет. Только у канáков.

– Пучки пламени? Но ведь сосны – зеленые. Я так не вижу, и никто не видит. У Вас белая горячка: синее знамя, красные сосны, зеленый змей, белый слон.

– Как? Вы не любите красивой природы? Вы – сумасшедшая! Ведь все любят пальмы, синее море, горностаи, белых шпицев.

– Для кого Вы пишете? Для одной себя, Вы одна только можете понять, п. ч. Вы сама это написали!

От столького – увяла
 Душа – роско-шест-ва.
 Поэту нужно – мало,
 Его легко сыта
 Душа.

Маршрут в Lavandou. Спуститься до римского колодца и – мимо куч сухого тростника – тропинка виноградником – глубиной тростников. – Мост. – По тропинке мимо домика – полем до проволоки – направо.

Из тетради 1935 г.

Набросок письма Борису Пастернаку:

(карандашом, в книжку, на скворешной лестнице, в Фавьере, пока Мур спал):

Нынче приезжал овощник – красавец, и жена его – красотка, и ребенок – красавец. И я подумала о Вас, пожелала Вам такой жены, говорящей: «Moi, je ne decide rien. C'est mon mari qui décide, moi – je suis»¹. И такого ребенка, еще ничего не говорящего.

П.ч. это – дает мир, а не дружба со мною.

Я этого мира никому не дала.

Будь я даже на все 20 л[ет] моложе, я бы Вам этого мира никогда не дала, и не по строптивости, а по невозможности – в полной чистоте сердца – сказать первому встречному – с радостью, и даже с гордостью: Moi – je le suis.

(Мое suis – есмь!)

П.ч. над каждой любимой головой я видела – высшее: хотя бы голову – облака, и за это высшее всегда – внутри себя – отдавала все земные головы, свою включая.

Со мной – счастья – нет².

1. Я ничего не решаю. Решает мой муж. Я – за ним (фр.)

2. «Летом мне переслали твое письмо с той виллы (урожденной Елпатьевской). Я не мог тебе ответить вовремя, п.ч. был болен.» (Борис Пастернак – Марине Цветаевой, октябрь 1935)

Из тетради 1936 г.

1-го января, без четверти пять

Я сейчас задумала: что окажется последним, написанным в 1935 г.?

И вот. (*Это око видит сроки* – Сказано о вокзальных часах, а вышло о Боге (или о луне). О чем-то круглом и одиноком, высоком и

одиноким. Хорошо о башенных часах: Башенных... часов – Круглое одиночество...)

Мой прошлый год? Очень мало написано.

События? Мурина операция 14-го июня 1935. Villejuif – Фавьер (событие природы).

Люди? Приятельство с Унбегаунами. Приятная минута с архитектором. (Повеяло ширью.)

Самочувствие? Тюремное – без бунта. Но и без веяния одиночного заключения. Равнодушие – приблизительно ко всему. Больше всего радуют книги. Ничего ни от чего и ни от кого не жду. <...>

Стихи? Все чувства иссякли, кроме негодования и горечи. Нет друзей, нет любви, нет перспективы – а я всегда жила...

Конец ужасной праховой записной книжки¹.

1. Пометка М. Цветаевой в самом конце записей, относящихся к 1935 году.

* * *

Георгий (Мур) Эфрон, из дневника от 23 марта 1941 года: «В моей жизни были минуты счастья, и не минуты, а вообще моменты: во-первых, купание на юге Франции, у Тулона, в местечке Favières – какая природа была там! Во-вторых, когда папаша сюрпризом мне объявил, что сегодня же вечером, неожиданно, мы уезжаем в Савойю... В-третьих – незадолго до отъезда в СССР, когда я <...> внезапно встретился со своим другом <...> Эти три периода – самые счастливые в моей жизни».

(Окончание в следующем номере)

ЭССЕ. ОЧЕРКИ

Александр Марков, Оксана Штайн

Кукла куклы в эпоху технической воспроизводимости

Есть три философских «Н», мучительных для студентов, изучающих континентальную философию: Hegel, Husserl, Heidegger. И есть три культурных «В», желанных для студентов, занимающихся исследованиями культуры: Benjamin, Bakhtin, Barthes. Вальтер Беньямин для учащихся – первый внимательный критик массовой культуры как инструмента роста капитализма. Массовая культура для Беньямина – обряд капитализма как религии. Но что такое здесь *обряд* или *инструмент*? Метафоры, с помощью которых обычно пересказывают работы Беньямина, всё чаще дают осечку. Мы предлагаем, вспоминая гения и мученика XX века, внимательно перечитать его самое известное эссе.

АУРА ДО И ПОСЛЕ СМЕРТИ

Эссе Вальтера Беньямина 1936 года «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» – редкостное попадание в цель, связавшее две крупнейшие межвоенные школы критической мысли: Франкфуртский институт социальных исследований и Коллеж Социологии. Написано эссе было для *Zeitschrift für Sozialforschung*, «Журнала социальных исследований», боевого издания франкфуртцев – философов, заявивших, что идеологично любое производство, политическое и культурное. Только остановив это производство, хотя бы мысленно, можно осуществлять последовательную критику социальных порядков и ярости капитализма.

Эмигранты из Германии, принадлежавшие к этой первой неомарксистской школе, с трудом находили работу в Париже, и проще было сделать местом работы этот журнал. Чтобы журнал читали, надлежало публиковать материалы по-французски – огромный проект «Пассажей» Беньямина, создававшийся по заказу главного редактора журнала Макса Хоркхаймера, выписки на французском и заметки на немецком, оказался как бы «внутренней формой» Франкфуртской школы в ее представлении французским интеллектуалам, – итоговый каталог выписок должен был примерным образом вернуть социальный материал на место его создания, в Париж, требуя напряженно осмыслять прочитанное и

продуманное как единственное основание для критики современного общества в любой стране.

Перевел эссе Беньямина на французский язык друг франкфуртцев Пьер Клоссовски, психоаналитик, маг Слова, певец Желания, реабилитировавший маркиза де Сада как философа. Клоссовски был одним из создателей Le Collège de Sociologie (Коллеж Социологии. 1937–1939), странного объединения близких сюрреализму французских мыслителей, критиковавшего уже не идеологическое производство, а производство Желания. Нужно было отождествить себя с чистым потоком желания, чтобы увидеть изнутри его структуру: в какой момент оно захватывает твоё тело и твой язык и как избежать этого захвата.

Различие между двумя школами – франкфуртскими критическими социологами и парижскими психоаналитиками культуры – состояло прежде всего в отношении к времени и смерти. Капиталистическое производство всегда ограничено временем – можно сказать, оно не доходит до смерти с её серьёзностью хотя бы потому, что оно в заложниках у собственного роста. Кто постоянно растёт, тот не видит своего исхода, не замечает момента своего бессилия, предсмертной немощи. Поэтому франкфуртцы говорили скорее о соблазне идеологии, о том, что рано или поздно временной характер всех наших культурных индустрий навяжет нам идеологию. Временная длительность делает всякую культурную индустрию опаснее с каждым днем.

Тогда как собеседники Батая и Клоссовски, антропологи и философы, в открывшемся в 1937 году клубе Коллеж Социологии в своих докладах исследовали, как желание, искусство и агрессия преодолевают время, захватывая уже и саму область смерти. Гений, агрессор или маньяк не замечает хода времени, но и не становится опаснее с его ходом. Он опасен с самого начала; старость и смерть не останавливают этой опасности – разве что становятся частью макабрического карнавала, разве что в момент великого добровольного жертвоприношения отменяется эта опасность: ты остаешься опасен только для себя, а не для других.

Если франкфуртские эмигранты, социологи-марксисты, *демистифицировали отношения искусства со временем*, вскрывая отношения власти там, где до этого виделась виртуозность решений, то социологи-психоаналитики Коллежа *демистифицировали смерть*, видя в ней простую остановку всегда воспроизводимых, похожих и потому тиражируемых процессов.

КТО ВРАЩАЕТ ВЕРЕТЕНО АНАНКЕ?

Обычно эссе Беньямина понимают во франкфуртском ключе, как критику массовой культуры. В изложениях из учебников говорят, что

Беньямин якобы воспел «ауру» (веяние или нимб уникальности) старого неповторимого искусства и печалился об ее исчезновении в эпоху современной техники. Но это эссе лучше прочесть в ключе Коллежа социологии – и мы увидим, сколь многое становится на места там, где мы до этого видели несколько учебных утверждений.

Беньямин говорит о подлинности старых вещей и изделий, и здесь сразу становится интересно его читать. Прежде всего, он заявляет, что древним грекам были известны только литые и штамповка как способ изготовления копий. Вероятно, греки здесь противопоставляются римлянам – римляне знали тиражирование книг. Сидевшие рядами рабы писали их под диктовку, и Плиний Младший в «Панегирике императору Траяну» уже заявлял о неунуничтожимости тиражей.

Такой обычай тиражирования очень отличался от коллекционирования книг в древней Греции, где книга еще не отделена от быта – праздничного, научного или политического, и коллекционирование сведений в книге не отделено от коллекционирования вещей. Поставленный Беньямином вопрос имеет прямое отношение к пониманию образа как отливки, формы, эйдоса, – действительно, древние греки открыли прекрасное не просто как блестящее, но как литое и просто «вылитое», «вылитый ты». Вопрос о подлиннике и копии здесь снимался тем, что в качестве «вылитого» ты сохраняешься до самой смерти и даже после смерти: победитель Олимпийских игр останется победителем, даже когда он тлеет в гробу, а замещает его статуя.

Вопрос о качестве копии становился проблемой в философии, как в учении Платона об идеях или как в сюжете «Елены» Еврипида: привлекательность искусственно созданной Елены для создавших ее богов – как и привлекательность идеи для других идей – позволяет назначить подлинник, произвести аккламацию, а не установить его исторически, учитывая, что история для античности – это собирание сведений, история как причинно-следственные связи, – порождение конфессиональной историографии времен Реформации и Контрреформации, когда надо было выстроить единую цепочку от Петра до Папы или от Павла до Лютера. В такой системе сопряжения образов и фактов подлинником может оказаться не человек, а статуя, изображение, отображение, кукла. Аккламация со стороны богов громче и эффективнее аккламации со стороны людей.

Платон и завершает «Государство» признанием всемогущества Ананке, принципа необходимости, – и вращающей веретено всех событий, жизнью и смертей, и останавливающей, в том числе, иллюзорные аккламации, подмену природы искусством, когда всё летит в область катастрофы. Души, подходя к вращающейся необходимости, превышающей любую судьбу, действительную или фантазийную, становятся прозрачными, проходят насквозь престол

Ананке, всё забывают, всё через них свободно проходит. Они не могут уже выступать экспертами подлинности, они могут только очнуться в положении собственного жребия. В позиции жребия (если употребить галлицизм, без которого тут не обойтись).

Для Беньямина в его эссе платонична панорама XIX века, это патриотическое зрелищное искусство: искусство разыграть битву неподвижными куклами и подсвеченным задником. Зритель смотрит на панораму как жрец, то есть как тот, кто постигает волю истории, как жрец постигал божества.

Ускоренное движение времени в панораме (подсветка позволяла за полминуты закатить солнце вручную и тем самым уложить роковую битву в минуту) и давало зрителю иллюзию власти над историей – подобно тому, как и жрец, созерцая блеск божества, обретал иллюзию, что он толкует волю божества для других людей, в том числе создавая систему экономических обменов на основе богатств храмовой казны. Этой иллюзии пытался положить конец Платон.

Однако уже кинематограф не подразумевал подсветки, но только постоянную прозрачность событий, не имеющую в виду назначения нового жребия. Постоянно технически производятся и воспроизводятся новые ленты и новые их экземпляры. Становится не до жребия – и кинематограф чужд Беньямину потому, что как бы пытается свергнуть Ананке, объявив любую иллюзию действительной. А именно Ананке, вращение ее веретена, и создает дуновение-ауру – когда то, что назначено на это место, даже искусственное и иллюзорное, всё равно необходимо.

По сути, теоретики Коллежа социологии вывернули наизнанку миф, завещанный Платоном. Ананке страшна и опасна, она может губить богов, тогда как души просто утрачивают прежние навыки суждений и после такой утраты судят только о своем жребии, в котором они родились. Для Платона мощь нашего суждения ограничена нашим возникновением в качестве мыслящих существ, вдруг обретающих мысль и новое рождение в мысли, ту самую ауру нашего умного бытия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ОБЩИХ МЕСТ

Понятно, что схема Платона не допускает того тиражирования мыслей, которое узнал Рим, где мощь суждения вполне зависит от той самой технической его воспроизводимости. Что разошлось, что стало общим местом и общим мнением, затрагивает и субъекта суждения; и чем шаблоннее общее место, тем труднее ему противостоять. Честный судья не противопоставит этому общему месту, но напротив, наделяет его серьезностью многократно взвешенного и выверенного решения. В риторике Цицерона как раз работает аргумент, который подхвачен многими, – эмоционально весомый,

устремленный к собственному опыту судьи как человека серьезного. Техническая воспроизводимость здесь совпадает со знанием границ собственного опыта.

Для Клоссовски, Батая и других «коллежан» суждение неотделимо от желания – здесь они мыслят как Цицерон, а не как Платон. Душа никогда не может стать прозрачной, она всегда окрашена желанием. Только для «коллежан» нет такого разумного судьи; в их мире вслед за ницшевской смертью Бога произошла *смерть судьи*.

Эта же «смерть судьи» произошла для Беньямина, явно не допускающего той лазейки для технической воспроизводимости, которую оставляет Цицерон. Ему не нужно, чтобы воспроизводились общие места, – потому что тогда начнет воспроизводиться *всё*, и мы окажемся внутри жреческой иллюзии, где каждый – жрец капитализма и каждый – его жертва.

Неотделимое от желания суждение в философии «коллежан» может состояться только как *топография*, когда мы ощущаем применимость суждения к той территории, на которой сами находимся, территории буквально ощутимой (знакомый ландшафт), или к территории мысли. Жертвоприношение и должно было восстанавливать *территорию*: мы знаем, где жертва приносится, где мы видим и чувствуем этот самый ужас быть принесенными в жертву. Но одновременно это знание требует некоторой экспертизы, хотя бы понимания того, что жертва неотделима от боли, от ужаса, от агрессии, от членовредительства.

ПОДЛИННОСТЬ ОКЛИКНУТАЯ И НЕОКЛИКНУТАЯ

Беньямин в этом русле говорит о подлинности как уникальности. Его первичный критерий подлинности – нахождение вещи здесь и сейчас: если собор не перемещали, то он подлинный. Этот критерий сомнителен в свете опыта Ренессанса, о котором Беньямин не говорит: как раз сделать реплику античной статуи или античного триумфа и было постоянной задачей во Флоренции. Если реплики соборов не делались, то только из-за недостатка средств на это – ранний капитализм требовал вкладывать только в человеко-соразмерные проекты: эта статуя, этот праздник – для меня.

Если бы Беньямин рассуждал только как представитель Франкфуртской школы, он бы сказал, что новейший капитализм может подделывать и «здесь и сейчас». Но вместо этого он просто говорит о большой машине кинематографа и цитирует французскую публикацию Абея Ганса, считавшего, что новые Шекспир, Рембрандт и Бетховен будут снимать кино, – и понимает это как ликвидацию любого искусства. Здесь он вполне мыслит как Клоссовски и его товарищи: творчество непрозрачно для самого себя

и может быть описано как творчество только в качестве желания, причем желания агрессивного.

Кино как медиум, управляющий временем, в таком случае, и создает *универсальное желание*, не замечающее смерти; оно создает мир победителей, мир сплошных звезд, сплошного Олимпа из памятников себе. Здесь становится невозможна критика желания, на которой настаивал Коллеж, а не критика капитализма. Только Коллеж имеет уже в виду звук, оклик, окрик, скандальный крик де Сада; звуком и музыкой «коллежане» занимались много, предвосхитив нынешние *sound studies*.

А Беньямин остался в немом мире, в своей эмигрантской немоте, скорби беженца. Поэтому Коллеж осуществляет критику желания, а Беньямин только указывает в ее сторону.

О КОМ СТУЧАТ В ДВЕРЬ?

Абель Ганс писал свой текст в 1927 году, в эпоху немого кино, которое можно было крутить быстро или медленно, тем самым управляя временем. Беньямин сочиняет свое эссе уже в эпоху звукового кино; для него фигура звезды немого кино – то же, что фигура победителя Олимпийских игр для Платона.

Беньямин и рассуждает о киноактере как о *personality*, который выступает как своеобразная *кукла куклы*, как носитель аффекта, который при этом должен сделать аффект агрессивным, а поэтому преодолеть свою репрезентацию ради чистой длительности желания. Поэтому кино и создает этот страшный капитализм технической воспроизводимости тотального желания.

Беньямин приводит характерный пример: простой стук в дверь, будучи театральной условностью, не заставит актера вздрогнуть. Поэтому незаметно за кадром стреляют, актер вздрагивает. Понятно, что такое возможно только в немом кино, где мы не слышим ни стука в дверь, ни выстрела. Но замечательно, что такой актер Беньямина ничем не отличается от маркиза де Сада в понимании Клоссовски: человек, который всякий раз предается пыткам и агрессии, чтобы просто пережить аффект, направляющий литературное письмо и делающий его связным.

Гримаса на лице актера при невидимом выстреле, указывающая на дверь с настоящим при съемках и мнимым на пленке стуком, – то же, что *желание* у де Сада. Это желание появляется при невидимых подлинных страстях и соблазнах. Но осуществляется оно с полным размахом как обращенное к литературе, к ее шаблонам и перечислениям, заставляя иначе посмотреть на литературу. Посмотреть на нее не как на вид производства, а как на совестливый стук и добровольное жертвоприношение.

Беньямин ждет нового де Сада, который заставит нас относиться

ко всей литературе с некоторого расстояния, блюсти ауру как со-вестливое искусство расстояния.

Те метафоры, которые Беньямин подбирает для кинооператора, – такие как хирург, акробат и часовщик, – имеют в виду и умение замедлять время, видеть в мелочах его протекание, ставить на рапид – как хирург смотрит на свои же пальцы пристально и трепетно, как акробат заставляют нас на миг видеть всю вселенную в его же прыжке, как часовщик прощупывает мельчайший сдвиг зубчатого колесика. То есть опять в эссе Беньямина имеется в виду немое, а не звуковое, кино как постоянная прозрачность, не сопровождаемая дополнительным звуковым членением, каковое и могло бы стать критикой желания, как крик жертвы в философии Коллежа социологии.

Аура и была для Беньямина далью, производящей расстояние, некоторым окликающим эхом, которое и позволяет узнать, что мы окликнуты, но при этом свободны. Аура – это расставание, которое и есть встреча, это голос друга, или же это крик жертвы преступления. Аура – это *демистифицированная смерть*, как мы выше определили пафос Коллежа.

СМЕННЫЙ МОДУЛЬ ПАМЯТИ, СТЫД И СОВЕСТЬ

Еще один критерий подлинности, по Беньямину, – это химический анализ патины и другие технические меры. Но получается, что нужны специалисты-эксперты, каждый из которых обладает некоторой памятью и помнит, как применять экспертные инструменты. Таким инструментом Беньямин называет газету с подписями под фотографиями: фотография будет просто свидетельством преступления – без указания на улики, если она лишена подписи.

Здесь опять Беньямин мыслит скорее как Цицерон – тиражность знаний о происходящем, их воспроизводство во многих головах, и позволяет судье определить, какое именно преступление произошло. Кино в этом смысле вводит *сменный модуль памяти*, фиксируя последовательность событий для неограниченного числа зрителей. Каждый может воспринять память, подключить ее себе как сменный модуль, посмотрев фильм.

Тем самым кинематограф может замаскировать преступление, никто его не заметит, все будут просто смотреть на мелькание событий, не способные увидеть, что кто-то где-то стал жертвой самого гнусного преступления. Здесь Беньямин вновь думает не как франкфуртцы, а как «коллежане», для которых преступление – это не одно из событий, а напротив, разрыв в событиях: и желание, и память толкают на преступление, вроде преступлений, придуманных де Садом.

И как Батай и Клоссовски говорят о великом жертвоприношении, останавливающем и топографирующем желание, так и

Беньямин требует, чтобы «здесь и сейчас» искусство топографировало все обычаи в искусстве, все его приемы, – снабдив уникальной подписью каждую уникальную вещь. Эта подпись дается на коже желая, до крови, как бы сказали на заседании Коллежа, рассматривая и первобытные ритуалы, и миф о Марсии, и средневековые сюжеты вроде сюжетов съеденного сердца, и находя во всём этом общность посмертного автографа: Марсий расписался своей кровью в том, что сделал что-то для искусства, уже после своей смерти. Он передал нам память об уникальном и неповторимом искусстве (никто не слышал флейту Марсия) как наш сменный модуль памяти, но уже более осторожный, более совестливый, чем сменный модуль памяти массового кино. Вероятно, в любом современном серьезном фильме он есть.

Для франкфуртцев сменный модуль памяти как раз вполне работает для разоблачения преступлений как социально и идеологически мотивированных. Судьбой человека, жребием обретения бытия, как в финале «Государства» Платона, оказывается вовсе не что-то подлинное, как у Платона, а неподлинные безрассудные конструкции идеологии, которые можно опознать благодаря академическому исследованию, постепенному раскрытию интересов буржуазных субъектов. Метод такой критики идеологий вполне технически воспроизводим и передаваем. Однако Беньямину нужно передавать не метод, а какую-то совесть, позволяющую сожалеть об исчезновении ауры или видеть в натурализме фотографии что-то бесстыжее. Беньямин невероятно стыдливый и невероятно совестливый мыслитель.

* * *

Вальтер Беньямин создает уникальный метод, действительно полностью чуждый техническому воспроизводству. Здесь он союзник французских интеллектуалов Коллежа: только изнутри своего желая можно понять, что мы помним, а где мы уже успели принести свои воспоминания в жертву и допустили преступление. Коллеж противостоял не безрассудству, а беспометью – и Беньямин в своем эссе полностью принадлежит Коллежу, а не Франкфуртской школе.

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка Юлии Баландиной:

Александр Гольдфарб. Быль об отце, сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия. – М.: НЛО, 2023. – 384 с.

В биографическом описании того или иного человека часто употребляется фраза «его судьба тесно переплелась с историей страны». На мой взгляд, это выражение лишает значимости личностный аспект в сотворении собственной судьбы. Ведь на одном и том же пространстве одновременно живут люди, активно участвующие в исторических событиях, и те, что остаются в стороне от них.

В вышедшей книге «Быль об отце, сыне...» важные исторические вехи движения за гражданские права и свободы в СССР представлены через призму опыта его активного участника Александра Гольдфарба – ученого-микробиолога, общественного деятеля, публициста. Имя автора уже известно читателям по книге «Саша, Володя, Борис», в которой речь идет о реставрации власти КПБ в постсоветской России, убийстве Александра Литвиненко и роли Бориса Березовского в политической жизни конца девяностых. Заглавия обеих книг отражают фокус автора на персоналиях и их участии в описываемых событиях.

Мемуары включают время учебы в университете, сотрудничество с Андреем Сахаровым и группой диссидентов-отказников, правозащитную деятельность Александра Гольдфарба в первые годы эмиграции. Для автора это был период острой конфронтации с советским государством и его институтами. В одном из интервью Александр Гольдфарб признается, что война с Украиной аннулировала сроки давности этого конфликта и во многом послужила стимулом для завершения работы над книгой, которая продолжалась в течение тридцати лет.

История начинается с рассказа о деде – Григории Хейфеце, убежденном большевике, внедрявшем идеи коммунизма по всему миру, подполковнике НКВД, руководителе разведывательного обеспечения советской ядерной программы. Ровесник века, он был одним из реализаторов революционного проекта, где, по выражению Гольдфарба, «толика радикального еврейского мессианства сплывалась со стихией вековой русской дикости». Память автора хранит воспоминания о ставших семейной легендой подробностях ареста деда Гриши, его рассказах о дальних странах и его глухом молчании в ответ на провокационные вопросы повзрослевшего внука.

Свой первый самостоятельный гражданский выбор автор делает в студенческие годы. Поворотным моментом в жизни Александра

Гольдфарба стало появление Андрея Сахарова на международной конференции в Институте генетики (ИОГЕН) в 1970 году, к участию в которой автор был привлечен в качестве переводчика. В перерыве между сессиями Сахаров обратился с просьбой подписать петицию в защиту Жореса Медведева, насильно помещенного в психиатрическую больницу за публикацию своего романа за рубежом. Конференцию вел отец Александра, молекулярный биолог Давид Гольдфарб. Архетипическая фигура своего времени, зять чекиста и отец вольнодумца, «ситуативный коммунист» и «кухонный диссидент в мыслях», он так же, как и сотни людей в зале, стал свидетелем открытой акции несогласия с действиями власти. Излишне говорить, что ни один человек не осмелился сделать шаг в сторону академика Сахарова – большинство присутствующих понимали, что будут неминуемо стерты в пыль. Для молодого Гольдфарба, напротив, было совершенно очевидно, что малые компромиссы могут привести к нарушению нравственных принципов и утрате самоуважения; он не был готов ждать, когда режим развалится сам собой, как советовал отец. «Я не смогу так жить», – говорит автор не столько отцу, сколько себе.

Первые главы книги представлены в анекдотическом ключе и, по сути, являются отдельными законченными произведениями, органично встроенными в общую структуру текста. Взять, к примеру, зарисовку из инфекционной больницы, где машинист электропоезда, судья и студент (автор), обсуждают начавшееся введение войск в Чехословакию. По словам Гольдфарба, этот эпизод стал для него выразительной иллюстрацией взаимоотношения рабочего класса, власти и интеллигенции в Советском Союзе. Запертые в карантинном боксе, пациенты имели единственный источник связи с внешним миром – транзисторный приемник. Официальные новости противоречили «вражеским голосам», которые студент тайно слушал по ночам. Машинист, движимый банальной скукой, а не стремлением добраться до истины, подначивает остальных обсудить сводки западных радиостанций. Судья механически цитирует номера статей уголовного кодекса в ответ на любые комментарии. Студент чувствует себя персонажем гуляющего по самиздату «Ракового корпуса» А. Солженицына. Если бы эта история не произошла на самом деле, ее следовало бы придумать!

По мере возникновения более плотных контактов и последующего сотрудничества с диссидентским сообществом, вовлеченности в борьбу за гражданские свободы, жизнь, а вследствие этого и повествование автора приобретает черты остросюжетного шпионского романа с элементами журналистского расследования, призванного вскрыть грязные методы работы КГБ.

Позволю себе остановиться на удивительных параллелях, актуализирующих мемуары Александра Гольдфарба в наши дни. Самая

яркая из них – история об аресте американского журналиста Николаса Данилова в 1986 году, спровоцировавшая дипломатический скандал между США и Советским Союзом в самом начале перестройки. В этой истории, которую Александр Гольдфарб называет «комедией ошибок», есть всё: и взаимное недоверие между странами, и негласное соревнование ведомств в надежде получить большой приз за раскрытие шпионской сети, и проколы разведывательных служб, и нелепые стечения обстоятельств, и семейные драмы, и качество близких друзей и родственников, и эффектный кинематографический финал. Арест Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже, поразительно напоминает события тех лет: в обоих случаях арест журналистов являлся, по сути, захватом заложников для обмена.

Не менее показательным является пример борьбы «голубей» и «ястребов» в американском политическом истеблишменте по вопросу оказания экономического давления на страны, нарушающие права человека. Философия *détente*, идеологом которой являлся бывший в то время советником президента по национальной безопасности Генри Киссинджер, входила в противоречие с принципами соблюдения прав человека. Его оппоненты требовали экономических санкций в отношении Советского Союза, препятствующего свободной эмиграции граждан. В конечном счете известные поправки Джексона-Вэника были приняты, но работали неэффективно, и советское государство продолжало по-прежнему контролировать свободу передвижения своих граждан. С тех пор накал борьбы между сторонниками закулисных договоренностей и идеологами тотального давления для достижения политических целей возрос кратно. Жизнь и судьба тысяч людей зависит от исхода этого противостояния. И, как свидетельствует история, политики продолжают наступать на одни и те же грабли, не извлекая уроков из ошибок, допущенных в прошлом.

С точки зрения композиционного построения книга напоминает приключенческий квест, где герой должен обойти препятствия, обыграть противника и выполнить задачу. Вот только задачи автор ставит себе самостоятельно. Среди них есть стратегические – иммиграция как способ обретения личной свободы, и тактические – распространение запрещенной литературы, контакты с западными журналистами, помощь в иммиграции отказникам, организация политических акций. Мое личное восхищение вызывает упорство, настойчивость и последовательность автора в достижении своих целей. В этом отношении самой показательной является история эвакуации тяжелобольного отца, Давида Гольфарба, на личном самолете бывшего агента Коминтерна, «личного капиталиста Ленина» – а на тот момент предпринимателя и коллекционера – Арманда Хаммера. Какой поворот судьбы!

Ретроспективный характер мемуарного жанра позволяет автору

давать оценку событиям, выходящим за хронологические рамки описываемого промежутка времени. В этой связи хотелось бы упомянуть следующий эпизод. В своих воспоминаниях Александр Гольдфарб уделяет довольно большое внимание научно-производственному объединению «Биопрепарат». Говоря современным языком, объединение «Биопрепарат» было предприятием двойного назначения, где наряду с производством лекарственных препаратов и вакцин велась разработка биологического оружия. Проект существовал вопреки подписанным Советским Союзом в 1972 году международным договоренностям о запрещении бактериологического оружия, руковолил им доктор медицинских наук И. В. Домарадский. Предприятие имело несколько уровней секретности, и к работе на самом низком из них, на площадках для свободного обсуждения проблем фундаментальной науки, привлекались корифеи молекулярной генетики, в том числе и Давид Гольдфарб. Замысел заключался в том, чтобы сотрудники военных лабораторий имели доступ к последним достижениям научной мысли, а после лекций и семинаров немедленно отправлялись применять на практике полученные знания. Правда о разработках биологического оружия всплыла после вспышки эпидемии сибирской язвы в 1979 году в Свердловской области. Вот как заслуженный деятель наук Российской Федерации И.В. Домарадский объяснял свои действия годы спустя: «...существовавший строй вынуждал талантливых и честолюбивых людей искать выход своим силам. Для этого нередко приходилось идти на сделку со своей совестью и добиваться постов, которые могли бы помочь им раскрыть свои таланты или помочь людям достичь каких-либо результатов в науке. При этом иногда разбираться в средствах не приходилось». Не правда ли, знакомая система оправданий? Александр Гольдфарб, ознакомившись с книгой воспоминаний профессора Домарадского, дает свою оценку событиям: «Оглядываясь на свою многолетнюю карьеру разработчика микробов-убийц, он приводит целый моральный набор оправданий своей деятельности. Каждое из них звучит весьма слабо, но в совокупности они составляют довольно устойчивую платформу, на которой, по видимому, стояли и продолжают стоять ученые-гуманисты на службе у человеконенавистнической идеологии».

В своей книге Александр Гольдфарб поднимает еще одну тему – тему гения и мессианства, которую он развивает в размышлениях о фигуре Александра Солженицына. Гольдберг отмечает, что личное разочарование в Солженицыне – писателе и человеке – произошло у него после прочтения серии очерков «Бодался теленок с дубом»: «...я проглотил его за одну ночь – дневник пророка, одержимого своей миссией настолько, что у него выключился инстинкт самосохранения... Чтение ‘Теленка’ вызвало у меня ощущение потери, которая бывает при ниспровержении кумира. До этого момента Солженицын был для

меня выше критики, его отчаянная отвага в противостоянии с властью затмевала всех, даже Сахарова. Но нападки на Люсю Боннэр, тривиализация Сахарова, обвинение отказников в том, что они коррумпировали доверчивого академика, весь высокомерный стиль 'Теленка' – это было слишком!» – вспоминает автор. Спустя десятилетия, размышляя о личной трансформации писателя, Гольдфарб делится своим видением по этому поводу: «Вопрос: что происходит со вчерашним кандидатом на крест, когда он неожиданно оказывается в числе богатых и знаменитых мира сего, становится объектом светской хроники – таким Jesus Christ Superstar? Сохраняются ли за ним прерогативы мученика, если по независящим от него причинам жертва не состоялась? Представьте себе Иисуса Христа в бабочке и смокинге на Нобелевской церемонии. В этом парадокс Солженицына: совершив великий труд и великий подвиг, он отделался легким испугом, а потом написал Евангелие о самом себе». За авторским сарказмом чувствуется боль от потери единомышленника.

Принято считать, что знание прошлого помогает понять настоящее и избежать ошибок в будущем. «Быль об отце, сыне...» еще раз напоминает: уроки истории не были усвоены, провокации КГБ и методы их вербовки по-прежнему работают, раскол диссидентов до боли напоминает таковой в нынешней русской оппозиции, компромиссы с совестью заключаются с такой же легкостью и по тем же мотивам, что и полвека назад; круг свободолобивой интеллектуальной элиты крайне узок, учиться она любит, но выводов не делает и, как и прежде, страшно далека от народа. И даже леволиберальный уклон в американских университетах с не меньшей остротой стоит на повестке дня! Александр Гольдфарб приводит в пример горячую дискуссию полувекковой давности с находившимся в то время в Москве выпускником Массачусетского технологического института Аланом Сильверстоуном. Молодые люди играли в пинг-понг антикапиталистическими и антисоветскими лозунгами – и не слышали друг друга. Для обладателя американского диплома доктора философии обвинения в злодеяниях советского режима были не более чем демагогическими уловками, оправдывающими капитализм. Для автора это было первое столкновение с человеком, рассказывающим «о кознях капиталистов со страстью, да еще и по-английски». Протестные демонстрации, прокатившиеся в последнее время по университетским кампусам в Америке, демонстрируют тот же поведенческий паттерн некоторых представителей академического сообщества, находящихся во власти идеологии.

Напоследок хотелось бы отметить, что Александр Гольдфарб посвящает свою книгу штурману дальнего торгового флота Елизавете Кузнецовой – перебежнице, которую изловил и отправил на верную смерть назад в СССР дедушка Хейфец. Это очень конкретное, perso-

нальное извинение за поступок, к которому автор практически не причастен, разве что фактом своей родословной. Оба они – и дед, и внук – были непримиримыми бойцами (Александр Гольдфарб остается таковым и сейчас), оба следовали принципам и ставили на карту свою жизнь, но только воевали они по разные стороны баррикад. И если на совести у деда как минимум одна загубленная жизнь, то на счету у внука – несколько спасенных.

* * *

Вадим Фадин. Хор мальчиков. Роман. Москва: «Время», 2021, – 468 с.

Ушедший с ветром – кто же это?
не мой ли след впечатан в пыль?
не я ли сам у края света
увидел вдруг иную бль?

В. Фадин

Эти строки эпитафия, написанные Вадимом Фадиным в возрасте двадцати двух лет, послужили ему не только входным билетом в мир «взрослых» поэтов, но и оказались для него пророческими.

Свой авторский путь Вадим Фадин отсчитывает с 1958 года; долгие годы этот путь был поэтическим. В настоящее время писатель проживает в Германии, и эта страна стала для него настоящей творческой лабораторией. Именно здесь он в полной мере реализовал свой потенциал поэта, прозаика, эссеиста, настойчивого и убежденного борца за чистоту и сохранение русского языка и литературного канона. Первый роман Вадима Фадина «Рыдание пастухов» был удостоен премии «Серебряная литера» в номинации «За трепетное отношение к русскому языку», а опубликованная в 2008 году в «Новом Журнале» повесть «Кто смотрит на облака» стала лауреатом Литературной премии имени Марка Алданова.

«Хор мальчиков» – четвертый по счету роман Вадима Фадина – возвращает читателя в девяностые годы прошлого столетия. Драматические перемены в стране, грянувшие вслед за перестройкой, раскололи социальные страты чувствительного для перемен предпринимательского поколения на тех, кто сумел выдержать удар, пересобрать себя, определить новые смыслы в изменившихся условиях, – и тех, кто выбрал «доживать свой век». Произведения Вадима Фадина во многом автобиографичны. Выпускник Московского авиационного института, по роду профессиональной деятельности налетавший над пространством Советского Союза сотни, если не тысячи, часов, хранитель ставших никому не нужными секретов, он был отодвинут на обочину жизни очередной волной политических и экономических потрясений, раскачивающих Россию весь двадцатый век. Схожая судьба и у его героя. Главным действующим лицом в романе высту-

пает Дмитрий Алексеевич Свешников, всю жизнь проработавший в закрытом НИИ, а на склоне лет вынужденный «проедать» свой автомобиль. События разворачиваются на географическом отрезке между условными Москвой и Берлином. Стартовой точкой повествования является момент отъезда Дмитрия Алексеевича в Германию – не обязательно навсегда, только попробовать, не понравится – вернуться, ведь теперь так можно. Думал ли писатель во время работы над текстом, что возвращение вновь будет возможным не для всех?

Для Дмитрия Алексеевича целесообразность переезда в Германию – вопрос открытый: в двух чемоданах не увезти всю свою прошлую жизнь, но и соблазн увидеть мир велик. Оттого, приближаясь в плацкартном вагоне к *черте*, отделяющей *ту* сторону и *эту*, он продолжает мысленно перебрасываться аргументами в пользу своего решения и против него. Размышлениями героя в поезде начинается его долгий философско-исповедальный диалог с самим собой.

Продолжая традицию русской классической литературы, автор уделяет особое внимание подробному изложению переживаний героя. Дмитрия Алексеевича беспокоят вопросы морали и совести, ответственности за смысловую наполненность своей жизни, в том числе и перед своими родителями. Он влюбчив, умеет соблазнять женщин, но место им в своей жизни определяет не главное – свою свободу, прежде всего свободу мыслить, не отвлекаясь на земную суету, он ценит выше семейного уюта. Своих детей у него нет, отношения с пасынком не сложились. Среди бывших одноклассников найдется пара-тройка из тех, к кому можно было бы обратиться за советом в трудную минуту, но он предпочитает вести переписку с самим собой. Все эти характеристики оставляют читателю большой простор для интерпретации. Сопровождая героя в его перипетиях, рассказчик внимательно следит за тем, чтобы мотивация и поступки главного персонажа были верно истолкованы и, по возможности, приняты.

И вот черта пересечена – что там, за ней? Современному читателю, избалованному доступностью информации любого рода и возможностью работать без привязки к месту жительства, тревоги главного героя, вероятно, покажутся далекими. Вадим Фадин документирует эпоху: общежития-распределители, языковые курсы, скромные пособия, отсутствие быстрой связи, потеря статуса, социально значимой роли, привычного круга общения – иммиграция девяностых не являлась билетом в один конец, но всё же не могла считаться гладкой и безболезненной. На другой чаше весов оставалась страна, гибнущая в руинах произвола, где «в руках непотребных людей оказались большие деньги», они теперь и правили бал. Он чувствовал себя предателем. Не родины, но памяти. Предателем себя и своей идентичности.

В первой части автор собирает в небольшом немецком городке различных персонажей, все они оказались здесь по воле случая.

Открывшаяся свобода передвижений сводит и разводит судьбы: вот молодожены оказались разбросаны по городам из-за ошибки в документах, вот вдовец со своей собакой приехал доживать век, вот бывший врач торопится купить недорого билет на поезд, а вот чудак-профессор надеется продолжить карьеру преподавателя. Среди них наш герой с супругой, с которой его связывают лишь формальные узы; в пункте переселения он встречает Марию – женщину, которую когда-то очень сильно любил.

Во второй части романа по поручению жены герой отправляется назад, в Москву, с намерением разобраться в некоем запутанном деле, требующем личного присутствия. Волнующее соприкосновение с родным городом эмоционально противопоставляется скептицизму в оценках перспектив проживания на чужбине. Москва пленит своей библиотекой, в том числе и богатейшей домашней, памятью о родителях, Людмилой, которая хоть и зовется мачехой, но всего-то чуть старше и любит джаз не меньше него самого. Вместе с тем, невозможно не заметить перемен, произошедших с городом и его людьми. Это уже не его, Дмитрия Алексеевича, город – в этом городе правят деньги, бандитизм, наглость и хамство. Вновь возникает дилемма: остаться или уехать?

«Квартирный вопрос» оборачивается криминальной аферой, на помощь ему приходят бывшие одноклассники. С годами крепкая мужская дружба не ослабевает, и в нужный момент слаженный «хор мальчиков» как по нотам разыгрывает партию, спасая героя от опасной авантюры.

Выполнение «малой миссии» – поручения супруги – приводит к кристаллизации идеи о миссии большой, главной, – той, ради которой человек появился на свет. Дмитрий Алексеевич видит ее в сохранении родной культуры и памяти. В этом смысле герой романа транслирует философию автора: невозможно, неправильно отречься от прошлого, без него невозможно построение будущего. Место проживания не имеет значения, убеждает себя герой. Берлин уже не раз становился центром притяжения русской интеллектуальной иммиграции, центром сохранения и последующего возвращения на родину языка и культурных традиций, – теперь его черед принять эстафету.

Мы видим трансформацию героя: теперь его уже не сравнить с тем Дмитрием Алексеевичем, что беспомощно бормотал невнятные объяснения на таможе в начале романа. Динамика его внутреннего диалога тоже меняется от оправдательно-извинительной в сторону духоподъемной. Герой словно обретает второе дыхание; выбирая между «выживать» и «доживать», он принимает решение *жить*. Следует напомнить, что драматический перелом в судьбе героя происходит в достаточно солидном возрасте, когда не всякий человек и в обычных условиях находит в себе силы начинать новые проекты. Не

случайно роман начинается неумолимым течением времени в песочных часах.

Проза Вадима Фадына глубокая, вдумчивая, наполненная явными и скрытыми аллюзиями, оставляет пространство для погружения в собственные воспоминания и размышления о времени и о себе в этом времени. Читатель может не ассоциировать себя ни с кем из конкретных персонажей, но мотивы их поступков оказываются ему близкими и понятными. К слову сказать, свою профессиональную принадлежность Дмитрий Алексеевич полушутя определяет как «читатель», и это характеризует его больше, чем должность заведующего лабораторией в секретном НИИ, ученого-испытателя. На пространстве позднего Советского Союза столь трепетное отношение к собственному читательскому опыту отличало и объединяло людей, причисляющих себя к интеллигенции.

В этой связи хотелось бы вспомнить один эпизод – проходной, но показательный. Однажды во время прогулки, глядя на всхолмленный пейзаж, Мария спрашивает Дмитрия Алексеевича:

– Ты бывал когда-нибудь в настоящих горах?

– На Кавказе, однажды на Тянь-Шане, – отвечает тот. – Я знаю, почему ты спросила. Там и в самом деле приходит это ощущение: «Кавказ подо мною. Стою в тишине...» <...> удивительно как все знают одну лишь эту строчку: только ее и вспоминают, поднявшись наверх.

Закинув наживку, автор обрывает лирический пассаж, предоставляя читателю возможность самому выбрать дальнейший ход развития мысли. В самом деле, почему именно это стихотворение и отчего только первые строки, ведь они не передают смысл всего стихотворения? В таком случае, уместно ли столь банализированное цитирование? Насколько поверхностной является такая цитатная система распознавания свой-чужой? Не сформирован ли пресловутый культурный код в результате подмены смыслов – формами? Подобных развилок в романе предостаточно.

И всё же этот роман про эмиграцию – не об эмиграции. Потеря физической связи с родной землей приводит к утрате духовной, интеграция в чужеродную культурную среду приводит к вытеснению собственной. Не раствориться, сохранить всё ценное, что есть в тебе и твоём опыте, дать повод для размышлений последующим поколениям – вот что больше всего беспокоит писателя. Для Вадима Фадына это роман о самоидентификации, верности собственным ориентирам, приоритизации собственных целей. «Она была права в том, что всякая эмиграция затевается человеком для сохранения себя», – говорит автор устами одной из героинь.

Стилистически произведение оставляет двойственное ощущение. С одной стороны, оно может показаться несколько старомодным:

на вкус современного читателя роман перегружен многочисленными и излишне подробными рефлексиями героя, оценочными суждениями рассказчика, затянутыми диалогами-препираательствами, звучащими несколько театрално в день сегодняшний. «А я не хочу соучаствовать в стаде!» – отвечает на это писатель. Одновременно с этим, на протяжении всего повествования явственно ощущается присутствие на заднем плане борхесовского «Создателя». Мы чувствуем его в эпиграфе, намечающем фабулу, в идее раздвоения автора-писателя и автора-человека, в абсурдности причудливых изгибов судьбы героев.

А как прекрасны лингвистические эзерсисы Вадима Фадына, как бережно перебирает он слоги-бусинки в словах, складывает-раскладывает их, играя смыслами! Разоблачить – *раз-облачить*, значит раздвинуть облака; приключение – *при-ключе-ние*, значит остаться при ключе; нечего делить – это не об имуществе, а об эмоциональной близости. Множество таких жемчужин разбросано по тексту, каждая находка – радость. Все вместе эти элементы создают особый стиль, который, безусловно, является визитной карточкой писателя.

Однажды писатель Павел Лемберский, рассуждая о трансформации способа мышления и изложения мыслей в связи с переходом на английский язык, признался, что с годами, живя в США, речь его становится суше и лаконичней. На мой взгляд, в том, что касается писателей-эмигрантов, дело, скорее, в степени ассимиляции писателя и в особенностях языка страны проживания, который, без сомнения, оказывает влияние и на способ мышления. Вадима Фадына называют «берлинским затворником русской литературы», прежде всего отдавая должное возложенной им на себя миссии: сохранение русского языка и литературного канона. «В России после краха системы на поверхность, быстро разбогатев на спекуляции, выплыли самые необразованные слои населения, – пишет он в одном из эссе. – Задача сохранения языка ложится на плечи оставшейся и оттесненной на второй план части интеллигенции, в основном, разумеется, творческой, разумеется – поэтов и писателей <...> сохранить язык сумеет только литература.» В своем последнем романе Вадим Фадин остается верен избранной роли.

Юлия Баландина

Книжная полка Марины Адамович

СловоНово. Альманах русского свободного слова. 2018–2022. Printed in Lithuania. – 475 с.

С удовольствием листаю «Альманах русского свободного слова», вместивший в объемистый том избранные тексты участников форума СловоНово. О форуме НЖ уже писал, тем не менее напо-

нить о нем, хотя бы в двух словах, нужно, иначе эклектика альманаха будет восприниматься за минус, тогда как его многоголосие – активно сложившаяся тональность русскоязычной диаспоры, включившей в себя и т.н. пятую волну.

Марат Гельман еще в 2014-м затеял в Черногории свой форум демократической оппозиции. В тот год иноагенты уже были, но «сбор урожая» на них еще не объявлялся (Так, и Гельман получил сие звание лишь в 2021-м, хотя дерзкие его планетарные проекты уже стали закрываться по «просьбам трудящихся» в том самом 2014-м). Сам Гельман, возможно немного поторопившись, подвел тогда же итог эпохе: «Полностью исчезла политическая оппозиция». Большинству из самой оппозиции верить в это не хотелось, но в результате, когда в 2022-м они спешно покинули родные пределы, то попали не на голое место, а на готовую рабочую площадку для выступлений. Что надо оценить по достоинству: российская интеллигенция редко успевает вовремя – во время, всегда или опережая его, или, чаще, опаздывая. За десять лет работы СловоНово обрело свой сильный, узнаваемый, четкий голос.

Основанный на текстах, прочитанных на форуме в 2018–2022 гг., альманах отражает один из основных принципов текста «Культура» – его экстратерриториальность. Поверх барьеров к другим берегам из бесконечного тупика. «Наш альманах – воспроизведение (насколько возможно) русского (русскоязычного) культурного космоса нашего времени. Когда-то альманах ‘Метрополь’ сыграл подобную роль и остался в истории России», – пишет составитель обоих альманахов Виктор Ерофеев.

Здесь вновь уместно отвлечься, чтобы сказать несколько слов о «Метрополе» как предтечи нынешнего альманаха. (Вообще, идея наследования, традиции в культуре необычайно важна: ее гипертекст складывается из таких вот напластований, непроявленных аллюзий и непонятых ассоциаций; развитие далеко не линейное и даже не спиральное, а по ленте Мёбиуса). Идея издания неподцензурных литературных текстов витала в воздухе 1970-х – но озвучили ее именно Ерофеев и Попов (Евгений). В год 50-летия бульдозерной выставки, в 2024-м, вспомним давнее признание Ерофеева: «В декабре 1977 года, когда я снимал квартиру напротив Ваганьковского кладбища и каждый день в мои окна неслась похоронная музыка, мне пришла в голову веселая мысль устроить, по примеру московских художников, <...> ‘бульдозерную’ выставку литературы, объединив вокруг самодельного альманаха и признанных, и молодых порядочных литераторов». Идею подхватили Василий Аксенов и Андрей Битов, чуть позже – Фазиль Искандер; свои тексты в этот безумный издательский проект отдали Высоцкий, Ахмадулина, Вознесенский, Алешковский, Карачивский, Кублановский и другие, известные сегодняшнему читателю прозаики и поэты «золотого списка» русской литературы советских времен. В

1978-м было «издано» 12 машинописных книжек, основной и реальный тираж появился через год – в США, в издательстве Ardis, репринтно, а потом и привычным «цивилизованным» набором.

Та же карнавальная стихия – «веселая мысль», рожденная похоронным маршем, – пронизала и альманах «СловоНово». Из метропольцев в нем присутствует лишь Ерофеев, но тон задан и подхвачен. Среди авторов – Томас Венцлова, Владимир Сорокин, Орлуша, Лев Рубинштейн, Дмитрий Быков, Михаил Шишкин, Бахыт Кенжеев, Татьяна Щербина, Вера Павлова, Михаил Эпштейн, Екатерина Марголис, Алексей Цветков, Сергей Гандлевский, Павел Пепперштейн, Людмила Улицкая, Борис Херсонский, Зиновий Зинник, Юлий Гуголев, Катя Капович, Виктор Ерофеев, Псой Короленко, Борис Акунин, Константин Рубахин, Тимур Кибиров, Борис Гребенщиков, Глеб Смирнов-Греч, Дмитрий Веденяпин, Евгений Деменок, Сева Новгородцев, Анна Гальберштадт, Александр Кабанов, Алексей Плущер-Сарно, Марат Гельман и другие.

Чтобы как-то разобраться в этом наслоении жанров, стилей, литературных приемов и эстетик, составитель альманаха (всё тот же!) Виктор Ерофеев собрал голоса поэтов в «венки» – «венки поэтов № 1», № 2 и т.д. – до № 11. Мы с этим делением согласимся, остальных же авторов попробуем «собрать» по жанрам – пусть и довольно фривольно используемым: проза (рассказы, эссе) и статьи (философские размышления, аналитические «зеркала»). Это поможет выявить и некоторые характерные черты в словесном портрете русскоязычной творческой диаспоры. До отъезда они назывались «российской оппозицией», уехав – стали «эмигрантами» (и опять – виток по ленте Мёбнуса – капризное «э оборотное»: отсюда – эмигранты, но и туда – эмигранты, вопреки грамматике, но согласно чувствам).

Для начала – рассмотрим «венки». Ох уж этот шутник Ерофеев со своими венками похоронными... Вот уже и Алексей свет-Цветков ушел от нас, и Лев Рубинштейн – так нелепо, так неправильно... «Нет истинности текста, / Но есть истинность пути. / Лишь в зависимости от того или иного контекста / Мы знаем, куда нам идти.» (*Л. Рубинштейн*)

...там на холме всё светит в сад веранда
 Я посвящу тебе моя миранда
 До первых зорь пройдем в последний раз
 Где тени прежних птиц над нами грустно
 И на глазах прокладывает русло
 Прекрасный новый мир уже без нас
 (*А. Цветков*)

В «венке поэтов» № 3 – Бахыт Кенжеев с семьёю элегиями, безусловными маленькими философичными шедеврами, что погружают в тоску по прошлому и уводят от неоправдавшего надежд настоящего.

Хрип постаревшей пластинки леннон а может булат
Организуем поминки водка селедка салат

Веруя в родину эту немолодую родню
Выпью расплачуть лишь свету вечному не изменю...

Горечью наполнен и речитативный, белый стих Анны Гальберштадт, тоже – эмигрантки «со стажем» («венок № 9»):

Клейкая тошнота Рокантена
тошнота от свободы
тошнота от жестокости
тошнота от полного отсутствия морали
тошнота от отсутствия сострадания
тошнота от обесценивания другого человека...
(«Баллада о нелюбви к Пикассо»)

В статье о романе Сартра «Тошнота» Джон Рот писал: «Со временем Рокантен (герой романа) понял, что тошноту вызывает по большей части чувство свободы». Следует уточнить: свободы хаоса, но хаоса не первородного – что предшествует гармонии и красоте, несущего в себе бесчисленные возможности, а хаоса как следствия распада этих гармонии и красоты, распада упорядоченности – трагического хаоса (*мтпр. Антоний Сурожский. Беседа «Хаос, гармония и мир порядка». 1976*)

Сложно в короткой рецензии не только проанализировать каждый отдельный текст антологии, но и просто процитировать, потому поделюсь лишь впечатлением: поэзия эмигрантов 1970-90-х годов, представленная в сборнике, полна горечи «обманутых надежд»; они – «граждане мира», космополиты – идентифицируют себя в контексте мировой истории, «русский текст» для них – прошлое, он отторжен, и скорбь их – тоже мировая, не по «отеческим гробам», а по утраченным вечным истинам и всеобщей энтропии духа в пейзаже российской драмы. Отвернуться от этой драмы «пятой волне» пока некуда – она лишь сошла с трапа самолета. И пусть она говорит о своем вояже – «*философский самолет*», но принадлежность к *тому*, морскому, «лайнеру» еще придется доказывать... Пока же – плохо скрываемое отчаяние. В стихах «внутренних эмигрантов» и «либеральных оппозиционеров» – боль с налетом растерянности и ерничанья. Состояние момента. Скажем, у Кибирова, из «венка поэтов» № 8, – в том числе и об этом:

Никогда. Никогда. О мой ангел, сей миг, сей какой-то там сумрак
Не вернется сюда. Та-та-та. Не вернется сюда!
(«Романс Рахманинова»)

Или у Дмитрия Веденяпина («венок» № 10) – похоронная частушка, юродивым – на площади:

Счастья было много-много,
А теперь тю-тю. Тварь дрожащая тревога
Делает кутью...

Или – у Константина Рубахина («венок» № 7) – на известную эмигрантскую тему «Хорошо, что нет России... / Хорошо, что Бога нет»:

ты помнишь воронеж и наш кабинет.
где бог отвечал нам по факсу

нет факса и бога, воронеза нет
почти что нету и нас тут

В антологию вошли, главным образом, тексты, написанные до войны в Украине, потому основная тема социально-заостренных стихов направлена на проблемы российские, против укрепляющейся автократии в РФ, против репрессий – и отражает настроения либеральной оппозиции. Нынешнее положение «нового эмигранта» пока не осознано, хотя заявлено: и времени для осознания таких фундаментальных судьбинных сдвигов мало, и украинская война потопила все остальные чувства и мысли. «Невероятный коктейль» из цинизма и беззащитности (как заметил некогда А. Макаревич, также – участник антологии) и, добавим, карнавальности – это не только лишь известный Orlusha (Андрей Орлов), но и многие авторы антологии: «Прочь отсюда? Но где эта самая ‘прочь’?». Обратим внимание на другое – на строку-рефрен того же стиха у Орлуши «Мы с тобою остались одни» – в России. Мотив внутреннего изгойства ярко прописан практически во всех представленных текстах. Авторская социальная позиция отстраненности (от установившейся в РФ власти, прежде всего) в антологии формирует *эстетику отстранения* (Шкловский), а лучше сказать – брехтовского активного «*оуждения*» (хотя по смыслу – одно и то же, но в русском языке каждое из этих слов живет со своими нюансами), ибо здесь потеряно «узнавание» «Русского текста» («Пушкин», «Достоевский», «Балет», «Искусство», «Литература», пр. пр.). Особенно четко (что не означает «художественно ярко») этот прием ощущается в тексте «Воля к точке» Екатерины Марголис – текст, тесно связанный с войной в Украине и с реакцией на нее мирового интеллектуального сообщества. «Мой язык – русский. Язык насилия и убийств. Язык войны и смерти. Язык агонизирующей империи. <...> В России никакой кошмар не кончается точкой...» При общей путанице в понимании вполне определенных терминов (в

истории, культурологии, социологии, лингвистике и пр.), таких, как «империя», «нацизм», «язык», «культура», – автор в запале справедливого, но *чувственного* отрицания, негодования, ярости даже (как чувства – принимаю и понимаю), переполненная самых благородных гуманных устремлений, выдает вполне сумбурный публицистический памфлет. Интересна, однако, не какофония эмоций, а прослеживаемая – и вполне рационально выверенная – модель «остранения» от предмета «Русский текст». И здесь происходит интереснейшая вещь: на наших глазах идет построение новой мифологии из старых, традиционных понятий/терминов. Не политизация их, как покажется на первый поверхностный взгляд, а именно *мифологизация*. Марголис пишет: «Ярость реакций многих россиян, вне зависимости от места проживания, на критические тексты, на рефлексию о причинах нынешней войны и имперских корнях русской культуры, о вине и ответственности всё безжалостней и саморазоблачительней обнажает внутренний этический вакуум...»; «В российском же даже просвещенном сознании культура оказалась устроена не как живой организм или силлогизм, а по жесткому структурно-иерархическому принципу иконостаса ...Либо иконопочитание, либо иконоклизм... Совершенно лишним указывать на то, что и сам автор памфлета принадлежит – по воспитанию, по языку, по эмоциональному напору, да по всему дискурсу своему! – к той самой «русской интеллигенции», то есть к «русской имперской культуре» – даже и этим текстом принадлежит. В котором странным образом отсутствует понимание, что вся *мировая классическая культура* – включая и русскую – априори была «имперской», и никакой иной и быть-то не могла, и именно на ней, имперской по сути и форме, взрастала культура современного мира – принимая и отторгая. Впрочем, истина эта лежит на поверхности и не стоит серьезного обсуждения.

А вот что действительно интересно, так это вводимая автором метафора «народа» как единого существа, «общины», в терминах «Русского текста». Метафора фольклорная по своей природе – и неожиданно ставшая актуальной для многих представителей культуры XXI века. Дискурс самой Марголис зацементирован на «общинной», фольклорной мифологии. Автор пишет о «не случайном» «сопротивлении (Народа. – М.А.) коллективной ответственности как сумме индивидуальных актов принятой на себя ответственности», и о сопротивлении «самоу вектору в эту сторону в дискурсе антивоенных россиян». (Пацифистам традиционно досталось.) Это ли не мифология общины? Есть простой, незамысловатый и честный, ответ на вопрос о коллективной ответственности – высказанный Людмилой Улицкой в интервью НЖ: «Лично я отказываюсь разделять ответственность за события последних месяцев (а также предшествующих 70-ти лет) с руководителями страны, которые не спра-

шивали меня, куда рулить» (НЖ, № 309, декабрь, 2022). И такой ответ вполне соответствует утвердившемуся атеистическому дискурсу индивидуализма современного европейца.

Однако вопрос о коллективной ответственности крайне важен не только для анализа нарратива сегодняшней эпохи катастрофы, но и для любого времени войны и насилия. Только формулируется проблема иначе – ВНЕ принципа самоотстраненности, вне социальных категорий «нация» (народ) и «коллектив» (община), а в проекции метафизической, религиозной, в контексте феномена «врожденного греха» (что выдвигает куда более серьезные обвинения всему роду человеческому). Мне ближе понимание солдата Второй мировой, армии Великобритании, русского эмигранта Василия Франка, сына философа Семена Франка: «Я виню себя – как представителя человеческой расы – за убийство ребенка в России, как виню и убийцу (Фашиста. – М.А.). Конечно, он убил его, а не я, и пусть он понесет наказание, которое сам заслужил. Но, в конечном итоге, я и подобные мне <...> несем на своих плечах коллективные грехи человечества. Я принял на себя эту ответственность быть человеком. Мы все должны быть наказаны. Убийца оказался орудием *нашего зла*... Мы каемся за грехи наших ближних, будь то живые, мертвые или еще не родившиеся. Мы страдаем за *идею зла*. В конце концов должно прийти осознание коллективной ответственности за дела человеческие. Только тогда у меня появится надежда на то, что мы станем настоящими людьми и сможем решить эту вечную проблему» (Курсив мой. – М.А.). ИТАК, ИДЕЯ ЗЛА. Она реальна только для религиозного типа сознания, в атеистическом сообществе ее нет, как не существует и феномена покаяния (теснейшим образом связанного именно с личной ответственностью). Современное общество выработало вполне практичный компенсационный комплекс мер – гуманитарных, юридических и законодательных. Этот «ограничительный кодекс» довольно долго справлялся с нагрузкой и лишь теперь дает сбой по всем направлениям...

Нынешние обвинения «одной отдельно взятой культуры» в приверженности «идее зла» есть не что иное, как ошметки гиперинтерпретации «Русского текста», к которой склонны современные интеллектуалы. Но гиперинтерпретация, к сожалению, не только эффективное прочтение текста, но и его искажение; она ведет к потере корректности исследования, к растворению оригинального текста и к построению *симулякра*. Как любая «пустая система» (в этом смысле – антисистема), симулякр опасен. Опасен подменой понятий, а значит, постепенной девальвацией онимов. Чем, собственно, и занимается сегодня – да-да! – проправительственная интеллектуальная элита РФ вкуче с писателями группы Z: построением симулякра «Русского текста». Виноват ли в этом оригинал? – Сомневаюсь. Склонна присоединиться

к Марату Гельману, заявившему в послесловии к альманаху «Выход за границы»: «На мой взгляд, русская (русскаяязычная) культура – ценная валюта на международном культурном рынке. Существование русской (русскаяязычной) культуры уникально. Вопреки российской государственности».

Объективные неизбежные просчеты гиперинтерпретации повлияли и на интересную по мысли и структуре статью философа Михаила Эпштейна. Да, так бывает: четкая оригинальная мысль интерпретатора интересна сама по себе, но уводит от предмета изучения. Не буду заострять внимание на второстепенных неудачных, на мой взгляд, определениях, вроде русское «народное двоедушие», – скорее уж, врожденная двойственность человеческой природы. Обвиняя литературного Архипа-кузнеца из пушкинского «Дубровского» в двоедушии, хорошо бы помнить о других, реальных и вымышленных, народных персонажах, разбросанных по странам и весям национальных литератур. Сложно принять и предлагаемый автором свежий неологизм «шизофашизм» – это, безусловно, эффектная метафора, но метафора – *троп*, который не может заменить *термин*. Сам термин «фашизм» исторически закреплён в науке и в сознании за вполне реальным явлением (как и «шизофрения»); образ «сумасшедшего с бритвою в руке», что бродит по России, уместен в поэзии, но не в культурологии. (Кстати, пресловутое Z-пропагандистское «украинские нацисты», «украинские фашисты» – это тоже подмена *термина* негативным *образом*, закреплённым в сознании пользователя, – и в этом мы видим один из классических приемов симулякра. Такая «игра в слова» опасна тем, что будущие поколения вообще не вспомнят, что такое «фашизм», – и он вернется. Лента Мёбиуса.) Использование «оболочки» слова для утверждения в его форме иного смысла вымывает сам смысл. Это и есть механизм выстраивания симулякров; пропаганда так и работает. Скажем, путинская авторитарная власть (не симулякр) эксплуатирует весьма актуальный в российском обществе исторический нарратив военной памяти, связанный с кровопролитнейшей Второй мировой, и производит подмену симулякром «новая военная память». И так – со многими опорными *для любого* сообщества понятиями (патриотизм, нация, прошлое, культура и пр.). Кстати, о пропаганде. Совершенно невозможно согласиться с автором, что пропаганда лжет «в расчете, что народу ложь понравится». Нам ли, испытавшим и на собственном веку, что такое советская пропаганда, не знать, что пропагандисты, идеологи и политтехнологи всех времен и народов вовсе не озадачены заботой понравиться народу; пропаганда, напротив, *навязывает* гражданам определенную правительством точку зрения, погружает массы в затеянные им игрища и, в итоге, выстраивает свой «институт изумрудной лошади», как отметил наблюдательный классик еще в 1918-м. Во все не оттого, что массы любят «лукавство и

игры с Лукавым», пропаганда добивается успеха – а своей тотальностью, жесткой цензурой, навязываемой подменой фундаментальных понятий национальной культуры и подавлением гласности. Не точнее ли будет сказать, что массы – как и любой нормальный человек – просто любят спокойную жизнь, да упаси Бог от барской любви и ненависти. Степень же отстраненности российского народа от государства и власть предержажших – максимальная из возможных в истории XX века – реализуется на уровне рефлекс, сформированного еще в советских временах тирании и ГУЛАГа. Российские народы (не забудем: это полиэтническое и поликультурное сообщество – равно униженное властями во всех национальностях) пережили почти вековую (!) коммунистическую диктатуру, забывшую в их дискурс рефлекторный социальный страх (а животный физиологический живет во всех народах мира). Времени «первоначального накопления» демократии не хватило даже на то, чтобы вырастить одно свободное поколение. И в этом «коллективном» дискурсе находятся все участники – и альманаха, и страны, и погоста... Потому и не соглашусь с определенной Эпштейном разницей «между двоемыслием советской эпохи и двоедушием нынешней». Да кто ж может знать, понять эту индивидуальную душу человеческую? «Сейчас ни о будущем, ни о прогрессе, ни о человечестве, ни о каких-либо других универсалиях речь не идет, поскольку никакая мысль, даже в форме двоемыслия, не востребована», – пишет автор статьи. Словом, все нынешние и будущие политзаключенные РФ, все эти изгнанники «Дождя» и «Новой газеты», все активные и пассивные несогласные и примкнувшие к ним сомневающиеся... – «двурушники»-двоедушники? Точнее – «однорушники» получается; и вообще их нет. Ибо... «хорошо, что нет России»... Только звезды ледяные.

Но так ли уж это хорошо? Тем и опасна гиперинтерпретация: растворением анализируемого объекта в мысли исследователя. Это не умаляет саму мысль, но она уже не имеет отношения к предмету раздумий, она саморазвивается и сама становится предметом рефлексии. Отсюда возникает весьма нынче популярное соотнесение России с «империей Золотой Орды» как «материнского» государства (вопреки Петровской империи), и многое другое... Почему это важный момент – отстаивание *европейского нарратива* исторической России, принадлежности ее к греко-иудео-христианской традиции (да проще скажу: к Европе!)? Да потому, что это и есть та Россия, которую мы потеряли. И за которую имеет смысл побороться. А Орда... да далеко она, Восток – дело темное... И модные нынче именно в российских политических верхах евразийцы (даже не «по диагонали» прочитанные, а в чем-то вульгарном пересказе воспринятые), взятые на Z-вооружение, – «скрепы» сомнительные. Как говорил классик, идея, вытасченная на площадь, становится площадной дев-

кой. А в буквальном использовании в реальной политике... – мы и получаем сплошное «зи»...

Но вернемся к антологии. На прозе ее останавливаться не буду – она узнаваема: Сорокин, Ерофеев... проза не принесла сюрпризов в текстах. Всё ожидаемо для фанатов этих знаковых имен: сюжеты, профанный стиль, профессиональное владение жанром, каков бы он ни был... А хотелось чего-то свежего, неожиданного.

А вот эссеистика – Михаила Шишкина «Корабль из белого моря», Людмилы Улицкой «Чтение как подвиг», Зиновия Зиника «Нос в формалине», Сева Новгородцева «Буш-хаус», – открылась во всей мудрости и точности взгляда и пера – на мир, на жизнь, на смерть (о стиле писать излишне, всё – мастера известные). В присущей альманаху (и самому автору) карнавальной тональности описывает свои первые годы на Би-би-си, весь этот журналистский вавилон из «бывших врачей и мастеров спорта», Сева Новгородцев – смешно, хлестко, харизматично, но под финал вдруг вспоминает талантливейшего болгарского журналиста-диссидента Георгия Маркова, убитого в 1978-м «уколом зонтика», – да-да, тоже вполне карнавальным орудием убийства. И «карнавал» вдруг приоткрывает свой основной миф: жизнь есть предвосхищение смерти, и только смерть придает жизни полноту смысла. «Мертвите отвярат очите на живите». Реально только прошлое, будущее вырастает из его мифов – настоящего же нет. И в этой сложной метафизической парадигме сегодняшнего дня, предложенной нашим прошлым, мы должны понять... нет, не себя, это было бы до обидного мелко, мы должны разглядеть будущее прошедшее. В том числе – и текст «Культура».

Михаил Шишкин искренне и точно сформулировал нынешнее отчаяние гуманитария: «...я очень остро чувствую то, что чувствовали немецкие писатели в конце тридцатых годов. Бессилие книги. Беспомощность литературы... Зачем, для кого, для чего они писали?» – и дает единственно верный (и на мой взгляд) ответ: «...настоящая литература не опирается на читающую публику, а всасывается в небо. И забирает читателя с собой». И потому – «я буду бороться за мой язык». В этом ответ на вопрос: несет ли гипертекст «Культура» ответственность за гипертекст «Цивилизация»? Нет, не несет. Побейте меня за это камнями, кто без греха. Гипертекст «Культура» дает возможность подняться и сказать там, в вышине (повторим за писателем): «Спасибо тебе, Господи, что вернул мне душу». В этом – «и было Слово», и есть Слово Ново. А если забыть про принятую авторами антологии «фигуру отстранения», не стала ли эта книга выражением того самого искреннего – и талантливого, куда же без таланта! – «коллективного покаяния» русской культуры через покаяние личное, болезненное, нутряное, религиозное... Всасывающее в небо.

* * *

Catharine Theimer Nepomnyashchy. From Pushkin to Popular Culture. Essays. Ed. by Emily D. Johnson, Irina Reyfman, and Carol R. Ueland. Academic Studied Press. 2024. – 331 p., ill.

Писать о книгах ушедших друзей сложно. Как отделить от общественно-значимого то, что стало твоей личной болью, рассказывать о которой не хочется на юру?.. В таком рассказе неизбежна поволока ностальгии по утерянному. Но совсем промолчать тоже нельзя, так как лежащая перед тобой на столе книга – явление в современной славистике и, помимо благодарности ко всем ее участникам – к автору, составителям и редакторам, – испытываешь еще и чисто профессиональный интерес, вновь вызывающий на разговор на темы интертекстуальности культуры, конфронтации текстов «Культура» и «Цивилизация», на разговор о главных тенденциях развития русской культуры в XXI веке... – и, в конечном итоге, все-таки на диалог с теми, кого уже нет.

Ее имя – Кэтрин Таймер-Непомнящая, Кэти, да просто – Катя, – хорошо известно не только литературоведам США и России, Казахстана, Грузии, и др. стран постсоветского пространства, но и огромной русскоязычной диаспоре США. Человек-надежда – Друг. Знаток русской культуры, директор Harriman Institute при Колумбийском университете, широко открывшая двери института всем русскоязычным интеллигентам Северной Америки.

Сборник «From Pushkin to Popular Culture» («От Пушкина к массовой культуре») составлен друзьями и коллегами Кэтрин Таймер-Непомнящей (1951–2015) из ее статей – как известных, так и не опубликованных при жизни исследователя. Кэтрин отдала славистике сорок лет. Она была автором первой монографии на английском языке об Андрее Сиянском «Abram Tertz and the Poetic of Crime» (1995), первого перевода его «Прогулок с Пушкиным» («Strolls with Pushkin», 1993), соредактором тома о А.С. Пушкине «Under the Sky of My Africa: Pushkin and Blackness» (2006); менее известной неспециалистам, но важной книги, посвященной слависту проф. Марине Ледковской, легенде русской эмиграции первой волны в США. Кэтрин Таймер-Непомнящая была первой женщиной-директором Harriman Institute (2001–2009), научно-исследовательского высшего учебного заведения Колумбийского университета, занимающегося проблемами постсоветского пространства; она была членом правления ASEES (2003–2006), самой мощной международной организации славистов, выросшей из небольшой американской профессиональной ассоциации, созданной в 1948 году; президентом AATSEEL (2005–2007), известной международной ассоциации преподавателей высших учебных заведений... Всю свою сознательную жизнь Кэтрин посвяти-

ла изучению русской культуры. Ни рождением, ни семейными традициями при этом не будучи связанной с Россией.

Кэти была простой американской девочкой. Она родилась в East Orange, штат Нью-Джерси, в 1951 году. Отец – химик; говорят, он одним из первых изобрел формулу солнцезащитного крема; в свободное время он сочинял кроссворды для *New York Time* и обожал детективные истории и Шерлока Холмса – что, возможно, повлияло на круг интересов дочери. Но, кажется, что большее влияние на девочку оказала мать – она увлекалась искусством, организовывала выставки, а во время войны работала на радио RCA в Нью-Йорке. Среди университетских друзей – Нэнси Конди, Кэрол Уланд и другие, ныне весьма известные американские слависты.

Советский Союз студентка Кэти Таймер впервые посетила летом 1970-го, по обмену. И, гуляя по Сочи, ...встретила своего будущего мужа Славу Непомнящего (1947–2011). Они не могли воссоединиться – Кэти не пускали в страну, Славу – из страны, а молодые люди хотели пожениться. Она просила помощи у правительства США, в Госдепартаменте, у сенаторов... Но лишь в 1977 году Славе разрешили выехать из СССР.

В это время Кэтрин уже работала над докторской диссертацией по русской литературе. Огромное влияние на нее оказала в годы аспирантуры проф. Марина Викторовна Ледковская, дочь белых эмигрантов, отец которой, офицер вермахта, был казнен за участие в заговоре против Гитлера. В работе над диссертацией Кэтрин встретила с Солженицыным, но близко сошлась с четой Синявских-Розановых – эта дружба длилась десятилетия. Она защитила диссертацию «Poetic of Motivation: Time, Narrative, and History in the Works of Pasternak, Sinyavsky, and Solzhenitsyn», после чего началась ее работа в Колумбийском университете, в Барнард Колледж.

Долгие годы, под впечатлением мучительной истории своего замужества, она боялась посещать СССР, но судьба развернула ее к России еще раз – и уже окончательно, крепко связав с этой страной и личной жизнью, и профессией. В 1989 году скончался отец Славы, и Кэти полетела в Советский Союз вместе с мужем.

Та поездка оказалась судьбоносной: она познакомилась с Венедиктом Ерофеевым, семьей Пастернаков, Юрой Щекочихиным и его женой журналистом Надей Ажгихиной, с Вознесенским, Искандером, Рыбаковым, с проф. Галиной Белой – и с нами, ее студентами (после этого я не видела Кэти до самой эмиграции в США. В Нью-Йорке мы встретились – так началась наша двадцатилетняя дружба). Ее поездки 1990-х дали старт новым проектам. Среди которых была и конференция «Гласность в двух культурах» – диалог писательниц России и США.

У меня на столе встретились обе книги – сборники статей

Кэтрин Таймер-Непомнящей и «Гласность в двух культурах», изданный Фондом Юрия Щекочихина (2023). Среди участников той конференции – и сборника – Нэнси Конди, Кэрол Уланд, Нелена Гошило, Эллен Чансез, Линн Виссон, Марина Темкина (США), Наталья Иванова, Надежда Ажгихина, Светлана Василенко, Елена Трофимова (РФ) – нет уже с ними Марины Ледковской и Кэтрин Таймер. Заголовки статей – говорящие: «Слависты всегда были на переднем крае», «Встреча стала уроком феминистской педагогики», «Хотела что-то сделать, чтобы противостояния между нашими странами не было», «Мы были вместе», «Советско-американская феминистская конференция в 1991 году стала водоразделом»... Да, народная дипломатия в те годы делала свои решительные шаги. И, честно говоря, вклад американских славистов в текст «Русская культура» не оценен по достоинству, а ведь без их помощи и самопожертвования не было бы в нем Александра Солженицына, Саши Соколова и Иосифа Бродского; «Пушкинского Дома» Битова, «Сандро из Чегема» Искандера, и многих других. Впрочем, мало кто сегодня вспоминает об этом...

А тогда... То было начало прямого откровенного диалога; то было время надежд... «Мы спешили лучше узнать друг друга...», – назовет свои воспоминания Н. Ажгихина. В продолжающихся российских поездках Кэти стала свидетелем и уличных протестов в Москве – позднее они с Надей успеют сделать книгу «Три дня в августе».

Ее установка как директора Института Гарримана была не просто на образование аспирантов, на расширение их горизонтов, на новое знание, новые темы, – а на «интеллектуальную независимость, которая позволила бы следовать твоим инстинктам в познании, а не немедленному достижению утилитарных целей». Исследование Центральной Азии, Кавказа; встречи с Горбачевым, Коштуницей, Имре Кертесом, нобелевским лауреатом 2002-го... Она изменила работу института, уделяя внимание междисциплинарным темам и прямым межвузовским обменам. Открыв широко двери института, она устроила в межкабинетном пространстве на двенадцатом этаже выставочный холл, где начала проводить художественные выставки, – и эта практика продолжается до сих пор.

Был у Кэти еще один личный момент в отношениях с Россией – и опять, как некогда с замужеством, полный драматизма, оставивший глубокий шрам на ее сердце. Они со Славой решили удочерить девочку из детского дома в Ульяновске. Всё пошло не так с самого начала; документы, нервы и деньги с Непомнящих тянули три года... в какой-то момент Кэти подключила и меня – разыскать местные ульяновские «связи» (и среди московских друзей мне удалось найти таковые). Словом, в результате в семье появилось чудо по имени Ольга. А мы с Кэти провели круглый стол «Нового Журнала» и Института Гарримана по проблемам российско-американского усыновления.

Проблемы действительно существовали – и серьезные: с обеих сторон законодательство не было разработано, практика вступала в конфронтацию с местными законами, но вместо того, чтобы дорабатывать законы, российские власти в итоге запретили усыновление...

Отношения с «Новым Журналом» у Кэтрин только крепили. Много лет она была членом редакционной коллегии издания, ее автором и неизменным надежным партнером. Какие планы мы строили – Кэти была генератором идей! Но в 2011-м умер от рака Слава, а в 2014-м Кэти поставили диагноз... Всё случилось так быстро, что никто из ее друзей толком и не успел осознать...

И вот прошло почти десять лет. И я снова читаю ее тексты. Сборник собрал главные опубликованные и неопубликованные работы Таймер-Непомнящей. Составители Э. Джонсон, И. Рейфман и К. Уланд ставили перед собой задачу проследить основную траекторию развития исследователя. Включенные в книгу работы 1970–2010 гг. посвящены тем, кто приковывал ее профессиональное и человеческое внимание: Пушкин, Набоков, Пастернак, Синявский/Терц, Толстая; вместил сборник и статьи по массовой русской культуре – исследование жанра детектива, телесериалов. В предисловии «Катерина Таймер-Непомнящая как исследователь русской культуры» составители предупреждают: так как многие работы автора – цельные книжные тексты, брать из них отрывки было бы нецелесообразно, поэтому в эту книгу вошли только статьи и отдельные главы из других сборников, в которых Кэтрин принимала участие. Исключение было сделано лишь для последней ее работы, так и оставшейся в рукописи, – «The Politics of Tradition: Rerooting Russian Literature after Stalin», откуда взяты две главы.

Сборник включает тексты по русской культуре от 19 века и до наших дней. Первая глава книги названа «Pushkin, Pushkin, Pushkin, and Katkov» – так определены акценты внимания исследователя и его приоритеты. Здесь – статья о М. Каткове и его эпохе, впервые вышедшая в студенческом журнале *Ulbundus*, который Кэти редактировала (1977), заметки о пушкинских «Поэте» и «Медном всаднике» (1988) – и сравнительный анализ «Медного Всадника» с «The Legend of Sleepy Hollow» Ирвинга (1999), а также размышления об «Арапе Петра Великого» (2001).

Вторая глава книги посвящена проблеме интертекстуальности текста «Культура», она названа «Россия и Запад». Здесь, в частности, опубликована статья «Jane Austen in Russia: Hidden Presence and Belated Boom» («Джейн Остин в России: Скрытое присутствие и запоздалый бум», 2007). Кэтрин Таймер первой указала на факт, что английская писательница стала известна в России раньше, чем это принято традиционно считать в истории литературы, и потому мы вправе говорить о ее влиянии на всё поколение Пушкина.

Идущая следом статья «King, Queen, Sui-Mate: Nabokov's Defense against Freud's Uncanny» («'Король, дама, валет': Набоковская защита от фрейдистского 'Жуткого'», 2008) о набоковском романе и антагонизме писателя с фрейдистским понятием «Жуткое» на пересечении психоанализа и эстетики. Как отмечают составители сборника, в планы Кэтрин входило написание отдельной книги об отношениях В. Набокова с его скрытыми «оппонентами», в частности – с Фрейдом.

И, наконец, Шерлок Холмс «как упадок Советской империи» в статье «Imperially, My Dear Watson» (2005). Однако нетрудно заметить: чему бы ни были посвящены статьи этого раздела сборника, все они об одном: о межнациональном диалоге внутри единого гипертекста «Культура» – диалоге напряженном, порой агрессивном, но даже в своем негативном исходе – плодотворном для культуры и человека, рождающего новые смыслы.

Третья глава сборника включает неопубликованные работы Таймер. Два эссе взяты из неоконченной книги «The Politics of Tradition: Rerooting Russian Literature after Stalin», над которой Кэтрин работала в последние месяцы. В сборник вошли главы о «Докторе Живаго» Пастернака (The Resurrection of the Living Past)/ «Воскрешение живого прошлого»), и об «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына («One day in the Life of Ivan Denisovich and Its Intertext»), где автор проводит сравнительный анализ текста Солженицына, аксаковского «Добрый день Степана Михайловича» и катаевского «Время, вперед!». В этой части сборника также опубликованы малоизвестная статья о новелле А. Синявского «Кошкин дом» и эссе о Татьяне Толстой.

Четвертая глава сборника «Russian Culture: High and Low» («Русская культура: высокое и низкое») включает статьи Таймер о русском балете, о телесериалах на российском телевидении, о развитии жанра детективной новеллы – словом, всё о современной российской культуре. И здесь, как справедливо отмечают в своем предисловии составители, важно указать: Кэтрин Таймер-Непомнящая была среди первых, обративших внимание на качественные изменения в постсоветской литературной индустрии, на ее трансформацию от высокой литературы к рыночной, массовой.

Кэтрин Таймер-Непомнящая с большой следила за процессом духовной энтропии русской культуры, изучению которой она отдала всю свою жизнь – без преувеличения. Развитие автократии в РФ заделало Кэтрин за живое. В интервью в NYT во время событий в Грузии («российско-грузинская война») в 2008-м она сказала: «Это событие – лишь первое в ряду подобных. Я говорю так, потому что я напугана». Самым парадоксальным образом страна, изучению которой она отдала столько времени, к которой испытывала, полагаю, если не любовь, то чувство сопричастности и привязанности, страна эта всю жизнь

пугала ее. И я не могу здесь не вспомнить Фрейда с его странным «Жутким», – аналитика, считавшего, вопреки всеобщему мнению, что по-настоящему жутко нам становится не от столкновения с неизвестным, а от встречи с хорошо знакомым.

Марина Адамович

* * *

Никита Кривошеин. Подвиг переводчика. Leipzig: ISIA Media Verlag, 2024.

Для тех, кто не знаком с ранней книгой этого автора, «Дважды француз Советского Союза»¹, кратко суммирую его необычный жизненный путь:

Внук А.В. Кривошеина, прогрессивного министра земледелия царской России², сын героя французского Сопротивления И.А. Кривошеина, Никита Игоревич родился в 1934 году во Франции. В 1947 году подростком он оказывается в Ульяновске. Его отец, получивший во Франции образование инженера, под воздействием сталинской кампании «За возвращение на родину» (обещанное прощение эмигрантам их «отступничества», призыв служения на благо родине)³, берет советский паспорт и уезжает в Россию. Вскоре за ним следует его семья – жена Нина Алексеевна и сын Никита. Чем для репатриантов обернулось их возвращение на родину, вскоре стало известно: одних ждал ГУЛАГ, других – поселение в места отдаленные, работа по принуждению... Всего уехало около трех тысяч человек. Было бы и больше, если бы уехавшие не постарались предупредить оставшихся, какая им там уготована «дружеская» встреча. В 1970 году, в период хрущевской оттепели, Никита Кривошеин, к тому времени один из блестящих синхронных переводчиков, возвращается в родной Париж. Новая книга Кривошеина охватывает все этапы его жизни на земле отцов, последующий свободный период, и доводит нас до событий сегодняшних дней.

Книга состоит из разных элементов: тут и ранее опубликованные им воспоминания, и тексты проведенных с ним интервью, а предваряют книгу три очерка: Ивана Толстого, сотрудника радио «Свобода», Ольги Седаковой, поэта, филолога, доктора богословия и переводчика, и третий – священника Андрея Кордочкина, который после 24 февраля 2022 года выступил с осуждением войны. Из всего этого складывается панорамная картина неординарной судьбы автора, способного объективно оценивать нашу непростую эпоху, свидетелем которой он был и есть. Так, в десять лет Никита был свидетелем запомнившегося ему освобождения Парижа, а в 19 лет – смерти Сталина: покуда он отмечал с товарищем это событие радостной выпивкой, «население

рыдало». Про день похорон Сталина Кривошеин пишет: «Такое отвратительное зрелище я видел впервые, мне было ужасно сознавать, насколько эти затравленные люди были заморожены слепым террором! И сила его была в слепоте. Они оплакивали палача, убийцу их отцов, матерей и детей».

Семья Кривошеиных ознакомилась со сталинским режимом не из вторых рук, она испытала его на себе. После путешествия морем были изнурительные дни в вагоне-теплушке («40 человек, 8 лошадей»), доставившего Никиту с матерью в Ульяновск, где их ждал отец. Жили впроголодь: «картошка в обед и на ужин, трехчасовые очереди с номерком на ладошке за серыми макаронами (вкус мяса приходил только во снах)», после чистых парижских бульваров – «весной и осенью всепоглощающая грязь». Семья получает комнату в коммунальной квартире, где «за деревянной перегородкой жила семья стукачей», а рядом с их домом находилась городская тюрьма, «куда почти каждый день привозили под конвоем с овчарками колонны зеков». Пятнадцатилетний Никита пристраивался на ночь в кухне на лежанке русской печи, «с ухватками и горшками». Зимой не хватало дров, спали в одежде. А в сентябре 1949 года отец Никиты был арестован.

Труд Игоря Александровича Кривошеина на ульяновском заводе электроприборов едва ли соответствовал его квалификации, но – вот ирония! – став заключенным, он оказался отечеством востребованным: приговоренный после допросов на Лубянку к десяти годам, инженер Кривошеин И.А. отправлен в Марфинскую «шарашку», ту самую, где находились Солженицын, описавший ее в своем знаменитом романе «В круге первом», и писатель Лев Копелев («Рубин»), который на всю жизнь сделался близким другом Кривошеина.

Покуда отец отбывает срок в «шарашке», его подрастающий сын начинает работать токарем на том же ульяновском заводе электроприборов, совмещая это с учебой в Школе рабочей молодежи. После пяти лет в ненавистном ему Ульяновске, незадолго до получения аттестата зрелости, Никита Кривошеин увольняется с завода и готовит перемещение в Москву, что, естественно, связано со многими препятствиями. Они были бы непреодолимы, если бы не помощь многих, кого в своих книгах Кривошеин поминает добром. «Не стоит село без праведника», – приводит он слова Солженицына из рассказа «Матрёнин двор», и пишет далее: «...если бы не высочайшая плотность не то что хороших, а замечательных, добрых и мужественно-самоотверженных людей в том сталинском мраке, не сидеть бы мне сейчас за компьютерными воспоминаниями в испанской квартире⁴. Низкий им поклон». Многих Кривошеин называет по имени. Одни, с риском для себя, давали приют сыну «судимого белоэмигранта», другие помогли попасть в Институт иностранных языков и даже устроиться в общежитии (в комнате на четверых), иные помогли и с получением рабо-

ты: благодаря воспринятому с детства двуязычию, Никита еще будучи студентом начинает зарабатывать переводами и делать первые шаги в качестве синхронного переводчика.

После смерти Сталина он стал добиваться пересмотра приговора отцу, вынесенного за «сотрудничество с мировой буржуазией». Главная военная прокуратура отвечала отказами. А потом вернулось письмо, адресованное отцу в «шарашку». На конверте стояло: «Адресат выбыл. Куда?.. Об этом Никита узнал, лишь получив письмо от самого отца... из Тайшета. Так герой Сопrotивления, И.А. Кривошеин, дважды арестованный немцами, едва выживший в страшных лагерях Дахау и Бухенвальд, в 1953 году становится узником ГУЛАГа. Но вот в июне 1954 года усилия Никиты возымели успех. Освобождение отца состоялось «за недостаточностью улик». Игорь Александрович был доставлен на Лубянку, у выхода его встретил сын.

Покуда вновь объединившиеся родители обустроивались в Москве, Никита продолжал учебу в Институте иностранных языков. От получил бы «красный диплом», если бы не тройка по «Основам марксизма-ленинизма». За годы обучения в Школе рабочей молодежи, а затем в Институте иностранных языков, из него так и не получился советский человек. Еще в Ульяновске Никита побывал на траурном митинге по умершему Жданову. Тогда «на фанерной трибуне с лозунгами и призывами я увидел тамошнюю номенклатуру: стояли носороги в серых пальто с белыми мучнистыми отеками лицами, и то, что они говорили, отрезвило меня на всю жизнь». А в 1957 только что окончивший институт Никита тайно переправил в парижскую газету «Ле Монд» письмо про то, как в СССР народ реагирует, или вообще не реагирует, на подавление советскими танками венгерского восстания в ноябре 1956 года. Он пояснял французскому читателю, что в СССР от людей всё скрыто и мало кто знает о происходящем. Сам он черпал информацию из радиопередач «Свободы», «Голоса Америки», Би-би-си, которые ловил сквозь заглушки. В Москве соответствующие органы вычислили анонимного автора; в августе 1957 года Никита Кривошеин был арестован. Он просидел на Лубянке почти девять месяцев. Подвергался допросам. По окончании следствия Московский военный трибунал вынес ему обвинение по статье 58-10 плюс «разглашение государственной тайны частным лицом». Наказание – три года в Дубравлаге. В книге «Подвиг переводчика» Кривошеин почти ничего не пишет о тяготах своего пребывания в Мордовии, зато он вспоминает многих встреченных им в Дубравлаге заключенных: диссидентов, правозащитников, представителей разных национальностей, стремившихся к краху тоталитаризма и к освобождению из-под контроля СССР.

Отбыв три года наказания в Дубравлаге, Никита вскоре смог вернуться в Москву, где родители обзавелись собственной однокомнат-

ной квартирой. Отец купил ее в кооперативе на деньги, вырученные за технические переводы. Кроме того, Игорь Александрович стал публиковать материалы о русских эмигрантах – участниках Французского Сопротивления, и выпустил сборник «Они сражались за Родину»⁵ в Госполитиздате.

Парадоксально, что судимость не помешала Никите Кривошеину вернуться к работе синхронным переводчиком. Он пишет: «Не нужно удивляться тому, что бывшего з/к приняли на такую ответственную работу, поскольку Советам синхронный перевод был абсолютно необходим. Он был необходим для съездов в защиту мира, съездов передовой молодежи, не говоря о научных и профессионально-технических конгрессах». В книге Кривошеина содержится много интересного как о технике синхронного перевода, так и об истории его возникновения, восходящей к Нюрнбергскому процессу и ранним сессиям Генеральной ассамблеи ООН, причем он отмечает, что профессия переводчика-синхрониста была основана двумя русскими эмигрантами – Константином Андронниковым, личным переводчиком генерала де Голля, и Сергеем Самариным. Да и в дальнейшем русские эмигранты, в силу своего двуязычия, а то и трехязычия, долгое время играли на этом попроще ведущую роль. Зарекомендовав себя высоким профессионалом, Никита Кривошеин был востребован как во время жизни в СССР, так и оказавшись за его пределами, по возвращении в Париж. Он переводил для глав правительств, на заседаниях ЮНЕСКО и Генеральной Ассамблеи ООН, а также для своих друзей – русских правозащитников и диссидентов.

Со временем вслед за Никитой во Францию вернулись и его родители. Мать скончалась в Париже в 1981 году, отец там же, в 1987-м. А в 1984 году в Париже выходит посмертная книга воспоминаний Нины Алексеевны Кривошеиной «Четыре трети нашей жизни»⁶, которая легла в основу известного фильма «Восток-Запад» о судьбе обманутых репатриантов.

За свою жизнь Никита Кривошеин наблюдал за разными изгибами в истории страны своих предков. Он помнит геноцидное «дело врачей-отравителей», предшествовавшее смерти Сталина, и развернутую антисемитскую кампанию. Он помнит XX съезд, «отметивший переходный период как бы нормализации, и следующий отрезок времени, начавшийся в конце 1980-х, когда страна почувствовала свободу». И еще большую – после 1991 года. После падения советской власти Никита Кривошеин мог свободно приезжать в Россию – и не только по работе. Помню, мы познакомились с ним в Москве на десятилетии Дома Русского Зарубежья им. Александра Солженицына, отмечавшегося в 2005 году, куда он был приглашен вместе с супругой Ксенией Игоревной. То было время больших надежд и свободных веяний. Но постепенно охота ездить туда стала убывать. Так, получив

в 2019 году приглашение на открытие Музея эмиграции, супруги сомневались, ехать или нет. Решено было, что в Москву поедет только Ксения. На страницах, отведенных ей в книге, Ксения Кривошеина пишет: «События, предшествовавшие этим сомнениям, ускорились: 2014 год – Крым, 2015 – убийство Бориса Немцова, разгон мирных демонстраций, аресты, запрет неудобных журналистов... и это было только начало. Тучи сгушались над обществом «Мемориал»⁷, Музеем им. Академика Сахарова, Радио ‘Свобода’ и ‘Эхо Москвы’, а реестры и списки иностранных агентов уже исправно пополнялись Минюстом»⁸.

В свою очередь, Никита Кривошеин отмечает: «По мере того, как создавалась эта книга, всё новые и новые события опережали нас. Война, которую начала Россия против Украины 24 февраля 2022 года изменила всё». Позиция автора в этом вопросе однозначная – он осуждает войну, а предлог для ведения ее называет безоговорочно вымышленным: «Никто не собирался и не собирается воевать с Россией. Запад самодостаточен, и новых земель ему не нужно». Шоком для Кривошеина было то, что войну с братской православной Украиной поддержал патриарх Кирилл. Кривошеин задает вопрос: «Патриарх Кирилл действительно верит, что война, начатая президентом Путиным – это война для защиты России от неких украинских нацистов и НАТО?» Кривошеин видит корни идеологии, насаждаемой сегодня в России на официальном уровне, в обществе «Память», соединявшем «идеологию большевизма и имперскости великой неделимой России с антисемитским душком и церковно-квасным прикидом. Теперь это идеология Проханова, Дугина, православного олигарха Малофеева, Никиты Михалкова и им подобных». В развязанной войне Кривошеин видит не только трагедию жителей Украины, но серьезные последствия для самой России, вплоть до ее возможного распада. Свое собственное отношение он резюмирует: «Я не желаю разгрома России, я желаю главе государства и его окружению образумиться и оглянуться не столько на русский мир, сколько на мир во всем мире. Я призываю оставить в покое Украину, перестать враждовать с Западом, который никогда не точил ножи против русских. Нужно научиться говорить и договариваться, но не языком ультиматумов и угроз, а языком дипломатии. Украина в этой войне не выйдет побежденной, а Россия может потерять себя на долгие десятилетия и остаться наедине с такими странами, как Китай, Северная Корея и Иран».

К такому выводу Кривошеин приходит на заключительных страницах своей книги. Ну, а как насчет «подвига переводчика» в заглавии книги? – может спросить читатель. Дойдя до этого места, читатель улыбнется и оценит находчивость автора: это всего лишь виньетка на фоне богатой событиями жизни и пронизательных суждений

Кривошеина о стране, чьей судьбой он болеет, но которая так и не стала ему родной.

Людмила Оболенская-Флам

1. Н. Кривошеин. «Дважды француз Советского Союза», 2014, 2016, изд. Христианская Библиотека, Нижний Новгород.
2. Александр Васильевич Кривошеин (1857–1921, Берлин), русский государственный деятель, главноуправляющий землеустройством и земледелием (1908–1915).
3. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 г. «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, проживающих на территории Западной Европы».
4. Чета Кривошеинных, чье постоянное место жительства Париж, также обзавелась квартирой в Испании, где они проводят лето.
5. Тогда, как и теперь, в России склонны приравнять сопротивление германской оккупации Франции с защитой отечества. На самом деле многие эмигранты вступили на путь борьбы еще за год до вторжения Гитлера в СССР, то есть покуда еще был в силе злополучный пакт Молотова-Риббентропа.
6. 1-е издание: Париж YMCA-Press; на французском языке – *Les quatre tieres d'une vie*. Paris: Albin Michel, 1987; дополненные переиздания: 1999 и 2017 гг., М.: «Русский путь».
7. Супруги Кривошеины являются членами общества «Мемориал».
8. Книга «Подвиг переводчика» вышла из печати до гибели оппозиционера Алексея Навального.

* * *

Клементина Ширшова. Страшный человек. М.: «Синяя гора», 2023. – 120 с.

Перечитывая неоднократно эту книгу, ловлю себя на мысли, что никогда не смогла бы правильно определить возраст поэтессы, если бы не была знакома с ней. Ее поэзия поражает глубиной знания жизни, той мудростью, что не вписывается в границы земного существования и заставляет поверить в чудо реинкарнации.

Впрочем, можно обойтись без мистики и просто обратиться к реальной биографии автора. К своим тридцати годам Клементина прошла через суровые испытания: серьезная болезнь, длительное лечение, операции, пребывание за гранью жизни... – подобный опыт приводит к духовной зрелости, граничащей с прозрением. Создатель «Страшного человека» – настоящий борец и потрясающий жизнелюб.

Мне кажется, эта книга появилась на свет для того, чтобы дать автору возможность подвести некий промежуточный итог, «отпустить» свое прошлое. Для этого требуется на какое-то время вернуться и не побояться посмотреть в глаза своему «страшному человеку», максимально сблизиться с ним – только для того, чтобы он навсегда исчез, уступил дорогу новому и счастливому, человеку. И Ширшова добровольно идет на это испытание, прекрасно осознавая, что «изучение своей теневой стороны <...> крайне важно, потому что без этого мы не сможем понять, кто мы есть на самом деле...» Каждое стихотворение – блуждание по темным лабиринтам подсознания.

Лирическая героиня пристально вглядывается в «темноту», чтобы зафиксировать в памяти и тем самым отстранить от себя, не допустить прораствания монстра в себе:

страшный человек смеется одним ртом без
глаз
страшный человек скажет правду прямо
сейчас,
а затем начнет говорить о чем-то
простом
страшный человек обещает решить потом
сообщает одно, думает другое, делает
третье
страшный человек тем и страшен, что ты
его встретил

В таком же ключе, как мне кажется, написаны многие романы Стивена Кинга, герои которого проникают «по ту сторону зла», не имея возможности избежать встречи с ним. Стихи Ширшовой похожи на тайные люки: наступаешь на них двумя ногами, даже не подозревая о том, что каждый такой люк открывает «страшного человека» в одном из его многочисленных обличий. Страшный человек – не мы ли сами, наши тайные мысли и желания? Так, в масштабном стихотворении «В ожидании трамвая» развернута метафора жизни, проходящей в ожидании... катастрофы.

все стояли, не замечая
долгожданного приближавшегося трамвая.
общее выражение:
«вот оно!» – написано на их лицах.
утро ярится,
пьяница матерится,
и мороженое растекается по тротуару

Лирическому герою Ширшовой нестерпимо страшно от осознания обреченности. Практически каждое стихотворение становится непростым опытом проживания экзистенциального ужаса неизбежного, неотвратимого. Одним из механизмов защиты от жизненного негатива для лирического героя становится смех. Этим смехом, слегка жутковатым, отчаянным, наполнена книга. Так, поводом к стихотворению «Веселье» становится экстренная операция:

перед входом в блок
разделась по-деловому.
оставался только нательный крест.

снимите, попросили меня,
 «там он уже не понадобится».
 почему-то эта фраза
 очень нас рассмешила.
 вместе с врачом
 мы хохотали так долго,
 насколько нам позволяло время,
 боль, заполняющая мое тело,
 и ситуация, в которой мы находились.

Героиня остро ощущает вселенское неблагополучие мира и человека, над которыми довлеет жестокий рок. В стихотворении «Триптих» Ширшова создает двухуровневое мифологическое пространство, в котором земным рыбаком управляет рыбак небесный (но не Бог). «Пока мы внизу ловим рыбу – наверху ловят нас».

Лирическая героиня ищет утешение в любви, которой «осталось мало» в мире, где всё так хрупко и зыбко, где «еще пять лет назад человек пёк тебе куличи, а теперь его самого сжигают в печи». Поэтому даже в радости и счастье ощутимо дыхание смерти.

С предельной остротой и искренностью выражено в книге чувство сострадания, способность человека к совместному проживанию боли. Своеобразной художественной вершиной книги можно назвать поэму «Лидия», посвященную бабушке, ушедшей в мир иной.

Читать книгу Клементины Ширшовой тяжело – в ней довлеет образ смерти. Для самого автора смерть – не только физический распад, но и утрата духовной идентичности, уникальности. Думается, что «человек» Клементины Ширшовой – пробирающийся в толкотне, избегающий «вторичности собственной личности», возвращающийся в себя, «как в заброшенный дом», – не столько «страшный», сколько платоновский «сокровенный человек», ведущий разговор не «от сердца к сердцу» – но проговаривающий себя, потаенного, страдающего.

Елена Севрюгина

* * *

Юрий И. Крылов. Златоуст. Стихотворения, переводы, проза. М.: «Русский Гулливер». 2023. – 363 с.

Предисловие к книге, написанное Анатолием Найманом (хотя имя Наймана, к несчастью, ушедшего в 2022 году, само по себе – знак, обращающий внимание), оглушает цитатами из стихов Крылова, в которых сразу звучит живой, узнаваемый голос поэта:

Они не знали красоты и прочей меры.
 И то, над чем носился дух, дышало серой.

И золотые буквы проступали
 На кружевной от кружева печали

У больших поэтов всегда есть стихотворение, сразу и навсегда остающееся для читателя главным. Для меня таким текстом стало посвящение «Г.С.» – я услышала стихотворение в авторском исполнении, магия которого просто завораживает. Когда поэтическое пространство автора становится и твоим, в этот момент происходит катарсис.

Стихотворение «Златоуст» открывает читателю дверь в пространство детства и юности Крылова. Однако здесь нас встречает не мир упоительных грез и юношеской наивности, – тут царствует миф, каменные стены древних сказаний: «...Во льдах всей этой тысячи озер / Мне выпало родиться на границе / Среди застывших». Не сразу, но приходит понимание: эта книга похожа на картину, где мазки накладываются один на другой, подобно этапам человеческой жизни: Златоуст–Москва–дорога, Коньково–война–любовь–одиночество–Париж–утраченные иллюзии... и ещё много знаковых остановок.

В стихах Крылова нет той простоты, о которой часто говорят как о литературном достоинстве; *непростота* этих стихов проникает в тебя. Лирический герой Юрия И. Крылова проходит через два мира – реальный и сакральный, и голос поэта уводит за собой читателя, погружает его в многомерную образность из слова, музыкальной фразы и цвета краски на холсте.

Саёнара. Летел над островами,
 Весь – белизна над розовой пеной.
 Я был на кимоно у самурая
 Между жасминов – там, возле колена.
 Я взмахом крыл листал Упанишады,
 Я слышал пепел, растворённый в Ганге.
 Я был внутри Монголии и падал
 На льды Тибета стонушим подранком.
 Я был растёрзан Азией, Россеей –
 Стрелой с концом, напитанным отравой.
 Я утонул в крови над Енисеем
 И встал крестом на церкви православной...

Об этом иллюзорном мире когда-то написал Н. Гумилев в «Путешествии в страну эфира»: «Закрыв глаза, испытывая невыразимое томленье, я пролетел уже миллионы миль, но странно пролетел их внутрь себя. Та бесконечность, которая прежде окружала меня, отошла, потемнела, а взамен ее открылась другая, сияющая во мне. Нарушено постылое равновесие центробежной и центростремительной силы духа, и как жаворонок, сложив крылья, падает на землю,

так золотая точка сознания падает вглубь и вглубь, и нет падению конца, и конец невозможен». Имя Гумилева прозвучит в стихах Крылова, но в другом контексте.

Я Африки не встретил, читая Гумилева.
 Сирийскую наклевала на призрак брата Вовы.
 Рандольфовы зубы у брата и у птицы.
 Сирийскую наклевала: в холодную садиться.
 Вольно мне между Вовой и Никой Гумилевым,
 На арестантской мове не говорённым словом
 всё ямщику толмачить:
 брателло, сделай новой
 мне кровь

Потусторонний мир, столько резко контрастирующий с реальным, отделен от него четкой чертой, но создается ощущение: автору удалось найти узкий проход между мирами – и тем острее, болезненнее ощущается невозможность вернуть ушедшее.

Я жил Парижем в том, двадцатом веке,
 А в нынешнем живу, пока не помер.
 Живу, пока земное не отринул.
 Я твой огонь небесный отражаю.
 Я вынес груз стихов и кокаина –
 Зеркальный столик с патиной по краю.
 Я тот, прошедший, в прошлом веке умер,
 А в этом, вероятно, не родился.

 Всё холод, милая, округ небесный холод,
 И всё горят огни в холодном небе

Любовной лирики в книге не так много, но каждое стихотворение – словно отдельная книга о любви. Об этом написал А. Найман в своем предисловии: «Голос таких стихотворений проникает в душу по-другому, глубже, завораживающе. Это называется лирика. Без саможаления, без подделки». Каждая строка обрастает новыми деталями, образы становятся всё более зримыми, переплетение тем заставляет искать новые смыслы.

В дому из остановленного дыма мы жили. Было.
 Ты белая и восемь самураев из дельты Нила.
 От белых дней мы белым
 Резали мечом свои косицы.
 А дом наш каплями стекал и был как птица.

Столицей неба и земли. Где только зимы.
 Где афродемоны и русосерафимы
 Сидели, каждый на своей пехотной мине.
 Их бирюзовые глаза горели синим.
 Они не знали красоты и прочей меры.
 И то, над чем носился дух, дышало серой.
 И золотые буквы проступали
 На кружевной от кружева печали

В стихах встречаются аллюзии на символы, используемые в русской фольклорной традиции, например, птица Сирин – несчастная, одинокая душа, зачаровывающая людей своим пением. Тема одиночества проходит через все тексты Крылова:

Из бережливости молчащий
 угадывает происшествие,
 один, из многих состоящий
 живых, засыпанных, замешанных.

 Под снегом кружит очумевшая
 безвременная птица Сирин

В этой проекции цикл «Жизнь героев» звучит предельно беспощадно. Тяжелый опыт войны – не только часть биографии автора, это и важная тема его поэзии.

Он надо мной на колени встал,
 постелил свою бурку.
 Не лед уьбет – поющий песок.
 С песком осторожней, Юрка.
 Мильёны тонн километров песка,
 в Сибири медведи пали.
 Волки, похожие на туман,
 по нам уже простенали.
 Нас лебедями встретил Урал, новая мурка.
 Товарищ пал. В песок прошептал:
 Нас меньше вдвое,
 Юрка

Несколько особняком в книге стоит стихотворение, которое по праву можно считать авторской исповедью. Это трехчастное стихотворение «Гранатометчик Йохан Штирлиц».

Простой гранатометчик Йохан Штирлиц
 Еще не знает ценности отрезков,

Глокает без икоты крылья мельниц,
Быки мостов, прель-прелесть перелесков
.....
Всё те же, там же, в тех же позах –
Под православными крестами.
Ветра, дороги, паровозы,
Жандармы, воры с дураками

Набоков утверждал, что «мечта каждого писателя – сделать читателя зрителем». Крылову это удастся в полной мере. Единство каждого отдельного текста создается не последовательностью сюжета, а по внутреннему закону переливания из образа в образ.

В книге есть и раздел переводов. Их не так много, но каждый – иллюстрация эстетических пристрастий самого Крылова. Особое место занимает перевод единственного стихотворения Фрэнсиса С. Фицджеральда; некогда Крылов редактировал его полное собрание сочинений и считает Фицджеральда лучшим американским писателем.

Римма Нужденко

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patrons: Russian Nobility Association in America;

Benefactors: Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfyn;

Sponsors: Eli & Ludmila Flam Living Trust; American-Russian Aid Association “Otrada”; Mr. Vitaliy Pavlyuk;

Fellows: Mr. A. Nemirovsky; Mr. A. Moussaian;

Friends: Ms. C.Raeff; Ms. R.Nuzhdenko; Mrs. Z.Sergeeva; Mr. G.Cheron.

The complete list of Fellows&Friends see at: <http://newreviewinc.com/fundraising-2022>

It requires the support of loyal friends for year 2024:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code. Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW

1216 Broadway, 2nd floor New York, NY 10001

Additional information: https://newreviewinc.com/podpiska_subscription

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2024 году можно купить:

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;

+972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)

Вы можете оформить подписку на журнал, в том числе электронную.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (Подписка)

Вся информации об авторах НЖ – на сайте The New Review Inc.:

https://newreviewinc.com/avtori_ng_1/

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2024

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – \$ 160.00, за границу – \$ 220.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – \$ 85.00, за границу – \$ 130.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – \$ 7.00, за границу – \$ 27.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – \$ 320.00
за границу – \$ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com
